

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ



Григорий
Зобин



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Без Вячеслава Иванова невозможно представить себе эпоху Серебряного века, одним из лучших поэтов которого он был. Помимо этого, Вяч. Иванов был и филологом – классиком мирового масштаба, его исследования по истории античной мифологии и религии носят характер фундаментальных трудов. Как религиозный мыслитель Вячеслав Иванов считал себя учеником и последователем Владимира Соловьева с его философией всеединства и вселенским христианством. Последнюю четверть века своей жизни поэт прожил в Италии, где занимался научной и преподавательской деятельностью. Во время немецкой оккупации Рима под грохот бомб и снарядов он писал стихи, составившие цикл «Римский дневник» и ставшие одной из величайших вершин русской поэзии. Вопреки распространенным представлениям Вячеслав Иванов предстает в книге не как поэт исключительно «для филологов», а как тот, в чьих стихах, по словам Мандельштама, звучит «могучий гул» наплывающего и ждущего своей очереди колокола народной речи.

- [Григорий Зобин](#)
- [Глава I](#)
- [Глава II](#)
- [Глава III](#)
- [Глава IV](#)
- [Глава V](#)
- [Глава VI](#)
- [Глава VII](#)
- [Глава VIII](#)
- [Глава IX](#)

- [Глава X](#)
- [Глава XI](#)
- [Основные даты жизни и творчества Вяч. Иванова](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)

- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)

- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)

- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)

- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)

- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)

- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)

- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)

- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)

- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)
- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)

- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)
- [371](#)
- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)
- [379](#)
- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)
- [383](#)
- [384](#)
- [385](#)
- [386](#)
- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)
- [391](#)
- [392](#)

- [393](#)
- [394](#)
- [395](#)
- [396](#)
- [397](#)
- [398](#)
- [399](#)
- [400](#)
- [401](#)
- [402](#)
- [403](#)
- [404](#)
- [405](#)
- [406](#)
- [407](#)
- [408](#)
- [409](#)
- [410](#)
- [411](#)
- [412](#)
- [413](#)
- [414](#)
- [415](#)
- [416](#)
- [417](#)
- [418](#)
- [419](#)
- [420](#)
- [421](#)
- [422](#)
- [423](#)
- [424](#)
- [425](#)
- [426](#)
- [427](#)
- [428](#)

- [429](#)
- [430](#)
- [431](#)
- [432](#)
- [433](#)
- [434](#)
- [435](#)
- [436](#)
- [437](#)
- [438](#)
- [439](#)
- [440](#)
- [441](#)
- [442](#)
- [443](#)
- [444](#)
- [445](#)
- [446](#)
- [447](#)
- [448](#)
- [449](#)
- [450](#)
- [451](#)
- [452](#)
- [453](#)
- [454](#)
- [455](#)
- [456](#)
- [457](#)
- [458](#)
- [459](#)
- [460](#)
- [461](#)
- [462](#)
- [463](#)
- [464](#)

- [465](#)
- [466](#)
- [467](#)
- [468](#)
- [469](#)
- [470](#)
- [471](#)
- [472](#)
- [473](#)
- [474](#)
- [475](#)
- [476](#)
- [477](#)
- [478](#)
- [479](#)
- [480](#)
- [481](#)
- [482](#)
- [483](#)
- [484](#)
- [485](#)
- [486](#)
- [487](#)
- [488](#)
- [489](#)
- [490](#)
- [491](#)
- [492](#)
- [493](#)
- [494](#)
- [495](#)
- [496](#)
- [497](#)
- [498](#)
- [499](#)
- [500](#)

- [501](#)
- [502](#)
- [503](#)
- [504](#)
- [505](#)
- [506](#)
- [507](#)
- [508](#)
- [509](#)
- [510](#)
- [511](#)
- [512](#)
- [513](#)
- [514](#)
- [515](#)
- [516](#)
- [517](#)
- [518](#)
- [519](#)
- [520](#)
- [521](#)
- [522](#)
- [523](#)
- [524](#)
- [525](#)
- [526](#)
- [527](#)
- [528](#)
- [529](#)
- [530](#)
- [531](#)
- [532](#)
- [533](#)
- [534](#)
- [535](#)
- [536](#)

◦ [537](#)

Григорий Зобин Вячеслав Иванов. Путь жизни

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Зобин Г. С., 2022

© Государственный музей истории российской литературы им. В. И. Даля, фото (ГЛМ), 2022

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2022

* * *

Светлой памяти моего друга Александра Цветкова (Вадимова) – автора книги «Жизнь Бердяева» и собирателя музея Н. А. Бердяева

Глава I

Свет младенчества. 1866-1886 годы

Шел десятый год царствования Александра II и пятый от одного из главных событий всей русской истории – отмены крепостного права и начала эпохи Великих реформ. Казалось, наконец-то, с опозданием почти на столетие, но осуществляются заветные чаяния лучших умов и сердец, обретают плоть те идеи, что рождались и закалялись в пламенных домашних спорах. Рабство пало «по манию царя», без кровавых переворотов.

Александр II явил себя достойным учеником своего великого наставника – Василия Андреевича Жуковского, приветствовавшего его появление на свет стихами, ставшими заветом русской поэзии будущему государю:

Да встретит он обильный честью век!
Да славного участник славный будет!
Да на чреде высокой не забудет
Святейшего из званий: *человек*.
Жить для веков в величии народном,
Для блага *всех* – *свое* позабывать,
Лишь в голосе отечества свободном
С смирением дела свои читать ^[1].

Корабль, который так и не решились спустить на воду его дядя, а затем и отец, Царь-Освободитель непомерным усилием воли вывел в открытое море, в трудное и опасное, но единственно спасительное для отечества свободное плавание.

И лишь немногие понимали, что упущенное время чревато новыми катастрофами...

А тогда жизнь стремительно менялась на глазах. Особенно заметно это было в двух столицах. Многолетний застой закончился. В воздухе повеяло весной. Дышать стало легче. Первым слово «оттепель» произнес Тютчев. С упразднением цензуры оживилась печать, открыто обсуждались самые острые общественные вопросы, что прежде было немыслимо.

Споры консерваторов, либералов и радикалов-социалистов велись теперь на страницах журналов. Но, чтобы понять все происходящее в те годы с русскими людьми, сил публицистики не доставало. Для разговора о сущностном были потребны иная глубина и другой язык.

В литературе наступала эпоха великого романа – эпоха Тургенева, Толстого и Достоевского.

Изменился и самый облик городов. Особенно заметно это было в Москве, которая всегда оставалась сердцем российской деловой жизни, столицей купечества. Предприимчивым труженикам реформы открывали новый простор. Строилось немало фабрик, особенно текстильных, день ото дня увеличивалось число магазинов, торговых фирм, контор, бюро, банков, технических и коммерческих учебных заведений. Для огромного количества занятых в них служащих требовались дешевые наемные квартиры и комнаты. В Земляном городе начали строиться первые доходные дома, тогда еще двух- или трехэтажные. До роскошных неоклассических построек эпохи модерна в шесть и семь этажей с квартирами, доступными богатым адвокатам, врачам, банкирам и коммерсантам, оставалось несколько десятилетий...

А по соседству с этим бурным ростом незаметно изо дня в день шла прежняя спокойная старомосковская жизнь в городских усадьбах и маленьких бедных

деревянных домиках. В одном из таких в приходе Большого Вознесения на Никитской вместе со старушкой-компаньонкой жила одинокая, уже немолодая барышня Александра Дмитриевна Преображенская. Ей и предстояло стать матерью героя нашей книги и с детства заронить в его душу то главное, что ни в каких бурях житейского плавания, ни в каком мраке не дает потерять из виду спасительный маяк. Жизнь Александры Дмитриевны, небогатая событиями, была богата внутренним, сердечным опытом, а также опытом книжным, который стоит многих «жизненных». Внучка сельского священника, дочь сенатского чиновника, она рано осиротела. Впрочем, о ее и своих семейных корнях, через которые он унаследовал любовь к поэзии православного быта, что позже выведет его к вселенским истокам христианства, в зрелые годы воскрешая памятью минувшее, писал сын:

Ей сельский иерей был дедом;
Отец же в Кремль ходил, в Сенат.
Мне на Москве был в детстве ведом
Один, другой священник – брат
Ее двоюродный. По женской
Я линии – Преображенский;
И благолепие люблю,
И православную кутью...^[2]

Сироту приютила пожилая и бездетная семья фон Кеппен. Хозяин дома был известным лютеранским богословом, ученым библеистом, питомцем Дерптского университета, специалистом по Ветхому Завету, знатоком древнееврейского языка, членом Библейского общества, поставившего своей целью распространение Священного Писания в России. Одновременно фон

Кеппен исполнял должность главноуправляющего именами князя Воронцова. Опыт православного благочестия Александры Дмитриевны, возвращенный поколениями семьи русского духовенства, встретился здесь с опытом благочестия лютеранского, с трехсотлетней культурой чтения и изучения Книги книг, с духом возвышенного мистического пиетизма. Эта замечательная школа немецкого уклада с его добросовестностью, чистотой, религиозным отношением к жизни, серьезностью научных интересов и трудолюбием сформировала характер матери будущего поэта и отозвалась в его собственной судьбе. Обстановку дома фон Кеппенов, известную ему как часть семейного предания, он так воссоздаст в поэме «Младенчество»:

Но сироту за дочь лелеять
Взялась немецкая чета:
К ним чтицей в дом вступила та,
Отрадно было старым сеять
Изящных чувств и знаний сев
В мечты одной из русских дев.

.....

Читали Библию супруги,
Усевшись чинно, по утрам,
Забуть и крепостные слуги
Не смели в праздник Божий храм.
И на чепец сидящей дамы,
И на чтеца глядел из рамы
Румяный Лютер: одобрял
Их рвенье Доктор, что швырял
Чернильницей в Веельзевула,
Когда отваживался шут
Его ученый путать труд,

Над коим благочестье гнуло
Мужской, с височками, парик
И вялый, добрый женский лик.

С осанкою иноплеменной
Библейский посещали дом
То квакер в шляпе, гость надменный
Учтиво-чопорных хором,
То менонит, насельник Юга,
Часы высокого досуга
Хозяин, дерптский богослов,
Все посвящал науке слов
Еврейских Ветхого Завета,
В перчатке черной (кто б сказал,
Что нет руки в ней?) он стоя
И левою писал с рассвета,
Обрит и статен, в парике
И молчаливом сюртуке^[3].

Дерптский университет, с его высоким духом немецкой науки, где изучал теологию фон Кеппен, всегда был родным русской культуре. Еще до войны 1812 года там профессорствовал Андрей Сергеевич Кайсаров, один из основоположников русской славистики, ставший в год грозных испытаний начальником походной типографии Кутузова, привлечший к работе в ней друга своей юности, а тогда поручика Московского ополчения, Василия Андреевича Жуковского, и погибший во время Заграничного похода русской армии. Позже сам Жуковский немало времени провел в Дерптском университете, подружился с его профессорами и получил в нем степень доктора философии. Преподавал там на медицинском факультете и замечательный хирург, врач-бессребреник Иван Филиппович Мойер, муж музы

Жуковского Маши Протасовой, а среди его учеников был и великий доктор Николай Иванович Пирогов, проявивший себя не только в медицине, но и в богословии.

Немецкий и русский романтизм навсегда вошел в жизнь Александры Дмитриевны. Она полюбила Гёте и Бетховена, с замиранием сердца читала Жуковского, заполняла переписанными от руки стихами целые кипы тетрадей, восторгалась статьями и литературными обзорами Белинского, была даже знакома с сестрой «неистового Виссариона». Но главной книгой для нее всегда оставалась Библия. Вера Александры Дмитриевны была живой и горячей, простой и сердечной. Каждый день она со слезами читала Псалтирь. Вспоминая о матери, сын отмечал ее мистическую одаренность и вместе с тем трезвость и пронизательность ума. Предмет особой гордости этой незаурядной женщины составляло то, что она родилась 19 февраля 1824 года. День, когда ей исполнилось 37 лет, принес долгожданную свободу миллионам русских людей – был провозглашен Манифест об уничтожении крепостного права. К Царю-Освободителю Александра Дмитриевна относилась с глубоким благоговением, гордилась тем, что была его тезкой.

В поэме «Младенчество» портрет матери будет словно бы весь пронизан светом и теплом, как одно из самых прекрасных воспоминаний детства.

...Но в тишине сердечных дум
Те образы ей были сладки,
Где в сретенье лучам Христа
Земная рдеет красота.
А девой русскою по праву
Назваться мать моя могла:
Похожа поступью на паву, —
Кровь с молоком, – она цвела

Так женственно-благоуханно,
Как сердцу русскому желанно.
И косы темные до пят
Ей достигали. Говорят
Пустое все про «долгий волос»:
Разумница была она —
И «Несмеяной» прозвана.
К тому ж имела дивный голос:
«В театре ждали б вас венки» —
Так сетовали знатоки^[4].

Именно такой женщине с ее необычайно одаренной натурой, богатой внутренней жизнью и широтой интересов, впитавшей все лучшее, что было разлито в самом воздухе XIX столетия, и выпало на долю сделаться матерью одного из крупнейших русских поэтов Серебряного, да и всего XX века.

После смерти фон Кеппенов Александра Дмитриевна вместе с их старой служанкой, украинской крестьянкой Татьянушкой, которую очень любила за поэтический склад души, поселилась в маленьком домике у Никитских ворот, близ церкви, где Пушкин венчался с Натальей Николаевной. Всю оставшуюся жизнь она решила провести девой. Но когда Александре Дмитриевне было сорок лет – возраст, казалось бы, ни для какого замужества немислимый, если учесть, что в XIX веке девица, не нашедшая пары и после двадцати, считалась «засидевшейся», – судьба ее полностью переменилась. Год назад умерла ее подруга Генриетта. Вдовец Генриетты, пятидесятилетний Иван Тихонович Иванов, стал часто заходить в их с Татьянушкой домик, находя утешение в беседах с доброй и умной Александрой Дмитриевной, открывая ей свои горести и тяготы. Участь пожилого вдовца, оставшегося с двумя сыновьями совсем еще юного

возраста, и в самом деле была не из легких. Решение пришло скоро и неожиданно, хотя Александра Дмитриевна внутренне к нему уже готовилась. О том, как все совершилось, в поэме «Младенчество» рассказано так:

Не долго плел отец мой сети:
Двух малолетних сыновей
Раз под вечер приводит к ней
И молвит: «На колени, дети!
За нас просите как-нибудь!»
И дети: «Нам ты мамой будь...»^[5]

Против такого сватовства Александра Дмитриевна не могла устоять, да и не хотела. Судьба ее решилась свыше. После венчания супруги купили деревянный домик в Волковом переулке – на самой окраине тогдашней Москвы, в окрестностях Пресни, рядом с Зоологическим садом, в приходе церкви святого великомученика Георгия Победоносца в Грузинах. В этом доме 16 (28) февраля 1866 года и суждено было родиться их младшему сыну – будущему поэту Вячеславу Иванову. Имя младенцу мать выбрала в память чешского благоверного князя Вячеслава, в чем сказалось ее органическое славянофильство.

То место, где поселилась семья, имело почти двухсотлетнюю историю. В 1670-е годы здесь расположилось дворцовое село Воскресенское – загородная летняя резиденция царя Федора Алексеевича с обширными плодовыми садами. Полвека спустя эти земли были отданы грузинскому царю Вахтангу VI, бежавшему в Россию от персов с двумя сыновьями и трехтысячной свитой. С тех пор в Москве место стали называть Грузины или Грузинская слобода.

Со временем знатные выходцы из Грузии смешались с русским дворянством. Многие из них прославили свои имена в истории России. И состав жителей Грузинской слободы в XIX веке уже был таким же пестрым, как и во всем городе. Здесь стояли и богатые особняки, и домики бедняков. Берега Пресненских прудов были излюбленным местом прогулок москвичей. Сюда приезжал Пушкин, чтобы послушать пение цыган, живших в Грузинах. В разное время проживали в этих местах Батюшков, Вяземский и Даль. А за два года до рождения Вячеслава Иванова Русским Императорским Обществом Акклиматизации растений и животных в Грузинской слободе вокруг Пресненских прудов был создан Зоологический сад. Он и стал первым впечатлением детства поэта. Впоследствии Иванов вспоминал, что Зоологический сад казался ему тем первоизданным Эдемом, где по Божественному замыслу звери и птицы жили в гармонии с человеком. Это блаженное чувство ранних лет навсегда сохранилось в сердце и оказалось сильнее и вернее многих опытов зрелости. Позже не раз случалось терять дорогу к Эдему, но забывать о нем – никогда. Отзвук этих воспоминаний слышится и в «Младенчестве»:

Зоологического Сада
Чуть не за городом в те дни
Тянулась ветхая ограда.
Домишко старенький они
Купили супротив забора,
За коим выла волчья свора
И в щели допотопный рог
Искал просунуть носорог.
С Георгиевским переулком
Там Волков узенький скрещен;
Я у Георгия крещен.
Как эхо флейт в притворе гулком

Земной тюрьмы, – не умирай,
Мой детский, первобытный рай!^[6]

Святой Георгий еще отзовется в той книге, которую сам поэт будет считать главным трудом жизни – в «Повести о Светомире Царевиче»...

Об Эдеме своего детства Вячеслав Иванов вспоминал и в «Автобиографическом письме»: «Я с любовью отмечаю эти места, потому что с ними связаны первые впечатления моей жизни, сохраненные памятью в каком-то волшебном озарении, – как будто тот слон, которого я завидел из наших окон в саду, ведомого по зеленой траве важными людьми в парчевых халатах, и тот носорог, на которого я подолгу глазел сквозь щели ветхого забора, волки, что выли в ближайшем нашем соседстве, и олени у канавы с черною водой, высокая береза нашего садика, окрестные пустыри и наш бело пушистый дворник,

...седой, как лунь,
Как одуванчик – только дунь, —

остались навсегда в душе видениями утраченного рая»^[7].

Нянюшкой младенца стала старая Татьянашка, неразлучная с Александрой Дмитриевной. Ребенок рос под звуки простых и задумчивых украинских песен.

Когда Вячеславу исполнилось три года, семья, покинув пресненский «Эдем», переехала на Патриаршие пруды, сняв там недорогое жилье. В XIX веке в этих местах располагался городской «Латинский квартал», где селились студенты университета, в котором позже предстояло учиться будущему поэту и профессору античной филологии.

«Московский дворик» на Патриарших также навсегда остался в его памяти:

И миру новому сквозь слезы
Я улыбнулся. Двор в траве;
От яблонь тень, тень от березы
Скользит по мягкой мураве.
Решетчатой охвачен клеткой
С цветами садик и с беседкой
Из пестрых стекол. Нам нора —
В зеленой глубине двора^[8].

К тому времени отец был тяжело болен. Прослужив большую часть жизни землемером, он перешел теперь в Контрольную палату. Характером и складом ума Иван Тихонович являл живую противоположность жене. Если та отличалась глубокой религиозностью, мягкосердечием и возвышенно-романтической настроенностью со славянофильским оттенком, то муж был настоящим интеллигентом – «шестидесятником» эпохи реформ, одним из тех, с кого Тургенев писал Базарова, и подобно Базарову – материалистом и атеистом. Человек замкнутый и упрямый, он жил своей сложной внутренней жизнью, скрытой от посторонних глаз. Настольными книгами Ивана Тихоновича были сочинения немецких «вульгарных материалистов» Бюхнера, Фохта и Молешотта – те самые, которые один из персонажей «Бесов» Достоевского, некий подпоручик, сойдя с ума, поставил в киоты вместо икон и поклонялся им. Это в Оксфорде учение Дарвина воспринималось как одна из гипотез – для русского интеллигента оно стало символом веры. «Все мы произошли от обезьяны, итак поэтому давайте делать добро», – шутил Владимир Соловьев. Он же дал определение трем видам неверия. Первое – грубо

материальное, животное, второе – лживое и лукавое и третье – честное, которому надо помочь прозреть. Неверие отца Вячеслава Иванова относилось к третьему виду. Ведь безбожие второй половины XIX века порой бывало своего рода религией, пусть даже многие этого не осознавали. И очень часто неверам и упрямам, враждебно относящимся к официальному православию (на что были причины, когда весть Евангелия подменялась мертвящей казенщиной), вдруг неожиданно открывался Лик Христа.

Портрет отца сын нарисует по смутным воспоминаниям младенческих лет и рассказам матери:

Отец мой был из нелюдимых,
Из одиноких, – и невер.
Стеля по мху болот родимых
Стальные цепи, землемер
(Ту груду звучную, чьи звенья
Досель из сумерек забвенья
Мерцают мне, – чей странный вид
Все память смутную дивит), —
Схватил он семя злой чахотки,
Что в гроб его потом свела.
Мать разрешения ждала, —
И вышла из туманной лодки
На брег земного бытия
Изгнанница – душа моя^[9].

Не от отцовского ли землемерства берут свои истоки «Борозды и межи» Вячеслава Иванова? Поэты Серебряного века были и в переносном, и в прямом смысле детьми интеллигентов – «народников»...

Перейдя на службу в Контрольную палату, Иван Тихонович получил гораздо больше времени, чем прежде, для чтения своих любимых

материалистических сочинений. В безбожие он попытался обратить и жену, но натиск вольнодумства оказался бессилён против глубокой веры и здравого ума Александры Дмитриевны.

И все в дому пошло неладно:
Мать говорлива и жива,
Отец угрюм, рассеян, жадно
Впивает мертвые слова —
И сердце женское их ложью
Умыслил совратить к безбожью.
Напрасно! Бредит Чарльз Дарвин;
И где ж причина всех причин,
Коль не Всевышний создал атом?
Апофеоза «протоплазм»
Внушает матери сарказм:
Назвать орангутанга братом —
Вот вздор! Мрачней осенних туч,
Он запирается на ключ^[10].

Но вопреки яростному неприятию веры в глубине души угрюмого затворника-атеиста происходила незаметная, скрытая от чужих глаз работа. Иван Тихонович был из тех, кто не любил подгонять трудные задачи под готовый ответ и всегда шел до конца. Борясь с Богом в уме, он обретал Его в сердце. «Знай: чистая душа в своем стремленье смутном сознанием истины полна!» – говорится в «Прологе на небесах» из «Фауста»^[11]. Это относилось и к отцу Вячеслава Иванова, и позже не раз отзовется в его собственной жизни.

Заветный ключ! Он с бранью тычет
Его в замок, когда седой
Стучится батюшка и причет —

Дом окропить святой водой.
Вы, Бюхнер, Молешотт и Штраус,
Товарищи недельных пауз
Пифагорейской тишины,
Одни затворнику верны, —
Пока безмолвия твердыня,
Веселостью осаждена,
Улыбкам женским не сдана...
Так тайна Божья и гордыня
Боролись в алчущем уме.
Отец мой был не sieur Nomais... [\[12\]](#)

Sieur Nomais (сир Омэ) – герой романа Г. Флобера «Госпожа Бовари», аптекарь, был воплощением мещанского, рационально-желудочного, рептильного атеизма, противоположного напряженному богоборчеству Ивана Тихоновича:

Но – века сын! Шестидесятых
Годов земли российской тип;
«Интеллигент», сиречь «проклятых
Вопросов» жертва – иль Эдип...
Быть может, искренней, народной
Иных – и в глубине свободней...
Он всею ночью, от ранних лет,
Любил «вечерний тихий свет».
Но ненавидел суеверье
И всяческий клерикализм.
Здоровый чтит он эмпиризм:
Питай лишь мать к нему доверье,
Закон огня раскрылся б мне,
Когда б я пальцы сжег в огне [\[13\]](#).

«Вечерний тихий свет», столь памятный и родной с детства, – одно из самых поэтических песнопений всеобщей, сложенное еще в IV веке святым Амвросием Медиоланским: «Свете тихий святых славы, Бессмертного Отца Небесного, Святого, Блаженного, Иисусе Христе. Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, и Сына, и Святого Духа Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй: темже мир Тя славит». Не случайно, наверное, последний сборник стихотворений сына будет носить название «Свет Вечерний»...

Первыми поэтическими впечатлениями стали для мальчика баллады Жуковского и стихи Пушкина и Лермонтова, которые читала ему мать. Особенно запомнились Вячеславу лермонтовские «Спор» и «Воздушный корабль» – стихотворение, поразившее в детстве и другого русского поэта XX века, Марину Цветаеву. Она вспоминала, что никак не могла понять, кто же это такие «флюгеране», которые шумят на мачтах. Вячеслав в младенческие годы тоже гораздо больше чувствовал стихи, нежели понимал их:

Стихи я слышу: как лопата
Железная, отважный путь
Врезая в каменную грудь,
Из недр выносит медь и золото, —
Как моет где-то желтый Нил
Ступени каменных могил, —
Как зыбью синей океана,
Лишь звезды вспыхнут в небесах,
Корабль безлюдный из тумана
На всех несется парусах...
Слов странных наговор приятен,
А смысл тревожно непонятен;
Так жутко нежен стройный склад,

Что все я слушать был бы рад
Созвучья тайные, вникая
В их зов причудливой мечтой... [14]

Из тех младенческих лет Вячеслав смутно запомнил и разговоры старших о шедшей тогда Франко-прусской войне. Впервые сквозь детские грезы он ощутил живое биение истории. Ему очень хотелось увидеть эту войну ночью во сне. Мог ли он тогда знать, что в старости станет очевидцем самой страшной, невиданной прежде войны...

В пять лет Вячеслав лишился отца. Иван Тихонович болел долго и тяжело. Чахотка в то время была неизлечимой болезнью и уносила многих. Но перед смертью он всем сердцем обратился к Христу и вернулся в Церковь, с которой долгие годы враждовал. Отец поведал матери, что ему явился святой Николай Мирликийский и велел повторять за ним причастные молитвы. Наутро к Ивану Тихоновичу пришел священник с Дарами. Вот какими запомнились сыну последние минуты жизни отца, его возвращение к Богу, о котором так долго и горячо молилась мать:

Христос приходит. Ожиданья
Ей не солгали. Долгий час
За дверью слышались рыданья,
Перерывавшие рассказ
Души, отчаяньем язвимой,
Любовью позднею палимой
К Позвавшему издалека, —
И тихий плач духовника...
Был серый день; играл я дома
И, бросив нехотя игру,
Без слов был подведен к одру.
Страдальца смертная истома

Снедала; пот бежал рекой,
Он крест знаменовал рукой^[15].

Отец умер в марте 1871 года, а в декабре, встречая новый, 1872 год, мать, согласно семейному обычаю, гадала по Псалтири. Она велела пятилетнему Вячеславу не глядя, наугад, раскрыть книгу и пальцем указать строки. Выпал 151-й псалом: «Я был младшим в доме отца моего, мои пальцы настроили Псалтирь». «Так и буди! – с радостью сказала мать, – ...станешь поэтом». Будущая судьба и предназначение Вячеслава Иванова приоткрылись в тот день впервые. Александра Дмитриевна всегда укрепляла в нем это высокое чувство избранничества. Своей закваской поэт был обязан матери. Как писал о ней С. С. Аверинцев: «Круг ее увлечений, который может показаться на фоне событий русской пореформенной жизни чуть ли не запоздалым отблеском патриархально-прекраснодушных времен Жуковского, был первой “духовной родиной” Вячеслава Иванова. Чертам этой “духовной родины” предстояло вновь и вновь проступать в его творчестве сквозь хитросплетения символистской мысли (например, то, что он будет называть в статьях 1914–1916 гг. своим “славянофильством”, довольно мало походит на славянофильство, но зато близко напоминает умонастроение Александры Дмитриевны). Почтительную память о матери поэт сохранил навсегда, этот пиетет, столь характерный для биографического фона его творчества, подчас побуждал его превращать историю своего “младенчества” в чересчур красивую легенду»^[16].

Впрочем, очень часто «легенда» определяет жизнь, а не наоборот. И счастлив тот, у кого в детстве такая легенда была.

После смерти отца Вячеслав остался с матерью и старушкой няней. Без кормильца семья, и прежде небогатая, совсем обеднела. Хорошо хотя бы, что были уже пристроены старшие братья. Они учились сначала в Межевом институте, а затем оба избрали военную карьеру – стали артиллерийскими офицерами. А Вячеслава с семи лет начали обучать иностранным языкам и русской словесности. Уроки ему давала дочь хозяина дома, в котором квартировала семья. От нее мальчик услышал о Кантемире и Ломоносове, читал наизусть их стихи вместе с державинской одой «Бог», «Власом» Некрасова и отрывками из пушкинского «Кавказского пленника». Ходил он и в частную начальную школу, созданную известным экономистом М. И. Туган-Барановским. Но главную роль в его развитии и воспитании продолжала играть мать. По ее совету Вячеслав начал каждое утро читать акафисты. Так с ранних лет в нем пробуждалось живое чувство красоты славянского языка, отзывавшееся в его стихах. Кроме того, они с матерью ежедневно прочитывали по главе из Евангелия. Как потом признавался поэт, с той поры он полюбил Христа на всю жизнь. Бесконечно много дали Вячеславу и совместные вечерние чтения. Мать умно и умело направляла его в выборе книг. В уже упомянутом «Автобиографическом письме», адресованном известному библиографу и историку литературы С. А. Венгеру, Иванов писал: «Медленно и с упоением – мне было тогда семь лет – прочитан был нами полный “Дон-Кихот”. Рано познакомила меня мать и со своим любимцем – Диккенсом.

Детскими книгами она учила меня пренебрегать: Андерсен был в ее глазах книгою не детской; Робинзон был мною усвоен, одновременно с “Дон-Кихотом”, в подлинной редакции; Жюль-Вернова поэма о капитане Немо была с восторгом мною изучена; десяти лет я

увлекался “Разбойниками” Шиллера»^[17]. Но не умалчивал поэт и о другой стороне своего детства, наложившей отпечаток на всю последующую жизнь: «Мать ревниво ограждала меня от частых сношений с детьми соседей, находя их дурно воспитанными, и приучала стыдиться детских игр. Она бессознательно прививала мне утонченную гордость и тот индивидуализм, с которым я должен был долго бороться в себе в гимназические годы, и тайные яды которого остались во мне действенными и в зрелую пору моей жизни»^[18].

Незабываемыми впечатлениями детства стали для Вячеслава Иванова прогулки по Москве. Ощущение поэзии и красоты города накрепко переплелось в них с религиозным чувством. Вместе с матерью тихими и ясными летними вечерами «по обету» они совершали небольшие пешие паломничества от Патриарших прудов к Иверской или в Кремль. Навсегда осталось памятным поэту замирание сердца под сводами «полутемных соборов с их таинственными гробницами», где покоились великие князья, цари, московские митрополиты и патриархи. Слово живое предание Древней Руси воочию представало перед ним, дополняемое рассказами матери.

Праздником для мальчика стало и посещение Большого театра. Уже сама его обстановка – торжественный алый цвет бархатных лож, кресел, ливрей служителей, сверкающая множеством огней люстра – была пиршеством для зрения. А театральная тьма во время представления, звуки музыки, пения, декорации сцены – все словно бы переносило в иное время и пространство.

Полвека спустя в Большом театре доведется выступать и самому Вячеславу Иванову – на юбилейном торжестве к 125-летию со дня рождения Пушкина.

Свет памяти выхватил из детских лет и часы, проведенные в залах Румянцевского музея, где воображение отрока Вячеслава поразило слепок с Микеланджелова «Моисея»:

В Музей я взят – и брежу годы
Всё небылицы про Музей:
Объяты мраком переходы,
И в них, как белый мавзолей,
Колосс сидящий – «Моисея»...
Воображеньё в сень Музея
Рогатый лик перенесло,
С ним память плавкую слило.
В «Картинах Света» списан демон,
Кого не мертвой глыбой мнил
Ваятель, ангел Михаил.
Бог весть, сковал мне душу чем он
И чем смутил; но в ясный мир
Вселился двойственный кумир^[19].

Так в жизнь отрока Вячеслава впервые вошла Италия. «Родное» встретилось с «вселенским». Будущий поэт выходил на тот путь, который до него проложили любимые им Гоголь, Баратынский и Тютчев – от московского семихолмия к италийскому. От Третьего Рима – к Первому.

К городу, что станет главным в его судьбе. Станет венцом жизни.

Но прежде ему предстояло узнать и всем сердцем полюбить Москву. У него, человека глубоко московского по своим корням и воспитанию, было удивительное чувство родного города, самой его фактуры, цветовой гаммы. Впоследствии оно отзовется в стихотворении 1904 года «Москва», не случайно посвященном также

одному из самых «московских» писателей –
А. М. Ремизову:

Влачась в лазури, облака
Истомой влаги тяжелеют.
Березы никлые белеют,
И низом стелется река.

И Город-марево, далече
Дугой зеркальной обойден, —
Как солнца зарных ста знамен —
Ста жарких глав затеплил свечи.

Зеленой тенью поздний свет,
Текучим золотом играет;
А Град горит и не сгорает,
Червонный зыбля пересвет.

И башен тесною толпою
Маячит, как волшебный стан,
Меж мглой померкнувших полян
И далью тускло-голубою:

Как бы, ключарь мирских чудес,
Всей столпной крепостью заклятий
Замкнул от супротивных ратей
Он некий талисман небес^[20].

Отсюда уже прямой путь к «московским» стихам
Цветаевой...

Девяти лет от роду Вячеслава отдали в одно из
лучших учебных заведений тогдашней Москвы – Первую
московскую мужскую гимназию. Основана она была еще
в 1803 году по распоряжению императора Александра I.
Поначалу гимназия находилась в Китай-городе, на углу

Варварки и Ипатьевского переулка, в бывшем доме Юстиц-коллегии, но из-за обветшалости здания уже в 1806 году встал вопрос о ее переезде. Город купил для нее на Волхонке у Пречистенских ворот усадьбу бригадира Лопухина, прежде принадлежавшую князю Волконскому. Во время наполеоновского нашествия 1812 года оба здания гимназии сгорели, и шесть лет она размещалась в доме Ланга в Среднем Кисловском переулке, 4. Наконец в 1819 году восстановление Лопухинского дома завершилось и гимназия вернулась в него. Здесь она существовала без малого сто лет, до самого своего закрытия в 1918 году. Первым ее директором был Петр Михайлович Дружинин, выдающийся педагог, человек неравнодушный, любивший своих учеников всем сердцем. Он собрал для гимназии прекрасную, богатую библиотеку и создал кабинет естественной истории. К тому же ему удалось привлечь значительные денежные пожертвования со стороны меценатов. Так, греческий аристократ З. П. Зосима внес по просьбе Дружинина десять тысяч рублей на преподавание греческого языка. Благодаря этому с 1815 года в гимназии существовал греческий класс, что сыграло ключевую роль в судьбе Вячеслава Иванова. В двенадцать лет, на год раньше, чем полагалось по программе, он добровольно начал изучать язык Гомера, Эсхила и Платона. К тому времени от небольшой суммы денег, оставшейся после отца, не сохранилось ничего, и в четвертом классе гимназист Вячеслав Иванов вынужден был давать платные уроки древнегреческого языка своим сверстникам, чтобы помогать матери. Так началась его педагогическая деятельность. Позже он вспоминал, что «имел свободу читать и думать только ночью». Любовь к «божественной эллинской речи» Вячеслав Иванов пронес через всю свою долгую жизнь и всегда был чуток к тому, что роднило с ней русский язык.

Незадолго до смерти поэт говорил, что если в Царстве Небесном ему запретят говорить и думать на древнегреческом, он будет очень огорчен.

Кроме греческого в гимназии преподавали латынь, французский и немецкий языки, русский с церковнославянским, словесность, Закон Божий, историю, географию, естествознание, физику, математику, астрономию, каллиграфию, рисование и черчение. Среди тех, кто в разное время учился в Первой московской мужской гимназии, были драматург Александр Островский, профессор математики Николай Бугаев, отец поэта Андрея Белого, будущего друга Вячеслава Иванова, историки Михаил Погодин и Сергей Соловьев, теоретик анархизма князь Петр Кропоткин, лидер кадетской партии профессор Павел Милюков, большевистский партийный деятель Николай Бухарин, писатель Илья Эренбург, поэт Максимилиан Волошин и другие известные люди.

Как вспоминал Вячеслав Иванов о решении матери отдать его именно в это учебное заведение, «выбор гимназии был также обусловлен соображениями эстетическими: она помещалась в красивом старом здании подле тогда еще не открытого храма Христа Спасителя»^[21].

Поступление Вячеслава в гимназию в 1875 году совпало с торжественным посещением ее Александром II. Воспитанный Александрой Дмитриевной в культе царя-реформатора, поэт позже рассказывал, как он замер от восторга, когда на залитой солнцем стене гимназического коридора увидел тень от сабли государя и услышал его слова: «Здравствуйте, дети».

История не раз проходила тогда перед его глазами. Два года спустя, когда шла Русско-турецкая война за освобождение Болгарии и Русские войска уже готовились взять Константинополь, Александра

Дмитриевна и Вячеслав были охвачены пафосом всемирного славянства. Поэт вспоминал об этом времени: «Оба мои брата, артиллерийские офицеры, были на войне, и один из них, ординарец при самом Скобелеве, приезжал на короткое время, по военному поручению, в Москву. Я посылал братьям в окопы письма, полные воинственно-патриотических стихов, которые признал через год детским лепетом»^[22].

Посчастливилось Вячеславу вместе с другими учениками Первой московской гимназии присутствовать и на открытии на Тверском бульваре в 1880 году опекушинского памятника Пушкину, видеть, как спадает покрывало с закутанной статуи, а затем попасть на посвященное этому великому событию торжественное заседание Общества любителей российской словесности в Московском университете, слышать выступления Тургенева, Островского, но главное – прожигающую насквозь пушкинскую речь Достоевского: «О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловеческой и всесоединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону! <...> По крайней мере мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные»^[23].

Мы можем только догадываться, как жадно ловил четырнадцатилетний гимназист Иванов каждое слово одного из прямых наследников Пушкина в русской и мировой литературе. Но мог ли он знать тогда, слушая гения, что и ему предстоит принять эту эстафету всемирности и всечеловечности и осуществить их и пером, и самой своей жизнью?

В четырнадцать лет пережил Вячеслав и необычайно сильный религиозный подъем: ночью он часами простаивал перед иконами, горячо молясь, и порой даже засыпал на коленях. Александра Дмитриевна, с ее простой, крепкой и здоровой верой, не одобряла этих крайностей в духовной жизни сына, но и не препятствовала им, мудро давая Вячеславу возможность развиваться свободно и самому выстраивать свой путь к Богу.

Подъем очень скоро сменился кризисом. В пятом классе гимназии в умонастроении юноши произошел переворот. Он вдруг ощутил себя совершенным атеистом и революционером. По ночам Вячеслав теперь уже не молился, а запоем читал и герценовский «Колокол», и новейшие революционные издания. Эта перемена в его мировоззрении случилась незадолго до одной из самых страшных катастроф русской истории. 1 марта 1881 года террористами-народовольцами был убит Александр II. В отношении к этому событию и к смертному приговору, вынесенному заговорщикам, русское общество резко разделилось. Порой разлом проходил внутри одной семьи. Сочувствуя революционерам и считая казненных цареубийц мучениками свободы, Вячеслав с жаром защищал их в юношеских спорах, кипевших между гимназистами. Александра Дмитриевна была убита горем, которое еще больше усиливалось от разногласий с сыном, не скрывавшим от нее своих взглядов. Понять и принять новые воззрения Вячеслава мать не могла. Она не

поступила подобно святой Моники, выгнавшей из дома Августина, когда тот впал в манихейскую ересь, но прежняя их дружба с сыном дала глубокую трещину.

А Вячеслав тогда еще не знал, что в то же самое время, когда он отстаивал доброе имя цареубийц в Москве, в Петербурге их жизнь защищал молодой профессор философии Владимир Соловьев. Он взывал к христианскому милосердию нового императора, призывая его простить убийц отца и не уподобляться революционерам в их презрении к человеческой жизни. Соловьев выступал против смертной казни даже для террористов. Скорее всего, гимназист пятого класса Первой московской гимназии Вячеслав Иванов даже не слышал имени Владимира Соловьева. До их встречи оставалось пятнадцать лет...

К концу гимназического курса вопрос об оправдании террора как средства социального переустройства, не дававший Вячеславу покоя несколько лет, решился для него окончательно. Выработалось устойчивое нравственное неприятие революционного насилия. Атеизм также не прошел для юноши даром - он привел его к глубочайшему унынию. Результатом стала попытка самоубийства в семнадцать лет, к счастью, неудавшаяся.

Но при этом - вот ведь парадокс! - в те же самые годы неверия и революционных увлечений Вячеслав Иванов сочиняет две поэмы, в центре которых - Христос. Одна из них называлась «Иисус» и была посвящена искушению Спасителя в пустыне. Другая - «Легенда» - выдержана в духе средневекового предания и написана размером старинного испанского романса. Она рассказывает о еврейском мальчике-музыканте из Толедо, который однажды вошел в готический собор и там ему явился Христос. Встретив взгляд Спасителя, полный любви, мальчик всем сердцем почувствовал необоримое стремление к Нему:

Зашумели крылья духов,
Поднялася Божья сила,
И рука Господня мощно
На плече моем почила.
О, куда меня влечешь Ты?
О, зачем Ты, полн укора,
Полн любви передо мною,
Свет таинственного взора?^[24]

Три ночи подряд мальчик тайком пробирался в собор и играл там на органе, радостно чувствуя рядом присутствие Христа. Отец выследил мальчика и понял, что тот хочет уйти от веры предков в христианство. В отчаянии он решает принести любимого сына в жертву Богу Авраама, Исаака и Иакова. Но по молитве мальчика Христос с любовью уводит его душу в Свое Царство. Выйдя из собора, отец видит, что держит на руках бездыханное тело сына.

Вячеславу Иванову даже предложили напечатать эту поэму в «Русском вестнике» М. Н. Каткова, журнале, где увидели свет «Преступление и наказание», «Бесы» и «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского, «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, «Критика Отвлеченных Начал» Вл. С. Соловьева и многие другие выдающиеся произведения литературы и философии XIX века, но он отказался, сочтя публикацию в столь реакционном издании предосудительной.

Обращение юного Вячеслава Иванова к таким сюжетам не было случайным. Ведь в последние десятилетия XIX века революционные мотивы и настроения очень часто переплетались с религиозными. А в русских мальчиках того времени, своим душевным складом напомиавших Ивана Карамазова, жила неистребимая тоска по утраченной вере. Великий историк XX столетия Г. П. Федотов писал об этом так:

«За Лавровым, за Боклем явно стоит образ *иного Учителя*, зовущего на жертвенную смерть. Если от мира подпольных социалистов обратиться к искусству 70-х годов, то мы поразимся, как в гражданской поэзии, в живописи передвижников – всюду возносится сорванная с киота икона Христа: Крамской, Поленов, Ге, Некрасов, Надсон не устают ловить своей слабой кистью, лепечущими устами святые черты. Этот бледный Христос, слишком очеловеченный, слишком нежный, может раздражать людей консервативной церковной традиции. Но еще большой вопрос, чей Христос ближе к Подлиннику... Атеисты-народники отзываются о Христе всегда с величайшим уважением. Они проникнуты сознанием, что социализм обосновывается в христианской этике»^[25].

Впрочем, при всей схожести между христианством и социализмом было и одно коренное различие, которое с абсолютной точностью подметил Вл. Соловьев, сказав однажды, что для осуществления в мире Царства добра и правды христиане отдают свое, а социалисты хотят отобрать чужое...

Упомянутый же Федотовым Семен Яковлевич Надсон был старше Вячеслава Иванова всего лишь на три года. Но в юности такая разница порой становится эпохальной. Когда Вячеслав учился в старших классах гимназии, двадцатилетний поручик Семен Надсон уже входил в литературу. Тогда же началась и его дружба с Дмитрием Мережковским, ровесником и будущим постоянным собеседником Вячеслава Иванова в Серебряном веке. Обычно Надсона было принято относить к поэтам второго ряда, но без него невозможно представить себе целую эпоху, которая вслед за ним рифмовала «идеал» с «Ваалом» (первый должен был восторжествовать, второй – погибнуть). Надсон умер от чахотки, болезни, не случайно

уносившей в те годы столь многих, связанной с каким-то тайным внутренним надрывом. Ему не минуло и четверти века. Сослагательного наклонения история не терпит, но можно предположить, что, доживи Надсон до 1890-х годов, он, подобно Мережковскому, стал бы одним из первых русских символистов. Мотивы гражданской жертвенности в его поэзии всегда были религиозно окрашены. Недаром он, не находя евангельского идеала в окружающей его жизни и в официальном православии, обратился в поэме «Христианка» ко временам мучеников катакомбной Церкви. Вряд ли кто-нибудь мог тогда и помыслить, что в следующем столетии эпоха мученичества и исповедничества наступит в России, когда гонения на Церковь превзойдут все прежние, а миру будут явлены новые великие примеры стойкости и страданий за веру...

От гимназического атеизма Вячеслава Иванова очень скоро не осталось и следа. И впоследствии и в юношеские, и в зрелые годы его духовный поиск, сколь бы сложен он ни был, всегда проходил в русле религиозном. Что же до революционных настроений, то они трансформировались в чаяния свободы, всенародного и всечеловеческого «соборного» единства, где скрепляющая роль принадлежит искусству, в неприятие самодержавия (при этом Вячеслав Иванов был противником его насильственного свержения), шовинизма, черносотенства, «политических притязаний национального своекорыстия». Но вместе с тем Вячеслав Иванов вслед за славянофилами и Достоевским верил в особое призвание России, ее избранничество и религиозно-мистическую основу русского народного духа. Впоследствии и свою поэзию, и свои историко-филологические исследования он будет воспринимать как служение всенародному делу.

В русском символизме ему откроется возможность возвестить миру «Вселенской Общины спасительное слово».

Еще в начале 1880-х годов Вячеслав Иванов написал стихотворение «Ясность». Оно было настолько зрелым, что два десятилетия спустя поэт включил его в свою вторую книгу стихов «Прозрачность». Посвятил он это стихотворение гимназическому другу Владимиру Калабину, человеку, сумевшему разгадать его одним из первых. В шестом классе Вячеслав получил от Калабина такую записку: «Я Вас угадал. Вас никто не знает. Вы поэт». В «Автобиографическом письме» Иванов вспоминал о товарище своей юности: «Читая мне без устали и на распев стихи Пушкина и Лермонтова и указывая на “жесткие” строки в моих собственных произведениях, он разбудил и развил во мне мои первоначальные, детские лирические восторги»^[26].

Со стихотворения «Ясность» и начался отсчет поэзии Вячеслава Иванова:

Ясно сегодня на сердце, на свете!
Песням природы, в согласном привете
Внемлю я чуткой душой:
Внемлю раздумью и шепоту бора,
Речи безмолвной небесного взора,
Плеску реки голубой.

Смолкли, уснули, тревожны, угрюмы,
Старые Сфинксы – вечные думы;
Двигутся хоры пленительных грез;
Нет своей радости, нет своих слез.

Радости чуждой, чуждой печали
Сердце послушно. Ясны,
Взорам доверчивым въяве предстали
Воображенья волшебные дали,

Сердце манящие сны^[27].

Мотив этого стихотворения – переживание того, что любимый поэт Вячеслава Иванова, Тютчев, назвал «божески-всемирной» жизнью природы, чувство собственной сопричастности ей – пройдет через всю жизнь и отзовется в поздних стихах из «Римского дневника».

В последних классах гимназии Вячеслав крепко подружился с Алексеем Дмитриевским. Молодых людей объединила любовь к древнегреческой словесности. Вместе они переводили Софоклова «Эдипа-царя», причем не пятистопным ямбом, которым обычно пользовались переводчики, чтобы передать на русском античный размер, а настоящими ямбическими триметрами. Уже тогда в Вячеславе Иванове был виден будущий экспериментатор с древнегреческими метрами в российском стихосложении.

Окончив Первую московскую гимназию, Вячеслав Иванов и Алексей Дмитриевский вместе поступили в Московский университет. И здесь Вячеслав Иванов вполне мог бы повторить за другим замечательным знатоком классической античности в Серебряном веке, Иннокентием Анненским, его фразу: «В университете со стихами – как отрезало». После ранних стихотворных опытов почти на двадцать лет Вячеслав Иванов как поэт смолкает. Эти годы он посвятит даже не античной филологии, как Анненский, а исторической науке. Поэтическое же становление Вячеслава Иванова, одного из главных действующих лиц эпохи русского символизма, произошло необычайно поздно. Как он сам признавался: «До 1903 года я не был литератором».

В университете Вячеслав посещал лекции только лучших профессоров. Он с восторгом слушал В. О. Ключевского. П. Г. Виноградов давал ему книги из

своей библиотеки. Талантливого и трудолюбивого студента сразу же заметили. Уже на первом курсе он получил премию за работу по древним языкам.

Продолжалась дружба Вячеслава с Алексеем Дмитриевским. Теперь Алексей занимался уже не переводами Софокла, а историей русского крестьянства. Жизненные воззрения обоих юношей были столь же чисты, возвышенны и идеальны, как прежде, но будущее свое они видели по-разному. Алексей хотел прожить с пользой для других, скромным и незаметным тружеником. Его влекло тихое жертвенное повседневное служение общему делу. Вячеслав же, напротив, жаждал яркой, творческой жизни, полной великих свершений, пусть даже и трагической. В доме Дмитриевских он бывал постоянно. Алексей, как и Вячеслав, лишился отца в раннем детстве, и его семья состояла из матери и сестры Дарьи, ученицы консерватории. В свободное от совместных занятий время друзья любили слушать, как Дарья играет им Бетховена и Шуберта. Весной, когда семейство выезжало на дачу, Вячеслав часто навещал Дмитриевских, и они с Дарьей подолгу гуляли, любуясь прекрасными видами полей, лугов и лесов, озаренных светом заходящего солнца в вечерней тишине, беседуя о музыке и поэзии.

Так прошло два года университетской жизни, которая с первых дней показалась Вячеславу Иванову, по его собственному признанию, «священным пиршеством». В 1886 году как один из лучших студентов он был направлен на обучение в Берлинский университет, в семинарий прославленного историка Древнего Рима, автора монографии, ставшей классическим трудом, – профессора Теодора Моммзена. Отъезд в Германию на долгое время как раз соответствовал тогдашнему настрою Вячеслава Иванова, способствовал выходу из внутреннего тупика,

порожденного неразрешимостью внешних жизненных обстоятельств, о чем он позже вспоминал: «На родине мне не сиделось: было душно и жутко. Дальнейшее политическое бездействие – в случае, если бы я остался в России, – представлялось мне нравственной невозможностью. Я должен был броситься в революционную деятельность, но ей я уже не верил»^[28]. В молодом студенте тогда боролись, сталкиваясь и переплетаясь между собой в сложном и парадоксальном сочетании, три голоса: общественная позиция интеллигента, жажда познаний и внимательного самоуглубленного труда ученого и то главное, сокровенное еще призвание, черед которого был впереди.

Конечно, гораздо больше, чем римская история, Вячеслава Иванова манила древнегреческая словесность, любимая им с отрочества. Еще в последнем классе гимназии директор И. Д. Лебедев, преподававший в ней латынь, предлагал Вячеславу, как первому ученику, свою протекцию – устроить его казенным стипендиатом в филологический классический семинарий Лейпцигского университета, руководимый знаменитым ученым Риббеком. Но Вячеслав отказался от этого предложения по двум причинам.

Во-первых, ехать в Лейпциг стипендиатом на казенный счет означало бы принимать деньги от царского правительства, что в среде тогдашней «передовой» интеллигенции считалось делом постыдным и недостойным.

Во-вторых, классическая филология как таковая была у той же передовой интеллигенции на плохом счету. Она почиталась занятием исключительно ретроградным. Не случайно же главный герой чеховского «Человека в футляре» Беликов, всю жизнь

строивший по правительственным циркулярам, преподавал в гимназии греческий язык. Интеллигенция видела в классической филологии некий зловерный замысел правительства – отвлечь юношество от современности, от политической борьбы, от революции. Поэтому общественное мнение клеймило тех, кто выбрал эту область науки. А поскольку «либеральная жандармерия» (тем паче радикальная) у нас всегда была намного круче мундирной, немногие решались «грести против течения», делать свой жизненный выбор, не обращая внимания на насмешки, косые взгляды и недоброжелательство сверстников. Для «порядочных интеллигентов» в те годы самым достойным считалось учиться на естественном факультете, «резать лягушек», подобно тургеневскому Базарову. К почтенным занятиям относились также юриспруденция и статистика. Так, выдающийся деятель русского религиозного возрождения XX века отец Сергей Булгаков вспоминал, что в юности его влекло к филологии, но в связи с веяниями времени, под влиянием общественного мнения и политических настроений он поступил на юридический факультет и стал экономистом. По той же причине Вячеслав Иванов выбрал древнеримскую историю, которая не считалась столь предосудительным и ретроградным делом, как греческая словесность. Деспотизм «прогрессивной общественности» на поверку оказался намного сильнее деспотизма власти, а путь к той заветной пушкинской свободе «Из Пиндемонти» всегда был труден и тернист. Университетские наставники Вячеслава Иванова благословили его учиться в Германии. Немецкая ученость уже давно славилась по всей Европе своей глубиной. И Россия была обязана ей бесконечно многим – от Ломоносова до гёттингенских питомцев, обучавших в Лицее юного Пушкина. В Вячеславе Иванове также видели будущую надежду русской науки. Как сам он

писал: «Мои профессора расстались со мною, по окончании второго курса, весьма благожелательно: В. И. Герье нашел мое решение учиться в Германии разумным; проф. Зубков <...> дал мне в Бонн к Бюхелеру и Узенеру рекомендательные письма (увы, я ими не воспользовался, далеко обегая свою суженую и избранницу сердца – античную филологию), П. Г. Виноградов выработал для меня программу последовательных занятий у Гизебрехта, Зома и Моммзена»^[29].

Уехать в Германию, чтобы учиться там музыке, собиралась и Дарья. К тому времени их общение с Вячеславом переросло во взаимное увлечение. Со стороны Иванова это чувство во многом коренилось в привязанности к семейству Дмитриевских и особенно в дружбе с братом девушки. О супружестве с Дарьей он и не думал – образ женатого студента казался ему жалким зрелищем. И хотя позже он писал в «Автобиографическом письме» С. А. Венгеру, что страстно влюбился в сестру друга, скорее всего, это была юношеская влюбленность.

Александре Дмитриевне Дарья по сердцу не пришлась. Она не одобряла увлечения сына. Но поскольку правила в отношениях между людьми тогда были строгими и молодой человек, часто бывавший в гостях в семье девушки, уже почитался женихом, мать сказала Вячеславу, что он должен жениться, чтобы не компрометировать барышню.

Мать Алексея и Дарьи умоляла его о том же. Обладая странным даром предвидения, она говорила Вячеславу, что его союз с Дарьей не будет счастливым и закончится распадом, но все равно убеждала жениться, настойчиво повторяя, что так надо. Почему, Вячеслав понять не мог, тем не менее браку суждено было состояться. Обвенчавшись с Дарьей Дмитриевской

в 1886 году, в скором времени вместе с ней он уехал в Германию, чтобы там в Берлинском университете учиться у профессора Моммзена. Начинался новый этап его жизни. Привычный, родной, домашний мир Москвы остался позади. Перед Вячеславом открывался Запад – «страна святых чудес» со всей ее безмерностью, которую теперь надо было вместить умом и сердцем, полюбить и принять, как свой мир.

Глава II

Дионисова гроза. 1886-1895 годы

В Берлин молодые приехали в начале осени. До этого они совершили небольшое «свадебное путешествие» по Германии, познакомившись с некоторыми из ее достопримечательностей. Вячеслав Иванов вспоминал в «Автобиографическом письме»: «Германия встретила нас еще на море доносившимся с берега благоуханием цветущих лип. Вскоре я увидел и прирейнские замки, и готические соборы, и Сикстинскую Мадонну, и трирскую Nigra»^[30].

Вячеслав и Дарья поселились в Берлине в недорогой мансарде. Первый семестр занятий в университете, по признанию Вячеслава, ушел на усвоение немецкого языка, то есть на овладение им в совершенстве. Позже дочь поэта, Лидия Иванова, вспоминала такой забавный эпизод: однажды она попросила отца написать за нее гимназическое сочинение о Шиллере и Гёте на немецком языке. Вячеслав эту просьбу выполнил. На следующий день разгневанная учительница уличила Лидию в «плагиате». И в самом деле – сочинение было написано изящным стилем конца XVIII столетия, немыслимым в начале XX века, да еще у русской отроковицы-гимназистки!

В семинарии Моммзена Вячеслав учился с упоением, сразу с головой уйдя в университетские занятия. Ему пришелся по сердцу возвышенный, аскетический дух немецкой науки, умение всего себя без остатка отдавать делу жизни. Уже к концу второго семестра Вячеслав представил профессору свое исследование о податном устройстве Египта в те годы, когда он был

римской провинцией. Исследование было написано безукоризненным немецким языком. Моммзен отозвался об этой работе одобрительно, правда, подметив слишком «правильный» язык иностранца, сказал студенту: «Чувствуется, что вы боролись с языком. Почему вы не написали на латыни?» Знаменитый ученый с первых дней знакомства привел Вячеслава в восторг. Впоследствии вспоминая о нем, поэт писал: «Я восхищался каждым, всегда внезапным и нетерпеливым, движением этого тщедушного и огненного старика, в котором мысль и воля сливались в одну горящую энергию, каждую вспышку его гениального и холерического ума. Вот несколько строк о нем из моего стихотворного дневника:

В сей день счастливый Моммзен едкий
Меня с улыбкой похвалил.
Он Ювенала очертил
Характеристикою меткой,
Тревожил искры старых глаз
И кудрями седыми тряс»^[31].

По принципиальным соображениям отказавшись от казенной стипендии со стороны русского правительства, Вячеслав Иванов, чтобы прокормить себя и жену, вынужден был совмещать ученые занятия с работой. Впрочем, к этому ему было не привыкать еще с гимназических лет, когда он давал сверстникам уроки греческого языка, чтобы помочь матери. Теперь же в Берлине он зарабатывал на жизнь редакторским и секретарским трудом – правил материалы по международной политике для корреспондентского бюро и был частным секретарем у агента русского министерства финансов камергера Куманина.

Среди других участников семинария Вячеслав Иванов сделался постоянным гостем на «тесненькой вилле» Моммзена, часто ужинал у него. В Германии, когда студент становился своим человеком в доме профессора, означало, что тот видит в нем будущего выдающегося ученого. Моммзен проникся самыми добрыми чувствами к талантливому и трудолюбивому ученику, подающему большие надежды. Однажды Моммзен спросил Вячеслава, как долго тот собирается оставаться в Берлине. Иванов ответил, что хотел бы на возможно более долгое время, но боится, что может начаться война между Германией и Россией.

Сегодня, после страшного опыта XX столетия, тогдашняя европейская жизнь представляется нам тихой, уютной и безмятежной, но в ней незаметно зрела грядущая катастрофа, и лишь немногие различали ее своим чутким слухом. Эпоха «тридцати шести княжеств», эпоха слабости и раздробленности, давшая тем не менее созвездие великих имен в мировой культуре и науке, безвозвратно ушла в прошлое для Германии, объединенной Бисмарком. Теперь ее устремления были иными. Опоздав к дележу рынков и колоний, она всеми силами жаждала наверстать упущенное. Растущая день ото дня промышленная и военная мощь требовала расширения жизненного пространства. Дремавший прежде воинственный дух явственно пробуждался вновь. Еще в самом конце Крымской войны Пруссия грозила выступить на стороне Британии, Франции и Османской империи против России.

В поэме «Германия. Зимняя сказка» Генрих Гейне, смеясь над средневеково-романтическими стилизациями в прусской военной форме 1840-х годов, писал:

Зато кавалерии новый костюм
И впрямь придуман не худо;
Особенно шлем достоин похвал,
А шпиц на шлеме – чудо!
Здесь ясно виден рыцарский дух,
Романтика в каждой детали.
Как будто Иоганна де Монфокон
Иль Тик и Уланд предстали.

<...>

Боюсь только, с этой романтикой – грех:
Ведь если появится тучка,
Новейшие молнии неба на вас
Притянет столь острая штучка.
Советую выбрать полегче убор
И на случай военной тревоги:
При бегстве средневековый шлем
Стеснителен в дороге!^[32]

Гейне тогда, конечно же, ни секунды не сомневался, что в случае военного столкновения Франция, словно бы воплотившая в себе самый дух прогресса, легко победит отсталую, полуфеодалную Германию. Так же, наверное, более чем четверть века спустя, в 1870 году, полагал и император Франции Наполеон III, которому не давали покоя военные лавры его дяди. Он стремился взять реванш за поражение 1814 года, но в результате французская армия была наголову разбита, а прусские войска оказались под Парижем. Впоследствии от окончательного военного разгрома Францию спасли только дипломатические усилия европейских держав, в том числе и России.

А в 1879 году, когда Германская империя заключила Двойственный союз с Австро-Венгрией, ее стремление доминировать в Европе стало очевидным. Новый немецкий кайзер Вильгельм II, взойдя на престол

в 1888 году, тут же отправил в отставку Бисмарка, единственного политического деятеля, который был способен удержать его от необдуманных и роковых шагов, и начал править самонадеянно и тупо, готовя неисчислимы бедствия и своей стране, и многим другим...

Тогда на опасения Вячеслава Иванова профессор Моммзен с улыбкой ответил ему: «Мы не так злы». Катастрофе суждено было произойти уже в следующем столетии. До нее оставалось меньше тридцати лет. Но набирающий в те годы силу немецкий национализм, последствия которого Вячеславу Иванову, современнику двух мировых войн, пришлось увидеть воочию, расцветал теперь у него на глазах и был отвратителен ему, впрочем, как и всякий другой зоологический шовинизм, вырастающий из попытки компенсировать свою личную ничтожность видовой принадлежностью и мнимым превосходством. Да и сам профессор Моммзен, хотя и успокаивал ученика относительно намерений Германии, тем не менее в беседах с участниками своего семинария нередко высказывал мысль, что скоро должен наступить период нового варварства и поэтому надо спешить с завершением огромных работ, начатых учеными-гуманистами XIX века. Правда, Моммзен ничего не говорил о причинах этого предстоящего одичания Европы. О них уже в XX веке, когда человека культуры с исторической сцены вытеснил «военно-спортивно-технический дикарь», по точному определению Г. П. Федотова, суждено было размышлять Шпенглеру в «Закате Европы», Бердяеву в «Смысле истории» и другим мыслителям Нового времени.

А пока спокойная европейская жизнь шла изо дня в день своим чередом. Тихое, размеренное и самоуглубленное существование молодого ученого вел в это время и Вячеслав Иванов. Ничто в его берлинском

уединении и намеком не выдавало будущего поэта, мэтра символистов, олицетворявшего собой самый быт нового направления русской поэзии. В 1888 году в семье рождается дочь Александра, получившая имя в честь бабушки, Александры Дмитриевны. Вячеслав усердно занимается в университетской библиотеке, совершает поездку в Лондон, где много времени проводит в Библиотеке Британского музея, едет в Париж, посещает в 1891 году парижскую Национальную библиотеку. И в Париже, хотя в то время Вячеслав Иванов к поэзии почти не возвращался, да уж видно, сам воздух этого города пробуждает к ней, «стишонки прокинулись», как говорил И. Ф. Анненский применительно к себе, – сложился цикл «Парижские эпиграммы».

В античную эпоху «эпиграмма», в отличие от более поздних времен, означала стихотворную надпись на здании, статуе или сосуде, прославляющую богов или героев. Затем это слово стало обозначать обращение к кому-либо, нравоучение, восхваление или порицание. Но у Вячеслава Иванова оно словно бы возвращается к своему изначальному жанровому значению настенной надписи. «Парижские эпиграммы», как позднее охарактеризовал их Блок, «острые, краткие, стильные», были связаны с размышлениями над главным лозунгом французской революции – «Liberte, Egalite, Fraternite» («Свобода, Равенство, Братство») и отличались поистине латинской лапидарностью и емкостью и одновременно антиномичностью. Вячеслав Иванов с глубоким уважением относился к культуре Франции и ее свободолюбию.

Здесь гремят тройным аккордом
Прав великих имена...
О, счастливая страна!
Что носил я в сердце гордом,

Носит каждая стена^[33].

Но вместе с тем, когда за два года до этого отмечалось столетие французской революции, к чему была приурочена Всемирная выставка в Париже, Вячеслав в письме Алексею Дмитриевскому писал, что Франция празднует «юбилей секиры», и сравнивал Эйфелеву башню – знак прогресса и самопревозношения человеческой цивилизации – с башней Вавилонской. К тому времени от прежнего юношеского материализма Вячеслава Иванова давным-давно не осталось и следа. Обращаясь к брату жены и своему старому другу, он утверждал, что великие произведения искусства всегда имеют религиозное значение и соучаствуют в Божественном замысле и творчестве. К письму прилагалось стихотворное послание «Ars Mystica», написанное шестистопным ямбом – александрийским стихом, в котором Вячеслав Иванов провидел все беды грядущего столетия – и войны, и революции, – главная причина которых заключалась в одном – люди забыли Бога. В этом же стихотворении говорилось и о пророческом назначении поэта:

В те дни, как племена, готовя смерть и брани,
Стоят, ополчены, в необозримом стане,
И точат нищие на богача топор,
И всяк – соперник всем, и делит всех раздор,
Когда, как торгоши, тому хотим лишь верить,
Что можем мерою ходячею измерить, —
Христово царствие теперь ли призывать?
Но волен жрец искусств: ему дано воззвать, —
Да прозвучит в ушах и родственно и ново —
Вселенской Общины спасительное слово^[34].

Слова «Свобода, Равенство и Братство» для русского были всегда столь же священны, сколь и для француза. Но существовало и известное различие в их восприятии. Еще Пушкин в стихах «Из Пиндемонти» осмысливал свободу не столько как внешнюю, социально-политическую, но прежде всего как личностную, внутреннюю, глубинную. Пушкинскому завету последовала русская поэзия. Воспринял его и Вячеслав Иванов. В «Парижских эпиграммах» он размышлял о том главном, изначальном, сущностном, в чем на самом деле коренятся и обретают свой подлинный смысл драгоценные понятия Свободы, Равенства и Братства, без чего они вырождаются в пустые, ничего не значащие декларации и становятся насмешкой над самими собой.

«Братство, Равенство, Свобода» —
Эти пугала царей —
Стерегут права народа
У Христовых алтарей...
Ты ведь царь, о, Назарей!^[35]

Любопытно, что впоследствии первый стихотворный сборник Вячеслава Иванова, куда вошел его парижский цикл, эта эпиграмма под названием «Qui pro quo» («Путаница») не была пропущена цензурой. Поэт заменил ее другой – «Скиф пляшет», где говорится о том, что составляет основу различия между французской и русской культурой:

Стены Вольности и Прав
Диким скифам не по нраву.
Guillotín учил вас праву...
Хаос – волен! Хаос – прав!
Нам, нестройным, – своеволие!

Нам – кочевье! Нам – простор!
Нам – безмежье! Нам – раздолье!
Грани – вам, и граней спор.
В нас заложена алчба
Вам неведомой свободы.
Ваши веки – только годы,
Где заносят непогоды
Безымянные гроба^[36].

Позже Франсуа Мориак определял идеальный роман как сочетание французского порядка с русской глубиной и безмерностью.

Той же разнице в «цивилизационном коде» европейских народов была посвящена и другая «парижская эпитафия» – «*Suum cuique*» («Каждому свое»):

Имя Братства и Свободы
Чтут начертано народы:
Галл – на храмах и дворцах,
Бритт – в законах, мы – в сердцах^[37].

Споры о путях России и Запада начались с мучительных вопросов Чаадаева и длились к тому времени уже более полувека. И что говорить – многолетняя привычка к деспотизму, хроническое опоздание реформ, отсутствие ясно прописанных, закрепленных и защищенных законом прав личности, основополагающих свобод, общественных институтов, давно сложившихся во Франции и Великобритании, разрешали это сравнение отнюдь не в пользу России.

Но было в ее жизни и другое. Обостренное чувство неблагополучия, того, что мир находится в недолжном, падшем состоянии, лежит во зле, будило мысль и

совесть, не оставляло возможности удовлетвориться чем-то усредненно-промежуточным, заставляло идти до последней глубины, искать высшей правды – правды Града Небесного. Без этого не было бы ни отчаянного побега пушкинского «Странника», ни «божески-всемирной» жажды Тютчева, ни вселенской любви Владимира Соловьева, ни вулканически-глубинных прорывов Достоевского. Без этого, в конечном счете, «Свобода, Равенство и Братство» оборачивались адом и смертью – то, что Вячеслав Иванов разглядел в облике современной ему европейской цивилизации и с нескрываемой иронией изобразил в двух парижских эпиграммах. Одна из них называлась «Jura mortuorum» («Права мертвых»):

Вот – кладбище, и у входа:
«Братство, Равенство, Свобода...»
Здесь учился Данте сам
Силе дверных эпиграмм!^[38]

Другая – «Jura vivorum» («Права живых»):

«Братство, Равенство, Свобода» —
Гордо блещут с арки входа.
«Что за мрачные дома?»
«Наша, сударь, здесь – тюрьма...»^[39]

Размышлять о различиях и многообразии европейских культур, о их великих взлетах, кризисах и тупиках Вячеславу Иванову предстояло еще очень много. И более того – мог ли он догадываться тогда, что ему самому выпадет стать одним из главных участников такой эпохи невиданного расцвета и подъема, которая

обернется столь же грандиозным обрушением, особенно в России!

Теперь же Вячеслав Иванов отдавал свои силы изучению незыблемой основы всей европейской цивилизации, в том числе и русской, – Рима, его государственного, правового и общественного устройства. Владимир Соловьев в те же годы писал в стихотворении «Ex Oriente lux»:

И силой разума и права —
Всечеловеческих начал —
Воздвиглась Запада держава,
И миру Рим единство дал^[40].

Без этой прививки «разума и права» невозможно было считать себя европейцем, ощущать глубинную принадлежность мировой, да и своей собственной истории.

О, Русь! в предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким ты хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?^[41]

Отвергнув римскую правовую традицию с ее уважением к личности, человеческой жизни, частной собственности, можно было стать лишь «востоком Ксеркса»...

Молодой ученый усердно занимался историей равенского экзархата, византийскими учреждениями в Южной Италии, разрабатывал тему государственных откупов как во времена Римской республики, так и в имперский период. Уже к концу второго года обучения у Моммзена Вячеслав Иванов представил первый

набросок своей будущей диссертации. Этот проект признали серьезной работой. Но все же римской историей его заставлял заниматься скорее долг, чем призвание. Конечно, это ни в коей мере не умаляло значения «латинской прививки» в жизни Вячеслава Иванова – она дисциплинировала его дух и мысль, укрепила внутренний стержень, помогла сохранить личность вопреки многим будущим разрушительным вихрям. И тем не менее сердце по-прежнему неудержимо влекло его к «ретроградному и предосудительному» занятию – античной филологии. Вячеслав слушал лекции лучших филологов Берлинского университета, серьезно изучал греческую и латинскую палеографию и даже переводил древнегреческую поэзию на латынь. Один из московских профессоров Иванова, П. Г. Виноградов, приехав в Берлин и встретившись с Вячеславом, настоятельно советовал ему совмещать изучение римской истории и классической филологии. Виноградов надеялся, что, вернувшись в Москву, Вячеслав Иванов сможет преподавать в университете обе эти дисциплины. Скорее всего, и сам Вячеслав видел тогда свое будущее таким. С товарищами по Московскому университету он постоянно общался и в Германии. В «Автобиографическом письме» Иванов позже вспоминал: «Немало было у меня и знакомств среди молодых русских ученых, работавших в Берлине. Помню празднование Татьянина дня в отдельном кабинете ресторана с П. Г. Виноградовым, кн. С. Н. Трубецким, А. И. Гучковым, В. В. Татариновым (учеником Виноградова) и проф. Гатцуком»^[42].

Но в 1890-е годы тихая и размеренная жизнь Вячеслава Иванова вдруг изменилась до неузнаваемости. Главных причин тому было две.

Во-первых, через занятия классической филологией Вячеслав открыл для себя только обретавшего тогда знаменитость одного из будущих властителей дум XX столетия – Фридриха Ницше. Тот тоже начинал как филолог академического направления. Ученик профессора Ригля, он защищал докторскую диссертацию «Об источниках Диогена Лаэртского», преподавал в Базельском университете. Но вскоре Ницше отверг путь традиционной античной филологии. Знаком разрыва с ней стала книга, произведшая эффект разорвавшейся бомбы, – «Рождение трагедии из духа музыки». Лейпцигский издатель, которому Ницше в 1871 году принес это сочинение, отказался его печатать. Книга вышла лишь год спустя. В ней Ницше утверждал, что греческая трагедия родилась из музыки и хорового пения древних дионисийских мистерий, из всеобщего действия: «Здесь иллюзия культуры была стерта с первообраза человека, здесь открывался истинный человек, бородатый сатир, ликующий пред лицом своего бога.

...Хор – это живая стена, воздвигнутая против напора действительности, ибо он – хор сатиров – отражает бытие с большей полнотой, действительностью и истиной, чем обычно мнящий себя единственной реальностью культурный человек. <...> Публика аттической трагедии узнавала себя в хоре оркестры, что, в сущности, никакой противоположности между публикой и хором не было, ибо все являло собой лишь один большой величественный хор пляшущих и поющих сатиров... Сцена совместно с происходящим на ней действием в сущности и первоначально была задумана как *видение* и что единственной “реальностью” является именно хор, порождающий из себя видение и говорящий о нем всею символическою пляски, звуков и слова»^[43].

Через эллинскую культуру и прежде всего трагедию Ницше вышел к ее глубинным, архаическим истокам. «Дух музыки» связан у него с дионисийством – одним из самых древних, оргиастических, стихийных культов Эллады, пришедших с севера Балкан, из дикой Фракии.

Дионис – это бог «ночной», темной, хаотической стороны человеческой души, бог слез и пляски, вина и загробного мира, смерти и воскрешения, искупления и экстаза. Несясь в вихре вакхического танца, человек забывает о границах между собой и природой, между ликованием и скорбью и, увы, между добром и злом. «О, бурь уснувших не буди – под ними хаос шевелится!» – писал о подобном состоянии души Тютчев, поэт необычайно чуткий ко всему «ночному» и стихийному. У самого Ницше с его «дионисийским» упоением жизнью впоследствии проявились и темные стороны мировоззрения – неморальное отношение к бытию (недаром же одна из главных книг получила название «По ту сторону добра и зла»), философское оправдание жестокости и насилия, наконец, культ сильной человеческой особи, «белокурой бестии». Это латинское слово, означающее «зверь», в русском языке не случайно по созвучию отозвалось «бесом». Второй, побочный, «наслоившийся» смысл выявил вдруг неразрывную связь животного и бесовского в ницшеанском идеале. Как позже скажет об этом Павел Флоренский, сквозь личину человекобога проглянула звериная морда. Различие между «сверхчеловеком» и «недочеловеками», силой и слабостью, а не между добром и злом Ницше противопоставлял идеям права, цивилизации, прогресса и гуманизма, господствующим в XIX столетии. Но главного, сущностного врага Ницше видел в христианстве с его утверждением высшей ценности каждого человека вне зависимости от сословной или национальной принадлежности, силы или слабости, с его неукоснительным следованием

библейским заповедям Божьей правды и милости. Оговоримся: речь идет не об историческом христианстве, нарушавшем эти заповеди с постоянством, достойным лучшего применения, а о христианстве как таковом. Его Ницше определял как восстание рабов в морали, видел в нем подмену ценностей, когда «здоровой» воле к власти и могуществу противопоставляется идеал страдания. «В христианстве, – писал он, – на первый план выходят инстинкты угнетенных и поработенных: в нем ищут спасения низшие сословия»^[44]. Ницше считал, что христианство, вера рабов и плебеев в его понимании, как и ветхозаветная религия, в лоне которой оно родилось, несет в себе стремление иудеев – народа-неудачника, почти всегда находившегося под пятой завоевателей, – отомстить сильным, господствующим и процветающим, «рожденным повелевать». С этой целью здоровым языческим народам и была сделана дурная, разрушительная прививка христианства, пробудившая в них болезненное чувство вины, совести и сострадания в ущерб жизненным силам. Основу для их расцвета Ницше видел в язычестве – и в стихийном дионисийстве, и в древнегерманском мифе, которые недаром сближал между собой. В трактате «Рождение трагедии из духа музыки» он писал: «Едва ли представляется возможным с прочным успехом привить чужой миф, не повредив безнадежно дерева этой прививкой; случается, что дерево бывает столь сильно и здорово, что после страшной борьбы вытесняет чуждый ему элемент, но обычно оно замирает и хиреет или истощается в болезненных ростках. Мы настолько высоко ставим чистое и крепкое ядро немецкого существа, что смеем ожидать именно с его стороны этого выделения насильственно привитых чуждых элементов и считаем возможным, что немецкий дух

одумается и вспомнит о себе. Кому-нибудь может показаться, что этот дух должен начать борьбу с выделения всего романского; внешнюю подготовку и поощрение к этому он мог бы усмотреть в победоносном мужестве и кровавой славе последней войны; внутреннее же побуждение к тому он должен искать в чувстве соревнования, в стремлении быть всегда достойным своих великих предшественников и соратников на этом пути... Но пусть не приходит ему в голову, будто он может вести подобную борьбу помимо своей мифической родины, помимо “возвращения” всего немецкого! И если бы немец стал робко оглядываться и искать себе вождя, способного снова ввести его в давно утраченную родину, пути и тропы в которую он только еле помнит, – то пусть прислушивается он к радостно манящему зову дионисической птицы, она носится над ним и готова указать ему дорогу туда»^[45].

Позднее один из самых непримиримых противников Ницше в европейской культуре, Г. К. Честертон, говорил о нем, что тот, кто вовремя не размягчит своего сердца, кончит размягчением мозга. Честертон имел в виду ту мучительную болезнь, от которой Ницше умер, – результат сифилиса. Пройдет несколько десятилетий – и нацисты, освобождая немецкий народ от «химеры по имени совесть», привлекут Ницше к себе в союзники, препарировав его идеи для своих целей. Хотя справедливости ради надо сказать, что сам Ницше, человек лично благородный и добрый, от таких «единомышленников» решительно бы отказался. Во всяком случае, юдофобов он глубоко презирал и считал их «недочеловеками». Но, как известно, Иван Карамазов размышляет и говорит, а Смердяков, услышав, идет и убивает. Персонажи, подобные манновскому Дидериху Гесслингу из романа «Верноподданный», коих в Германии было немало, удовольствовались

примитивными и адаптированными специально для их понимания выжимками из Ницше на уровне «трех К» в мужском и женском вариантах или же плетки в руках мужчины, входящего в спальню к женщине. Для обывателей, жаждущих власти над миром, очень кстати пришлось и неприятие евангельской вести, уравнивающей в драгоценности касту господ с обитателями трущоб и углов. Недаром же Гитлер называл апостола Павла агентом международного еврейского заговора и считал, что его проповедь привела к разрушению Римской империи.

Но, помимо этого, влияние Ницше на всю европейскую, в том числе и русскую культуру рубежа XIX–XX столетий, было огромным. Достаточно вспомнить хотя бы пьесу Горького «На дне» – знаменитый монолог Сатина о человеке. То, что Сатин во многом был рупором самого автора, сумел догадаться один из глубочайших знатоков литературы – И. Ф. Анненский. Он же разглядел еще тогда страшную горьковскую религию человекобожества. В своей статье «Драма на дне» Анненский писал: «Слушаю я Горького-Сатина и говорю себе: да, все это и в самом деле великолепно звучит. Идея одного человека, вместившего в себя всех, человека-бога (не фетиша ли?) очень красива. Но отчего же, скажите, сейчас из этих самых волн перегара, из клеток надорванных грудей полетит и взовьется куда-то выше, на сверхчеловеческий простор дикая острожная песня? Ох, гляди, Сатин-Горький, не страшно ли уж будет человеку-то, а главное, не безмерно ли скучно ему будет сознавать, что он – все, и что все для него и только для него?»^[46] Слова Анненского оказались провидческими.

Пройдет время – и монолог о гордо звучащем человеке обернется другим изречением писателя: «Если враг не сдастся – его уничтожают».

Тот же человекобожеский апофеоз слышится и в стихах Брюсова:

Молодой моряк вселенной,
Мира древний дровосек,
Неуклонный, неизменный,
Будь прославлен, человек!

<...>

Царь несытый и упрямый
Четырех подлунных царств,
Не стыдясь, ты роешь ямы,
Множишь тысячи коварств,
Но, отважный, со стихией
После бьешься, с грудью грудь,
Чтоб еще над новой выей
Петлю рабства захлестнуть.

<...>

И насельники вселенной,
Те, чей путь ты пересек,
Повторят привет священный:
Будь прославлен, Человек!^[47]

Ницшеанские усы стали своеобразным знаком новой эпохи. Они топорщились не только у Горького и Брюсова, но и на рябом лице «гения всех времен и народов».

А поколение символистов, поголовно увлеченное Ницше, вычитало из него совсем не то, что позже – немецкие наци, но отнюдь не что-то доброе и здоровое. Упоение возможностями, лежащими «по ту сторону добра и зла», смешение «божественного» и стихийного в этом новооткрытом ницшеанском «дионисийстве» было основано на сущностной лжи и лицедействе. Человек не способен на самом деле стать языческим богом или зверем. Он может только вообразить себя

«стихией», «вжиться в роль», сделавшись при этом просто-напросто плохим человеком. После веков христианской культуры нельзя превратиться в настоящего жреца древнего языческого культа, скифа или викинга-берсерка. Можно только более или менее удачно стилизоваться, не без риска потерять самого себя.

Вячеслав Иванов прочитал Ницше, когда русский символизм был еще в колыбели, а его будущий друг Дмитрий Мережковский готовил свою знаменитую лекцию, давшую старт этому новому направлению в России. От русской литературной жизни Вячеслав Иванов, живший в Германии и занимавшийся римской историей и греческой словесностью, был далек. Он читал Ницше глазами не символиста, а интеллигента 1880—1890-х годов и филолога-классика, взяв у него только то, что ему самому было нужно и близко. Иванов сразу отменил ницшеанский культ силы и имморализм, но воспринял «сверхчеловеческое» как начало, связанное не с тем или иным индивидуумом, а как вселенское, хоровое и религиозно осмысленное. Это было другой крайностью и носило в себе более тонкий яд, который надолго отравил мечту поэта о преображающем мир всеобщем действе. Будущая «соборная» утопия Вячеслава Иванова парадоксальным образом сочетала в себе два несовместимых, казалось бы, состояния: келейное одиночество и всенародный оргийный экстаз. Именно так, полагал он, должен осуществиться шиллеровский призыв из гимна «К радости» – «Обнимитесь, миллионы!». Вслед за Ницше Вячеслав Иванов сделал ставку на хмельное, «ночное», стихийно-темное в человеке. Этот дионисийский экстаз с его неоформленностью и укорененностью в «древнем хаосе», который с таким ужасом прозревал Тютчев, пришелся очень впору русской душе. Нередко он давал о себе знать и в истории. В книге «Мирозерцание

Достоевского» Бердяев вспоминал слова одного поляка, ставшего свидетелем революции: «Дионизос прошел по русской земле». Еще с античных времен дионисийство, отмыкавшее все темные бездны и источники человеческой природы, виделось противоположностью культу Аполлона – бога гармонии и красоты. Как писал Ницше: «С <...> двумя божествами искусств, Аполлоном и Дионисом, связано наше знание о той огромной противоположности в происхождении и целях, которую мы встречаем в греческом мире между искусством пластических образов – аполлоническим – и непластическим искусством музыки – искусством Диониса; эти два столь различных стремления действуют рядом одно с другим, чаще всего в открытом раздоре между собой и взаимно побуждая друг друга ко все новым и более мощным порождениям, дабы в них увековечить борьбу названных противоположностей...»^[48]

Противостояние двух этих начал знакомо нам и по стихотворению Пушкина «В начале жизни школу помню я...», где речь идет о статуях царскосельского сада. Поэту оно было ведомо еще с юных лет отнюдь не понаслышке, а по непростой борьбе со словесной стихией и по столкновению гармонии и хаоса в собственном внутреннем мире:

Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.

Один (Дельфийский идол) лик молодой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.

Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал —

Волшебный демон – лживый, но прекрасный.

Пред ними сам себя я забывал;
В груди младое сердце билось – холод
Бежал по мне и кудри подымал.

Безвестных наслаждений ранний голод
Меня терзал – уныние и лень
Меня сковали – тщетно был я молод.

Средь отроков я молча целый день
Бродил угрюмый – все кумиры сада
На душу мне свою бросали тень [\[49\]](#).

Искушение этими «кумирами», особенно вторым, Дионисом, Вячеслав Иванов благодаря Ницше испытал в полной мере. Идеал был «сомнительным и лживым», но источник, бьющий в глубинах человеческой души, пусть даже и безмерно замутненный, – настоящим. Он таил огромные, подлинные жизненные силы, отвергнуть которые означало бы для человека самооскопление. Их надо было преобразить, очистить в пламени духа, в творчестве.

Соприкосновение с Ницше и через него – с дионисийством, ставшее для Вячеслава Иванова потрясением, излечило его от духовной робости и скованности. Поэт перестал прятаться от своего главного призвания за академические занятия, которые – не будем умалять их огромного значения – тоже дали ему бесконечно много.

Но еще более мощным, поистине грозovým потрясением, полностью изменившим всю жизнь, стала другая встреча.

Учась в семинарии Моммзена уже пять лет, Вячеслав Иванов очень много работал в библиотеках Берлина,

Парижа и Лондона, но все не решался поехать в Рим. Он словно считал себя недостойным увидеть Вечный город, которому предстояло сыграть главную роль в его судьбе и поэзии. Рим для него всегда был сердцем Европы и мира. Вячеслав чувствовал, что еще не готов услышать и различить за шумом повседневности его главную всечеловеческую весть, разглядеть связь времен и непрерывную актуальность за застывшей, казалось бы, древностью и артефактами. С великими городами у поэта отношения складывались непросто, но с Римом – в особенности. Позднее один из постоянных гостей ивановской «башни» в Петербурге, Осип Мандельштам, скажет об этом с абсолютной точностью:

Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью бренной.
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во Вселенной.

Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны,
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари^[50].

Все же недаром гласит древняя латинская поговорка: «Все дороги ведут в Рим». Сколько бы его ни кляли, ни объявляли отлученным от благодати, падшим, или же, наоборот, захолустным городом, утратившим свое прежнее всемирное значение, сколько бы ни появлялось на путях истории «вторых» и «третьих» Римов, первый продолжал стоять. По множеству того страшного и постыдного, что в нем совершалось, само его существование порой казалось немислимым, но главная тайна Вечного города превосходит любое человеческое разумение. Ключ к ней – в словах

Спасителя, сказанных апостолу Петру: «И я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф., 16, 18).

Старая пословица всегда оставалась неизбывной. В Рим вели не только Аппиева, и другие дороги, сходящиеся у камня на Форуме, но и иные пути – исторические, философские, научные, культурные, духовные. Лежал туда и путь молодого ученого Вячеслава Иванова.

Как ни откладывал он свою неизбежную встречу с Римом, все же ей суждено было состояться. В Рим Вячеслав впервые приехал в 1892 году – по заданию профессора Моммзена. Ему предстояло доделывать там свою латинскую диссертацию. Жить и работать в Риме Вячеслав собирался долго, поэтому взял с собой жену и дочку. Сняв жилище, он тут же включился в деятельность германского Археологического института, питомцев которого римляне называли *ragazzi Capitolini* (капитолийские юноши). Вместе с ними он участвует в обходах древностей, изучает римскую археологию, латинские надписи. О своей тогдашней жизни в Риме Вячеслав Иванов рассказывал потом в «Автобиографическом письме»: «Думал только о филологии и археологии и медленно перерабатывал заново, углублял и расширял свою диссертацию, но подолгу обессиливал вследствие изнурявшей меня малярии. Жизнь в Риме принесла с собою немало новых знакомств с учеными (вспоминаю, какими они были в ту пору, профессоров Айналова, Крашениникова, М. Н. Сперанского, М. И. Ростовцева, покойных Кирпичникова, Модестова, Редина, Крумбахера, славного Дж. Б. де-Росси) и с художниками (братья Сведомские, Руццони, Нестеров, подвижник катакомб – Рейман)»^[51]. Вячеслава Иванова окружали русские, немцы, итальянцы – люди, живущие для науки и

искусства. Так прошел год. Дионисийство, воспринятое через Ницше, было до поры только теорией, усвоенной умом. И вдруг словно бурей взметнулось оно в душе Вячеслава. Летом 1893 года он встретил в Риме Лидию Зиновьеву-Аннибал.

Ее отец, Дмитрий Зиновьев, вел свой род от сербских князей Зиновичей и принадлежал к высшей петербургской знати. Дядя был одним из воспитателей Александра III. Мать Лидии, урожденная баронесса Веймарн, шведка по отцу, по материнской линии происходила от Абрама Ганнибала - «арапа Петра Великого».

Лидия росла ребенком своенравным, буйным, подчас диким. Сказывались две знойные южные крови, текущие в ее жилах, - африканская, доставшаяся в наследство от черного пращура, и сербская. Из нее пытались сделать благодетельную барышню, приглашали к ней лучших учительниц и гувернанток, но все тщетно. Светское воспитание и благопристойное поведение были противны самой ее природе, основу которой составляла неистовая, не знающая берегов жажда жизни. Читать и учиться, в отличие от Вячеслава, она ненавидела.

В детстве Лидия пережила тяжелое душевное потрясение, после чего утратила веру в Бога. Тогда она стала совсем несносной. Родители для исправления отправили дочку в Германию и определили ее в закрытую лютеранскую школу диаконис. В школе этой царила мрачная и суровая атмосфера. На всем лежала печать смертельной скуки. Пасторы и учительницы будто намеренно стремились отбить у девочек любовь к Богу, превращая Священное Писание в должностную инструкцию и представляя Небесного Отца эдаким строгим воспитателем, неукоснительно наказывающим за малейшее непослушание. Могла ли Лидия не взбунтоваться! Она изводила своей дерзостью

школьное начальство и восхищала аккуратных и дисциплинированных подружек, неспособных на такой отчаянный протест. Однажды директриса, выведенная из себя очередной ее выходкой, воскликнула: «Какой злой дух вселился в тебя?» «Русский!» – крикнула в ответ Лидия. С тех пор в школе ее прозвали «русским чертом». В характере девочки отчетливо проявились губительные черты, в том числе и склонность к самоубийству. Но не менее острым в ней было чувство справедливости и неприятия ханжества и несвободы. Другое дело, что выражалось оно стихийно и слепо.

Наконец чинная и чопорная обитель правильного воспитания извергла «русского черта» – Лидию исключили из лютеранской школы.

Когда она со вздохом облегчения вернулась домой, родители пригласили к ней, в то время уже семнадцатилетней барышне, в домашние учителя молодого историка, оставленного при университете для получения профессорского звания, Константина Семеновича Шварсалона. Он увлекательно рассказывал Лидии на уроках об Александре Македонском и героях Древнего Рима, с жаром говорил своей юной ученице о «лучших людях», жертвовавших всем народу, и о каком-то «великом общем деле», которое уже началось. Вскоре Лидия узнала от него, что он социалист, хотя при этом молодой ученый не упускал случая упомянуть о своих именитых французских предках. Лидия всем сердцем внимала ему, стремясь к самопожертвованию, подвигу во имя высшей правды. Ей не терпелось участвовать в деле освобождения народа от деспотизма. И в конце концов произошло то, что часто бывает, когда молодой человек выступает в роли наставника, а девушка – в роли ученицы. Повторилась история Сен-Прё и Юлии (герои романа Руссо «Юлия, или Новая Элоиза»). Лидия влюбилась в учителя и решила связать с ним свою жизнь, чтобы вместе с

любимым человеком бороться за священные идеалы свободы и справедливости. О своем решении она объявила отцу и матери. Те, видя решимость дочери и зная ее характер, после недолгих препирательств согласились на ее брак с Константином Шварсалоном – все же человек если и не из знатной, то хотя бы из приличной семьи, к тому же будущий университетский профессор.

Сразу после свадьбы Лидия примкнула к социал-революционерам и устроила у себя конспиративную квартиру, чем повергла в ужас и родителей, и, что казалось ей уж совсем удивительным, мужа. В чем же крылась разгадка такой странной перемены в его настроении? Да в том, что на самом деле Константин Семенович Шварсалон вовсе не торопился «в стан погибающих за великое дело любви». Все разговоры о жертвенности, героизме и социализме были для него только способом обольстить знатную и богатую наследницу, жениться на ней и зажить припеваючи. «Борец за всенародное счастье» на поверку оказался очень мелким и своекорыстным пошляком. Пока жена «делала революцию», муж, получив богатое приданое, изменял ей направо и налево. Ничего не подозревавшая Лидия родила ему двух сыновей и дочь, но, узнав об изменах супруга, пришла в негодование, забрала детей и уехала вместе с ними за границу.

Когда семейство жило во Флоренции, Лидия встретила там со своим старым петербургским знакомым – историком-медиевистом Иваном Михайловичем Гревсом, будущим учителем одного из величайших русских мыслителей XX века Г. П. Федотова. Во Флоренции Гревс был проездом в Рим, куда ехал специально для научных бесед с Вячеславом Ивановым, имевшим уже репутацию серьезного и подающего большие надежды ученого. Когда-то именно Гревс, который познакомился с

Вячеславом в Парижской Национальной библиотеке, помог ему побороть страх перед Римом и убедил в необходимости увидеть Вечный город воочию. Теперь же Иван Михайлович предложил Лидии составить ему компанию в путешествии и обещал познакомить с «замечательным человеком», непревзойденным знатоком Рима.

Первая встреча Вячеслава и Лидии произошла в жаркий июльский полдень, когда Рим был похож на раскаленную печь. Римляне называют это время года «рычанием звездного Льва» – по созвездию, царящему в небе. Лишь только они приблизились друг к другу, в обоих точно молния ударила.

Потом были их совместные с Гревсом прогулки по Риму – с увлекательнейшими, головокружительными рассказами Вячеслава, который знал Вечный город и его историю лучше, чем свой собственный дом. Римская древность словно оживала у них на глазах. Гревс очень радовался тому, что эти беседы развлекли Лидию, видел, что она пришла в себя, отвлеклась от мрачных мыслей и повеселела. Он и предположить не мог, чем обернется их знакомство с Вячеславом...

После Рима Лидия с детьми вернулась в Петербург, но скоро почувствовала, что жить прежней жизнью ей уже совсем не хочется. В глубине ее души незаметно для нее самой произошел поворот к новому. Увлечение революцией, конспирацией и нелегальной литературой, к большому огорчению «товарищей по борьбе», закончилось. Не последнюю роль здесь сыграли беседы с Вячеславом Ивановым. Когда-то в юности сам переживший и изживший революционные настроения, он сумел убедить Лидию в том, что этот путь бесплоден. Попытка насильственного изменения жизни общества без внутреннего преображения человека всегда кончается тупиком. Она чревата лишь бесчисленными напрасными жертвами и куда более

страшной несвободой, чем прежде. Гораздо важнее раскрыть в себе свои собственные таланты и приумножить их. Этим и всему «угнетенному человечеству» можно помочь намного больше, нежели призывами «брать права» и подпольными типографиями. Вячеслав посоветовал Лидии заняться музыкой и пением. Через год, продав свой дом в Петербурге, она вместе с детьми переехала во Флоренцию, чтобы учиться искусству вокала. Но этому предшествовало ее исповедальное письмо Вячеславу, на которое тот, боясь своих собственных чувств, ответил учтиво и уклончиво. Тем не менее, получив телеграмму Лидии о приезде, он встретил ее. К тому времени Вячеслав поселился во Флоренции вместе с Дарьей Михайловной и Сашенькой, наезжая в Рим только для научных занятий.

На флорентийском вокзале, как всегда, было шумно. Спешили люди, наперебой кричали носильщики и извозчики, предлагая свои услуги. Встретив Лидию с ее тремя детьми и тремя девушками-питомицами, Вячеслав взял на руки спящую четырехлетнюю Веру и отправился нанимать «веттуруино». Лидия шла рядом с ним.

Наняв жилище и освоившись на новом месте, она стала часто бывать в гостях у Ивановых. Дарья Михайловна всегда принимала ее очень приветливо. Добрая и сострадательная, она, видимо, по-женски сочувствовала Лидии, зная ее прежнюю нелегкую жизнь. Помимо этого обеих сблизил любовь к музыке. Сама не подозревая того, Дарья Михайловна невольно способствовала разгоравшейся день ото дня тайной, с трудом сдерживаемой страсти мужа. А когда пламя вырвалось наружу, гасить его было уже поздно. Вячеслав Иванов мучился, изо всех сил пытаясь преодолеть это преступное чувство. Он намеренно избегал встреч с Лидией, боясь потерять из-за

безумного влечения к ней семью, разлучиться навсегда с женой и дочкой, которых бесконечно любил. Вячеслав надолго уезжал из Флоренции в Рим, много времени проводил там на археологических раскопках, всего себя отдавал научным изысканиям, вел полную трудовую одинокую жизнь, но – не выдержал. Вернее, не выдержали оба. В марте 1895 года в Риме и произошла та роковая встреча Вячеслава и Лидии, которая окончательно обозначила собой перелом в их судьбе, теперь уже единой. Как когда-то Мартовские иды открыли новую эпоху в истории Вечного города, так и этот март стал началом их новой жизни. Но для Вячеслава – страшным и горьким. Совесть и сознание совершенного им смертного греха терзали его, ни на миг не давая покоя. И вместе с тем он уже не мыслил себя без Лидии. Вячеслава словно разрывало надвое. Прекрасная римская весна с ее первой зеленью, с пробуждением к жизни всей природы была для него отравленной.

Однажды, проходя мимо старого кладбища Кампо Верано, по-прежнему объятый сердечной смутой, не находя разрешения своей боли, Вячеслав вдруг ощутил горячее дыхание весенней земли, пьянящий запах трав и цветов. Ему открылось вечное соседство жизни, смерти и любви, неразрывность горечи и радости. Словно неведомый прежде глубинный ключ пробился в его измученной душе, неся облегчение. Он упал на землю и зарыдал. А в памяти будто отзывались дорогие с давних пор строки: «Богородица – великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная и всякая слеза земная – радость нам есть; а как напоишь слезами своими под собой землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься»^[52].

С этой минуты в сердце Вячеслава произошел решительный перелом. Он ясно осознал, что вернуться к прежней жизни уже невозможно. Да и жена, хотя и молчала, все давно почувствовала и поняла. Дарья Михайловна видела, что Лидия навсегда вошла в жизнь Вячеслава, и как бы он ни пытался победить свою страсть, это было выше его сил. Поэтому, когда летом того же 1895 года – ровно два года спустя после первой встречи с Лидией – муж открыто во всем покаялся, сказал, что хочет сохранить семью, но ему понадобится время, чтобы одолеть «это демоническое наваждение», и просил не разъезжаться с ним, Дарья Михайловна, выслушав Вячеслава, решительно потребовала развода. В тогдашней интеллигентской среде, к которой они оба принадлежали, считалось, что если любовь исчерпала себя, то незачем сохранять и брак. «Умри, но не дай поцелуя без любви!» Эти слова из романа «Что делать?», бывшего настольной книгой «передовых людей» того времени, сделались руководством к действию. Достаточно вспомнить, как повели себя в похожей ситуации герои Чернышевского. А в жизни им стремились подражать очень многие...

Дарья Михайловна приняла решение вернуться вместе с Сашенькой в Москву. Вячеслав сопровождал их туда. В Москве он оформил бумаги, необходимые для бракоразводного процесса, и навестил Александру Дмитриевну. Мать была тяжело больна, и он не стал рассказывать ей о распаде своей семьи. Но мудрая женщина обо всем догадывалась и, хотя не подавала виду, глубоко переживала то, что происходило с сыном. Александра Дмитриевна всегда чутко ощущала его внутреннее неблагополучие. Спасала от отчаяния, как встарь, крепкая и ясная вера. Чудо с предсмертным обращением мужа научило ее во всем полагаться на Бога, способного вытащить человека из любой

пропасти. Кому могут быть ведомы Его замыслы и пути, какими Он ведет таких разных людей!

Мать Дарьи Михайловны, узнав о произошедшем, забрала дочь и внучку и переехала в Харьков. Вячеславу она сказала, что не может допустить даже случайной его встречи с Дашей или Сашенькой, поскольку он непременно должен будет наезжать в Москву, чтобы навещать свою мать. Впоследствии, когда Дарья Михайловна с домашними жила в Харькове, о ее разводе с Вячеславом узнал прежний поклонник – молодой филолог, ставший затем профессором Дерптского университета. Он тут же приехал к ней с предложением руки и сердца, но получил отказ. Дарья не захотела предать своей первой любви. С бывшим мужем она сохранила добрые отношения. Но память об этом расставании всегда отзывалась для Вячеслава горьким упреком его совести.

Вячеслав вернулся из Москвы в Рим и вновь встретился там с Лидией. Теперь, после всех пережитых страданий, с ним произошла разительная перемена. Потрясение полностью обновило его. А рядом была та, что силой своей любви, солнечным, щедрым жаром вселяла в него жизнь. Потом он вспоминал: «Встреча с нею была подобно могучей весенней дионисийской грозе, после которой все во мне обновилось, расцвело и зазеленело»^[53].

Когда приятель Вячеслава и Лидии, Иван Михайлович Гревс, невольный виновник их встречи, строжайший пуританин, тем не менее не осудивший своих друзей, узнал обо всем произошедшем, то, горестно покачивая головой, сказал: «Вот до чего доводит Ницше, вот до чего доводит Дионис».

Но эта дионисийская буря имела для внутренней жизни Вячеслава Иванова парадоксальное значение.

Любовь к Лидии охватила все его существо. Пройдя через трагедию, он обрел катарсис, очищение.

Ведь «любственное исступление», «выход из самого себя», ломающие барьеры обыденности, помогают вырваться и из плена эгоцентризма. И тогда любимый человек ощущается уже не как «он» или «она», а как другое «Я», безмерно более драгоценное тебе, чем твое собственное. Бытие и счастье того, кого любишь, наполняются вселенским смыслом. В опыте любви земной, личностно направленной, любви-самоотречения происходит соприкосновение и с любовью Божественной, всегда крестной. Человек научается через этот опыт любить и чувствовать Бога.

Много лет спустя в своей книге о Достоевском Вячеслав Иванов напишет: «Его проникновение в чужое я, его переживание чужого я, как самобытного, беспредельного и подвластного мира, содержала в себе постулат Бога как реальности реальнейшей всех этих абсолютно реальных сущностей, из коих каждой Он говорил всею волею и всем разумением: “Мы еси”»^[54]. Эти слова в полной мере относятся и к духовному опыту самого Вячеслава Иванова. Если Достоевский пережил соприкосновение с высшей реальностью перед лицом смерти, на эшафоте, то Вячеслав Иванов – через огромную, грозную любовь, вместившую и боль, и радость. Но и смерть, и любовь в равной степени связаны с прорывом из повседневности в иное измерение и к иным глубинам. Позже, подводя итог тому, что довелось ему в те годы пережить, Вячеслав Иванов писал: «Властителем моих дум все полнее и могущественнее становился Ницше. Это ницшеанство помогло мне – жестоко и ответственно, но по совести правильно – решить предстоящий мне в 1895 году выбор между глубокою и нежною привязанностью, в которую обратилось мое влюбленное чувство к жене, и

новой, всецело захватившей меня любовью, которой суждено было с тех пор, в течение всей моей жизни, только расти и духовно углубляться, но которая в те первые дни казалась как мне самому, так и той, которую я полюбил, лишь преступною, темною, демоническою страстью... Друг через друга нашли мы – каждый себя и более, чем только себя: я бы сказал, мы обрели Бога»^[55].

Итак, как бы парадоксально это ни прозвучало, но именно Ницше со своим «дионисийством» подтолкнул Вячеслава Иванова на путь к Христу. Божий свет может неожиданно сверкнуть в самой глубокой тьме. К вере порой идут очень хитрыми и непростыми дорогами.

Впрочем, окончательно разобраться с Ницше Вячеславу Иванову еще предстояло в будущем.

Теперь же с ним происходило то чудесное, чего совсем недавно он и ожидать не мог. Вулканическая сила любви пробудила к новой жизни его главное призвание. После долгого молчания в Вячеславе вновь очнулся поэт. Неизбывными оказались давнее новогоднее предсказание матери и провидческая догадка гимназического друга.

То чувство, которым жили и Вячеслав, и Лидия, сплавившее их в одно неразрывное целое, отозвалось в сонете «Любовь» – одном из лучших образцов русской любовной поэзии:

Мы – два грозой зажженные ствола,
Два пламени полуночного бора;
Мы – два в ночи летящих метеора,
Одной судьбы двужалая стрела!
Мы – два коня, чьи держит удила
Одна рука, – одна язвит их шпора;
Два ока мы единственного взора,
Мечты одной два трепетных крыла.
Мы – двух теней скорбящая чета

Над мрамором божественного гроба,
Где древняя почитает Красота.
Единых тайн двугласные уста,
Себе самим мы – Сфинкс единый оба.
Мы – две руки единого креста^[56].

В конце лета того же 1895 года Вячеслав Иванов представил Берлинскому университету свою кандидатскую диссертацию о государственных откупах в Риме. И Моммзен, и другие профессора оценили ее очень высоко. Они уговаривали Вячеслава Иванова остаться в Германии и сулили ему блестящую профессорскую карьеру. Но Вячеслав отказался от этого заманчивого предложения. Древнеримская история уже не так его привлекала. Кроме того, было и внешнее препятствие, не дававшее ему возможности спокойно работать ни при Берлинском, ни при Московском университете, – он не мог обвенчаться с Лидией Дмитриевной. Ее супруг отказывал ей в разводе по соображениям исключительно материальным, не желая делить имущество, хотя фактически брак их уже давно распался. Из-за этого Вячеслав и Лидия должны были скрываться и менять места жительства в Европе, а Лидия – еще и прятать своих детей, которых грозился отобрать с помощью суда Константин Шварсалон. Несколько лет они скитались по разным городам и селениям Италии, Франции, Англии и Швейцарии. Даже в Россию, чтобы навестить родных, они приезжали порознь и без детей.

Но не только с этими обстоятельствами был связан его отказ от университетской карьеры. Он окончательно решил заниматься не римской историей, а древнегреческой филологией. Но еще важнее было то, что во все дни своей жизни в глубине души Вячеслав Иванов осознавал себя прежде всего поэтом. Даже

когда он надолго умолкал, это ощущение не покидало его. Теперь же любовь зажгла в нем вдохновение и огонь, столько лет теплившийся в душе и вдруг вспыхнувший до небес.

За пробуждением поэзии последовали и начало литературного пути, и та встреча, которая изменила жизнь Вячеслава Иванова безмерно глубже, чем знакомство с книгами Ницше и «дионисийство».

Глава III

Два собеседника. 1896-1904 годы

1896 год обозначился для Вячеслава Иванова двумя событиями. Первое было скорбным. В апреле, живя с Лидией в Париже, он получил известие о смерти матери. Вячеславу было горестно, что он не успел проститься с Александрой Дмитриевной. Но материнская любовь осталась его незримой и неизменной спутницей на всю жизнь.

В парижском православном храме Вячеслав заказал литургию и панихиду о матери. К тому времени он уже давно вернулся к вере в Бога, но от Церкви по-прежнему оставался далек. Во время службы, слушая родной с детских лет, прекрасный и возвышенный язык богослужения, он вдруг почувствовал таинственное, живое присутствие матери в храме. Пространство и смерть не были здесь помехой для их единения. Этот опыт остался в сердце Вячеслава навсегда и в будущем не раз помогал ему в скорбные дни его жизни.

И в том же самом апреле вслед за горем пришла радость. 28 апреля у Вячеслава и Лидии родилась дочь. Ее назвали в честь матери – Лидией. Впоследствии она станет пианисткой и композитором, ученицей Александра Гольденвейзера, а затем Отторино Респиги и автором книги воспоминаний об отце.

Как когда-то мать, теперь Лидия Дмитриевна укрепляла в Вячеславе самоощущение поэта. Ранние стихи мужа ей не нравились. Она провидела другие, еще ненаписанные...

А в России тем временем явственно обозначалась новая эпоха в ее словесности. Еще в 1892 году молодой

поэт Дмитрий Мережковский прочел в Петербурге лекцию «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». На следующий год она вышла отдельным изданием. Полемизируя в ней с «публицистическими народническими» схемами в оценке литературы, Мережковский провозглашал намерение продолжить великие традиции «золотого века», вернуть читателю поэзию. И в самом деле, в 1880-1890-е годы гораздо больше читали даже не прозу, а публицистику. Многие считали это время провалом в русской поэзии. Но тогда же писали Майков, Фет и Полонский, постоянными гостями на «пятницах» которого были сам Мережковский и его жена Зинаида Гиппиус. Провал произошел, но не в поэзии, а у читателя.

Трагедию Новейшего времени Мережковский осмыслял, сопоставляя его с двумя другими эпохами – Средневековьем и Просвещением: «В эпоху наивной теологии и догматической метафизики область *Непознаваемого* постоянно смешивалась с областью *непознанного*... Мистическое чувство вторгалось в пределы точных опытных исследований и разрушало их...

Новейшая теория познания воздвигла несокрушимую плотину, которая навеки отделила твердую землю, доступную людям, от безграничного и темного океана, лежащего за пределами нашего сознания. И волны этого океана уже более не могут вторгаться в обитаемую землю, в область точной науки...

Теперь последний догматический покров навеки сорван, последний мистический луч потухает. И вот современные люди стоят беззащитные, – лицом к лицу с несказанным мраком, на пограничной черте света и тени, и уже более ничто не ограждает их сердца от страшного холода, веющего из бездны... Всем

существом мы чувствуем близость тайны, близость океана. Никаких преград! Мы свободны и одиноки! – С этим ужасом не может сравниться никакой порабощенный мистицизм прошлых веков. Никогда еще люди не чувствовали сердцем необходимость верить и так не понимали разумом невозможность верить»^[57].

За этими словами Мережковского стоял опыт величайшего провидца XIX столетия, одного из предтеч поэзии Нового времени – Ф. И. Тютчева. Вернее, два его стихотворения. Первое из них – «На мир таинственный духов»:

И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ней и нами...
Вот отчего нам ночь страшна!^[58]

Второе стихотворение – «Наш век»:

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры – но о ней не просит...^[59]

Для того чтобы глубже понять и воссоздать такое состояние человеческого духа, новое искусство, полагал Мережковский, непременно должно быть символическим. Но символ в поэзии рубежа XIX–XX столетий действует иначе, нежели в древнеегипетском

или в античном искусстве. Об этом он писал так: «Символы должны естественно и невольно выливаться из глубины действительности. Если же автор искусственно их придумывает, чтобы выразить какую-нибудь идею, они превращаются в мертвые аллегории...

У Ибсена и Флобера, рядом с течением выраженных словами мыслей, вы невольно чувствуете другое, более глубокое течение...

В поэзии то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами. Символизм делает самый стиль, самое художественное вещество поэзии одухотворенным, прозрачным, насквозь просвечивающим, как тонкие стенки алебастровой амфоры, в которой зажжено пламя»^[60].

Помимо этого, Мережковский считал символами вечные архетипы мировой культуры – Дон Кихота, Гамлета, Фауста. Тремя же главными элементами нового искусства он называл мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности.

Статья Мережковского стала первым манифестом русского символизма. Направление это было общеевропейским и в России возникло прежде всего благодаря прививке новой французской поэзии. Впрочем, гораздо большее значение, чем «прививка», имел для рождения русского символизма «ствол» – та богатейшая традиция романтической поэзии, что началась еще Жуковским с его устремленностью к «невыразимому» и продолжилась Пушкиным, Баратынским, Тютчевым, поздним Фетом, отчасти А. К. Толстым, Майковым и Полонским. Символизм органически выростал из этого магистрального направления русской поэзии XIX столетия. Больше того, некоторых «забытых» поэтов, прежде всего

Баратынского и Тютчева, он прочел заново и открыл для читателя. Но главным, что символисты унаследовали от русской философской лирики «золотого века», было стремление выразить на языке поэзии реалии и тайны мира духовного, отношение к земным понятиям и вещам как к знакам для разговора о невидимом. По сравнению с предтечами у них лишь безмерно усложнилось восприятие слова – оно сделалось многозначнее, богаче своими смысловыми оттенками. Увеличились звуковые и ассоциативно-образные возможности стиха. Это новое чувство слова имело у символистов свои глубокие жизненные и мировоззренческие основания. Оно родилось из многократно усложнившегося самоощущения человеческого «я».

Русская поэзия XIX века знала великие прозрения о человеке, будь то трагедия отношений личности и Промысла у Баратынского или же эволюция понимания «я» у Тютчева – от растворения в безликой бездне в духе натурфилософии до утверждения его неповторимости и сущностной бесценности через опыт страдания. Но с наибольшей глубиной человеческий дух во всей своей осколочности и конвульсивной жажде высшей правды и красоты раскрывался тогда, как это ни странно, не в поэзии, а в прозе – у Достоевского. Он ближе всех подошел к тому видению личности, которое возобладало в Серебряном веке. Если прежде человеческое «я» воспринималось трагически, но как нечто целостное, то Новое время увидело его уже иначе. И. Ф. Анненский так писал об этом в «Книге отражений»: «Мелькает я, которое хотело бы стать целым миром, раствориться, разлиться в нем, я – замученное сознанием своего безысходного одиночества, неизбежного конца и бесцельного существования; я в кошмаре возвратов, под грузом наследственности, я – среди природы, где, немо и

незримо упрекая его, живут такие же я, я среди природы, мистически ему близкой и кем-то больно и бесцельно сплетенной с его существованием. Для передачи этого я нужен более беглый язык намеков, недосказов, символов; тут нельзя ни понять всего, о чем догадываешься, ни объяснить всего, что прозреваешь или что болезненно в себе ощущаешь, но для чего в языке не найдешь и слово. Здесь нужна музыкальная потенция слова, нужна музыка уже не в качестве метронома, а для возбуждения в читателе творческого настроения, которое должно помочь ему опытом личных воспоминаний, интенсивность проснувшейся тоски, неожиданностью упреков восполнить недосказанность пьесы и дать ей хотя и более узко-интимное и субъективное, но и более действенное значение. Музыка символов поднимает чуткость читателя: она делает его как бы вторым, отраженным поэтом»^[61].

Тот же мотив, связанный с тайным внутренним надрывом и раздробленностью человеческого я, слышался и в поэзии Анненского – в стихотворении «Его»:

Я – слабый сын больного поколения
И не пойду искать альпийских роз,
Ни ропот волн, ни рокот ранних гроз
Мне не дадут отрадного волнения.

Но милы мне на розовом стекле
Алмазные и плачущие горы,
Букеты роз увядших на столе
И пламени вечернего узоры^[62].

С Анненским словно перекликался Федор Сологуб:

Я также сын больного века,
Душою слаб и телом хил,
Но странно – веру в человека
Я простодушно сохранил^[63].

Но что-то очень похожее звучало в русской поэзии еще задолго до вхождения в нее символистов – в 1855 году, когда старший из поэтов Серебряного века, Иннокентий Анненский, только появился на свет.

Бедняк! и из чего поправ
Ты долг священный человека?
Какую подать с жизни взял
Ты – сын больной больного века?..

Когда бы знали жизнь мою,
Мою любовь, мои волненья...
Угрюм и полон озлобленья,
У двери гроба я стою^[64].

Узнаете? «Поэт и гражданин» Некрасова. С «демократической» традицией (хотя поэзия Некрасова намного глубже любых схем ее социального толкования – он прежде всего огромный художник) символизм был генетически связан в не меньшей степени, чем с «чистой лирикой». Поэты Серебряного века были «детьми народников» и в прямом, и в переносном смысле. Все они, почти без исключения, признавались в любви к Некрасову. Даже Вячеслав Иванов, у которого, в отличие от Сологуба, Блока, Волошина или Гумилева, Некрасов не входил в число любимых поэтов, не обошел его стороной. В 1919 году, отвечая на вопросы знаменитой анкеты К. И. Чуковского о Некрасове, Вяч. Иванов писал: «“Власа” люблю и ценю особенно и с

детства, – следовательно, не за Достоевским, – “Ой, полна, полна коробушка...” – удивительная песня! ... Какой-то довольно ранний сборник его стихов попал мне в руки, когда я был лет 10-11. Я испытал живое ощущение ненастного унылого дня, когда моросит дождь; защемило сердце... Некрасов был по-своему “проклятым” поэтом, поэтом во всяком случае, но таким, у которого отнята благодать»^[65].

Вяч. Иванов не случайно так называл Некрасова. Он сравнивал его с французскими «проклятыми» поэтами – Бодлером, Верленом, Рембо – родоначальниками символизма. И в самом деле, их сближала городская тема. Картины некрасовского Петербурга отзывались парижскими пейзажами Бодлера.

А вскоре новое направление русской литературы вслед за петербургским манифестом Мережковского заявило о себе и в Москве. В 1894-1895 годах один за другим вышли три сборника под названием «Русские символисты», подготовленные к печати молодым поэтом Валерием Брюсовым. Составляли их по большей части стихи самого Брюсова (некоторые из них он публиковал под различными псевдонимами) и нескольких стихотворцев из его окружения. Критика встретила эти новые сборники в штыки. Большинство отзывов были ругательными. У московской публики первые опыты символистов также одобрения не вызвали. Впрочем, и десять лет спустя отношение к ним не изменилось. В очерке «Пленный дух», посвященном памяти Андрея Белого, Цветаева вспоминала, как судила о новом уже поколении символистов ее тетка: «– Последние времена пришли! – кипела она и пенилась на моего тихонько отсаживавшегося отца. – Вот еще какой-то Андрей Белый завелся, завтра читает лекцию. Мало им Горького – Максима, Белый – Андрей понадобился! А то еще какой-то Александр Блок (что за

фамилия такая? Из жидов, должно быть!) сочинил “Прекрасную Даму”, уж одно название чего стоит, стыда нет! Раньше тоже про дам писали, только не печатали, а в стол прятали, – разве что в приятельской компании. А всего хуже, что из приличной семьи, профессорский сын, Николая Дмитриевича Бугаева сын...

– Молодость, Елизавета Евграфовна, молодость! – кротко отвечал мой отец. – А о чем лекции?

– О символизме, изволите ли видеть! То-то символизм какой-то выдумали, что символа веры не знают!..

И не мы одни были такая семья. Так встречало молодой символизм, за редчайшими исключениями, старое поколение Москвы»^[66].

Но отнюдь не только московские тетушки не приняли нового направления русской поэзии, которому предстояло на долгое время стать в ней ведущим. Одним из тех, кто с едким и убийственным сарказмом высказывался о брюсовских сборниках, был великий мыслитель и поэт Владимир Соловьев. Причудливая, нарочитая метафорика ранних символистов (у больших поэтов она была данью неопитству, у эпигонов же эта болезнь приобрела хронический характер) вызывала у Соловьева раздражение и насмешку. На выход сборников «Русские символисты» он откликнулся статьей, которая называлась «Еще о символистах». Но намного более острыми и ироничными, чем сама статья, стали две стихотворные пародии, вошедшие в нее. Об обстоятельствах их создания позже вспоминал в своих мемуарах друживший с В. С. Соловьевым А. Ф. Кони: «В половине девяностых годов он (В. С. Соловьев. – Г. З.) стал говорить об увлечениях некоторых из тогдашних поэтов-символистов... Его сердила и вместе смешила составлявшая будто бы сущность символизма погоня за

вычурностью языка и за сочинением новых темных словечек и немыслимых сочетаний.

“Право, – сказал он, – не так трудно сочинять – именно сочинять – такие стихи. <...> Я, чтобы развлечься от усиленного труда, представил себя символистом и придумал следующие стихи”»[\[67\]](#).

Прежде чем прочитать Кони свои пародии, Соловьев процитировал брюсовский перевод из Метерлинка:

И под кнутом вспоминая
Я вижу призраки охот,
Полузабытый след ведет
Собак секретного желанья[\[68\]](#).

На примере этого четверостишия можно было увидеть один из главных принципов поэтики раннего символизма – сопряжение максимально далеких друг от друга лексико-семантических рядов и планов бытия. Его-то Соловьев, доведя до абсурда, и использовал в своих пародиях. Первая из них была основана на сочетании несочетаемого:

Горизонты вертикальные
В шоколадных небесах,
Как мечты полужеркальные
В лавровишневых лесах.

Призрак льдины огнедышащей
В ярком сумраке погас,
И стоит меня не слышащий
Гиацинтовый Пегас.

Мандрагоры имманентные
Зашуршали в камышах,
А шершаво-декадентные

Вирши в вянущих ушах^[69].

Вторая облекала в орнаментальную «цицероновскую» риторику заурядную обывательскую ситуацию, словно предвещая «монологи» Васисуалия Лоханкина:

На небесах горят паникадила,
А снизу – тьма.
Ходила ты к нему иль не ходила?
Скажи сама!
Но не дразни гиену подозренья,
Мышей тоски!
Не то смотри, как леопарды мщенья
Острят клыки!
И не зови сову благоразумья
Ты в эту ночь!
Ослы терпенья и слоны раздумья
Бежали прочь.
Своей судьбы роди́ла крокодила
Ты здесь сама.
Пусть в небесах горят паникадила, —
В могиле – тьма^[70].

Но именно Владимиру Соловьеву, от души поохотавшему над первыми шагами русских символистов, предстояло уже после смерти стать знаменем для «младших» поэтов этого направления. Его учение о Софии – Божественной Премудрости, Вечной Женственности и Мировой Душе – определило их поэтику и взгляд на предназначение искусства. Все это произойдет почти через десять лет.

Но лишь Вячеславу Иванову суждено было пережить преображающий опыт личного общения с великим

христианином, мыслителем и поэтом. Опыт, после которого прежним оставаться было уже невозможно. И встреча их, сначала заочная, а затем и лицом к лицу, вскоре состоялась.

Дарья Михайловна, которая вопреки воле матери никогда не прекращала с бывшим супругом дружеской переписки, без ведома Вячеслава показала его стихи Владимиру Соловьеву. Тот увидел в них главное, что сам назвал «безусловной самобытностью». Он послал Иванову телеграмму, в которой высоко отзывался о его поэзии и предложил опубликовать некоторые из стихов. Вячеслав согласился. Вскоре, в 1898 и 1899 годах, в журналах «Космополис» и «Вестник Европы» Владимир Соловьев напечатал по несколько стихотворений Вяч. Иванова. Среди них была и «Тризна Диониса», в которой слышались и тютчевские отголоски, и наследие классической филологии, и уроки Ницше, и живое переживание опыта любви через дионисийскую мистику. Неповторимые черты и голос «мэнады» было трудно спутать с чьими-то другими.

Зимой, порою тризн вакхальных,
Когда Мэнад безумный хор
Смятеньем воплей погребальных
Тревожит сон пустынных гор, —

На высотах, где Мельпомены
Давно умолкнул страшный глас
И меж развалин древней сцены
Алтарь вакхический угас, —

В благоговеньи и печали
Воззвав к тому, чей был сей дом,
Мэнаду новую венчали
Мы Дионисовым венцом.

<...>

Тогда пленительно-мятежной
Ты песнью огласила вдруг
Покрытый пеленою снежной
Священный Вакхов полукруг.
<...>

Дул ветер; осыпались розы;
Склонялся скорбный кипарис...
Обнажены, роптали лозы:
«Почил великий Дионис!»

И с тризны мертвенно-вакхальной
Мы шли, туманны и грустны;
И был далек земле печальной
Возврат языческой весны^[71].

Позже Вячеслав Иванов говорил, что не только библейская духовная традиция, но и «эллинская религия страдающего бога», как потом он назовет первую написанную им книгу о дионисийстве, – пролог к христианству для языческого мира, своего рода «ветхий завет язычества». В основе ее – культ бога умирающего и воскресающего, бога – жертвы. Такое предвидение Христа в дохристианском мире было дорого и Владимиру Соловьеву. С ним после той телеграммы Вячеслав Иванов встречался всякий раз, как приезжал в Россию. О его значении в своей жизни поэт лучше всего скажет в «Автобиографическом письме»: «Он был покровителем моей музыки и исповедником моего сердца»^[72]. Но в первую их встречу Вячеслав Иванов прямо заявил Соловьеву, что не согласен ни с одной его мыслью. Соловьев встал, молча обнял и поцеловал своего гостя. Открытость, бесстрашие мысли и внутренняя свобода Вячеслава пришлись ему глубоко

по сердцу. Тогда он пророчески сказал собеседнику: «На нищезанятстве вы не остановитесь».

А ранней осенью 1899 года Соловьев пригласил Вячеслава Иванова посетить его «пустыньку» – так он называл подмосковное имение Узкое, где часто гостил у своего друга,

профессора философии и ректора Московского университета князя Сергея Николаевича Трубецкого. Название этого села было известно еще со второй половины XVI века. Оно принадлежало поочередно Гагариным, Стрешневым, Голицыным, Толстым, и, наконец, последними его владельцами стали Трубецкие. После октябрьского переворота усадьбу сделали санаторием Академии наук. Здесь в разное время отдыхали и лечились многие выдающиеся ученые, писатели и деятели искусства. В конце 1920-х годов в Узком вместе с женой побывал О. Э. Мандельштам, для которого имя В. С. Соловьева всегда было свято. Надежда Яковлевна потом вспоминала: «Когда мы жили в Узком, санатории ЦеКУБУ, разместившегося в усадьбе Трубецких, где умер Соловьев, О. М. поражался, как равнодушно советские ученые занимаются своими делами, пишут статейки, почтывают газеты и слушают радио в том самом кабинете, где... умер Владимир Соловьев. Я тогда не знала ничего про Соловьева, и он с отвращением мне сказал: “Такая же дикарка, как они”... От этой профессорской толпы у О. М. появилось ощущение варварского нашествия в священные места русской культуры»^[73].

Сегодня Узкое, которое по-прежнему остается санаторием Академии наук, уже давно вошло в черту Москвы. До него легко добраться от станции метро «Теплый Стан» или «Коньково». А тогда оно находилось

в значительном отдалении от города, и ехать до него надо было железной дорогой.

В «пустыньку» Владимир Соловьев приглашал только тех, кого считал самыми близкими духовно, своими друзьями. Это была особая честь, которая выпала и Вячеславу Иванову. Владимир Соловьев очень долго и обстоятельно объяснял ему, как добираться до «пустыньки». Вячеслав Иванов очень серьезно и внимательно слушал. И тем не менее в назначенный день, хотя и старался все исполнить в точности, сел не в тот поезд, сошел не на той станции и пошел не по той дороге. Соловьев ждал его тщетно. Но, блуждая по незнакомым лесам и лугам, пытаюсь отыскать путь, Вячеслав вел с Владимиром Соловьевым мысленный разговор. Платоновское эхо через века отзывалось на подмосковных тропах. В античные времена такая беседа называлась диатрибой, то есть диалогом с воображаемым собеседником.

Прежнее общение с Соловьевым не прошло для Вячеслава даром. В нем самом с той поры многое переменилось. Он стал ближе к своему нынешнему собеседнику на пиру мысли. Ницше, говорил Вячеслав, был сущностно не прав, создавая свое учение о сверхчеловеке. Он основывал его на идее «смерти Бога» и богопреемстве человеческого «я». Те же чаяния, что у первых людей из библейского рассказа о грехопадении. И очень похожий итог... Ведь Ницше предполагает вывести своего «сверхчеловека» путем некоего идеального биологического подбора, с помощью егеники, как завершающее звено эволюции. Но «биологический подбор» – это Дарвин. Вот чей голос отчетливо слышен через «дионисийство» Ницше и его идеал сверхчеловека. Все кончается человеком-зверем, особью, а не личностью. И в ответ он словно слышал громовый, раскатистый хохот Владимира Соловьева и вспоминал его слова о том, что человеческое «я»

безусловно в возможности и ничтожно в действительности. Да, Владимир Сергеевич, – мысленно продолжал Вячеслав Иванов, – вы правы: речь должна идти не о сверхчеловечестве, а о богочеловечестве, высшая задача которого – победа над смертью. Обычный страх перед ней – это малодушие, но невозможность примириться с самим фактом смерти отцов и дедов, любимых и друзей, гениев, составляющих славу человечества, и своих собственных потомков, еще не рожденных, есть благородный и нравственно обязывающий стимул нашего пребывания в миру. «Смерть зови на смертный бой» – вот призыв к жизненному подвигу и формула предназначения человека. И победа в этом бою совершается только крестом – лишь в нем Божественная любовь торжествует над смертью.

Смерть и Время царят на земле —
Ты владыками их не зови:
Все, кружась, исчезает во мгле —
Неподвижно лишь солнце любви^[74].

«“Церковь есть таинство вселенской любви и свободного единения во Христе” – пишет Соловьев. Да, церковное сознание столь живо и полнодейственно в нем, что определяет все содержание его философии, – размышлял в пути Вячеслав Иванов. – И это таинство любви всегда лично направлено. Истина оправдывается только будучи созерцаема в другом. “Ты еси” – в этом акте любви и кроется исток познания. Связь “ты” и “я” образуется силою вселенского Логоса. Где двое или трое собраны во имя Христа, там Он сам посреди них. Невидимый союз душ составляет богочеловеческое тело. Об этом ли говорит Соловьев? Или о чем-то еще большем? Спрошу у него».

Но тогда Вячеславу ничего не удалось спросить у Соловьева. До «пустыньки» он так и не добрался. А на следующий день и Владимир Соловьев, и Вячеслав Иванов уехали из Москвы, так и не успев встретиться. И все же, бродя по лесным дорогам и полям, Вячеслав Иванов чувствовал, как что-то новое зреет и явственно прорастает в его душе. Вячеслав понял, чего хочет тот, кого он теперь считал своим учителем, когда говорит, что надо оправдать веру наших отцов, возведя ее на новую ступень разумного сознания. Несостоявшееся свидание все же состоялось.

Последний раз Вячеслав Иванов встретился с Владимиром Соловьевым летом 1900 года в Санкт-Петербурге. Вместе с Ивановым была Лидия Дмитриевна, теперь уже его законная жена. Скрываясь от преследований первого мужа, Вячеславу и Лидии с детьми приходилось постоянно переезжать из одного европейского города в другой. Но вот наконец удалось добиться развода. Радостное известие застало их в Италии, и они сразу же обвенчались в маленькой греческой церкви близ Ливорно. Венчание на этой прекрасной земле, щедро залитой солнечным светом, давно ставшей родной для русской поэзии, было вдвойне праздничным. Вспоминались строки из «Пироскафа» Баратынского:

Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной!^[75]

Поистине, есть в мире места, пробуждающие память об иной красоте... В тот день по греческому обычаю Вячеславу и Лидии на головы надели брачные венцы, сплетенные из виноградной лозы и обвитые белоснежной шерстью ягненка. Для Вячеслава в этом

был отзвук и дионисийства, и раннего христианства с его катакомбной символикой жертвы и евхаристии.

Вскоре семья переехала в Англию, чтобы там определить сыновей Лидии в колледж. Вячеслав считал английское воспитание лучшим для детей, тем более после стольких лет скитаний. Детская память дочери поэта Лидии Ивановой сохранила некоторые черты этого путешествия: «Скала в море в Аренцано; море Неаполя; тесная каюта с круглым окошечком во время мучительного, бесконечного морского переезда в Англию. Мне не спится, я капризничая, сержусь и брыкаю сестричку Еленушку»^[76]. Еленушка, вторая дочь Вячеслава и Лидии, прожила только несколько месяцев и умерла в Лондоне. Через несколько дней рядом с домом, где жили Ивановы, был найден младенец-подкидыш. Убитые горем Вячеслав и Лидия решили, что этот мальчик послан им в утешение, и хотели его усыновить. Но британские законы запрещали иностранцам усыновление подданных Ее Величества. Мальчика забрали в приют. Достигнув совершеннолетия, он, как всякий найденный, должен был служить в Королевском военно-морском флоте.

Перенеся воспаление легких, Вячеслав и Лидия по совету врачей на несколько месяцев поселились в Корнуолле – этом приморском крае Британии с его кельтским колоритом. О тамошней жизни позже вспоминала их дочь Лидия: «Домик маленький, вокруг – степь до самого обрыва над морем, дует свирепый и крепко пропитанный океанскими запахами ветер.

Мама возила с собою нескольких девушек, которых держала как членов семьи. Она их находила в России, где спасала их от разных тяжелых, иногда трагических обстоятельств. Помню Дуню из рыбацкой деревни, Анюту, Олю – дочь пьяницы-художника, прикладных дел мастера, которая потом вышла замуж за нашего друга,

профессора Женевской консерватории Феликса Острога. Вспоминаются еще имена Васюни и Кристины. За воспитанием детей родители очень внимательно следили, но они часто и надолго уезжали, то в Россию, то в Палестину или в Грецию, и практическими подробностями не занимались»^[77].

Побывав в 1900 году в Петербурге и познакомившись с Владимиром Соловьевым, Вячеслав Иванов и Лидия Дмитриевна отправились оттуда в Киево-Печерскую лавру. Произошло это также благодаря общению с Соловьевым. Под его влиянием Вячеслав Иванов начал постепенно возвращаться в Церковь. За прежние пятнадцать лет он исповедовался и причащался всего лишь один раз – перед венчанием со своей первой женой, и то формально, только потому, что этого требовал церковный устав. Такое отношение к Церкви в среде русской интеллигенции было почти всеобщим. Очень немногие в те годы начинали возвращаться к ней, в их числе и Вячеслав Иванов, которому посчастливилось встретить на своем пути Владимира Соловьева, чья гениальность стала для самых чутких из его современников живым свидетельством о Христе. Происходил этот поворот и в душе Лидии. Она, оставив в прошлом увлечение революцией и социализмом, уже давно перестала считать Церковь исключительно реакционной, вредной и пошлой организацией. Медленно, с трудом, Лидия все же приближалась к Церкви.

В Киево-Печерской лавре Вячеслав и Лидия – оба впервые после долгого перерыва, начиная с отроческих лет, – всем сердцем, искренне и сознательно причастились. В их собственной жизни словно воочию оживала евангельская притча – блудные дети возвращались к Отцу, в родной дом.

После причастия Вячеслав и Лидия дали из Киева телеграмму в Петербург Владимиру Соловьеву, спеша поделиться с ним своей радостью. Они еще не знали, что в это время мыслитель умирал под Москвой в «пустыньке» - в Узком. Встреча с ним Вячеслава и Лидии в Петербурге оказалась последней. Тогда Вячеслав Иванов успел сообщить Соловьеву, что готовит к печати первую книгу стихотворений, которые тот когда-то так сердечно напутствовал. Сказал поэт и о своем решении не входить ни в один из тогдашних символистских кругов и сборников, а выступать самому, отдельно. Соловьев одобрил это, обещал Иванову написать статью о нем по выходе его книги и спросил, как она будет называться.

«Кормчие Звезды», - ответил Вячеслав Иванов. «Сразу видно, что вы филолог, - сказал ему Владимир Соловьев. - “Кормчая Книга”, “Номоканон”. Очень хорошо».

«Номоканоном», или - в славянском переводе - «Кормчей Книгой», назывался византийский церковный устав, содержащий непреложные соборные решения. Соловьев понял мысль Вяч. Иванова: как кормщик определяет движение корабля по звездам, так человек строит свой духовный путь по вечным неизблемым истинам. В Средние века говорили, что Господь дал людям две книги - Священное Писание и звездное небо над головой.

Статью о сборнике «Кормчие Звезды» Владимир Соловьев написать не успел. Он умер на пороге XX века, предсказав его катастрофы и чудовищные потрясения, а также небывалый духовный подъем и единение христиан перед лицом главного врага в своем последнем великом произведении - «Три разговора» и входящей в него «Повести об антихристе». Одни его предвидения в XX столетии сбылись, другие - нет, многие только наметились, апокалиптический сценарий

отложился на более поздние времена. Но и у библейских пророков нередко проявлялся «синдром исторической дальнорзости» – сокращение временной перспективы, когда далекое казалось близким. Вне зависимости от этого Владимир Соловьев стал одной из «кормчих звезд» мировой культуры и религиозной мысли. Для Вячеслава Иванова же он навсегда остался любимым и неизменным собеседником.

Первая книга поэта вышла в Петербурге в 1903 году – через два с небольшим года после смерти Соловьева. «Кормчие Звезды» Вячеслав Иванов посвятил памяти матери. Открывалась книга стихотворением, очень характерным для него – с тем мифопоэтическим восприятием космоса, которое соткалось из «дионисийства» и тютчевских уроков «осени первоначальной»:

Вчера во мгле неслись титаны
На приступ молнийных бойниц,
И широко сшибались станы
Раскатом громких колесниц:

А ныне, сил избыток знойный
Пролив на тризне летних бурь,
Улыбкой Осени спокойной
Яснеет хладная лазурь.

Она пришла с своей кошницей,
Пора свершительных отрад,
И златотканой багряницей
Наш убирает виноград.

И долго Север снежной тучей
Благих небес не омрачит,
И пламень юности летучей
Земля, сокрыв, не расточит.

И дней незрелых цвет увядший
На пире пурпурном забвен;
И первый лист любезен падший,
И первый плод благословен [\[78\]](#).

Другое стихотворение, одно из наиболее значимых в книге, носящее название «Красота», Вячеслав Иванов посвятил Владимиру Сергеевичу Соловьеву:

Вижу вас, божественные дали,
Умбрских гор синеющий кристалл!
Ах! там сон мой боги оправдали:
Въяве там он путнику предстал...
«Дочь ли ты земли
Иль небес – внемли:
Твой я! Вечно мне твой лик блистал» [\[79\]](#).

В «Красоте» отозвалась одна из любимых идей Соловьева – о Софии Божественной Премудрости. Философ воспринимал ее как Личность, как живую Сущность – воплощение Добра, Истины и Красоты. О своем мистическом опыте встречи с Софией он поведал в поэме «Три свидания», возвышенной и одновременно полной легкого и светлого юмора. Благоговению и серьезности в ней отнюдь не мешает ни восклицание бонны-немки «Володинька! Ах, очень он глупа!», ни курьезнейший эпизод, когда, уйдя в египетскую пустыню в поисках Софии, ее верный рыцарь попал в плен к бедуинам и, принятый за дьявола из-за своего высокого черного цилиндра, чуть не был убит.

Этими чертами личности и поэзии Владимира Соловьева Вячеслав Иванов бесконечно дорожил, но сам обладал ими весьма в малой степени, особенно в

ранний период. В «Кормчих Звездах» преобладал высокий торжественный настрой, слышался отзвук Пиндарова дифирамба и державинской оды. Язык многих стихотворений, входящих в эту книгу, мог показаться слишком архаическим. Частота употребления старославянской лексики у Вячеслава Иванова была очень велика. Ему и впоследствии нередко ставили это в вину. Гумилев в одной из своих рецензий писал: «Предание не говорит, слагал ли песни царь-волхв Гаспар. Но если слагал, – мне кажется, они были похожи на стихи Вячеслава Иванова. Когда ночью он ехал на разукрашенном верблюде, видя те же пески и те же звезды, когда даже путеводная, ведущая в Вифлеем звезда стала привычной, повседневной, он пел песни, странные, тягучие, по мелодии напоминающие пяти- и шестистопные ямбы, любимый размер В. Иванова...

Стиль – это человек, – а кто не знает стиля Вячеслава Иванова с его торжественными архаизмами, крутыми enjambements, подчеркнутыми аллитерациями и расстановкой слов, тщательно затмевающей общий смысл фразы? Роскошь тяжелая, одурманивающая, варварская, словно поэт не вольное дитя, а персидский царь...»^[80]

А литератор и пародист А. А. Измайлов, писавший под псевдонимом «Аякс», в своей пародии на Вячеслава Иванова вложил в его уста такие слова:

Одре сем на позволь, прелестница, и впредь
Мне уст зной осязать и пышну персей знатность
Пиит истомных «сред», воздам я мзду и Тредь —
Яковского стихом твою вспою приятность^[81].
Хмель чарый, звончат глас, свирель утомных
кущ
Я паки в стих приял – стих плесни полн и
ржавин.

Сокровный мне в волшбе, из круговратных пущ,
Взревев, взревновал Державин^[82].

Но было бы чудовищной несправедливостью упрекать Вячеслава Иванова в намеренном архаизаторстве и стилизованности. Ведь и сам старославянский язык – во многом книжный, искусственный, но от этого не менее прекрасный – создавался когда-то для перевода священных книг с греческого и воспринял вместе с его словообразовательными моделями величавость и благозвучие, наследие Гомера, Эсхила и Демосфена. Для Вячеслава Иванова, филолога-классика, укорененного и в античной, и в мировой культуре, такое глубокое чувство эллинской природы русского слова было совершенно органическим. Он ощущал себя собеседником каждой великой эпохи. Афины и Рим, Средневековье и XVIII столетие, немецкие романтики, Пушкин и Достоевский были для него родными. Но стройное, структурное единство здания мировой культуры, его великолепная архитектоника и взаимосвязь еще сильнее заставляли поэта чувствовать многообразие и неповторимость, сущностную драгоценность каждого ее отдельного феномена. И с этим было связано отношение Вячеслава Иванова к слову в поэзии. Так, у его современника и друга Константина Бальмонта нередко происходило размывание слова как смысловой единицы, звуковое «перетекание» в аллитерации:

Ландыши, лютики, ласки любовные,
Ласточки лепет, лобзанье лучей...

Вячеслав Иванов же, напротив, всегда ориентировался на отдельность и самоценность слова в стихе. Оно было подобно камню средневекового собора, любой из которых, даже самый малый, важен и незаменим на своем месте. В отличие от Бальмонта слова у Вячеслава Иванова не «перетекали», а «сшибались» согласными. Ему была присуща классическая ясность («ясногранность», по его собственному определению), античная торжественная риторичность, звонкость звука, порой отзывающаяся подлинно державинским одическим громом, услышанным через Пиндара и Вакхилида – древнегреческих родоначальников оды и дифирамба, творения которых Вячеслав Иванов знал в подлиннике. О его поэтическом языке другой замечательный филолог-классик, Фаддей Францевич Зелинский, писал так:

«Что случилось с русским языком, застывшим, казалось, в богатстве своих слов и форм, что случилось с ним в руках этого кудесника!

Мы опять возвращены к изначальности, к периоду творческой молодости языка. В горниле дионисизма плавятся острые грани и отверделые поверхности слов, язык вновь становится гибким и способным к новым образованиям и слияниям. В то же время воскресает и то, что казалось полузабытым и даже совсем забытым... Если бы было принято составлять для наших поэтов, как для древних, “специальные словари”, вряд ли кто-либо оказался по запасу своих слов богаче нашего поэта. И при таком переизбытке вечное алкание – то и дело тонкость ощущения, музыка стиха, игра аллитерации потребует новых образований, – и поэт берет свой молот и кует, кует до тех пор, пока из элементов существующего не выкует того нового, которое ему нужно... Но при всей своей смелости В. Иванов всегда строго национален: его переизбыток состоит либо из

древних церковно-славянских и русско-народных слов или из им же образованных с помощью русских же элементов. Отсюда строгое единство, строгая цельность его поэтического стиля»^[83].

О главной же особенности «Кормчих Звезд» лучше всего сказала первый биограф Вячеслава Иванова, преданнейший друг поэта в последние годы его жизни, Ольга Шор: «В “Кормчих Звездах” мало психологии, душевности в обычном смысле этого слова. Не проникнуть в сферу духа, именно ту, которую книга отображает, значит ничего в ней не понять. Она не психична, она пневматична. В этом ее трудность, а не в языке, который вовсе не “мудрен”, как сетовали многие, но лишь *мудр...*»^[84]

Ивановы продолжали жить за границей. В 1902 году супруги побывали в Иерусалиме. Там у Гроба Господня они встретили Пасху. И цветущая весенняя земля, и воздух – все вокруг было напоено радостью Воскресения. На обратном пути в Афинах Вячеслав Иванов тяжело заболел тифом. Он думал, что умирает. Да и врачи, лечившие его, прямо говорили Лидии Дмитриевне, что больной безнадежен. Поэт радовался, что после его ухода останутся «Кормчие Звезды», которые как раз тогда печатались в Петербурге. Но вопреки очевидности и прогнозам докторов произошло чудо. Вячеслав Иванов выздоровел. Заботливый уход, любовь и молитвы жены вернули его к жизни. Один из самых прекрасных мифов Эллады вдруг ожил и обернулся зеркально обратным смыслом: Эвридика вывела Орфея из царства смерти. То, что оказалось не по силам певцу, совершила любящая женщина. Да и вышний замысел о поэте был еще далек от осуществления. «Кормчие Звезды» стали лишь началом, а не концом пути...

Поставив мужа на ноги, Лидия Дмитриевна уехала к детям в Женеву, а Вячеслав Иванов на осень и зиму остался в Афинах. Там он изучал античную археологию, практиковался в разговорном греческом языке, слыша в нем живые отголоски еще догомеровской эпохи, собирал материалы по истории древних мифов и культов, которые лягут в основу его будущих научных трудов о дионисийской религии и прадионисийстве. Весной 1903 года Вячеслав Иванов вернулся к семье в Швейцарию. Ивановы снимали виллу Жавá в местечке Шатлен неподалеку от Женевы. Хотя вся семья собиралась там нечасто. Старший сын Лидии Дмитриевны, Сергей, учился в Лондоне и приезжал только на каникулы. Младшие дети, Константин и Вера, ходили в местную школу. Маленькая Лидия блаженствовала в доме и в прекрасном саду. Сами Вячеслав Иванович и Лидия Дмитриевна почасту и надолго уезжали из Шатлена, бывали то в России, то в других европейских странах. Так, целую зиму они однажды провели в Париже. А хранителем домашнего очага в Шатлене, словно бы неким живым подобием римского лара, оставалась Мария Михайловна Замятнина, подруга Лидии Дмитриевны еще с юных лет. Внучка одного из «отцов» судебной реформы эпохи Александра II, необычайно умная и независимая, она получила высшее образование, что было тогда редкостью среди девушек из знатных семей. Позже Мария Михайловна проявила себя как энергичный и предприимчивый организатор многих добрых дел. Она создала «Общество помощи учащейся молодежи», основала бесплатную столовую для студентов, находила и оплачивала им жилье. Теперь же, встретив свою старую подругу, уже счастливую в новом браке с любимым человеком, видя полную непрактичность Вячеслава и Лидии в быту, Мария Михайловна решила взять на себя эту сторону их жизни, стать «муравьем»

для двух «стрекоз». Тем более забота о будущем «светиле науки» было вполне логичным продолжением ее прежней деятельности. Вместе с Ивановыми Мария Михайловна поселилась в Шатлене. Поблизости, в пятнадцати минутах ходьбы по горной тропинке, в местечке Иаир, в собственном доме жил отец Лидии Дмитриевны – Дмитрий Васильевич Зиновьев. Будучи всегда человеком очень добрым, на старости лет он начал раздавать свои вещи всем подряд. Семья не на шутку встревожилась, взяла Дмитрия Васильевича под опеку, купила ему небольшую виллу в Швейцарии рядом с домом, который снимала дочь, и наняла экономку-француженку. Внучка запомнила дедушку таким: «Вот он сидит в кресле, одетый в стеганый турецкий халат; я подхожу, а он одновременно вынимает из двух карманов двух маленьких котят. Он всегда старался также дать нам что-нибудь вкусное. А то возьмет да и подарит монету в пять франков... Под конец жизни дедушка сильно заболел, и мама наняла для него соседний с виллой Жава дом, чтобы лучше за ним ухаживать. Когда он умер, меня позвали прощаться. Он благообразно лежал на столе. Запомнилась его длинная шелковистая борода. Горели свечи, стояли цветы. И я впервые удивилась непонятной тайне смерти»^[85].

Жизнь на вилле Жавá шла своим чередом. Вячеслав Иванов изо дня в день работал над исследованием о дионисийстве. Мария Михайловна мудро вела семейное хозяйство. Но живой душой дома, вносящей в повседневность поэзию и радость, превращающие ее в праздник, была Лидия Дмитриевна. Солнечной, щедро и талантливо живущей, любящей во всем красоту, запомнила мать маленькая Лидия: «Вот мама только что приехала и кинула мне из окна мансарды золотой апельсин; я подбежала, а он вдруг начал прыгать. Это

был мячик, но мне казалось, что это божественная игрушка небожителей... Я представляла себе рай по образу нашего сада весной, когда цвели все фруктовые деревья... Красота этого сада захватывала дыхание... Мама обожала красивые ткани. Большею частью гладкие, но всевозможной окраски. Когда ей случалось проходить мимо распродажи материй, она обязательно покупала отрезы, без всякого намерения шить из них что-либо – просто за красоту цвета. Со временем образовалась целая корзина этих тканей. Быть может, уже в женевский период они украшали стены “уютного домика”... в саду. Позже мама в Петербурге свою так называемую “оранжевую комнату” отделала по-восточному: никакой мебели, у стен на полу матрасы, покрытые тканями, коврами, подушками. Все веселое, радостное и пестрое. Для себя мама из своих тканей делала хитоны, как она их называла. Хитон состоял из двух кусков материи, длинных, до полу, скрепленных на плечах брошками. Сверху она накидывала ткань в виде длинного и широкого шарфа, спускающегося с плеч вдоль рук»^[86].

Вскоре после выхода «Кормчих Звезд» Вячеслав Иванов отправился в Париж по приглашению Высшей школы общественных наук, основанной М. М. Ковалевским для русских, чтобы прочитать курс лекций о древнегреческом культе Диониса. В этой школе преподавали и выступали многие видные ученые и писатели. За год с небольшим до Вячеслава Иванова читал свой доклад о стихотворной технике Некрасова и А. К. Толстого Максимилиан Волошин.

Ивановские лекции имели огромный успех. Их посещали не только учащиеся, но и профессора Высшей школы, и представители русской научной и художественной элиты, жившие тогда в Париже. В своих лекциях Вячеслав Иванов спорил с ницшеанским

видением дионисийства. Он говорил о том, мимо чего прошел Ницше: «Гениальный автор “Рождения Трагедии” возвратил миру Диониса, знаменательно, что в героическом боге Трагедии Ницше почти не разглядел бога, претерпевающего страдание. По Ницше эллины были “пессимисты” из полноты своей жизненности; их любовь к трагическому... была их сила, переливающая через край. Дионис – символ этого изобилия и чрезмерности, этого исступления от наплыва живых энергий»^[87].

Вячеслав Иванов говорил о другом, более глубоком и древнем источнике Дионисова культа: «Трагедия возникла из оргий бога, растерзанного исступленными. Откуда исступление? Оно тесно связано с культом душ и первобытными тризнами. Дионис в глазах древних не был только богом диких свадеб и совокупления, но богом мертвых и сени смертной. Он вносил смерть в ликование живых. И в смерти улыбался улыбкой ликующего возврата, божественный свидетель неистребимой рождающей силы. Бог страдающий, бог ликующий – эти два лика изначально были в нем нераздельно и неслиянно зримы»^[88].

Если Ницше видел в христианстве начало, враждебное дионисийству с его полнотой жизненных сил, то Вячеслав Иванов, напротив, разглядел в «эллинской религии страдающего бога» предчувствие спасения мира через голгофский Крест. Дионисийские жизненные силы в христианстве не выхолащивались, как думал Ницше, но просветлялись и обретали новое направление. Вячеслав Иванов утверждал: «Дионис был тайным и внутренним союзником Бога галилейских рыбаков. Религия Диониса была нивой, ждавшей оплодотворения христианством»^[89].

В скором времени о парижских лекциях Вячеслава Иванова стало известно и в России. Тогда еще не

знакомый с ним Дмитрий Мережковский прислал из Петербурга письмо Иванову с просьбой дать чтения о Дионисе в журнал «Новый Путь», издаваемый Религиозно-Философскими Собраниями, ставшими первой попыткой найти общий язык между Русской Православной Церковью и русской интеллигенцией. Попытка эта спустя год была пресечена обер-прокурором Святейшего синода К. П. Победоносцевым, видевшим опасность во всем живом и неофициальном. Мережковский и его жена Зинаида Гиппиус, инициаторы Собраний, уехали из Петербурга в Париж, а журнал «Новый Путь» получил другое название – «Вопросы Жизни». Теперь его возглавили Н. А. Бердяев и С. Н. Булгаков. В виде серии статей курс лекций Вячеслава Иванова был напечатан в 1904 году в «Новом Пути» под заглавием «Эллинская религия страдающего бога», а в 1905-м – в «Вопросах Жизни» под заглавием «Религия Диониса». Знаменитый московский издатель М. В. Сабашников сразу предложил Вячеславу Иванову издать этот курс отдельной книгой, но поэт на долгие годы задержал окончательную редакцию текста. Книга была напечатана лишь в октябре 1917 года и лежала на складе издательства. Во время захвата Москвы большевиками в здание склада попал снаряд и весь тираж сгорел. У Вячеслава Иванова остался только один экземпляр корректуры, который позже был увезен им за границу.

В Париже в Высшей школе общественных наук в 1903 году Вячеслав Иванов познакомился с Валерием Брюсовым, тогда уже общепризнанным вождем московских символистов, пришедшим на его лекцию. Незадолго до этого, не будучи знакомым с Ивановым, Брюсов опубликовал в «Новом Пути» сочувственную рецензию на «Кормчие Звезды». В ней он писал: «Книга Вячеслава Иванова странно не похожа на обычные русские “сборники стихотворений”. Слово автор жил

где-то на одиноком острове, вне наших ежедневных литературных дрызг, вне наших базарных криков: “декадент? – не декадент?” Вячеслав Иванов – настоящий художник, понимающий современные задачи стиха, работающий над ними. Его стих – живое, органическое целое, самостоятельная личность. Автор верно выбирает для него рифмы, придающие ему выражение лица. Он ищет новых размеров, которые точно соответствовали бы настроению стихов, дополняли бы содержание. Его особая сила в самостоятельном словаре. Он не довольствуется безличным лексиконом расхожего языка, где слова похожи на бумажные ассигнации, не имеющие самостоятельной ценности. Он понимает удельный вес слов, любит их, как иные любят самоцветные камни, умеет выбирать, гранить, заключать в соответствующие оправы, так что они начинают светиться неожиданными лучами. Вместе с тем Вячеслав Иванов истинно современный человек, причастный всем нашим исканиям, недоумениям, тревогам. Его стихи говорят о том, что нам важно, о чем нам интересно слышать»^[90].

Брюсов очень точно угадал инакость Вячеслава Иванова по отношению ко всему тогдашнему литературному процессу. Его и в самом деле сформировала не писательская среда тех лет с ее характерным налетом богемности и почти обязательной цеховой принадлежностью, с претензиями на исключительность, а уединенная, сосредоточенная и углубленная жизнь ученого, повседневная тихая и упорная работа в библиотеках, музеях, университетских семинарах и на археологических занятиях. Она же сохранила и цельность его поэтического мира от многих разрушительных вихрей. И позже, когда мир петербургской художественной богемы Серебряного века был немислим без «мага и мистагога Вячеслава

Великолепного» и его «башни», эта прививка оказалась спасительной.

С Брюсовым Вячеславу Иванову было необычайно интересно разговаривать о тайнах поэтического ремесла: о выразительных возможностях разных стихотворных размеров, строфики, рифмы, о еще не выявленных языковых богатствах. Оба поэта были мастерами и непревзойденными знатоками и античных, и русских мэтров.

Прочитав курс лекций по дионисийству в Высшей школе общественных наук, Вячеслав Иванов вместе с Лидией Дмитриевной вернулся из Парижа в Шатлен. И здесь, между занятиями эллинской и римской словесностью, он подготовил к печати вторую свою книгу лирики – «Прозрачность». В отличие от «Кормчих Звезд», куда вошли стихи, написанные почти за два десятилетия, эта книга сложилась «на одном дыхании», под воздействием могучего любовного переживания. Прозрачность открывала глубину и красоту жизни и всего мироздания:

Прозрачность! колдуешь ты с солнцем,
Сквозной раскаленностью тонкой
Лелея пожар летучий;
Колыша под влагой зыбучей,
Во мгле голубых отдалений,
По мхам малахитным узоры;
Граня снеговерхие горы
Над смутностью дольных селений;
Простор раздражая звонкий
Под дальним осенним солнцем.

Прозрачность! воздушною лаской
Ты спишь на челе Джоконды,
Дыша покрывалом стыдливым.
Прильнула к устам молчаливым —

И вечностью веешь случайной;
Таящейся таешь улыбкой,
Порхаешь крылатостью зыбкой,
Бессмертную, двойственной тайной.
Прозрачность! божественной маской
Ты решишь в улыбке Джоконды^[91].

Немало стихотворений в «Прозрачности» было посвящено тайнам художественного творчества. Среди них одно из самых ярких – «Кочевники Красоты» с эпиграфом из неоконченного и неопубликованного романа Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Пламенники». К слову сказать, в то же самое время, когда у Вяч. Иванова слагались стихи, вошедшие в «Прозрачность», Лидия Дмитриевна в саду виллы Жава писала свою ставшую знаменитой повесть «Тридцать три уroda». Маленькая Лидия ко дню рождения мамы вырезала из бумаги тридцать три фигурки, сшила их вместе, а когда дарила, задала недетский вопрос: могут ли тридцать три уroda стать одним красавцем? Позже она вспоминала, как эта мысль, к ее гордости, вызвала целую полемику у взрослых.

В «Кочевниках Красоты» слышался мотив, звучавший еще у Верлена и Рембо, – бунт художника против тусклого и рутинного мещанского существования, против царства необходимости:

Вам – пращуров деревья
И кладбищ теснота!
Нам вольные кочевья
Сулила Красота.

Вседневная измена,
Вседневный новый стан:
Безвыходного плена

Блуждающий обман.

О, верьте далее чуду
И сказке всех завес,
Всех весен изумруду,
Всей широте небес!

Художники, пасите
Грез ваших табуны;
Минуя, всколосите —
И киньте - целины!

И с вашего раздолья
Низриньтесь вихрем орд
На нивы подневоля,
Где раб упрягом горд.

Топчи их рай, Аттила, —
И новью пустоты
Взойдут твои светила,
Твоих степей цветы ^[92].

Созерцание Красоты вызывало в сердце поэта желание прославить ее Небесного Творца. Песнь, завершающая книгу «Прозрачность», звучала радостно и восторженно. В ней отзывались и Давидова Псалтирь, впитанная Вячеславом с младенчества, и Шиллерова «Песнь Радости»:

Хвалите Бога, силы сфер!
Хвалите Бога, души недр!
Бессонный ключ в ночи пещер!
На высотах шумящий кедр!

.....

И каждый вздох, и каждый глаз!
И каждый глад, и каждый труд!
В луче проснувшийся алмаз!
Во мраке – сила тайных руд!

.....

Хвалите Бога! – как роса,
Как венчики цветов в росе:
В росинке каждой – небеса,
В душе единой – души все![\[93\]](#)

Валерий Брюсов предложил напечатать «Прозрачность» в руководимом им декадентском издательстве «Скорпион». Вячеслав Иванов с Лидией Дмитриевной начали собираться в Москву. Там им предстояло провести несколько месяцев и близко познакомиться с московским кругом поэтов-символистов. Традиционные толстые литературные журналы не жаловали модернистов и не предоставляли им места на своих страницах. Тогда на помощь декадентам пришли молодые эстеты-меценаты из московского купечества. Одним из них был Сергей Александрович Поляков – совладелец «Знаменской Мануфактуры», самоучка, человек широко образованный, знающий многие европейские и восточные языки, переводивший с них, очень точный и бережливый в делах своего предприятия, но щедро жертвовавший на изящные искусства. Он и создал в 1901 году первое в России модернистское издательство «Скорпион». Печатало оно по преимуществу декадентов, хотя в самый год своего основания выпустило «Листопад» – сборник стихотворений И. А. Бунина, заведомого реалиста, который никогда не питал теплых чувств к поэтам нового направления. Первоначально издательство

находилось на углу Ильинки и Юшкова переулка – в самом оживленном деловом торгово-промышленном центре Москвы, близ Биржи. Но в 1904 году, незадолго до приезда в Москву Вячеслава Иванова с женой, Брюсов с Поляковым начали издавать в дополнение к «Скорпиону» роскошный ежемесячник искусств и литературы под названием «Весы». Помещение редакции журнала разместилось в гостинице «Метрополь», только что построенной лучшими архитекторами московского модерна Шехтелем, Валькоттом, Кекушевым и украшенной мозаиками Врубеля. Самый облик этой новой гостиницы и ее великолепные интерьеры были как нельзя под стать «Весам». Перебрался в «Метрополь» и «Скорпион». Владельцем его был Сергей Поляков, но все дела издательства и редакционную политику осуществлял Валерий Брюсов. О повседневной жизни в «Скорпионе» вспоминала сестра жены Брюсова Б. М. Погорелова: «Обычно в редакции собирались часам к четырем, так как к этому времени появлялся С. А. (Поляков. – Г. З.), освободившись от занятий в правлении своей фирмы, где заведовал контролем и отчетностью по многотысячным операциям. Между собравшимися писателями и художниками нередко возникали споры, иногда из-за каких-нибудь разногласий в области чисто внешней – качество бумаги, шрифт, тон краски и т. д., но иногда – на почве более глубоких расхождений во взглядах на сущность того или иного произведения или по теоретическим вопросам искусства. С мягкой, доброжелательной улыбкой прислушивался С. А. ко всем этим, часто пылким, спорам. Сам говорил чрезвычайно мало. Только в глазах светился живой огонек понимания, соединенного не то с хитрецей, не то с насмешкой.

Когда приступали к изданию какой-нибудь книги, то как-то так повелось, что вопрос о ее будущей

внешности обсуждался всеми присутствующими сообща. Решали, кому из художников заказать обложку, заставки, шмуцтитул. <...> Нередко иллюстрации поручались и Судейкину, и Лансере, и Сомову, и др. Много принималось во внимание при выходе книги: личный вкус автора, подходящая бумага, нарядность оригинальной обложки, от которой требовалась безусловная гармония с содержанием. Но один вопрос не возникал никогда: о стоимости. Этого вопроса в “Скорпионе” просто не существовало, ибо его не пугали никакие расходы. Иные клише изготовлялись в Германии, оттуда же выписывали специальную бумагу – картон для обложек. Все, что выпускал “Скорпион”, печаталось в одной из лучших типографий и на дорогой бумаге “верже”. Понятно, что такая чисто московская, баснословная щедрость С. А. Полякова привлекала в редакцию “Весов” немало художников и писателей»^[94].

Та же Бронислава Погорелова так рассказывала и о визите Вяч. Иванова и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал в «Скорпион»: «Однажды в редакции Брюсов, держа в руках довольно объемистую рукопись, обратился к С. А.:

– Как-то не решаюсь сдавать в набор. Прислано В. Ивановым “О дионисовом действе”. Статья очень большая. И к символизму, собственно, мало отношения...

– А вы все-таки пустите. Я ее прочел. Уж больно хорош язык. Такое богатство редко где встретишь. Нужно, нужно напечатать... За автором, кстати, большой аванс...

Потом вскоре в “Северных цветах” Вяч. Иванов был представлен огромным циклом стихотворений. Все то же эллинско-дионисийское содержание, еще более изысканный язык. И наконец однажды в редакции появился сам Вяч. Иванов с женой, поэтессой Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. Вяч. Иванов был пухлый

блондин с брюшком. Небольшого роста. Красное лоснящееся лицо. Вокруг головы пушистые волосы венчиком. Небольшая бородка. За стеклами рince-pez недоверчивые маленькие глаза, и от их взгляда становится неуютно. Фигура Л. Д. Зиновьевой-Аннибал была много импозантнее. Высокая, очень полная, блондинка даже уже не средних лет. Как только В. Иванов заговорил, сразу бросилась в глаза та сосредоточенная изысканность, в которую он облакал самые обыденные мысли. Манера держаться какая-то двойственная. Он одновременно давал понять, что знает себе цену, и вместе с тем проявляет какую-то нерусскую утонченность в обращении. С. А. явно благоволил этой чете. Певцу вакхических радостей и его жене никогда не было отказа в щедрых авансах»^[95].

В редакционный совет «Скорпиона» кроме Брюсова и Полякова входили два крупнейших московских поэта-символиста – Константин Бальмонт и Юргис Балтрушайтис. Они также высоко оценили и «Кормчие Звезды», и готовящуюся к печати «Прозрачность», и с радостью приняли Вячеслава Иванова в свой дружеский круг. Их сблизало неприятие отголосков последних нескольких десятилетий в русской литературе и публицистике – позитивизма и утилитаризма, традиционной интеллигентской скорби по поводу «среды», которая всегда «заедает», горькой доли народа и собственной плачевной участи. Этому отжившему противопоставалась жажда вместить все прекрасное, созданное мировой культурой, и стремление вернуть читателю русскую классическую поэзию, пренебрегаемую прежними «властителями дум» – публицистами и критиками второй половины XIX столетия. Вяч. Иванов сразу вошел в ритм деятельности «Скорпиона» и «Весов». Время у него теперь проходило между докладами, публичными

выступлениями, чтением и обсуждением материалов, присланных в издательство и в журнал, дружескими застольями и спорами о поэзии ночи напролет. С каждым из трех поэтов «Скорпиона» у Вяч. Иванова сложились свои отношения. С Бальмонтом они были сердечными и ровными и продолжались всю жизнь. Правда, оказавшись потом в эмиграции, приятели редко встречались и переписывались.

Дружба с Брюсовым колебалась от сильного внутреннего сближения до столь же резкого взаимного неприятия друг друга. Иванову претили брюсовский внеморализм, поиск восторгов и острых эстетических и эротических переживаний любой ценой, его знаменитая формула: «И Господа, и дьявола равно прославлю я».

Из всего «триумvirата» наиболее глубокая и преданная дружба сложилась у Вячеслава Иванова с Юргисом Балтрушайтисом. Юргис родился в 1873 году в семье бедного литовского крестьянина. С детских лет вынужден был пасти свиней. Впоследствии он говорил, что никогда не понимал, почему блудному сыну из евангельской притчи эта работа казалась такой тяжелой и отвратительной. Самого Юргиса она научила зорче вглядываться в природу, любить божьих тварей, заботиться о них, оставляла много времени для созерцания, раздумий и самостоятельных занятий. Мальчик очень рано сам выучился читать и писать, хотя в распоряжении его было только несколько старых календарей и книг. В автобиографии Балтрушайтис вспоминал: «Зато в бесконечно лучших условиях развивалось мое воображение. Тут были и незабвенные зимние сказки моей матери – подчас ее собственного сочинения, – и жуткие литовские предания о чудовищах и древних великанах и о целом хищном народе людей с песьими сердцами и песьими головами. Тут были и затейливые рассказы бродячего деревенского портного-старика, и небылицы часто ночевавших в нашем доме

нищих. А главное, в нескольких верстах была река Неман с белевшими с весны до осени парусами прусских барж, с курганами и остатками замков, восходивших, по народному поверью, еще ко временам меченосцев. Особенно влекло меня к этим могильным холмам и окрестным лесам, в чьих глубоких чащах, под корнями вековых деревьев еще видны были следы полевых канав, прудов и колодцев. Как особенно любил я бродить вдоль литовских проселочных дорог с покривившимися от времени, почерневшими от непогоды крестами, обилие которых внушало мне волнующее представление о древнем и скорбном шествии человечества к Голгофе...»^[96] Настоятель местного костела заметил способного и стремящегося к знаниям мальчика, обучил его арифметике и латыни, а затем помог поступить в Ковенскую гимназию. Бедные родители смогли оплачивать обучение сына только до пятого класса, и Юргису пришлось давать уроки сверстникам, как и Вячеславу Иванову в его гимназические годы. Что такое нужда и труд, оба поэта в полной мере испытали в детстве. Знания им дались дорогой ценой. Этот опыт пережитого сблизил Балтрушайтиса и Вяч. Иванова еще больше. Балтрушайтис вспоминал, как он «ютился в темном чулане и заучивал наизусть стихи из “Одиссеи” и “Энеиды”». Поэзия рождалась из преодоления.

Двадцати лет Балтрушайтис перебрался в Москву и окончил естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. После этого он, по его собственному признанию, «почти исключительно занялся изучением литературы, овладел множеством языков и страстно заинтересовался новыми явлениями философии и искусства»^[97]. Стихи Балтрушайтис начал писать еще в гимназии. Писал он и на русском, и на литовском.

В Москве поэт познакомился с Брюсовым, Бальмонтом и С. Поляковым, вместе с которым перевел пьесу Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, проснемся». Ее выпуском и началась деятельность издательства «Скорпион», где Вячеслав Иванов встретился с Балтрушайтисом. О стихах Балтрушайтиса, сразу покоровивших его, Иванов писал: «Словно из-за развесистых старых деревьев, – наполовину заглушенных серой толщей церковных стен, – зазвучала органная fuga. И вот уже сбежала с уст суетливая улыбка, и внезапно отрезвился готовый к полету дух, – между тем как ухо с удивлением отмечает верность и благородство естественно расцветающих мощных форм. Какое богатство внутренних (душевных) и внешних (музыкально-словесных) звучаний и отзвуков – и с каким художническим целомудрием притушен этот блеск суровым спокойствием и горделивым воздержанием от вызывающих удивление и любопытство приманок, угодливых прельщений, своекорыстных умыслов. Ничего настоящего, усиливающегося и насильственного, ничего навеянного модою и условностью новизны или старины, не уловит слушатель в этих спетых звездах, безвременных стихах» [\[98\]](#).

Балтрушайтис был близок и дорог Вячеславу Иванову и своей горячей, простой, живой верой, любовью к Христу. Его религиозность была непоказной и открытой.

Нового друга Балтрушайтис принял сразу и всем сердцем. Любя Вячеслава, он чувствовал и безмерную разность между их поэтическими мирами, о чем говорил в стихотворении, посвященном Иванову:

Пока ты, весь средь славы горной,
Всегда на новь вещей глядишь,
Я с грустью тку свой день повторный,
Влачу в тоске ночную тишь.

Нам, братьям, жребий дан различный:
Твой каждый час – что хлеб пшеничный,
И с ним ты крепок, с ним ты – царь...
А мне мой миг – кроха, сухарь,
Не в меру жесткий, слишком черствый!
Но как бы я ни звал порой
Цвет дня ненужною игрой,
Храня в груди завет: «Упорствуй»,
Приемлю скудость, боль, суму
И верю часу моему... [\[99\]](#)

И все-таки прав был Владимир Соловьев, когда советовал Вячеславу Иванову публиковаться отдельно, а не в декадентских сборниках конца 1890-х, и предрекал, что хотя первые русские символисты и признают его своим, все равно в чем-то главном он останется среди них одиноким.

Будучи по возрасту ровесником Брюсова, Бальмонта, Сологуба, Мережковского и Гиппиус, по духу Вячеслав Иванов оказался ближе младшему поколению символистов.

1904 год стал судьбоносным для русской поэзии. Кроме «Прозрачности» он ознаменовался еще тремя книгами. Одна из них вышла в Петербурге под названием «Тихие песни». Автор предпочел скрыть свое имя за псевдонимом «Ник. Т-о». Но псевдоним выдавал в нем филолога с головы до ног. Так назвался Одиссей в пещере Полифема. Представить свои стихи перед «жерлом вечности» было не менее страшно, чем оказаться перед пожирателем циклопом. «Ник. Т-о» был на самом деле Иннокентием Федоровичем Анненским – филологом-классиком, подобно Вяч. Иванову, переводчиком Еврипида, автором многих статей по древнегреческой, российской и западноевропейской словесности, а также четырех оригинальных трагедий

на античные сюжеты, и кроме того – директором Царскосельской мужской гимназии. К тому времени ему исполнилось 49 лет.

«Тихие песни» стали первой и единственной прижизненной книгой стихотворений Анненского. Она прошла почти незамеченной. Снисходительно отозвался о ней в своей рецензии Брюсов и благосклонно – Блок. Позже собратья по цеху приняли Анненского в штыки за статью «О современном лиризме», опубликованную в «Аполлоне» в 1909 году. Подлинный масштаб этого огромного поэта стал очевиден, когда на следующий год в московском издательстве «Гриф» вышел его посмертный сборник «Кипарисовый ларец», подготовленный учеником Анненского и в прямом, гимназическом смысле, и в литературном отношении – Николаем Гумилевым. Не услышанный ровесниками-символистами, Анненский через их голову был по достоинству оценен новым поколением русских поэтов, по возрасту годящихся ему в дети.

Двумя другими литературными событиями 1904 года стали выпущенная тем же «Грифом» первая книга Александра Блока «Стихи о Прекрасной Даме» и сборник стихотворений «Золото в лазури», которым дебютировал в «Скорпионе» Андрей Белый (псевдоним Б. Н. Бугаева). Вхождение двух этих молодых поэтов ясно обозначило новый этап русского символизма. Если у старшего поколения, особенно у Брюсова и Бальмонта, преобладало эстетическое направление, то Блок и Белый сразу заявили о себе как мистики по преимуществу. С Вячеславом Ивановым их сближало глубокое почитание имени Владимира Соловьева. В дружеский круг Блока и Белого входил и племянник великого философа, также поэт, Сергей Соловьев. Он был, кроме того, троюродным братом Блока и другом детства Андрея Белого. Все трое считали себя учениками и последователями Владимира Соловьева.

Но в отличие от Вячеслава Иванова, воспринявшего глубинную суть, сердцевину соловьевской философии, Блок и Белый взяли из нее только учение о Вечной Женственности и Мировой душе.

В нем и коренился блоковский культ Прекрасной Дамы (имевшей, впрочем, вполне земной прообраз с именем и фамилией), связанный через немецких романтиков с поэзией Высокого Средневековья.

Вхожу я в темные храмы,
Совершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцаньи красных лампад.

В тени у высокой колонны
Дрожу от скрипа дверей.
А в лицо мне глядит, озаренный,
Только образ, лишь сон о Ней.

О, я привык к этим ризам
Величавой Вечной Жены!
Высоко бегут по карнизам
Улыбки, сказки и сны ^[100].

При всем внешнем сходстве как это мало было похоже на соловьевскую Софию из «Трех свиданий»! В своей рецензии на первый блоковский сборник, опубликованной в «Весах» (1904. № 1), Вяч. Иванов похвалил прежде всего его мелодическое богатство интонаций, благодаря которому и «отсветился» лик Прекрасной Дамы. Весь же набор средневековой рыцарской символики, эти декорации действия, позже осмеянные самим Блоком в «Балаганчике», Иванов определил как «бутафорские условности медиэвизма и романтизма».

Тот же мотив благоговейного преклонения звучал и в стихотворении Андрея Белого «Образ Вечности», входящего в книгу «Золото в лазури»:

Образ возлюбленной - Вечности —
встретил меня на горах.
Сердце в беспечности.
Гул, прозвучавший в веках.
В жизни загубленной
образ возлюбленной,
образ возлюбленной - Вечности,
с ясной улыбкой на милых устах^[101].

Сравнивая в своей рецензии две поэтические книги, выпущенные «Скорпионом» в 1904 году - «Золото в лазури» и «Прозрачность», - Брюсов писал: «В Белом больше лиризма, в Вяч. Иванове больше художника. Творчество Белого ослепительнее: это вспышки молний, блеск драгоценных камней, разбрасываемых пригоршнями, торжественное зарево багряных закатов. Поэзия Вяч. Иванова светит более тихим, более ровным, более неподвижным светом полного дня... В Белом есть восторженность первой юности... В Вяч. Иванове есть умудренность тысячелетий... Вяч. Иванов в хмеле вдохновения остается господином вызванных им стихийных сил, мудрым Просперо своего острова; Белый - как былинка в вихре своего творчества... своей необузданностью, порывает резко с обычными приемами стихотворчества, смешивает все размеры... упивается еще неиспробованными ритмами. Вяч. Иванов старается найти новое в старом, вводит в русский язык размеры, почерпнутые из греческих трагиков или у Катулла, лишним добавленным слогом дает новый напев знакомому складу, возвращается к полузабытым звукам пушкинской лиры»^[102].

Высоко отозвался о «Прозрачности» и Блок. В своей рецензии на книгу, опубликованной в «Новом пути» (1904. № 6), он писал: «Книга Вячеслава Иванова предназначена для тех, кто не только много пережил, но и много передумал. Это – необходимая оговорка, потому что трудно найти во всей современной русской литературе книгу менее понятную для людей чуть-чуть “диких”, удаленных от культурной изысканности, хотя, быть может, и много переживших.

Но есть порода людей, которой суждено все извилины своей жизни обогреть кровью мыслей, которая привыкла считаться со всем многоэтажным зданием человеческой истории. Таким людям книга Вяч. Иванова доставит истинное наслаждение – и в этом смысле она “Für venige”»^[103].

Блок не случайно вспомнил здесь название первого сборника В. А. Жуковского «Für venige» («Для немногих»), адресованного прежде всего императорскому семейству и небольшому кругу друзей, почти тождественному Арзамасскому братству. Он предвидел, что и стихи Вячеслава Иванова найдут немногих, но достойных их, вдумчивых и преданных читателей. Блок писал: «Поэзия Вяч. Иванова может быть названа “ученой” и “философской” поэзией»^[104]. Он указывал на традицию, которая восходила к святому Григорию Богослову, ученому аббату Алкуину, основателю Палатинской Академии эпохи Карла Великого, а в XVII-XVIII веках была представлена английским поэтом А. Попом, в России же – Ломоносовым. Исключение Блок сделал лишь для нескольких стихотворений книги «Прозрачность», в частности для «Лилии», продиктованной живым, непосредственным переживанием, подлинным лирическим наитием:

Под Тибуром, в плющах руин,
Твой луч я встретил
И стебель долгий – и один
Тебя заметил.

И грезой, после многих лет,
Зову, печален,
Твой в полдень мне расцветший свет,
Звезда развалин!

Встань, на лазури стройных скал
Души, белея,
И зыбля девственный фиал,
Моя лилея! [\[105\]](#)

Особенно отмечал Блок стихотворения, воссоздающие стиль античной лирики, такие как «Цикады» из цикла «Песни Дафниса», где явно слышался отзвук Алкеевой лиры:

Цикады, цикады!
Луга палящего,
Кузницы жаркой
Вы ковачи!
Молотобойные,
Скрежетопильные,
Звонко-гремучие
Вы ковачи!
Любят вас музы:
Пением в узы
Солнечной дремы,
Пьяной истомы
Куйте лучи... [\[106\]](#)

Позже голос этих цикад отзовется у Мандельштама:

Бежит весна топтать луга Эллады,
Обула Сафо пестрый сапожок,
И молоточками куют цикады,
Как в песенке поется, перстенек [\[107\]](#).

В следующем, роковом для России 1905 году троим заявившим о своем бытии поэтам – Блоку, Белому и Вяч. Иванову – предстояло встретиться и образовать второй триумvirат в истории русского символизма. Несмотря на все огромное несходство между ними, их объединяла общность понимания символа в искусстве. Об этом Вяч. Иванов говорил в своей работе «Две стихии в современном символизме»: «Оно (символическое искусство. – Г. З.) позволяет осознать связь и смысл существующего не только в сфере земного эмпирического сознания, но и в сферах иных. ... Истинное символическое искусство прикасается к области религии, поскольку религия есть прежде всего чувствование связи всего сущего и смысла всяческой жизни... Художество было религиозным, когда и поскольку оно непосредственно служило целям религии. Ремесленниками такого художества были, например, делатели кумиров в язычестве, средневековые иконописцы, безыменные строители готических храмов. Этими художниками поистине владела религиозная идея. Но когда Вл. Соловьев говорит о художниках будущего: “не только религиозная идея будет владеть ими, но они сами будут владеть ею и сознательно управлять ее земными воплощениями”, – он ставит этим *теургам* задачу еще более важную, чем та, которую разрешали художники древние, и понимает художественное религиозное творчество в еще более возвышенном смысле» [\[108\]](#).

Вяч. Иванов переносил акцент в понятии «религиозного искусства» с внешнего, с уровня тематики и приема, на внутреннее, глубинно-сущностное значение. «Теургия», «боготворчество» мыслилось им как творчество художника вместе с Богом в деле преображения человека и мира, как сотворчество, и носило всецелый характер.

Вяч. Иванову вторил Андрей Белый: «Соединение вершин символизма, как искусства, с мистикой Владимир Соловьев определил особым термином. Термин этот – теургия. “Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом”, – говорит Господь. Теургия – вот что воздвигает пророков, вкладывает в уста их слово, дробящее скалы. ...Если в символизме мы имеем первую попытку показать во временном вечное, в теургии – начало конца символизма. Здесь уже идет речь о воплощении Вечности путем преображения воскресшей личности. Личность – храм Божий, в который вселяется Господь»^[109].

Новый триумvirат, сделавший своим знаменем Владимира Соловьева, получил название «младосимволисты». Вячеслав Иванов был в нем старшим. Блоку и Белому к тому времени исполнилось по двадцать четыре года, Вяч. Иванову, когда он вошел в поэзию с двумя книгами стихотворений, – тридцать восемь. На год больше смертного пушкинского возраста. Впрочем, каждый плод вызревает в свое время.

Впереди ожидали ослепительная слава одного из мэтров Серебряного века, связанные с ней соблазны, провалы и восхождения, трагедия и катарсис. Но путь был избран бесповоротно.

Глава IV

«Над городом-морокком».

1905-1907 годы

Летом 1904 года Ивановы вернулись в Швейцарию. Перед этим они заехали из Москвы в Петербург, где встретились с Дмитрием Мережковским и его женой – поэтессой и критиком Зинаидой Гиппиус, публиковавшей свои умные и злые статьи под мужским псевдонимом Антон Крайний. Прежде они знали друг друга только по переписке по поводу публикации в «Новом Пути» «Эллинской религии страдающего бога». Теперь же познакомились очно. Началась дружба, которая продолжалась почти сорок лет – сначала в России, а затем в эмиграции. Мережковский и Гиппиус, при всей их разности и независимости, являли собой удивительный пример гармонического семейного союза двух больших поэтов. Известно, что, прожив вместе пятьдесят два года, они не разлучались ни на один день.

Познакомились Ивановы и с художниками «Мира искусства» – А. Н. Бенуа, Л. С. Бакстом, М. В. Добужинским. На этот раз пребывание Вяч. Иванова в Петербурге было недолгим. Но через год Северная столица на семь лет станет для него домом.

Вернувшись в Шатлен, Вячеслав Иванов работал над трагедией «Тантал». Еще в 1903 году он задумал драматическую трилогию – «Тантал», «Ниобея» и «Прометей». Все три мифологических сюжета были связаны одним мотивом – бунтом человека против высших сил, попыткой его восторжествовать над ними. Звучал он в русской поэзии и прежде, также

окрашенный в тона античного мифа – в стихотворении Тютчева «Два голоса»:

Мужайтесь, боритесь, о храбрые друзья,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!
Над вами безмолвные звездные круги,
Под вами немые, глухие гроба.

Пускай олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто ратуя пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец [\[110\]](#).

«Тантал» был написан ямбическим триметром – самым распространенным в древнегреческой трагедии размером. По античной традиции толкование мифа в драматическом произведении предполагало большую свободу со стороны автора. Вяч. Иванов следовал в этом русле. Миф о Тантале он прочел глазами человека Нового времени и увидел в нем прообраз великой богочеловеческой трагедии. Тантал, сын Зевса, был одарен своим небесным отцом всеми благами, наделен бессмертием. Но, тяготясь сыновством, он захотел сам стать верховным богом, творить и рождать, благодетельствовать, быть как отец – но без отца. Тантал похищает во время пира богов на горе Сипил чашу с амвросией – эликсиром бессмертия и всемогущества – и несет ее людям. Но те не решаются отведать божественный напиток. На зов Тантала откликаются лишь двое – Сизиф и Иксион. Оба, подобно ему, хотят низвергнуть богов и царствовать над миром сами. Сизиф мечтает похитить молнии Зевса, а Иксион – овладеть Герой, супругой громовержца, осквернив небо. Напиток бессмертия проявляет самое существо двух этих «богоборцев» с их низменными

устремлениями – брать, владеть, иметь, а не быть. Сам Тантал погружается в сон, в котором видит себя всемогущим миродержавцем. Тем временем Иксион вместо Геры в помрачении овладевает Нефелой, подведенной к нему Зевсом. От этого союза рождается Кентавр – символ скотской похоти. Иксион и Сизиф низвергаются в Тартар. Сын Тантала Бротееас – двойник отца, лелеющий в душе обиду на родителя и жажду мести, – разбивает чашу с амвросией и тут же погибает. Драгоценная влага растекается по полу и ее капли превращаются в жемчужины. Прилетевшие голубки уносят их ввысь. Небесное возвращается небу. Тантал, очнувшись ото сна, видит себя в Тартаре, проклинаемым своими недавними «соратниками по штурму небес» Сизифом и Иксионом и держащим на плечах мертвое, погасшее солнце, грозящее раздавить его. Всемогущество без любви, без умения с благодарностью принимать дары свыше оказывается губительной химерой. Миф о Тантале в трагедии Вяч. Иванова отзывается по смыслу библейским рассказом о грехопадении из третьей главы Книги Бытия, где первые люди, обманутые змеем, также захотели всевластия без Бога, «быть как боги», а на деле увидели себя голыми. Змей этот появится намеком и в «Тантале»:

Бессмертный Змий пастию к чаше
приник – и пьет,
пьет – и жаждет вечно [\[111\]](#).

А тем временем словно некий подземный гул предвещал грядущие беды. На смену уходящему веку с его тишиной и оранжерейной духотой предгрозя последних десятилетий неукоснительно надвигался новый век, в котором явственно сгущалось что-то

страшное. Первые события «межвременья» - 1900-х годов - стали только прологом к трагедии обезбоженного мира, где человек жаждал самоутверждения и всевластия за счет себе подобного.

В декабре 1904 года началась война между Россией и Японией. Пробуждение Дальнего Востока и его роль на арене мировой истории в новом столетии предчувствовал еще Владимир Соловьев. Особое место он отводил Японии, видя в ней мозг и собирателя сил желтого мира. Об этом великий мыслитель предупреждал и в «Повести об антихристе», и в стихотворении «Панмонголизм»:

От вод малайских до Алтая
Вожди с восточных островов
У стен поникшего Китая
Собрали тьмы своих полков.

Как саранча, неисчислимы
И ненасытны, как она,
Нездешней силою хранимы,
Идут на север племена.

О Русь! забудь былую славу:
Орел двухглавый сокрушен,
И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен.

Смирится в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть...
И Третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть [\[112\]](#).

Подобно ветхозаветным пророкам, обличавшим прежде всего Израиль за отступление от Божьих путей

и видевших в победах над ним иноплеменников напоминание о его предназначении – жить не по всеобщему низменному правилу, а по высокому исключению, Владимир Соловьев главный упрек обращал к православной России, оказавшейся недостойной своего призвания, за что ее ожидало историческое возмездие, как некогда Византию. «Пробудившиеся племена» были только орудием Промысла.

Одно за другим приходили с Дальнего Востока страшные и горькие известия – о гибели «Варяга» и «Корейца», о поражении под Ляояном, о падении Порт-Артура. Русское общество и народ все более и более охватывало глубокое уныние и разочарование. Росло недовольство действиями правительства и положением дел в стране. «Страсть к отчизне» у многих перерождалась в «ненависть». Как когда-то в средневековой Западной Европе после окончательного поражения крестоносцев и утраты Иерусалима рыцарь, подавая милостыню нищему, нередко говорил: «Подаю тебе во имя Магомета, который сильнее Христа!», так и теперь нашлись такие, что, узнав о гибели русской эскадры в Цусимском сражении, отправили поздравительную телеграмму японскому императору. Для того чтобы восстановить почти разрушившуюся жизнь Церкви на Западе, потребовался святой Франциск Ассизский, как на Руси после ордынского разгрома – преподобный Сергей Радонежский. Новую, уже близкую мировую катастрофу остановить не мог никто. В России преподобный Серафим Саровский, оптинские старцы и святой Иоанн Кронштадтский многими почитались, но не были по-настоящему услышаны теми, кому надлежало иметь уши. «Красное колесо» неудержимо набирало обороты...

О смысле событий, происходивших тогда, Вяч. Иванов писал в статье «Русская идея»: «Желтая Азия

подвиглась исполнить уготованную ей задачу, – задачу испытать дух Европы: жив ли и действен ли в ней ее Христос? Желтая Азия спросила нас первых, каково наше самоутверждение. А в нас был только разлад»^[113].

А впереди маячил день, потрясший и ужаснувший Россию больше, чем все военные поражения, после которого прежняя жизнь окончательно стала невозможной.

Вячеслав Иванов и Лидия Дмитриевна продолжали жить в Швейцарии. В августе 1904 года они познакомились с приехавшим в Женеву поэтом Максимилианом Волошиным, к тому времени уже хорошо известным в художественных кругах Парижа, Петербурга и Москвы. Свои стихи и статьи Волошин публиковал в русских и французских журналах, занимался живописью, целые дни проводил в музеях. Много путешествовал по Европе в компаниях художников, порой один или с немногочисленными спутниками с посохом странника в руках проходил десятки километров горными тропами, обследуя самые глухие уголки, малоизвестные и европейцам, в Андорре, на Балеарских островах. Париж, его историю с древнейших времен и его топографию знал не хуже своего собственного дома, водил по нему группы русских приезжих, особенно любил завести их на ночь глядя в глушь Булонского леса и пугать там рассказами о разбойниках, доводя иной раз слабонервных барышень или робких студентов до полубморочного состояния. С поэзией Вяч. Иванова Волошин познакомился незадолго до встречи с ним самим. Оба поэта были бесконечно не похожи друг на друга. У Волошина в стихах царствовал глаз – праздничное восприятие живописца, привязанность к зримой красоте мира сего, чувство цвета, фактуры.

Тем не менее каждый из мастеров оценил другого по достоинству. Некоторые из тогдашних бесед с Вяч. Ивановым Волошин записал в своем дневнике:

«9 августа. Женева.

...Разговор с Вячес<лавом> Ивановым:

- У Вас удивительно красочный язык. Вы редко хорошо рассказываете. Это тонкая живопись до мельчайшей детали.

- Да, я признаю обезьяну. Обезьяна - а потом неожиданный подъем: утренняя заря, рай, божественность человека. Совершается единственное в истории: животное, охваченное безумием, обезьяна сошла с ума. Рождается высшее - трагедия...

10 августа. Женева.

- ...У Вас глаз непосредственно соединен с языком. В ваших стихотворениях как будто глаз говорит. Все необыкновенно закончено...

- Я ищу в стихе равновесия. Если я употребляю в одном стихе редкое слово, то я стараюсь употребить равноценное на другом конце строфы.

- Вы буддист. Вы нам чужды. Мне враждебен Virus буддизма. Вот вопрос, решающий, твердо ставящий грань: "Хотите Вы воздействовать на природу?"

- Нет. Безусловно. Я только впитываю ее в себя... Я радуюсь всему, что она мне посылает...

- Ну вот! А мы хотим претворить, пересоздать природу. Мы - Брюсов, Белый, я. Брюсов приходит к магизму. Белый создал для этого новое слово, свое 'теургизм...

В буддизме равенство человека и животных.

Христианство - это сила. Мы будем возвышаться, впитывать животных. Христианство - это религия любви, но не жалости. Жалость чужда христианству. Безжалостная любовь - истребляющая, покоряющая - это христианство. В буддизме скорее есть жалость. Это религия усталого спокойствия.

- Я считаю основой жизни пол...

Это живой, осязательный нерв, связывающий нас с вечным источником жизни. Искусство - это развитие пола. Мы переводим эту силу в др<угую> область...

- Если так, Вы подходите к нам. Вы не буддист. В буддизме нет трагедии.

- Для меня жизнь радость. Хотя, может, многое, что другие называют страданием, я называю радостью. Я страдание включаю в понятие радости...

22 августа.

Еду... к Иванову.

Разговор сразу начинается о ритме и о танце, быстро и согласно, точно мы бежим по одной дороге, торопясь и перебивая друг друга.

- Конечно, танец есть источник всякого ритма и, следовательно, стиха. В Греции все стихи оттеняли ритм танца. Поэтому и многообразие ритмов в трагедии. Я вот пытался передавать их по-русски. Напр<имер> там, где встречаются два рядом стоящих ударения слова. В этом топот ног.

Он приносит книгу и читает»[\[114\]](#).

22 августа Волошин вернулся из Женевы в Париж, а в декабре уехал в Россию. Прожив пять дней в Петербурге, а затем почти три недели в Москве, он вновь отправился в Северную столицу. 9 января 1905 года Волошин сошел с поезда на Московском вокзале. Этот день, один из самых страшных и трагических во всей русской истории, свидетелем которого ему выпало стать, когда на глазах рушились казавшиеся прежде несокрушимыми основы народной жизни и веры, Волошин запечатлел и в своем дневнике, и в статье «Кровавая неделя в Санкт-Петербурге», опубликованной в феврале того же года на французском языке в газете «L'Européen Courrier international Hebdomadaire» («Европейский

международный еженедельный курьер»): «Проходя по Литейному, я увидел на тротуарах толпы людей; все, задрав головы, смотрели расширенными от ужаса глазами. Я повернулся, стараясь понять, на что они так смотрели, но ничего не увидел. Я почувствовал, что их взгляды скользят совсем близко от меня, не останавливаясь на мне. И вдруг я разглядел, что во всех санях, которые проезжали мимо меня, находились не живые люди, а трупы...

В этот момент я увидел на небе три солнца – явление, которое наблюдается в сильные холода и, по верованиям некоторых, служит предзнаменованием больших народных бедствий...

Подошел бледный, с дрожащей челюстью рабочий, в истерзанных одеждах, и, обращаясь частью ко мне, частью к солдатам, рассказал, что на Дворцовой площади по толпе были даны два залпа. «Толпа собралась, чтобы увидеть царя. Говорили, будто он примет рабочих в два часа. Было много детей и женщин. На площади войска выстроились, как для встречи царя. Когда трубы заиграли сигнал: ‘В атаку!’, люди решили, что едет царь, и стали вставать на цыпочки, чтобы лучше видеть. В этот момент, без всякого приказа, был дан залп, потом другой, прямо в упор по толпе”...

То же самое происходило и за Нарвской заставой, где стреляли по процессии с крестьянами впереди. Толпа с хоругвами, иконами, портретами императора и священниками во главе не разбежалась при виде нацеленных дул, а упала на колени с пением гимна во славу царя: “Боже, царя храни”»^[115].

Подытоживая впечатления этого страшного дня, Волошин так завершал свою статью: «Странными путями предзнаменования... – как три солнца, светивших над Петербургом... – связывались с

повторением исторических фактов перед Великой французской революцией... Слова великого князя Владимира: “Мы знаем слишком хорошо историю французской революции, чтобы допустить ошибки, совершенные тогда”, ввиду полного параллелизма фактов, пробуждали глубокий фатализм.

Кровавая неделя в Петербурге не была ни революцией, ни днем революции. Происшедшее – гораздо важнее. Девиз русского правительства “Самодержавие, православие и народность” повержен во прах. Правительство отринуло православие, потому что оно дало приказ стрелять по иконам, по религиозному шествию. Правительство объявило себя враждебным народу, потому что отдало приказ стрелять в народ, который искал защиты у царя.

Эти дни были лишь историческим прологом великой народной трагедии, которая еще не началась.

Зритель, тише! Занавес поднимается»... [\[116\]](#)

По странному, но какому-то глубоко не случайному, знаковому совпадению в этот же день в Петербург приехала Айседора Дункан. С ней Волошин за полгода до того познакомился в Париже. «Великая босоножка» возродила на балетной сцене исступленный, неистовый дионисийский танец, словно уловя те ритмы времени и истории, которые чувствовали и русские поэты Серебряного века. Позже об этом писал и Блок в статье «Катилина», сопоставляя ритм и размер Катуллова «Аттиса» с катастрофическими событиями, предшествовавшими крушению республики в Риме, периоду гражданской смуты и установлению принципата.

Вячеслав Иванов в январе 1905 года по-прежнему оставался в Женеве. Там он и узнал обо всем произошедшем в Петербурге. 6 февраля он писал Валерию Брюсову: «Пророс великий росток! Правда,

общее безумие – реально охватило Россию... *Пережить нужно все, и уцелеть... Помни это!*»^[117] Русским поэтам вслед за Пушкиным, особенно в XX столетии, не однажды приходилось примерять на себя участь Андре Шенье.

Сдвиги, совершавшиеся тогда в русской истории, отзывались и в стихах Вяч. Иванова. Он верил, что, пройдя через очистительное страдание, Россия возродится к новой жизни, что горестные события – только преддверие долгожданных перемен. Этой надеждой было пронизано стихотворение «Под знаком Рыб», написанное 18 апреля 1905 года:

При заревах, в годину гнева,
Из напоенных кровью глыб
Пророс росток святого древа
На звездный зов заветных Рыб.

Росток младенческий, приземный!
Орлов ютить ты будешь в день,
Как над страной неподъяремной
Могучую раздвинешь сень^[118].

Тот же мотив звучал и в другом стихотворении Иванова – «Цусима», написанном месяц спустя. Ему был предпослан эпиграф из военных реляций, сообщавших, что крейсер «Алмаз» единственный из разгромленной русской эскадры прорвался через цепь японских кораблей и пришел во Владивосток. Для Иванова название этого крейсера, уцелевшего среди всеобщей катастрофы, обрело знаковые черты:

В моря заклятые родимая армада
Далече выплыла... – последний наш оплот!
И в хлябях водного и пламенного ада —

Ко дну идет...

.....

Огнем крестися, Русь! В огне перегори
И свой Алмаз спаси из черного горнила!
В руке твоих вождей сокрушены кормила:
Се, в небе кормчие ведут тебя цари^[119].

День ото дня Вяч. Иванов и Лидия Дмитриевна все сильнее хотели вернуться в Россию. Они чувствовали, что там сейчас совершается что-то всемирно значимое, судьбоносное для нового столетия, чему поэту надлежит быть свидетелем. Жизнь в тихой Швейцарии уже не отвечала их внутренним потребностям. Все накопленное Вячеславом за долгие годы сосредоточенного самоуглубленного труда требовало теперь простора, выхода и самоотдачи. К тому же после смерти отца Лидии Дмитриевны ничто больше не вынуждало Ивановых жить в Шатлене.

И вот в июне 1905 года, оставив Костю, Веру и девятилетнюю Лидию (Сереза учился в Англии, лишь на каникулы приезжая в гости) на попечении Марии Михайловны Замятниной, супруги отправились в Петербург. Незадолго до отъезда Лидии Дмитриевне приснился странный сон. Вместе с Вячеславом они находились в круглой комнате и бросали в стоящую посередине урну рукописные свитки. Вдруг свитки вспыхнули. Пламя охватило всю комнату. Вячеслав и Лидия начали выхватывать горящие свитки из урны и кидать вниз из окна, где их ловили подбегающие люди.

Приехав в Петербург и временно поселившись в Офицерском переулке, Ивановы стали искать себе жилье. Однажды, когда они проходили по Таврической улице, на стене пятиэтажного доходного дома номер 25 с большим круглым выступом – эркером в углу над

крышей им на глаза попало объявление, что здесь сдается квартира. Они поднялись на верхний этаж. Квартира оказалась как раз в эркере. Когда Лидия Дмитриевна вошла, то увидела круглую комнату – ту самую, из своего сна. Все было тут же решено. Дом словно сам выбрал жильцов, чтобы стать легендой. Ивановы мгновенно поняли, что это *их* пространство. Впоследствии дочь Вячеслава Ивановича и Лидии Дмитриевны, Лидия-младшая, так описывала жилище на Таврической в своей книге воспоминаний об отце: «Дом на Таврической, 25 находился на углу Тверской улицы. Форма дома была особенная: его угол был построен в виде башни. Половину этой башни образовали внешние стены, с большими окнами, а другая половина состояла из внутренней части квартир. Над башней возвышался купол и туда можно было с опаской входить, чтобы любоваться чудным видом на город, на Неву и окрестности. Я часто туда отправлялась, а изредка даже и Вячеслав с гостями. В квартирах под нами башня представляла собой большой круглый зал (на одном этаже там была школа танцев Знаменских, на другой – общественная читальня). В нашей квартире этот зал был разделен на три маленькие комнаты с крошечной темной передней. Форма комнат была причудливая, так как это были разрезы круга. В соседней комнате было очень большое окно с видом на море»^[120].

Вячеслав Иванов в июне 1909 года писал в своем дневнике: «Хорошо на башне. Устроенный, прохладный, тихий оазис на высоте над Таврическим садом и его зеленой чашей – прудом с серебряными плесами»^[121].

Башне суждено было почти на семь лет стать домом поэта и одновременно одним из самых ярко пылающих и гостеприимных «очагов» Серебряного века, где жизнь духа, мысли и искусства достигала небывалых высот.

Отозвалась она и в поэзии Вяч. Иванова. Вскоре после обретения нового жилья он пишет стихотворение «Астролог». Так же как «Цусима» и «Под знаком Рыб», оно было полно предчувствием грядущих судеб России. Но акценты в нем явно сместились. Если в недавних стихах жила надежда, что через временные страдания страна преобразится и выйдет к свободе и великой славе, то в «Астрологе» предвиделось погружение во мрак гражданского ада на долгие годы. В России все больше сгущалась предгрозовая атмосфера. Повсюду происходили революционные волнения и забастовки, в деревнях – поджоги и разграбления помещичьих усадеб. Правительство отвечало на это репрессиями, которые, несмотря на всю жестокость по меркам *того времени*, не могли предотвратить будущего кровавого потопа. Точно так же, как во Франции XVIII столетия, когда большая часть общества жила по принципу «после нас – хоть потоп», потоп не замедлил прийти... Время для лечения застарелых недугов было безнадежно упущено. Россией все больше овладевало безумие, чреватое неисчислимыми жертвами. Опустошенность и болезнь духа грозили страшными конвульсиями.

Когда-то пророки древнего Израиля поднимались на башню Иерусалимского храма, чтобы получить откровение от Бога. Там Аввакум услышал горькую весть, не оставлявшую никаких надежд на спасение народа, удалившегося от путей правды, но сам обрел незыблемую опору, дающую избраннику силы выстоять вопреки губительным вихрям истории – «праведный своею верою жив будет» (Авв., 2, 4).

Вещающий с башни «астролог» Вяч. Иванов, конечно же, не пророк. Смысл открытого пророку относится ко всем временам, тогда как астролог пытается предсказать по расположению небесных светил ход ближайших событий. Однако этот образ имел у Иванова

еще и особое значение, если вспомнить его «кормчие звезды», направляющие на тот же путь, что и Книга книг. Со своей «башни» напротив Таврического сада поэт различал близкую уже череду скорбей начинающегося столетия:

«Гласи народу, астролог,
И кинь свой клич с высокой башни:
На села сирые, на чахнувшие пашни
Доколь небесный гнев налег?»

– «Чредой уставленной созвездья
На землю сводят меч и мир:
Их вечное ярмо склонит живущий мир
Под знак Безумья и Возмездья.

.....

И страсть вас ослепит, и гнева от любви
Не различите вы в их яром искаженье;
Вы будете плясать – и, пав в изнеможенье,
Все захлебнуться вдруг возжаждете в крови.

Бьет час великого Возмездья!
Весы нагнетены, и чаша зол полна...
Блажен безумьем жрец! И, чья душа пьяна, —
Пусть будет палачом!.. Так говорят
созвездья»^[122].

Почти в то же самое время, когда Вяч. Ивановым в Петербурге был написан «Астролог», – летом 1905 года (по другим данным – 2 марта 1906 года) Максимилиан Волошин в Париже пишет стихотворение «Ангел мщенья».

На разных концах Европы два огромных русских поэта размышляли о грядущем скорбном пути России.

Удивительным было совпадение их провидческого опыта – почти на словесном уровне перекликались оба стихотворения, вплоть до финальных строк:

Народу Русскому: я скорбный Ангел Мщенья!
Я в раны черные – в распаханную новь
Кидаю семена. Прошли века терпенья.
И голос мой – набат. Хоругвь моя – как кровь.

.....

О, камни мостовых, которых лишь однажды
Коснулась кровь! я ведаю ваш счет.
Я камни закляну заклятьем вечной жажды,
И кровь за кровь без меры потечет.

.....

Не сеятель сберет колючий колос сева.
Принявший меч погибнет от меча.
Кто раз испил хмельной отравы гнева,
Тот станет палачом иль жертвой палача [\[123\]](#).

Хорошо зная историю французской революции, Вяч. Иванов и Волошин понимали, что русская смута будет намного страшней и кровавей. Но Волошин оказался прозорливее. Он провидел, что революция, подобно водовороту, поглотит и тех, кто вершил эту безумную вакханалию, что тот, «чья душа пьяна» и кто «будет палачом», неминуемо станет затем и «жертвой палача» по неизбывному закону смутного времени.

В Петербурге ожидание близких бедствий все больше усиливалось у Вяч. Иванова. Этот «самый сочиненный город» не раз отзывался катастрофическими мотивами в русской литературе, начиная с «Медного всадника». Слышались они и у Гоголя, и – надрывной нотой – у Достоевского. Совсем

недолго оставалось до «Петербурга» Андрея Белого, до блоковского «Страшного мира», до вещего, звучащего приговором стихотворения Иннокентия Анненского... «Чудотворный строитель» в исполинском размахе своих державных замыслов мало думал о тех, кому потом предстояло жить в этом городе. Он слишком торопил историю. Позже Волошин, видя глубинную связь между первым и третьим Римом через Византию, писал об этом в стихотворении «Европа»:

Здесь, жгучие желанья затая,
В глубоких влумах укрытая стихия,
Чувствовалище и похотник ея,
Безумила народы Византия.

.....

И зачала и понесла во чреве
Русь – третий Рим – слепой и страстный плод:
Да зачатое в пламени и в гневе
Собой восток и запад сопряжет!

Но, роковым охвачен нетерпеньем,
Всё искажил неистовый Хирург,
Что кесаревым вылушил сеченьем
Незрелый плод Славянства – Петербург^[124].

Поспешность и нетерпение Петра отозвались спустя два столетия. В Петербурге завязался один из самых тугих узлов мировой истории. Здесь и поселились поэт и его подруга. Как не походила эта Северная столица, соперничающая с Древним Римом своим классическим обликом, с величавым безмерным пространством Невы, скупым прохладным светом, осенним сумраком и туманом, привольным для химер, ни на домашний уютный мир старой Москвы, ни тем более на залитый

солнцем средиземноморский простор, столь дорогой их сердцам!

Но все же что-то неудержимо влекло сюда Вячеслава и Лидию. Они оказались в этом месте в нужное время и сами стали эпохой. «Странность» их выбора раскрывалась в написанном тогда же Вяч. Ивановым стихотворении «На башне»:

Пришелец, на башне притон я обрел
С моею царицей – Сивиллой,
Над городом-мором – смурый орел
С орлицей ширококрылой.

Стучится, вскрутя золотой листопад,
К товарищам ветер в оконца:
«Зачем променяли свой дикий сад
Вы, дети-отступники Солнца,

Зачем променяли вы ребра скал,
И шепоты вещей пещеры,
И ропоты моря у гордых скал,
И пламенноликие сферы —

На тесную башню над городом мглы?
Со мной, на родные уступы!..»
И клекчет Сивилла: «Зачем орлы
Садятся, где будут трупы?»[\[125\]](#)

Последние две строки были перифразом евангельского стиха «Ибо, где будет труп, там соберутся орлы» (Мф.; 24, 28), когда Спаситель говорил ученикам о грядущей гибели Иерусалима, не узнавшего времени его посещения, оставшегося глухим к Богу. На путях мировой истории такое повторялось не раз. И люди с чутким слухом распознавали надвигающуюся

грозу еще по дальним громам. Граду Петрову предстояло стать местом одной из самых страшных русских катастроф, сценой, где разыграется трагедия невиданного прежде размаха. Слышалось предчувствие близкой беды и в другом стихотворении Вяч. Иванова того же времени – «Медный всадник». Два, казалось бы, противоположных, но равно враждебных человеку начала – стихия и «кумир» – всегда довлели в судьбе этого города. Россия, поднятая на дыбы, и «тяжелозвонное скаканье», пророчески увиденные и услышанные Пушкиным, откликнулись роковым смыслом и в новом столетии:

В этой призрачной Пальмире,
В этом мареве полярном,
О, пребудь с поэтом в мире,
Ты, над взморьем светозарным

Мне являвшаяся дивной
Ариадной, с кубком рьяным,
С флейтой буйно-заунывной
Иль с узывчивым тимпаном...

.....

Приложила перст молчанья
Ты к устам – и я, сквозь шепот,
Слышу медного скаканья
Заглушенный тяжкий топот...

Замирая, кликом бледным
Кличу я: «Мне страшно, дева,
В этом мороке победном
Медно-скачущего Гнева...»

А Сивилла: «Чу, как тупо
Ударяет медь о плиты...

То о трупы, трупы, трупы
Спотыкаются копыта»... [\[126\]](#)

За «медно-скачущим Гневом» выделялись всадники Апокалипсиса. Поэт не мог быть равнодушным к тому, что явственно назревало во времени. И вновь совопросницей и сопровидицей его стала верная подруга – Сивилла, наделенная той же орлиной зоркостью. Она появлялась в стихах и под другими именами – и Менадой, и Диотимой на платоновском «симпозионе», пире мудрого веселья. Этому пиру суждено было теперь продолжиться на «башне», а предводительствовать на нем – Вячеславу Иванову. О его удивительном даре собеседника, искусстве обворожить слушателей говорилось много. Писатель Борис Зайцев вспоминал об одной встрече с ним и Лидией Дмитриевной: «Пришел Вячеслав Иванович с дамой, очень пестро и ярко одетой. Сам он... мягко-кудреватый, голубые глаза... Светлая борода. Общее впечатление мягкости, влажности и какой-то кругловатости. Дама – его жена, поэтесса Зиновьева-Аннибал...

Гость оставляет несколько старомодную крылатку и шляпу в прихожей, мы усаживаемся за самоваром – два странных гостя мои сидят в начинающихся сумерках – соединение именно некоей старомодности с самым передовым, по теперешнему “авангардным”, в искусстве. Я угощаю, чем могу (чаем с притыкинским вареньем). Но тут дело не в угощении. Вячеслав Иванович из всякого стакана чая с куском сахара мог – и устраивал некий симпозион. Да, было нечто пышно-пиршественное в его беседе, он говорить любил сложно, длинно и великолепно; другого такого собеседника не встречал я никогда. Словоохотливых и болтунов – сколько угодно. Вячеслав же Иванов никогда

не был скучен или утомителен, всегда *свое*, и новое, и острое. Особенно любил и понимал античность. Древнегреческие религии, разные Дионисы, философии того времени – вот где он как дома. Если уже говорить о родственности... – Вот он-то и оказался праправнуком Платоновых диалогов.

...Подошла потом моя жена, заговорила оживленно с многоцветной Зиновьевой-Аннибал. Но остановить Вячеслава Иванова было трудно... он прочел нам целую лекцию – да какую! Так вот и превратился скромный арбатский вечер в небогатой студенческой квартирке в настоящий словесный пир. Но, конечно, на симпозионе этом говорил он один. И слава Богу! Куда нам за ним угнаться!»[\[127\]](#)

Ивановские «среды», начавшиеся на «башне» осенью 1905 года, совпали с чередой потрясений. Октябрьские забастовки вылились во всероссийскую стачку. Участники ее выступили уже с политическими требованиями: созвать Учредительное собрание, наделенное законодательными полномочиями, провести всеобщие выборы, предоставить гражданам России демократические права – свободу совести, слова, собраний и союзов. 17 октября царь подписал манифест о созыве Государственной думы. Но волнения в стране не утихали. В ноябре вспыхнул мятеж на крейсере «Очаков», который возглавил лейтенант Шмидт, в декабре – вооруженное восстание в Москве. Оно приобрело такие масштабы, что московские власти не могли с ним справиться самостоятельно, и правительству для его подавления пришлось перебрасывать из Петербурга гвардейский Семеновский полк и артиллерию. Революционеры уже тогда явили беспримерную жестокость и черты будущего деспотизма. Так, в листовке Боевой организации при Московском комитете РСДРП «Советы восставшим

рабочим» говорилось: «Дворникам запрещайте запирать ворота. Это очень важно. Следите за ними, и если кто не послушает, то в первый раз побейте, а во второй – убейте. Заставляйте дворников служить опять-таки нам, а не полиции. Тогда каждый двор будет нашим убежищем и засадой»^[128]. Уроки своих предтеч – прототипов Петра Верховенского и Шигалева – новые «бесы» усвоили хорошо.

Правительство жестко подавило московский мятеж. Но вместо давно ожидаемых реформ оно ответило на революционные выступления лишь карательными экспедициями и военно-полевыми судами.

Вячеслав Иванов был глубоко потрясен всем происходившим у него на глазах. Он ожидал мирного преобразования страны и соборного единства вольного народа, а вместо этого увидел смуту, междоусобицу и кровь. На новый, 1906 год он написал стихотворение «Люцина», где есть строки, свидетельствующие о крушении его надежд на обновление жизни:

Свою ж грызущий, в буйстве яром,
От плоти плоть, от кости кость,
Народ постигнет ли, что с даром
К нему приходит некий Гость?
Где ангел, что из яслей вынет
Тебя, душа грядущих дней,
И скопища убийц раздвинет,
И сонмы мстительных теней?..

.....

Елей разлит; светильня сохнет;
Лампада праздная темна:
Так в тленьи медленном заглохнет
Многострадальная страна...^[129]

Тогда же по югу России прокатилась волна еврейских погромов, организованных черносотенцами, которым молчаливо, но явно покровительствовали многие из высокопоставленных персон. У интеллигенции это вызвало ярость и негодование и разверзло еще более глубокую пропасть между ней и правительством. Антисемитизм всегда был отвратителен подлинно культурным русским людям, воспринимался ими как удел исключительно низких душ, нечто недостойное, грязное.

А поэты Серебряного века обостренно чувствовали живую, глубинную и трагическую связь Христа с его народом. Лучшие пастыри Русской церкви, такие как Иоанн Кронштадтский, грозно обличали погромщиков в своих проповедях.

Зинаида Гиппиус писала в стихотворении «Он»:

Он принял скорбь земной дороги,
Он первый, Он один,
Склонясь, умыл усталым ноги
Слуга – и Господин.

Он с нами плакал, – Повелитель
И суши, и морей.
Он царь, и брат нам, и Учитель,
И Он – еврей^[130].

Еще дальше со свойственной ей «безмерностью в мире мер» в отношении к евреям пошла Марина Цветаева:

В любом из вас, – хоть в том, что при огарке
Считает золотые в узелке —
Христос слышнее говорит, чем в Марке,
Матфее, Иоанне и Луке.

По всей земле – от края и до края —
Распятие и снятие с креста.
С последним из сынов твоих, Израиль,
Воистину мы погребем Христа!^[131]

Другая русская поэтесса Серебряного века, которой посвящали стихи Блок и Гумилев, Елизавета Кузьмина-Караваяева, в эмиграции приняла монашество с именем мать Мария и основала движение «Православное Дело». Когда Франция в 1940 году была оккупирована нацистами, она вместе со своими сподвижниками спасла многих евреев от неминуемой гибели, добывая для них поддельные документы и выдавая свидетельства о крещении.

Судьбе Израиля мать Мария посвятила в те дни такие строки:

Два треугольника, звезда...
Щит Праотца – Царя Давида.
Избрание, а не обида,
Великий путь, а не беда!
.....

Израиль, ты опять гоним, —
Но что людская воля злая,
Когда тебя в грозе Синая
Вновь вопрошает Элогим!

И пусть же ты, на ком печать,
Печать звезды шестиугольной,
Научишься душою вольной
На знак неволи отвечать^[132].

В 1943 году мать Мария была арестована гитлеровцами вместе со своим помощником – священником Дмитрием Клепининым и другими участниками «Православного Дела». Отцу Дмитрию на допросе сказали, что его отпустят, если он даст обещание больше не помогать евреям. Тогда он показал гестаповцу свой наперсный крест и спросил: «А этого Еврея вы знаете?» И отец Дмитрий, и мать Мария приняли мученическую смерть в нацистских концлагерях, положив жизнь за други своя.

Вячеслав Иванов хорошо помнил все то, что Владимир Соловьев говорил о тайне Израиля в Божественном замысле спасения человечества и до Христа, и после Его воплощения. Еврейские погромы поэт воспринимал как поругание христианства теми, кто сами себя гордо именовали «православными». Об этом в 1906 году он с горечью писал в стихотворении «Язвы гвоздины»:

Сатана свои крылья раскрыл, Сатана,
Над тобой, о родная страна!
И смеется, носясь над тобой, Сатана,
Что была ты Христовой звана:

«Сколько в лесе листов, столько в поле крестов:
Сосчитай прогвожденных христов!
И Христос твой – сором: вот идут на погром —
И несут Его стяг с топором»... [\[133\]](#)

В эти смутные и тревожные дни 1905 года и начались знаменитые ивановские «среды» – собрания в доме на Таврической улице. «Башня» очень скоро стала одним из главных «очагов» Серебряного века наряду с салоном Гиппиус и Мережковского в Петербурге и домом Брюсова в Москве. Собственно, само название

эпохи родилось в «башенном» кругу. Однажды, говоря о минувшем пушкинском «золотом веке», Вяч. Иванов задался вопросом, как же будут называть век нынешний. «Серебряным» – мгновенно нашелся Бердяев. Гесиодова последовательность пришлась тут как нельзя кстати. На пороге уже маячил «медный век»... В то время Вяч. Иванов часто вспоминал предсмертные слова своего великого учителя – Владимира Соловьева: «Трудна работа Господня». Они вселяли надежду даже там, где места для нее не могло оставаться. В понятие «работы Господней» для Вяч. Иванова как ничто другое входила и культурная деятельность. Первый биограф поэта Ольга Шор была глубоко права, когда писала: «В лице Вячеслава Иванова религиозное движение, вышедшее из Достоевского и Владимира Соловьева, соединилось с новыми литературными исканиями»^[134].

Попыткой диалога между самыми различными направлениями мысли и культуры начала века и стали встречи на «башне». По средам к полночи там собирались писатели, художники, актеры, философы, ученые и общественные деятели. Здесь читали стихи и делали доклады, спорили и предавались многообразным «духовным играм». Молодые поэты обретали на «башне» признание.

Обстановку этих «симпозионов» вспоминал в очерке «Ивановские среды» бессменный председатель «башенных» собраний Н. А. Бердяев: «Осенью 1905 года Вячеслав Иванович Иванов и... жена его Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал устроили у себя на “башне” – так называлась квартира их на Таврической на шестом этаже, – журфиксы по средам. В начале это были скромные собрания друзей и близких знакомых из литературного мира. Ивановы недавно переехали в Петроград из-за границы и завязывали литературные

связи. Но как-то сразу сумели они создать вокруг себя особенную атмосферу и привлечь людей самых различных душевных складов и направлений. Это была атмосфера особенной интимности, но совершенно лишенная духа сектантства и исключительности. Поистине В. И. Иванов и Л. Д. Зиновьева-Аннибал обладали даром общения с людьми, даром притяжения людей и их взаимного соединения. Много талантливой энергии тратили они на людей, много внимания уделяли каждому человеку, интересовались каждым в отдельности и заинтересовывали каждого собой, вводили в свою атмосферу, в круг своих исканий. Сразу же выяснилось, что В. И. Иванов не только поэт, но и ученый, мыслитель мистически настроенный, человек очень широких и разнообразных интересов. Всегда поражала меня в Вяч. Иванове эта необыкновенная способность с каждым говорить на те темы, которые его более всего интересуют, – с ученым о его науке, с художником о живописи, с музыкантом о музыке, с актером о театре, с общественным деятелем об общественных вопросах. Но это было не только приспособлением к людям, не только гибкость и пластичность, не только светскость, которая в В. Иванове поистине изумительна, – это был также дар незаметно вводить каждого в атмосферу своих интересов, своих тем, своих поэтических или мистических переживаний, через путь, которым каждый идет в жизни. В. Иванов никогда не обострял никаких разногласий, не вел резких споров, он всегда искал сближений и соединений разных людей и разных направлений, любил выработать общие платформы. Он мастерски ставил вопросы, провоцировал у разных людей идейные и интимные признания. Всегда было желание у В. Иванова превратить общение людей в Платоновский симпозион... “Соборность” – излюбленный его лозунг...

Скоро журфиксы по средам превратились в известные всему Петрограду, и даже не одному Петрограду, “Ивановские среды”, о которых слагались целые легенды... Душой, психеей “Ивановских сред” была Л. Д. Зиновьева-Аннибал. Она не очень много говорила, не давала идейных решений, но создавала атмосферу даровитой женственности, в которой протекало все наше общение... Л. Д. Зиновьева-Аннибал была совсем иной натурой, чем Вячеслав Иванов, более дионисической, бурной, порывистой, революционной по темпераменту, стихийной, вечно толкающей вперед и ввысь. Такая женская стихия в соединении с утонченным академизмом Вяч. Иванова, слишком много принимающего и совмещающего в себе, с трудом уловимого в своей единственной и последней вере, образовывала талантливую, поэтически претворенную атмосферу общения, никогда и ничего из себя не извергавшую и не отталкивавшую. Три года продолжались эти “среды”, отвечавшие назревшей культурной потребности... Я, кажется, не пропустил ни одной “среды” и был несменяемым председателем на всех проходивших собеседованиях.

На “Ивановских средах” встречались люди очень разных даров, положений и направлений. Мистические анархисты и православные, декаденты и профессора – академики, неохристиане и социал-демократы, поэты и ученые, художники и мыслители, актеры и общественные деятели, – все мирно сходились на Ивановской башне и мирно беседовали на темы литературные, художественные, философские, религиозные, оккультные, о литературной злобе дня и последних, конечных проблемах бытия. ...Преобладал тон и стиль мистический... Но ошибочно было бы смотреть на среды как на религиозно-философские собрания. Это не было местом религиозных исканий. Это была сфера культуры, литературы, но с уклоном к

предельному. Мистические и религиозные темы ставились скорее как темы культурные, литературные, чем жизненные... Русское литературно-художественное движение соприкоснулось с движением религиозно-философским. В лице Вяч. Иванова оба течения были слиты в одном образе, и это соприкосновение разных сторон русской духовной жизни все время чувствовалось на “средах”. Но ничего не было узко-кружкового, сектантского. В беседах находили себе место и люди другого духа, позитивисты, любившие поэзию, марксисты со вкусами к литературе. Вспоминаю беседу об Эросе, одну из центральных тем “сред”. Образовался настоящий симпозион, и речи о любви произносили столь различные люди, как сам хозяин Вячеслав Иванов, приехавший из Москвы Андрей Белый и изящный проф. Ф. Ф. Зелинский, и А. Луначарский, видевший в современном пролетариате перевоплощение античного Эроса, и один материалист, который ничего не признавал, кроме физиологических процессов. Но господствовали символисты и философы религиозного направления. Частыми посетителями и участниками беседований по средам были Е. Аничков, М. Волошин, Л. Габрилович, проф. Ф. Зелинский, Вяч. Г. Каратыгин, проф. Н. Котляревский, В. Мейерхольд, В. Нувель, проф. М. Ростовцев, Ф. Сологуб, Г. Чулков, К. Сюнненберг. Часто бывали, но сравнительно редко говорили А. Блок, Бакст, Добужинский, С. Городецкий, М. Кузмин, К. Сомов, А. Ремизов, П. Соловьев. Реже можно было встретить Д. Мережковского, З. Гиппиус, Д. Филофова, А. Карташева, а также В. Розанова. Нередко “среды” были посвящены поэзии, и многие молодые поэты впервые читали там свои стихи. Собрания по средам постепенно начали расширяться, появлялись все новые и новые люди. В Петрограде много говорили об “Ивановских средах”, они вызвали к себе интерес в

разных кругах... На одной из “сред”, когда собралось человек 60 поэтов, художников, артистов, мыслителей, ученых, мирно беседовавших на утонченные культурные темы, вошел чиновник охранного отделения в сопровождении целого отряда солдат, которые с ружьями и штыками разместились около дверей. Почти целую ночь продолжался обыск, в результате которого неожиданным гостям пришлось признать свою ошибку. В эту ночь из передней пропала шапка Мережковского, который написал на эту тему статью в газете. Политики на “средах” не было, несмотря на бушевавшую вокруг революцию. Но дионисическая общественная атмосфера отражалась на “средах”. В другую эпоху “среды” были бы невозможны...

“Среды” продолжались три года. За это время много было событий. Мы собирались и беседовали в исторический 1905 год. Но и в этой исключительно напряженной революционно-политической атмосфере, когда большинство было исключительно поглощено политикой, на “средах” утверждались и отстаивались ценности духовной творческой жизни, поэзии, искусства, философии, мистики, религии... Потом начался другой период русской жизни. Многие были углублены... Новая поэзия, новое искусство были признаны и вошли в общую культуру. Религиозно-философские течения углубились. Но в атмосфере, в которой происходили собеседования по средам, было что-то молодое, зачинающее, возбуждающее. И “среды” навсегда останутся ярким эпизодом нашего культурного развития»^[135].

Бердяева и его жену Лидию Юдифовну с Ивановыми связывали глубокие и долгие, впоследствии продолжившиеся и после отъезда из России отношения. Величайший русский мыслитель XX столетия и блистательный поэт словно олицетворяли собой

Серебряный век. Но диалог их бывал порой очень непростым и острым. Как писал Бердяев в одном из писем Вяч. Иванову: «Я отношусь отрицательно и враждебно к некоторым Вашим идеям и стремлениям, а к Вам всегда относился и отношусь с любовью»^[136]. И в самом деле – там, где мысль Вяч. Иванова нередко блуждала в тумане, бердяевское кредо звучало с предельной четкостью, как надпись на рыцарском мече: «Si! Si! No! No!» Об этом Бердяев говорил в том же письме, рассказывая Вяч. Иванову о своих спорах с Мережковскими: «Мое сознание и все мое существо все крепче и крепче срасталось с христианством, и теперь вне христианской веры для меня невозможна жизнь... В своем отношении к христианству я гораздо правее и консервативнее Мережковских... Мы очень жестоко полемизировали друг с другом, спорили и даже ссорились... Обзывали они меня и православным и консерватором, и спиритуалистом, и индивидуалистом, а я ругал их за ложное отношение к революции, за разрыв с религиозным прошлым, за склонность к сектантскому самоутверждению»^[137].

«Новая общественность» Мережковских и была разновидностью сектантской, хотя и высокой мысли. Пройдет немного времени – и в 1909 году в Москве выйдет сборник «Вехи». Он открывался программной статьей Бердяева «Философская истина и интеллигентская правда». В ней мыслитель говорил о застарелых болезнях русской интеллигенции: народопоклонстве, революционном радикализме сознания, который способен породить лишь гораздо большее зло даже по сравнению с тем, с которым он борется, утилитаризме мышления, а главное – отсутствие воли к положительному творчеству и понятия о самоценности философии. Бердяев писал: «Долгое время у нас считалось почти безнравственным

отдаваться философскому творчеству, в этом роде занятий видели измену народу и народному делу. Человек, слишком погруженный в философские проблемы, подозревался в равнодушии к интересам крестьян и рабочих... Первоосновы такого отношения к философии, да и вообще к созиданию духовных ценностей можно выразить так: *интересы распределения и уравнения в сознании и чувствах русской интеллигенции всегда доминировали над интересами производства и творчества.* Это одинаково верно и относительно сферы материальной и относительно сферы духовной: к философскому творчеству русская интеллигенция относилась так же, как и к экономическому производству. И интеллигенция всегда охотно принимала идеологию, в которой центральное место отводилось проблеме распределения и равенства, а все творчество было в загоне... В 70-е годы было у нас даже время, когда чтение книг и увеличение знаний считалось не особенно ценным занятием и когда морально осуждалась жажда просвещения... В революционные дни (1905 года. – Г. З.) опять повторилось гонение на знание, на творчество, на высшую жизнь духа... Защитников безусловного и независимого знания, знания как начала, возвышающегося над общественной злобой дня, все еще подозревают в реакционности»^[138]. Бердяев ясно видел враждебность свободе, глубоко антикультурный настрой и поверхностность мысли нашей левой революционной интеллигенции, ее исконную привычку «ходить строем» и различать людей по единственному признаку: «свой – чужой». Поневоле вспоминалась драма Ибсена «Враг народа», где главный герой говорил, что партия – это та мясорубка, которая превращает все головы в одну кашу. Те же идеи в предельно упрощенном и адаптированном для

массового употребления виде восприняли и вершители октябрьского переворота, и их наследники. Когда булгаковский Шариков произносил свое знаменитое «отнять и поделить», то, сам того не осознавая, на четвероногом, конечно же, уровне повторял зады общих мест социалистической мысли XIX столетия. В неспособности интеллигентских «масс» по достоинству оценить и воспринять великую традицию русской религиозной философии Бердяев прозревал многие будущие беды: «Психологические особенности русской интеллигенции привели к тому, что она просмотрела оригинальную русскую философию, равно как и философское содержание великой русской литературы. Мыслитель такого калибра, как Чаадаев, совсем не был замечен и не был понят даже теми, которые о нем упоминали. Казалось, были все основания к тому, чтобы Вл. Соловьева признать нашим национальным философом, чтобы около него создать национальную философскую традицию... Соловьевым могла бы гордиться философия любой европейской страны. Но русская интеллигенция Вл. Соловьева не читала и не знала, не признала его своим. Философия Соловьева глубока и оригинальна, но она не обосновывает социализма, она чужда и народничеству и марксизму, не может быть удобно превращена в орудие борьбы с самодержавием и потому не давала интеллигенции подходящего “мировоззрения”»^[139]... Отметив эту черту нашей интеллигенции, которая, по словам Владимира Соловьева, привыкла питаться философскими объедками со стола Запада, Бердяев говорил об особенностях традиции русской мысли: «Русская философия в основной своей тенденции продолжает великие философские традиции прошлого, греческие и германские, в ней жив еще дух Платона и дух классического германского идеализма... Русские

философы, начиная с Хомякова, дали острую критику отвлеченного идеализма и рационализма Гегеля и переходили... к конкретному идеализму... к мистическому восполнению разума европейской философии, потерявшего живое бытие... Русская философия таит в себе религиозный интерес и примиряет знание и веру... Политикой философия эта в прямом смысле слова не интересуется, хотя у лучших ее представителей и была скрыта религиозная жажда царства Божьего на земле»^[140]. Бердяев одним из первых в XX столетии встал на незыблемый камень веры, против которого бессильны врата ада. Его мысль коренилась в Священном Писании и живом предании Церкви, укреплялась участием в ее литургической жизни. Он не мог принять ни революционных симпатий Мережковских, наследия все той же интеллигентской традиции XIX века, ни их псевдохристианской эзотерики и эклектизма. Если для первых святыней была память декабристов (впоследствии Мережковских связывала долгая дружба с известным «бомбистом» Савинковым, военным министром Временного правительства и также, как они, ярим врагом большевистского переворота), то Бердяев принял эстафету мысли Чаадаева, славянофилов и Владимира Соловьева, предполагавшей не внешне-социальное, а глубинно-внутреннее преобразование человека, а следом и общества. Многие и из того, что он видел и слышал на «башне» и в самом Вяч. Иванове, было для него неприемлемым. В одном из более поздних писем Бердяев писал Вяч. Иванову: «Я знаю, что может быть христианский оккультизм, знаю также, что лично Ваша мистика христианская. И все-таки один отречется от Христа во имя оккультного, другой отречется от оккультности во имя Христа. Отношение к Христу может быть лишь исключительным и нетерпимым, это

любовь абсолютная и ревнивая. Все вопросы я ставлю не потому, что я такой “православный” и такой “правый” и боюсь дерзновения... Сама моя “православность” и “правость” есть дерзновение. Не боюсь я никакого нового творчества, ни дерзости новых путей... Должно быть дерзновение во Христе небывалое и вне Христа невозможное... О Вас же я себя спрашиваю: что для Вас главное и первое, мистика или религия, религией ли просветляется мистика или мистикой религия?.. Мистика не есть цель и не есть источник света. Мистика сама по себе не ориентирует человека в бытии, она не есть спасение. Религия есть свет и спасение. И я все боюсь, что Вас слишком соблазняет автономная, самодовлеющая мистика, слишком господствует у Вас мистика над религией... Быть может, я еще буду бороться с Вами, буду многому противиться в Вас, но ведь настоящее общение и должно быть таким. Взаимное противление может быть творческим»[\[141\]](#).

Опасения Бердяева не были беспочвенными. Он хорошо знал о том, что происходило на «башне», в том числе и об опасных мистических «играх» Вяч. Иванова и Лидии Дмитриевны. Одна из них закончилась плачевно...

Обстановка башенных «сред» продолжала оставаться столь же непринужденной, веселой и творческой. В комнате с оранжевыми обоями гости рассаживались кто на столе, придвинутом к стене, кто на полу, покрытом яркими узорными тканями множества разных расцветок, на бесчисленных подушках. Комната освещалась свечами, вставленными в канделябры, подсвечники и бутылки. Если кто-то из выступавших говорил скучно, в него со смехом бросали апельсины и яблоки. Царствовала в этой обители умного веселья Лидия Дмитриевна, облаченная в

просторный алый хитон, солнечная, излучающая триумф и радость жизни. Она была Диотимой на пиру мысли и поэзии. Сюда, в дом напротив Таврического сада, устремлялось все самое яркое и талантливое в России – приобщиться этому цветению. Но очень часто в нем смешивались «идеал Мадонны и идеал содомский».

В 1907 году вышло второе издание книги Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Тридцать три уroda». Повесть была написана в форме дневника женщины. Ее возлюбленная, носившая имя Вера, неслучайное, заветное для самой Зиновьевой-Аннибал – так звали ее старшую дочь, – восхищена красотой подруги, но не хочет, чтобы их отношения замыкались между ними двумя. Лейтмотивом в повести звучат слова Веры: «Я должна давать тебя людям!» Она привозит подругу в собрание «тридцати трех уродов» – художников, и каждый пишет ее обнаженной. Героиня восклицает: «Тридцать три любовницы. Тридцать три Царицы. И все я!» Но на самом деле – уже не она. Единое разбилось на тридцать три осколка.

В финале Вера, не выдержав страшной внутренней опустошенности, кончает жизнь самоубийством. Трагическая развязка в повести словно предвещала скорую трагическую развязку в жизни... Идея прорыва из самости, преодоления изнутри личного эгоцентризма, прекрасная и благородная в своей основе, приняла у Лидии Дмитриевны и Вяч. Иванова ложное и односторонне понятое направление. Она была почерпнута здесь из оккультных и теософских учений и практик, которым следовали Ивановы и многие посетители «башни». Призыв «делиться самым дорогим» нашел живой отклик. Не только Вера в «Тридцати трех уroдах», но и сама Лидия Дмитриевна говорила Вячеславу: «Я должна давать тебя людям».

В XIX столетии такие «жертвенные» отношения в браке были распространены в «прогрессивно мыслящей» среде. Нашли они отражение и в русской литературе: достаточно вспомнить «новых людей» из романа Чернышевского «Что делать?» или «альтруиста» Федю Протасова из толстовского «Живого трупа». Но тогда, в отличие от Серебряного века, отношения эти не имели мистического обоснования. Теперь же христианское понимание брака как таинства, как незыблемого и ненарушаемого союза только двоих – мужа и жены, когда «двое одна плоть», – испытывалось на прочность и либеральными требованиями независимости каждого из супругов, и мистическими учениями, последователи которых стремились проникнуть в духовный мир «с черного хода». Характерным примером подобного эксперимента стали «новая общественность» Мережковских и их «тройственный союз» с Д. В. Filosoфoвым. Он предшествовал попытке Вяч. Иванова и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал создать похожий «треугольник» на «башне». Особенно настаивала на этом Lidия Дмитриевна. Ей не терпелось преодолеть двуединство их с Вячеславом любви и раскрыть ее для всех. И Вячеслав начал камлать стихами, призывая этого неведомого «третьего»:

Колдовал я, волхвовал я,
Бога-Вакха вызывал я
На распутия дорог,
В час заклятый, час Гекаты,
В полдень, чарами зачатый:
Был невидим близкий бог.

Снова звал я, призывал я,
К богу-Вакху воззывал я:
«Ты, незримый, здесь, со мной!

Что же лик полдневный кроешь?
Сердце тайной беспокоишь?
Что таишь свой лик ночной?..»[\[142\]](#)

Упоминание Гекаты, этой богини ночи, властительницы чудовищ, темных, inferнальных сил, черного колдовства, ужасных сновидений, окрашивало стихотворение в зловещие тона. И вызываемый явился.

Облик стройный у порога...
В сердце сладость и тревога...
Нет дыханья... Света нет...
Полуотрок, полуптица...
Под бровями туч зарница
Зыблет тусклый пересвет...

Демон зла иль небожитель,
Делит он мою обитель,
Клювом грудь мою клюет,
Плоть кровавую бросает...
Сердце тает, воскресает,
Алый ключ лиет, лиет...[\[143\]](#)

«Полуотрок, полуптица» носил человеческое имя. Это был двадцатидвухлетний поэт Сергей Городецкий. Он появился на «башне» в августе 1906 года. Вячеслав сразу ощутил себя наставником этого одаренного юноши и начал обучать его греческому языку, эллинской религии и мифологии, секретам античной и русской метрики. словно набухало то зерно будущей «Академии стиха», которое прорастет на «башне» четыре года спустя...

В этих беседах принимала участие и Лидия. Она с восхищением слушала вдохновенные рассуждения

Вячеслава о переключках между эллинским мифом и русским фольклором. Казалось, вот-вот их надежды осуществляются и неразрывный союз двоих станет единением трех в любви и духе. Дионисийское радение откликнулось и в стихах Вячеслава.

Я башню безумную зижду
Высоко над мороком жизни.
Где трем нам представится вновь,
Что в древней светилось отчизне,
Где нами прославится трижды
В единственных гимнах любовь.

Ты, жен осмугливший ланиты,
Ты, выжавший рдяные грозды
На жизненность девственных уст,
Здесь конницей многоочитой
Ведешь сопряженные звезды
Уздами пылающих узд.

Бог Эрос, дыханьем надмирным
По лирам промчись многострунным.
Дай ведать восторги вершин
Прильнувшим к воскрыльям эфирным,
И сплавь огнежалым перуном
Три жертвы в алтарь триедин![\[144\]](#)

Но за утонченной мистико-эротической игрой явственно проступала и другая, темная, гибельная сторона эллинской культуры, хорошо известная Вяч. Иванову как ученому. Любовь умудренного жизнью мужа к красивому юноше или отроку, многократно воспетая поэтами древности, была на самом деле лишь тонким украшенным золотым покровом, скрывавшим зияющий смертный провал. Апостол Павел не раз

напоминал о нем в своих посланиях к христианам из язычников. Для христиан из евреев в этом не было нужды – они с детства наизусть знали рассказ о Содоме и Гоморре из Книги Бытия.

Серебряный век очень любил «прогулки над бездной», по словам Андрея Белого. Далеко не всегда такие прогулки заканчивались добром.

На сей раз «влюбленность втроем» продлилась два месяца и завершилась ничем. Вячеслав почувствовал какую-то сущностную внутреннюю глухоту Городецкого, его неспособность отозваться на призыв:

Твоя душа глухонемая
В дремучие поникла сны,
Где бродят, заросли ломая,
Желаний темных табуны.

Принес я светоч неистомный
В мой звездный дом тебя манить,
В глуши пустынной, в пуще дремной
Смолистый сев похоронить.

Свечу, кричу на бездорожье,
А вокруг немеет, зов глуша,
Не по-людски и не по-божьи
Уединенная душа [\[145\]](#).

Чаемая «конница многоочитая» с «узлами пылающих узд» обернулась на деле «желаний темных табунами». Но тем не менее этот короткий период способствовал творческому подъему у всех троих участников странного «симпозиона». В следующем, 1907 году вышли три книги: у Городецкого сборник стихотворений «Ярь» – лучшее, что он создал за свою долгую жизнь, у Вяч. Иванова – «Эрос», у Лидии

Зиновьевой-Аннибал - уже упомянутая повесть «Тридцать три уroda». Позже сборник «Эрос» полностью вошел в двухтомное собрание стихотворений Иванова «Cor ardens». Отзвуки «башенных» бесед о славянском песенном фольклоре слышались в его стихах того времени, таких как «Заря-Заряница»:

У меня ль, у Заряницы,
Злат венец;
На крыльце моей светлицы
Млад гонец.
Стань над поймой, над росистой,
Месяц млад!
Занеси над серебристой
Сerp-булат!

.....

Скинет царь к ногам царицы
Багрянец...
У меня ль, у Заряницы,
Студенец!^[146]

Но горько читать строки ивановских дневников 1906 года:

«16 августа...

Философствуем... у двери встречаюсь с Сережей... Он шутив и нежен. Позволяет раздеть себя и смотрится в трюмо, а я читаю ему эстетический реферат об его теле. Я уговариваю его лечь со мной и в темноте чувствую сначала, обнимая его, что умираю. Потом он бегло отвечает иногда на поцелуи, позволяет мне экстазы. Потом он то спит, то дремлет, а я умираю. Сладостнее нет ничего...»^[147]

В этом темном подвальном лабиринте человеческого «я» можно было заблудиться навсегда, что и произошло с Городецким. Вячеслав Иванов вышел

из него чудом. Сила дара, светоносного по своей природе, одолела ночных чудовищ. Уезжая в 1924 году в Италию, среди других материалов поэт забрал с собой и листки этого дневника. Можно предположить, что, перечитывая их в старости, он вспоминал пушкинские слова:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю^[148].

Увы – имело место быть...

Тогда же, после неудачи с Городецким, Вячеслав и Лидия не оставляли надежды на новый «союз втроем». И снова в стихах зазвучал зов:

И текли навстречу люди мне, текли...
Я вблизи тебя искал, ловил вдали.
Вспоминал: ты в околдованном саду...
Но твой облик был со мной, в моем бреде.
.....
Растворил свою жемчужину любви...
На меня посмейтесь, дальние мои!
Нищ и светел, прохожу я и пою, —
Отдаю вам светлость щедрую мою^[149].

Словно что-то неслучайное было в упомянутой здесь жемчужине, по-гречески – «маргарит». На призыв откликнулась женщина, носившая это имя.

В ноябре 1906 года в Петербург приехали поэт Максимилиан Волошин и молодая художница Маргарита Сабашникова, сестра знаменитого издателя Михаила Сабашникова, совсем недавно ставшие мужем и женой.

Они поселились в том же доме у Таврического сада, где жили Ивановы, только этажом ниже. И Волошин, и Маргарита были восторженными поклонниками Вяч. Иванова. Очень скоро они сделались постоянными гостями «башни». Вячеслав начал обучать Маргариту, как несколько месяцев назад Городецкого, греческому языку, а затем, узнав, что она сочиняет стихи, – основам стихосложения. Вместе они читали по вечерам Евангелие от Иоанна на греческом. При этих занятиях, проходивших очень живо и пламенно, всегда присутствовали Макс Волошин и Зиновьева-Аннибал. Поначалу Маргарита не понравилась Лидии, но затем неприязнь сменилась восхищением. Лидия решила, что Маргарита должна стать третьей в их новом союзе. В своей книге «Трагический зверинец», вышедшей в 1907 году, она посвятила Сабашниковой рассказ «Медвежата» – об эпизоде, который произошел в ее детстве и стал потрясением на всю жизнь. Убив на охоте медведицу, старшие братья принесли домой медвежат-сосунков. Их выкормили, и они выросли ручными. Однажды подросшие медвежата пошли на голоса косивших луг крестьян, и те, испугавшись зверей, изрубили их косами. С отчаянным вопросом: «Зачем Бог позволил?» – девочка бросилась к матери. Ее ответ был подобен завету: «Деточка, нет правды на земле! Не может быть! Но ты люби землю, желай ей правды, молись о правде, гори, деточка, сердцем о правде, и должно совершиться чудо. Будет он, мир правды. Чего так хочет душа – сбывается!»^[150] Этот завет – жаждать небывалой любви – и стал главным, ведущим Лидию по жизни, несмотря на все ее метания и тупики. В рассказе словно провиделись слова другого писателя, произнесенные несколько десятилетий спустя: «Ты в ответе за всех, кого приручил».

Вяч. Иванов посвятил Маргарите цикл из шестнадцати сонетов «Золотые завесы», позже вошедший в первую книгу «Cor ardens». Образ любви облекался здесь в тончайшие мифопоэтические ассоциации. Вновь прочитывались и платоновская идея майевитики – помощь мудреца при рождении «духовного младенца», и мысль о тесном мистическом «союзе трех»:

И страсть трех душ томилась и кричала, —
И сопряженных так, лицо с лицом,
Метель миров, свивая, разлучала [\[151\]](#).

Касался Вяч. Иванов и тайны имени новой участницы этого союза:

Два звука в Имя сочетать умей;
Нырни в пурпурный вир пучины южной,
Где в раковине дремлет день жемчужный;

Жемчужину схватить рукою смей,
И пред тобой, светясь, как Афродита,
В морях горит – Сирена Маргарита [\[152\]](#).

Вячеслав и Лидия мечтали расширить «союз троих» до «союза четырех», но Волошин отказался. Тем не менее он не мог и не хотел препятствовать решению Маргариты. Уважение к свободе другого человека было одной из незыблемых основ его внутренней жизни. К тому же, как и очень многие, Волошин подпал под неодолимое обаяние Вячеслава. И он сам, и его мать, величественная Елена Оттобальдовна, жившая в Петербурге вместе с молодыми, были совершенно очарованы хозяином «башни». Но даже восхищение

Вячеславом и его власть над душой Волошина не заставили Макса участвовать в том, что он считал для себя неприемлемым.

В марте 1907 года Маргарита окончательно переселилась в квартиру Ивановых. О том, что там происходило и что довелось пережить Волошину, глубоко страдавшему за свою «Аморию», как он называл жену, свидетельствует его дневник:

«6 марта. Вторник... Входит Амория. “Я страшно устала. Не спала. От Лидии я ушла в 8 час<ов> ут<ра> и была у него. (Вяч. Иванова. – Г. З.) Он был страшно взволнован. Он упрекал меня в малодушии, в трусости, в том, что у меня нет настоящей любви, что я не могу любить до конца. Он даже бил меня”. Все жала боли поднимаются снова во мне при этих словах. Я говорю, задыхаясь, что не могу перенести, не могу. Я мог отдать тебя, но не могу допустить насилия, упреков.

“Макс, ты не должен сердиться, ты не должен страдать. Ведь ты совсем отдал меня. Мне было сладко, когда он бил меня”...

8 марта. Четверг... Мы говорили в комнате Лидии – все вчетвером. Лидия горячо упрекала Вячеслава в насильственности. Он сказал между прочим: “Я испытывал душу Маргариты”. Я вдруг этого не вынес и сказал: “Я не могу допустить испытаний над человеческой душой”. Но оказалось, что я это не сказал, а закричал, сжавши кулаки. Тогда Вячеслав сказал: “Я имею право, потому что взял его”. Я выскочил из комнаты. Потом вернулся. Но уже не мог говорить. Весь день был проведен в сильнейшем волнении»^[153].

Очень скоро «союз трех» дал трещину. Маргарита начала тяготиться этими отношениями. Она решила уехать лечиться в Германию, в Висбаден, и сообщила о своем намерении Вячеславу и Лидии. О том, как они восприняли это известие, Волошин записал в дневнике:

«9 марта. Пятница... Вячеславу сказали, что Аморя едет. Только что я слышал, как Лидия через коридор кричала ему: “Путь! Путь! Да, ты путь! Чертов путь!”... И снова по коридору пронеслось вихрем проклятье: “Бездельники... Жиробесы! Полуночники. Это бесчестно! Слышишь, Вячеслав?”»^[154].

На следующее утро после этой ночной сцены Вячеслав и Маргарита пошли в церковь к причастию. В жизни людей Серебряного века устремленность к Богу очень часто соседствовала и находилась в противоборстве с темными глубинами, с бесовщиной, путались светлая и inferнальная мистика, небо и дно... На этот раз Вячеслав сумел уговорить Маргариту не уезжать в Висбаден. Свой разговор с женой Волошин передал в дневнике:

«10 марта. Суббота... Пришла Аморя. “Он уговорил тебя не ехать”.

– Ах! Разве я смогу уехать?

– Что же было?

– Лидия крикнула ему: “Ты знаешь новость, что Маргарита едет в Висбаден?” Он обернулся: “Маргарита, что правда?”... Он мне говорил, что он увидел, что я действительно его не люблю, если могла в тот момент, когда только стали слагаться наши отношения, вдруг решить ехать в какую-то санаторию. Ах, как он говорил, Макс... Он гениально говорил. Он сравнивал себя с Лиром, который в гордости не захотел больше повелевать и остался покинутым. Макс, он Тантал»^[155].

Сравнение Вячеслава с Танталом было глубоко не случайным для Маргариты. За несколько месяцев до того они вместе с Максом среди других приглашенных побывали на представлении трагедии Вяч. Иванова «Тантал», поставленной В. Комиссаржевской. Маргарита угадала главный мотив, роднящий Вячеслава

с его героем, – мотив своеволия, стремление властвовать над людскими душами. «Я имею право, потому что взял его». Вновь дала о себе знать ницшеанская «воля к власти». Вячеслав, наверное, и сам тогда не отдавал себе отчета в том, что повторил слова одного из самых трагических героев Достоевского, утверждавшего, что он «право имеет»... Эта воля была хорошо знакома и другому «великому душеловцу» Серебряного века – Валерию Брюсову. Она полностью овладела всем его существом, заставляя перешагивать через человеческие жизни и судьбы, и не отпустила до конца дней. Вячеслав Иванов прошел по самому краю этой пропасти, грозящей неминуемой гибелью. От окончательного падения поэта спасла только самая страшная и горькая утрата, скорбь, которую вскоре ему довелось пережить. Участи Тантала он избег чудом...

Максимилиан Волошин в те же мартовские дни вернулся к себе в Коктебель. «Аморя» до сентября оставалась на «башне». Семья их распалась. Впрочем, расставание с Маргаритой Сабашниковой Волошин предчувствовал еще до ее согласия на брак с ним – в стихотворении «Таиах». Слишком уж он и его избранница были не похожи друг на друга.

Тихо, грустно и безгневно
Ты взглянула. Надо ль слов?
Час настал. Прощай, царевна!
Я устал от лунных снов.

.....

Я устал от лунной сказки,
Я устал не видеть дня.
Мне нужны земные ласки,
Пламя алого огня.

.....

Не царевич я! Похожий

На него, я был иной...
Ты ведь знала: я – Прохожий,
Близкий всем, всему чужой^[156].

Залитая солнцем земля Киммерии, ее горячие камни, горные тропы, душный горький запах полыни исцелили Волошина от химер «города-морока». В стихах он не раз подчеркивал свою инакость по отношению к тем, кто составлял круг «башни». Слишком дорога была ему властно влекущая красота зримого и вещного мира – Божьего творения.

Я, полуднем объятый,
Точно терпким вином,
Пахну солнцем и мятой,
И звериным руном;

Плоть моя осмуглела,
Стан мой крепок и туг,
Потом горького тела
Влажны мускулы рук.

В медно-красной пустыне
Не тревожь мои сны —
Мне враждебны рабыни
Смертно-влажной Луны,

Запах лилий и гнили,
И стоячей воды,
Дух вербены, ванили
И глухой лебеды^[157].

В те трудные для Волошина дни его старая кокетбельская приятельница Александра Михайловна

Петрова сказала ему: «Я не говорю о том... что у вас больше эрудиции, чем у Вяч. Иванова... Но в вас есть ясность и чистота»^[158].

Тем временем Вяч. Иванов и Зиновьева-Аннибал отправились отдохнуть в Могилевскую губернию. Еще зимой Лидия Дмитриевна перенесла воспаление легких и после болезни очень ослабла. Пока она лежала в лечебнице, «среды» без нее стали тише и малолюднее. Исчез дух праздника и опьяняющей дионисийской радости. Посещали дом Ивановых в это время только ближайшие друзья: Волошины, жившие тогда под ними, Сергей Городецкий, Константин Сомов, Михаил Кузмин, Петр Струве. Иногда заходил Блок и приезжал из Москвы Андрей Белый.

Для того чтобы Лидия Дмитриевна окончательно поправилась, было решено провести лето и часть осени на хуторе Загорье, принадлежавшем тетушке старой верной подруги Ивановых Марии Михайловны Замятниной. Вяч. Иванов, Зиновьева-Аннибал, ее старшая дочь Вера и вернувшаяся только что из Швейцарии младшая Лидия поселились там во флигеле усадебного дома. Чистый воздух, прекрасная и тихая природа, спокойная, ничем не возмущаемая жизнь, так непохожая на бурнопламенное бессонное бытие «башни», должны были благотворно подействовать на пошатнувшееся здоровье Лидии Дмитриевны. Перед самым домом в обрамлении берез и елей располагался светлый поросший кувшинками пруд. Время здесь текло совсем по-другому, чем в Петербурге. Красоту этих пейзажей Вяч. Иванов воспел в сонете «Загорье», написанном вскоре после приезда:

Здесь тихая душа затаена в дубравах
И зыблет колыбель растительного сна,
Льнет лаской золота к волне зеленой льна
И ленью смольною в медвяных льется травах.

И в грустную лазурь глядит, осветлена,
И медлит день тонуть в сияющих расплавах,
И медлит врозить на дремлющих купавах
Над отуманенной зеркальностью луна.

Здесь дышится легко, и чается спокойно,
И ясно грезится; и всё, что в быстрине
Мятущейся мечты нестрога и нестройно,

Трезвится, умирясь в душевной глубине,
И, как молчальник-лес под лиственной схимой,
Безмолвствует с душой земли моей родимой ^[159].

О жизни семьи в Загорье вспоминала дочь Вяч. Иванова и Зиновьевой-Аннибал Лидия, рассказывая о курьезных порой спорах между отцом и матерью по поводу ее воспитания: «Когда мама увидела Загорье и вошла в свой новый дом, красота места ее потрясла: она взволновалась и вдруг начала плакать... Помню маму, гуляющую по Загорью в своих хитонах... В купальне она научила меня плавать “по-собачьи и по-лягушачьи”; на пруду была лодочка, она любила грести. Из-за меня у них с Вячеславом случилась маленькая перепалка. Мама обожала лошадей и была прекраснейшей амазонкой... В Загорье были лошади. Мне страстно хотелось ездить верхом. Мама, несмотря на опасения Вячеслава, решила мне доставить эту радость. Чтобы приучить меня понемногу к этому спорту, мне на первый раз оседлали старую 26-летнюю водовозку, посадили меня на нее и предоставили ехать куда хочу. Водовозка размеренным и мудрым шагом проковыляла прямо по дороге через усадьбу, потом мимо осинового рощи, потом дальше. Горе было в том, что я хотела вернуться, но не решалась достаточно

энергично дернуть уздечку, чтобы лошадь повернула. На беду как раз по дороге шел навстречу именно Вячеслав, и шел один. Я его попросила – “Возьми лошадь за уздечку и поверни ее, она меня не слушается”. Вячеслав переборол свой страх перед лошадьми и исполнил мою просьбу. Водовозка обрадовалась, прибавила шагу, а затем, не спрашивая меня, пустилась галопом в конюшню. По счастью, я догадалась наклонить голову при въезде в нее. Но между Вячеславом и мамой было бурное объяснение, и в результате мне больше не пришлось кататься верхом в Загорье.

Было другое бурное объяснение по поводу моей салфетки. За обедом Вячеслав вдруг посмотрел на меня и на поданный соус и приказал завязать за шею салфетку. Мать, однако, выразила свое несогласие. – Англичане, – уверяла она, – которые прекрасно ведут себя за столом, никогда так не пользуются салфеткой... Нужно уметь есть аккуратно.

– В Париже, – ответил Вячеслав, – всегда затыкают салфетку за воротник...

Спор шел долгий и оживленный, а в каком положении находилась моя салфетка – не помню»^[160].

Несмотря на эти бурные, но краткие размолвки, Вячеслав и Лидия были счастливы в Загорье. Оба много работали, отрываясь от пера и бумаги только на время обеда, утреннего и вечернего чая, а также прогулок и игр с детьми. Из Швейцарии вернулась Мария Замятина вместе с сыном Лидии Дмитриевны Константином, блестяще окончившим Женевский лицей. Но в конце лета Мария Михайловна и Константин уехали с маленькой Лидией в Петербург. Ивановы остались с Верой.

Через Загорье проходили богомольцы, идущие в Киевскую лавру и в Иерусалим. Лидия Дмитриевна

часто беседовала с ними. Особенно пришло ей по сердцу странница Катя, вместе с которой она мечтала отправиться в паломничество в Киев. Наверное, при этом Лидии Дмитриевне вспоминались их совместное с Вячеславом возвращение в Церковь, первое после многолетнего перерыва причастие в Киево-Печерской лавре и радостная телеграмма Владимиру Соловьеву...

Позже Вяч. Иванов рассказывал Ольге Шор, что как-то раз во время прогулки по Загорью в ясный осенний день Лидия заговорила о том, как хорошо было бы им вдвоем пойти паломниками по монастырям и скитам. «Пойдем, милая», – согласился он. Лидия вдруг словно опомнилась. «Нет, нет, – быстро проговорила она, – это мне можно, тебе – нельзя».

Наступила уже поздняя осень. В Загорье становилось холодно и сыро, но Ивановы всё откладывали свой отъезд в Петербург. А тут в окрестных деревнях неожиданно вспыхнула эпидемия скарлатины. Был объявлен карантин. Лидия Дмитриевна на лошади объезжала пораженные болезнью селения, помогала недужным, учила матерей ухаживать за больными детьми.

В одной из таких поездок она заразилась и слегла сама. В детстве Лидия Дмитриевна не переболела скарлатиной, а в зрелом возрасте эта болезнь всегда была очень тяжела и опасна.

Вячеслав Иванов не отходил от постели жены. На его глазах Лидия сгорала. На седьмой день болезни – 17 октября 1907 года – она умерла. Перед смертью ее соборовал и причастил священник из местной церкви. На губе Лидии осталась капля Крови Христовой. Последний поцелуй Вячеслава стал одновременно их последним общим причастием. Лидия умерла со словами: «Светом светлым повеяло; родился Христос». Всё это время Вяч. Иванов казался совершенно спокойным. Волошину он дал телеграмму: «Обручился

с Лидией ее смертью». 17 октября Волошин написал сонет «Одиссей в Киммерии» и посвятил его Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. Сонет этот замкнул цикл «Киммерийские сумерки»:

Наш путь ведет к божницам Персефоны,
К глухим ключам, под сени скорбных роц
Раин и ив, где папоротник, хвощ
И черный тис одели леса склоны...
Туда идем, к закатам темных дней
Во сретенье тоскующих теней^[161].

По преданию, вход в Аид, куда Одиссей и его спутники спустились, чтобы услышать прорицание Тиресия, находился в одной из пещер на киммерийском берегу, в Коктебеле. Нежданным смыслом обернулись в эти дни схождение в царство мертвых «во сретенье тоскующих теней», черный тис – дерево смерти и упоминание Персефоны – царицы Аида. Имя ее в древнегреческой религии было связано с таинствами Элевсинских мистерий – культом умирающего и воскресающего зерна. В них, как и в дионисийстве, смутно брезжило то, что потом ясно прозвучало в словах Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода» (Ин., 12, 24).

Через месяц после смерти Лидии Дмитриевны Вячеслав Иванов и Вера привезли ее тело в Петербург, чтобы похоронить на кладбище Александро-Невской лавры. О прощании с ней Максимилиану Волошину рассказывала Аделаида Герцык: «Мы увидались с ним (Вяч. Ивановым. – Г. З.) в день приезда на товарной станции, где стоял вагон с телом. В сумерках. Дождь шел. Он ждал нас и тотчас стал рассказывать о ее

смерти... На похоронах было много народу и цветов. На венке Вячеслава было написано: “Мы две руки единого креста”. В церкви с одной стороны стояли литераторы. Городецкий рыдал как ребенок. А с другой – Зиновьевы – аристократы, кавалергарды»^[162].

У Герцык же, приехав в конце ноября в Москву, Вяч. Иванов увиделся с Волошиным. Горькая память о том, что произошло весной на «башне», словно ушла при их встрече. Волошин всем сердцем разделил страдание Вячеслава и в своем дневнике засвидетельствовал, насколько оно было просветленным: «Мы быстро подошли друг к другу и обнялись. Целовались долго. Он припал мне головой к плечу. Долго не говорили. Была только радость. И вдруг я понял, что смерть Лидии – радость»^[163].

Трагедия разрешилась катарсисом. Любовь к Лидии Вячеслав пронес через всю жизнь – от первой их встречи в Риме до последнего вздоха. Теперь же опыт скорби переплавился и преобразился в горниле поэзии. Пришла ясная вера, что любовь не прекращается и после смерти одного из любящих, что она, очищенная от земной страсти, еще сильнее и ярче загорается в горнем мире. Об этом и говорила поэма в сонетах Вяч. Иванова «Спор», написанная сразу вслед за пережитым горем. Она словно обозначила главный перелом жизни поэта, по неслучайному совпадению произошедший как раз на середине его земного пути. Если «Золотые завесы», посвященные Маргарите Сабашниковой, завершали изданную в 1911 году первую часть книги «Cor ardens», то «Спор» открывал вторую. Начиналась новая жизнь – после ухода любимой. Поэт вел спор со смертью и в ответ получил нежданное откровение о бессмертии любви, обретающей всю полноту лишь в свете Царства Божьего.

Точно так же, как когда-то флорентийский юноша, влюбленный в дочь своего соседа Портинари и переживший ее смерть, пройдя ад и чистилище, обрел Беатриче в Небесном мире и через нее соприкоснулся с любовью Божественной. Дантовский отголосок явственно звучал и в поэме «Спор»:

«Злорадный страж, завистник-соглядатай! —
Воскликнул я. – О Смерть, скупой евнух!
Ты видела сладчайший трепет двух
И слышала, что в нас кричал глашатай

Последних правд – восторг души, объятай
Огнем любви! Когда б, таясь, как дух,
Не тать была, а добрый ты пастух, —
Твоих овец ты б увела, вожатый,

Не разлучив, в желанные врата!
И на одной застыли б мы постели,
Она и я, к устам прижав уста;

И на костре б одном сердца сгорели;
И две руки единого креста
В борении одном заостенели»^[164].

Но Смерть в поэме становится вестницей не тьмы, а света и надежды:

Мне Смерть в ответ: «Гляди: мой свет – палит.
Я – пламенник любви. Твоя Психея
Вперед, святой купели вождедея,
Порхнула в мой огонь. Он утолит

Желанье душ, которым Дух велит
Светить Земле, светясь и пламенея.

К родной ушла родная тень. Позднее
Расплавится твой слитый монолит.

Желай, и жди. Когда благословеньем
Моих олив благословен союз,
То вечность - верь - испытана мгновеньем.

Живых мне не дано расторгнуть уз.
Что жить должно, смеется над забвеньем.
В день третий я - вожатый в Эммаус»[\[165\]](#).

По дороге в Эммаус воскресший Христос явился двум своим ученикам и возвестил им о победе над смертью. В поэме «Спор» она сама это засвидетельствовала. Собственный опыт страдания Вячеслав Иванов пережил, проецируя его на главную спасительную тайну мироздания - смерть и воскресение Богочеловека. Теперь поэту предстояло прожить с этим всю оставшуюся жизнь.

Глава V

«Пламенеющее сердце».

1907-1913 годы

Потеря любимой жены стала для Вяч. Иванова тяжким ударом, после которого другой человек, не обладающий его внутренней силой и глубиной, мог бы сломаться. Но поэт выстоял вопреки всему, держась за Небо. О том, что тогда происходило в его душе, Ольга Шор писала так: «Боль смертная той смерти легко могла бы стать орудием искушения, силой, затягивающей в отчаянье и уныние; но отчаянье было бы бунтом, а уныние – умиранием духовным. Только не бунт! В. И. его не допускал: бунт – дело рабов. Он любил свободное послушание, – эту добродетель настоящих царей, ярче всего воссиявшую в самом большом из них, учившем с высоты креста... И он сам твердил: “Твоя да будет воля, Господи! Я покорствую. Помоги моему непокорству”»^[166].

Встречи на «башне» через некоторое время возобновились. Внешне могло показаться, что по сравнению с прежними годами почти ничего не изменилось. Все так же текли ночные беседы, все так же подавали гостям вино и чай с пряниками, все так же горели свечи в канделябрах и бутылках. Но не было уже духа праздника и веселья. Живая душа, Психея этих собраний ушла навсегда. Пир без Диотимы потускнел.

О том, как протекала тогда жизнь на «башне», вспоминала дочь поэта Лидия: «За обедом всегда сидело человек восемь-десять или больше. И обед затягивался, самовар не переставал работать до поздней ночи. Кто только не сиживал у нас за столом! Крупные писатели, поэты, философы, художники,

актеры, музыканты, профессора, студенты, начинающие поэты, оккультисты, люди полусумасшедшие на самом деле и другие, выкидывающие что-то для оригинальности; декаденты, экзальтированные дамы... Я раз сбегала на кухню поболтать с Матрешей (кухарка Ивановых. – Г. З.), а она говорит: “Странно! Говорят по-русски? А ничего нельзя понять!”... Среды со смертью мамы были отменены. Но изредка на Башне происходили большие собрания. На одном из них меня представили Зинаиде Гиппиус. Она посмотрела на меня (кажется, в лорнетку и сказала немного нараспев: “Скажите мне что-нибудь для меня интересное и страшное”... Вот за столом редкий гость... Всем известно, что красавец-Аполлон. Да, красавец, но какое же тяжелое лицо. Это Александр Блок... Мы оба с Вячеславом очень любили вечера, когда Кузмин показывал отрывки из своей очаровательной оперетки... Он писал и стихи, и музыку. Сюжет был взят из восточной сказки. Влюбленный в султаншу переодет птицей, посажен в клетку и внесен в гарем»^[167].

В Михаиле Кузмине, давнем госте «башни», Вячеслав Иванов любил его «протеизм» – способность к органическому перевоплощению в одежды любой эпохи мировой культуры. Еще в 1906 году он посвятил Кузмину стихотворение «Анахронизм»:

В румяна ль, мушки и дендизм,
В поддевку ль нашего покроя,
Певец и сверстник Антиноя,
Ты рядишь свой анахронизм,

Старообрядческих кафизм
Чтецом стоя пред аналоем
Иль Дафнисам кадя и Хлоям,
Ты всё – живой анахронизм^[168].

Часто останавливался на «башне» приезжавший из Москвы Андрей Белый. Лидия Иванова вспоминала: «Андрей Белый был один из тех москвичей, которые приезжали к нам прямо с чемоданом... В этот период Белый писал свой роман “Петербург” и по мере его создания читал новые части Вячеславу. Вячеслав очень увлекался этим романом и называл Белого с ласкою “Гоголек”. Белый любил изображать кинематограф. Он подскакивал к стене и начинал двигаться, жестикулируя, вдоль нее. При этом все тело его спазматически дрожало. Это должно было вызывать смех, но в сочетании с его стальными, куда-то вдаль устремленными глазами, все это меня скорее пугало»^[169].

Шутливое прозвище «Гоголек» пришлось Андрею Белому как нельзя впору. Вяч. Иванов разглядел в нем прямого наследника Гоголя в русской литературе. В своей рецензии на вторую книгу стихотворений Андрея Белого «Пепел», вышедшую в 1909 году в издательстве «Шиповник», он писал: «А. Белый являл в своем искусстве ряд характерных черт, которые... сближали его... с Гоголем. Эта родственная связь чувствовалась в лирической волне чисто музыкального подъема, которая ритмически несла ослепительную красочность быстро сменяющихся и как бы лишенных подлинной живой существенности образов жизни, переходящей в фантазмагорию, в фантазии, причудливо сочетавшей заоблачное с тривиальным; в яркой и дерзкой выразительности... подчиненного внутренним музыкальным импульсам... языка; в юморе... в его фантастических преувеличениях, в тайном ужасе его сквозящих пустотой масок, в его лиризме и химеричности. Подобно Гоголю, Белый был болен... “неприятием мира” – ...тем, что коренится в природной дисгармонии душевного состава и болезненно

проявляется... в обостренности наблюдательных способностей, пробужденных ужасом, и слепоте на плотскую сущность раскрашенных личин жизни, на человеческую правду лиц, представляющихся только личинами – “мертвыми душами”»^[170].

Во внутренней трагедии Андрея Белого, что была сродни гоголевской, Вяч. Иванов увидел одновременно и побудительную силу творчества. Его собственный дар был настроен на высшую гармонию, но это не мешало поэту по достоинству оценить и понять масштаб другого таланта, совсем не похожего на него, рожденного из дисгармонии. В главном романе Андрея Белого слышались отзвуки и Пушкина, и Гоголя, и Достоевского – всей «петербургской» темы русской литературы XIX столетия. Книга словно бы стала ее итогом и провозвестием бедствий нового века, начавшихся в этом городе, насквозь пронизанном демоническими стихиями, в хаотическом круговращении мелькающих человеческих лиц, деталей одежды, головных уборов, в какофонии голосов, звуков и нарастающего гула, сквозь которую все отчетливее различался тяжкий топот медных конских копыт...

Вначале Андрей Белый хотел назвать свой роман «Лакированная карета», но Вячеслав Иванов придумал для него другое заглавие – «Петербург», под которым он и вошел в историю мировой литературы. По воспоминаниям Андрея Белого, Иванов сумел убедить его, что главный герой этой «поэмы в прозе» – сам Петербург, и потому такое название пристало роману как нельзя лучше. Позже, в 1916 году, Вяч. Иванов посвятил «Петербургу» статью «Вдохновение ужаса», где писал: «...эта книга, всякий раз, что я касаюсь ее выстраданных страниц, переживается мной как болезненно яркий и непонятный, но вещий сон»^[171]...

Вяч. Иванов, конечно же, намеком вспоминал строки из тютчевского «Сна на море»:

Я в хаосе звуков лежал оглушен,
Но над хаосом звуков носился мой сон.
Болезненно-яркий, волшебнo-немой,
Он веял легко над гремящею тьмой^[172].

Подобно этому стихотворению, где буйство стихии соседствует со странным видением неведомого мира, «хаос звуков» повседневной бытовой, семейной, полубезумной светской и площадной, политической жизни имперской столицы, злодейских и циничных замыслов революционного подполья тесно граничит с миром инфернальным. Оттуда в петербургские салоны проникает «персидский дипломат» – оборотень Шишнарфне-Енфраншиш, а в жилье террориста Дудкина является ночью медный Петр, делая одного из наследников бедного Евгения своим наследником и губя его... Говоря о романе «Петербург», Вяч. Иванов вспоминал: «Мне незабвенны вечера в Петербурге, когда Андрей Белый читал по рукописи свое еще не оконченное произведение, над которым ревностно работал и конец которого представлялся ему, помнится, менее примирительным и благостным, чем каким он вылился из-под его пера. Автор колебался тогда и в наименовании целого; я, с своей стороны, уверял его, что “Петербург” – единственное заглавие, достойное этого произведения, главное действующее лицо которого сам Медный Всадник. И поныне мне кажется, что тяжкий вес этого монументального заглавия работа Белого легко выдерживает: так велика внутренняя упругость сосредоточенной в ней духовной энергии, так убедительна ее вещая значительность. И хотя вся она только сон и морок, хотя все статические формы

словесного изложения в ней как бы расправлены в одну текучую динамику музыкально-визионарного порыва (стиль этого романа есть гоголевский стиль в аспекте чистого динамизма), тем не менее есть нечто устойчивое и прочное в этом зыблемом мареве; в устойчивых и прочных очертаниях будет оно, думается, мерцать и переливаться воздушными красками и в глазах будущего поколения»^[173].

Характеризуя поэтику романа, Вяч. Иванов продолжал: «В этой книге есть полное вдохновение ужаса. Ужас разлился в ней широкой, мутной Невой, “кишащей бациллами”... вздыбился очертанием Фальконетова коня; подмигивает огоньком со шхуны Летучего Голландца; застыл кариатидами дворцов; опрокинулся в зелено-тусклых зеркалах Аблеуховских зал; “цокает” в их лунном просторе копытцами геральдического единорога; “шлепает губами” в закоулках грязной каменной лестницы, ведущей на чердак затравленного призраками террориста-мистика; ...гулко “ухает” из темных пространств “октябrevскою песней тысяча девятьсот пятого года”; течет по прямолинейным проспектам ползучей и безликой людской гущей, произвольно порождающей из атомов своего рабьего шопота и ропота чудовищные заклинательные слова умопомрачения и провокации; мчится сановничьей черной каретой, охваченной той самой паникой, какую она же внушает окрест»^[174]...

Вместе с Андреем Белым позже приезжала и его первая жена – художница Ася Тургенева. Она написала портрет Вяч. Иванова, впрочем, не самый удачный, если сравнивать с сомовским шедевром. Гостили на «башне» и московские друзья Андрея Белого – музыкальный критик, основатель издательства «Мусагет» Эмилий Метнер и поэт, теоретик символизма, автор книги «Русские символисты» Эллис (Лев Кобылинский) – одна

из самых ярких фигур Серебряного века. Пройдя через множество философских и мистических увлечений, на закате жизни он принял католицизм и стал монахом доминиканского монастыря в Швейцарии. Рассказывали, что однажды он сказал духовнику на исповеди: «В христианстве я принимаю все, кроме одного – что оно отрицает переселение душ». Духовник с улыбкой ответил: «Успокойтесь. Если Господу будет надо – Он вас переселит».

Об Андрее Белом в своей книге, где он нарисовал литературные портреты троих «московских» символистов – Константина Бальмонта, Валерия Брюсова и Андрея Белого, Эллис писал так: «Что такое А. Белый как лирик, как философ, как мистик? Много можно говорить и рассуждать об этом. Но один только ответ существует, и этот ответ – сама живая личность А. Белого, этот последний символ всех его символов, первая и последняя посылка всех его теорий, это последний мотив и мелодия, последний тайный лик всех его обликов.

А. Белый – намек, знамение, предвестник!..

Первое знамение будущего явления “новых людей”»^[175].

Но эти восторженные строки не мешали Эллису, равно как и Метнеру, часто и надолго ссориться с Андреем Белым. Размолвки перемежались с бурно-чувствительными примирениями и клятвами в дружбе.

А тем временем в русскую поэзию входило новое поколение. Миновать «башню» оно не могло. Слава ее хозяина – «мага и мистагога», как называли Вяч. Иванова завсегда таи квартиры в доме у Таврического сада, заставляла искать у него признания и наставничества.

В декабре 1908 года «башню» начал посещать двадцатидвухлетний поэт Николай Гумилев. К тому

времени он был уже автором двух сборников - «Путь конквистадоров» (1905) и «Романтические цветы» (1908). Вскоре в нем открылся и талант организатора литературной жизни. Он сумел зажечь многих замыслом журнала, призванного объединить вокруг себя лучших поэтов, критиков и художников и быть эстетическим эталоном эпохи. Журналом этим стал «Аполлон», который начал выходить осенью 1909 года. Он просуществовал девять лет, пока не был закрыт после октябрьского переворота вместе со всеми другими независимыми изданиями. В нем сотрудничало и старшее, и младшее поколение Серебряного века - Сологуб, Мережковский и Гиппиус, Бальмонт и Брюсов, Блок и Белый, Волошин, Кузмин и Городецкий, Бенуа, Сомов, Рерих, Добужинский и Кругликова. Трудно даже назвать сколько-нибудь значимое имя, никогда не появлявшееся на страницах этого журнала. Возглавлял его бессменный издатель-редактор Сергей Маковский - «папа Мак». Сам Гумилев вел в «Аполлоне» собственный раздел «Письма о русской поэзии». Обладая безошибочным художественным вкусом, в своих регулярных обзорах он не обходил вниманием ничто талантливое, появлявшееся тогда в литературе. К сотрудничеству в журнале Гумилев привлек и наставника юных лет - Иннокентия Федоровича Анненского, бывшего директора Царскосельской мужской гимназии. На его уроках древнегреческой словесности гимназисты сидели затаив дыхание. Но мало кто знал, что почтенный директор и мудрый педагог был еще и блистательным тонким поэтом, и непревзойденным переводчиком Еврипида. В эссе «О природе слова» Мандельштам, видевший в Анненском одного из предтеч Серебряного века, писал о нем: «Все спали, когда Анненский бодрствовал. Храпели бытовики. Не было еще “Весов”. Молодой студент Вячеслав Иванов обучался у Моммзена и писал по-

латыни монографию о римских налогах. И в это время директор царскосельской гимназии долгие ночи боролся с Еврипидом, выпитывал в себя змеиный яд мудрой эллинской речи, готовил настой таких горьких, полынно-крепких стихов, каких никто ни до, ни после его не писал»^[176]. Эту сторону своей жизни Анненский старательно таил от посторонних глаз – не даром и первый сборник «Тихие песни» он выпустил под псевдонимом «Ник. Т-о».

Гумилеву одному из немногих открылась тайна учителя. Еще гимназистом по приглашению Анненского он стал постоянно бывать на литературных вечерах в доме директора. Здесь Анненский познакомил его и с поэзией французского символизма. Он и сам одним из первых начал переводить Бодлера, Верлена и Малларме. Об этих встречах Гумилев позже вспоминал в стихотворении «Памяти Иннокентия Анненского»:

Я помню дни: я, робкий, торопливый,
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
Слегка седеющий поэт.

Десяток фраз, пленительных и странных,
Как бы случайно уроня,
Он вбрасывал в пространство безымянных
Мечтаний – слабого меня.

О, в сумрак отступающие вещи
И еле слышные духи,
И этот голос, нежный и зловещий,
Уже читающий стихи!

В них плакала какая-то обида,
Звенела медь и шла гроза,

А там, над шкафом, профиль Еврипида
Слепил горящие глаза^[177].

Теперь же Гумилев замышлял и другое – создать при «Аполлоне» школу поэзии. В ней он уже тогда видел науку, не менее точную, чем математика или биология, со своими непреложными законами, которые поэту необходимо знать, ремесло, которому надо глубоко и серьезно учиться. В основе европейского, в том числе и русского стихосложения лежала античная метрика. Гумилев обратился к двум крупнейшим ее знатокам – поэтам и одновременно выдающимся филологам-классикам Иннокентию Анненскому и Вячеславу Иванову – с просьбой прочесть молодым писателям курс лекций. Так в 1909 году возникла «Академия стиха». Сергей Маковский вспоминал: «Собрания на “башне” окончились осенью 1909 года, когда Вячеслав Иванов перенес их, придав им характер более профессионально-поэтический, в редакцию “Аполлона”...

“Душой” этих собраний, которые “аполлоновцы” называли “Поэтической академией”, Вячеслав Иванов оставался неизменно, несмотря на блистательные выступления Анненского (в течение двух первых месяцев – он скончался в ноябре 1909 года)...»^[178]

Сохранились протоколы нескольких заседаний «Академии стиха», на которых лекции Вячеслава Иванова по стихосложению конспективно записывала Мария Михайловна Замятина, старый верный друг семьи, не оставлявшая ее своей заботой и после смерти Лидии Дмитриевны. По этим записям видно, что нередко лекции носили характер свободной беседы. Среди слушателей Вячеслава Иванова были Н. С. Гумилев, А. Н. Толстой, А. М. Ремизов с женой, сестры А. К. и Е. К. Герцык, немецкий поэт И. Гюнтер, в

те годы постоянный участник литературной жизни Петербурга, впоследствии немало сделавший для популяризации русской поэзии Серебряного века в Германии как переводчик, Е. И. Дмитриева, в скором времени – Черубина де Габриак, участница знаменитой мистификации, придуманной М. А. Волошиным, в которую будет вовлечена вся редакция «Аполлона», П. П. Потемкин, позже известный «сатириконец», и другие литераторы. Вот некоторые фрагменты этих протоколов:

«Вячеслав. Дополнение к амфибрахию. Амфибрахий. Чистая напевность. Песнь о Вещем Олеге – народное сказание...

Народные песни. Анапесты могут случайно совпасть с амфибрахиями... Следовательно, амфибрахий народно-литературный не то, что амфибрахий литературный... Амфибрахий баллад... вышел из народного склада – вследствие родственности с песней...

Разговор переходит на рифму. Описывается одна из самых ранних средневековых рифмовок – испанский ассонанс через строку...

Вячесл. Дополняет.

Богатые рифмы возникают в новую пору... Наша поэзия переняла это, и у Пушкина мы встречаем...

Верховский. У нас народная поэзия начинается с ассонанса, а затем развивается рифмованный стих, и затем белый стих...

Относительно богатых рифм – и у нас встречаются раньше Пушкина, в XVIII в. У Державина...

Первый белый стих у Пушкина – но есть уже и у Жуковского, который мастер белого стиха...

Вяч. Из эволюции белого стиха у Пушкина мы многому выучиваемся. Белый стих приближается к разговорной речи... Все, что свидетельствует о принуждении, не принадлежит белому стиху... У Блока замечательные белые стихи. В белом стихе пять стоп. Строфичного белого стиха не должно быть...

Происхождение строфы – тесным образом связано с хором... Строфа значит поворот. Стих обращается к этой форме первоначально всегда для периодизации. Хор повторяет движение от определенной точки. Самые строфы... не непременно повторялись, но возвращались к определенной фигуре, как в пляске...

Впечатление строфичности дает усиление ритмической строгости. Теперь все предпочитают строфы и стремятся удалиться от разговорной речи»[\[179\]](#).

При всей порой неясности этих записей, – Замятнина вела их поспешно, «с голоса», и, в отличие от Вячеслава Иванова, не была знатоком античных размеров и истории европейского стихосложения, – и по ним можно представить себе тот дух глубины и безмерной культурной всеохватности, который царил на ивановских лекциях «Академии стиха». Через призму открытий поэзии Нового времени по-другому, намного богаче, виделось и русское классическое наследие. Так, отвечая на вопрос о символизме у Пушкина и Тютчева, Вячеслав Иванов говорил: «Пушкин не символист, а Тютчев символист. Пушкин не символист, а даже мифотворец – например, поэма о Медном Всаднике, – следовательно, он символист. Но Пушкин мифотворец не потому, что он написал “Русалку”. В “Русалке” он дал только переложение мифа, а в “Медном Всаднике” он

сам творит миф. Символ имеет живую реальную жизнь... Из символа рождается миф»^[180]. Далее, развивая эту мысль, Вячеслав Иванов говорил о жизни мифа в поэзии своих современников: «Мы келейники имеем миф свой – Блок имеет свой миф, т. е. свою древнюю правду, которой он живет и движем, именно, вековечное... женское божество, которое воспринимает в разные его периоды жизни – например, в виде Прекрасной Дамы, близкой к Богородице, затем идут блуждания...

Сологуб весь живет мифом. “Я” воплощает различные образы; одна космическая сущность – Бог, другая сущность – сестра-Дульцинея.

У Брюсова просто демонология в <выразительном?> стоне. Живет он в определенных сущностях мифа»^[181].

На пятое заседание «Академии стиха», которое состоялось 23 апреля 1909 года, пришел восемнадцатилетний поэт, совсем недавно познакомившийся с Гумилевым. Скорее всего, тот и порекомендовал ему посещать лекции Вячеслава Иванова. Фамилию юного поэта М. М. Замятнина по ошибке записала в протоколе как «Мендельсон», но звали его Осип Мандельштам. О том, как он впервые встретился с мэтром, вспоминал Владимир Пяст: «Много начинающих поэтов приходили на эти собрания. И вот, помню, однажды пришел... Виктор Гофман в сопровождении совсем молодого стройного юноши в штатском костюме, задиравшего голову даже не вверх, а прямо назад: столько чувства собственного достоинства бурлило и просилось наружу из этого молодого тела. Это был Осип Мандельштам. По окончании лекции и ответов на вопросы аудитории ему предложили прочесть стихи. Не знаю, как другим (Вяч. Иванов, конечно, очень хвалил, – но ведь это было его

всегдашним обыкновением!), но мне чрезвычайно понравились его стихотворения»^[182].

Эту черту облика Мандельштама – закидывать голову – отразили почти все художники, писавшие его. Отметим ее в одном из стихотворений, посвященных Мандельштаму, и Марина Цветаева:

Ты запрокидываешь голову,
Затем, что ты гордец и враль.
Какого спутника веселого
Послал мне нынешний февраль!^[183]

Да и сам Мандельштам в стихотворении «Автопортрет» изобразил себя таким:

В поднятьи головы крылатый
Намек – но мешковат сюртук;
В закрытьи глаз, в покое рук —
Тайник движенья непочатый.

Так вот кому летать и петь
И слова пламенная ковкость, —
Чтоб прирожденную неловкость
Врожденным ритмом одолеть!^[184]

Об этом своем первом появлении на «башне» Мандельштам рассказывал Ирине Одоевцевой: «Он <Вяч. Иванов> очень хвалил мои стихи: “Прекрасно, прекрасно. Изумительная у вас оркестровка ямбов, читайте еще. Мне хочется послушать ваши анапесты или амфибрахии”. А я смотрю на него, выпучив глаза, и не знаю, что за звери такие анапесты и амфибрахии. Ведь я писал по слуху и не задумывался над тем, ямбы это или что другое»^[185]. Благодаря занятиям у

Вячеслава Иванова Мандельштаму посчастливилось узнать прекрасный «бестиарий» античных, западноевропейских и русских стихотворных размеров с их особенностями. О том, насколько эти уроки были усвоены Мандельштамом, свидетельствует его декабрьское письмо 1909 года Вячеславу Иванову, которому он посылал на суд новые стихи. Говоря о работе над одним из них, Мандельштам писал: «Интимно-лирическое, личное – я пытался сдержать, обуздать уздой ритма. Меня занимает, достаточно ли крепко взнуздано это стихотворение?

Невольно вспоминаю Ваше замечание об антилирической природе ямба. Может быть, антиинтимная природа? Ямб – это узда настроения»^[186].

В других письмах того же года Мандельштам не раз подчеркивал значение, которое имело для его поэтического роста общение с Вячеславом Ивановым: «20 июня 1909 г. Очень уважаемый и дорогой Вячеслав Иванович!.. Ваши семена глубоко запали в мою душу, и я пугаюсь, глядя на громадные ростки». «22 ноября 1909 г... Не могу не сообщить вам свои лирические искания и достижения.

Насколько первыми я обязан вам – настолько вторые принадлежат вам по праву, о котором вы, быть может, и не думаете»^[187].

По всей вероятности, именно Вячеслав Иванов рекомендовал стихи Мандельштама для публикации в «Аполлоне». Подборка из пяти стихотворений вышла в девятом номере за 1910 год. Этот дебют, замеченный, может быть, единицами, возвестил, что в русскую поэзию нового века входит тот, кто многое изменит в ее составе.

Будучи еще учеником символистов, Мандельштам и тогда сразу явил непохожесть на других в самом сущностном. Он не стремился раствориться в «вечном»

и «бесконечном», а утверждал абсолютную ценность своего неповторимого человеческого бытия, заявляя, что пришел навсегда, что без него вечность будет неполной. Нежность и хрупкость были обманчивы – за ними таилась непобедимая метафизическая жизнестойкость дара.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.

Запечатлется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.

Пускай мгновения стекает муть,
Узора милого не зачеркнуть [\[188\]](#).

Удивительно, как часто поэты предвосхищают научные открытия и философские прозрения. В 1909 году, когда Мандельштам написал эти строки, вышел сборник «Вехи», произведший революцию в истории русской мысли, открывавшийся статьей Бердяева. Но в те годы великий мыслитель был еще очень далек от создания своей философии христианского персонализма. А в этом юношеском мандельштамовском стихотворении она была уже словно «в эмбрионе».

И Мандельштам, и Гумилев, и Городецкий продолжали слушать лекции Вячеслава Иванова по стихосложению в Обществе ревнителей художественного слова, собиравшемся в помещении редакции «Аполлона». Но все неотвратимее назревал бунт молодых поэтов – сотрудников журнала – против мэтра. Новое поколение искало новые пути. К тому же кризис символизма, его исчерпанность в русской поэзии стали очевидны и для крупнейших поэтов этого

направления. Главная причина была связана с отношением к слову. Символисты бесконечно расширили его звуковые и смысловые возможности. Но оборотной стороной этих бесценных обретений стала утрата у них прямого, предметного значения слова. В марте 1910 года Вячеслав Иванов сделал доклад под названием «Заветы символизма», который прочитал в Обществе свободной эстетики в Москве, а затем в Обществе ревнителей художественного слова в Петербурге. Текст доклада был опубликован в номере «Аполлона» за май – июнь того же года. Слово «заветы» в заглавии настраивало на мысль, что речь идет об умирающем. Вячеслав Иванов понял: на пороге – полная перемена отношения и к миру, и к поэтическому слову у вчерашних учеников символизма, прошедших его искус.

В своем докладе он отправлялся от парадоксальной тютчевской формулы из стихотворения «Silentium» – «Мысль изреченная есть ложь», за которой стоял внутренний опыт несоответствия содержания и словесного выражения, знакомый многим поэтам. Достаточно вспомнить «Невыразимое» Жуковского, открывшего эту тему в русской лирике, мандельштамовский «Silentium» вслед за тютчевским, а позже – блоковского «Художника» и «Шестое чувство» Гумилева. По Вячеславу Иванову, утверждение, что слово – не более чем внешнее средство общения, неспособное выразить духовную сущность, вело к усилению в поэтическом языке «логической его стихии, в ущерб энергии чисто символической, или мифологической, соткавшей некогда его нежнейшие природные ткани»^[189]. Ведь язык мифа, на котором древний человек говорил о самом важном для себя, о бытийственном, о главных событиях в истории мироздания и их духовном смысле, был неизбежно языком символа – вспомним хотя бы первые главы

Книги Бытия. Мир двойствен – наряду с видимым существует и невидимый. Нет языка, на котором можно было бы выразить его реалии. Поэзия символизма и стала парадоксальной попыткой осуществить заведомо неосуществимое, для чего она пользовалась языком намеков и символов, воздействуя через «магическое внушение», по определению Вячеслава Иванова. Поэт противопоставлял эту концепцию слова всем прежним, в том числе и пушкинским представлениям. Одновременно он видел корни символизма в русской поэзии XIX века: «В поэзии Тютчева русский символизм впервые творится, как последовательно применяемый метод, и внутренне определяется, как двойное зрение и потому – потребность другого поэтического языка. <...> Слово-символ делается магическим внушением, *приобщающим* слушателя к мистериям поэзии. Так и для Боратынского – “поэзия святая” есть “гармонии таинственная власть”, а душа человека – ее “причастница”... Как далеко это воззрение от взглядов XVIII века, еще столь живучих в Пушкине, на адекватность слова, на его достаточность для *разума*, на непосредственную общительность “прекрасной ясности”, которая могла быть всегда прозрачной, когда не предпочитала – лукавить!»^[190]

Но понятие «символизм» для Вячеслава Иванова имело гораздо более широкий смысл, чем название одного из направлений (пусть даже ведущего!) русской литературы рубежа XIX–XX столетий. Это был способ соприкосновения поэзии с «мирами иными». При таком взгляде возможности подлинного символизма далеко не казались исчерпанными. Напротив, он обретал новые подходы и горизонты: «До сих пор символизм усложнял жизнь и усложнял искусство. Отныне – если суждено ему *быть* – он будет *упрощать*. Прежде символы были разрознены и рассеяны, как россыпь драгоценных

камней (и отсюда проистекало преобладание лирики); отныне символические творения будут подобны символам-монолитам. Прежде была “символизация”; отныне будет *символика*. Цельное мирозерцание поэта откроет ее в себя, цельную и единую. Поэт найдет в себе религию, если он найдет в себе *связь*. И “связь” есть “обязанность”»^[191].

В двоemiрии Вячеслав Иванов видел основу поэзии, которая и держится напряжением «меж землей и небесами» и призвана подниматься от видимого к невидимому, от реального – к реальнейшему. Причина кризиса русского символизма заключалась, по Иванову, именно в том, что современные поэты оказались неспособны решить эту сверхзадачу: «Историческую задачу новейшей символической школы было раскрыть природу слова, как символа, и природу поэзии, как символики истинных реальностей. Не подлежит сомнению, что это школа отнюдь не выполнила своей двойной задачи. Но несправедливо было бы отрицать некоторые начальные ее достижения...»^[192] Предвидел Вячеслав Иванов и то, в каком направлении пролягут сначала пути молодых поэтов, отринувших символизм: «Этот процесс обескрыления закономерно приводит остепенившихся романтиков к натурализму... – к изяществам шлифовального и ювелирного мастерства, с любовью возводящего в перл создания все, что ни есть красивого в этом, по всей вероятности, литературнейшем из миров. Названное ремесло обещает у нас приятный расцвет; и столь живое в эти дни изучение поэтического канона, несомненно, послужит ему на пользу»^[193]. Последние строки были явным намеком в адрес своих молодых слушателей в «Поэтической академии». В финале доклада Вячеслав Иванов обращался к ним со словами, рассчитанными на

отдаленное восприятие, хорошо понимая, что теперь не будет услышан: «В поэзии хорошо все, в чем есть поэтическая душевность. Не нужно желать быть “символистом”; можно только наедине с собой открыть в себе символиста – и тогда лучше всего постараться скрыть это от людей. Символизм обязывает. Старые чеканы школы истерлись. Новое не может быть куплено никакую другую ценой, кроме внутреннего подвига личности. О символе должно помнить завет: “Не приемли все»»^[194].

Этот урок со временем отозвался в творчестве лучших из тех молодых поэтов, которые тогда готовились восстать против учителя. В частности, это имела в виду Марина Цветаева, когда говорила, что все акмеистические сентенции Гумилева-мэтра разлетелись под колесами его «Заблудившегося трамвая»...

На доклад Вячеслава Иванова откликнулся Блок. 8 апреля 1910 года в Обществе ревнителей художественного слова он прочитал свой доклад, который назывался «О современном состоянии русского символизма». О цели его Блок говорил: «...для отдания отчета в пройденном пути и для гаданий о будущем, – я избираю язык поневоле условный; и, так как я согласен с основными положениями В. Иванова, а также с тем методом, который он избрал для удобства формулировки, – язык свой я назову языком *иллюстраций*»^[195]. По судьбе собственного творчества Блок хорошо знал, о чем говорил, пережив разрушение небесного идеала, самого дорогого в жизни: Прекрасная Дама и Дева Радужных Ворот первых стихов обернулись картонной куклой из «Балаганчика». Историю и кризис русского символизма он «проиллюстрировал» так: «Теза: “ты свободен в этом волшебном и полном соответствий мире”. Твори, что хочешь, ибо этот мир принадлежит тебе. “Пойми,

пойми, все тайны в нас, в нас сумрак и рассвет” (Брюсов). “Я – бог таинственного мира, весь мир – в одних твоих мечтах” (Сологуб). Ты – одинокий обладатель клада; но рядом есть еще знающие об этом кладе... Отсюда – мы: немногие знающие, символисты.

С того момента, когда в душах нескольких людей оказываются заложенными эти принципы, зарождается символизм, возникает школа. Это – первая юность, детская новизна первых открытий. Здесь еще никто не знает, в каком мире находится другой, не знает этого даже о себе; все только “перемигиваются”, согласные на том, что существует раскол между этим миром и “мирами иными”; дружные силы идут на борьбу за эти “иные”, еще неизвестные миры. <...>

Как бы ревнуя одинокого теурга к Заревой ясности, некто внезапно пересекает золотую нить зацветающих чудес... Если бы я писал картину, я бы изобразил переживания этого момента так: в лиловом сумраке необъятного мира качается огромный белый катафалк, а на нем лежит мертвая кукла с лицом, смутно напоминающим то, которое сквозило среди небесных роз»^[196].

Блок ясно увидел, что и эта попытка «быть как боги», пусть даже украшенная прекрасными цветами искусства, проистекающая из стремления прикоснуться к сокровенным тайнам бытия (у него самого связанная с односторонне понятым учением Владимира Соловьева о Софии), вновь оказалась химерой и потерпела крушение. Но, подобно Вячеславу Иванову, видя кризис современного ему символизма, Блок был убежден, что открытия этой школы имеют непреходящую ценность и обретут новую жизнь в русской поэзии: «...Путь к подвигу, которого требует наше служение, есть – прежде всего – ученичество, самоуглубление, пристальность взгляда и духовная диета. Должно

учиться вновь у мира и у того младенца, который живет еще в сожженной душе»[\[197\]](#).

С резким возражением Вячеславу Иванову и Блоку выступил Валерий Брюсов. В отличие от них в символизме он видел только метод искусства, а не «жизнетворчество». В статье «О речи рабской в защиту поэзии», опубликованной в девятом номере «Аполлона» за 1910 год, Брюсов писал: «Вячеслав Иванов может указывать в будущем символизму какие угодно цели, а его Бедкер (Блок. – Г. З.) – пути к этим целям, но они не в праве и не в силах изменить то, что было. Как это им ни досадно, но “символизм” *хотел быть* и всегда *был только искусством...*

Нет причин, конечно, ограничивать область деятельности человека... Почему бы поэту и не быть химиком или политическим деятелем, или, если он это предпочитает, теургом? Но настаивать, чтобы все поэты были непременно теургами, столь же нелепо, как настаивать, чтобы они все были членами Государственной Думы. А требовать, чтобы все поэты перестали быть поэтами, дабы сделаться теургами, и того нелепее»[\[198\]](#).

А перелом в истории Серебряного века приближался. В 1910 году в статье «Жизнь стиха», опубликованной в «Аполлоне» в цикле «Письма о русской поэзии», Гумилев писал о том, что символизм «явился следствием зрелости человеческого духа, провозгласившего, что мир есть наше представление... Устаревшим он окажется только тогда, когда человечество откажется от этого тезиса... Теперь же мы не можем не быть символистами. Это не призыв, не пожелание, это только удостоверяемый мною факт»[\[199\]](#).

Но прошел лишь год – и молодые поэты во главе с Гумилевым, полностью разойдясь во взглядах с

Вячеславом Ивановым и окончательно отказавшись от символизма, покинули «Академию стиха», после чего деятельность ее постепенно угасла. Они создали новое объединение под названием «Цех поэтов». 20 октября 1911 года на квартире Сергея Городецкого состоялось первое его собрание. В состав Цеха вошли Н. Гумилев, С. Городецкий, О. Мандельштам, М. Зенкевич, В. Нарбут, А. Ахматова, Е. Кузьмина-Караваева.

Будучи в то время женой Гумилева, Ахматова вместе с ним также бывала на «башне». Лидия Иванова, дочь поэта, вспоминала о ней: «Один раз на ковре посреди собравшихся в кружок приглашенных Анна Ахматова показывала свою гибкость: перегнувшись назад, она, стоя, зубами должна была схватить спичку, которую воткнули вертикально в коробку, лежащую на полу. Ахматова была узкая, высокая, и одетая во что-то длинное, темное и облегающее, так что походила на невероятно красивое змеевидное, чешуйчатое существо»^[200]. На «башне» Ахматова познакомилась и с Мандельштамом. Когда после этого его спросили, какая у Гумилева жена, он показал руками большую шляпу, которую тогда носила Ахматова.

На первых порах участников Цеха объединяла не программа, а оппозиция символизму. С «Академией стиха», со старшими собратями по перу велась острая и задорная полемика. К этому времени относится, в частности, и такая «цеховая» эпиграмма:

Вячеслав, Чеслав Иванов,
Телом крепкий, как орех,
Академию диванов
Колесом пустил на Цех^[201].

Очень скоро, в 1912 году, на основе Цеха поэтов возникло новое направление русской поэзии – акмеизм

(от греческого «акмэ» – вершина, цветение).

О том, как благодаря Вячеславу Иванову родилось это название, рассказывал в книге «Начало века» Андрей Белый: «Вячеслав раз, подмигивая, предложил сочинить Гумилеву платформу: “Вот вы нападаете на символистов, а собственной твердой позиции у вас нет! Ну, Борис, Николаю Степановичу сочини-ка позицию...” С шутки начав, предложил Гумилеву я создать “адамизм”; и пародийно стал развивать сочиняемую мной позицию; а Вячеслав, подхвативши, расписывал; выскочило откуда-то мимолетное слово “акмэ”, острие: “Вы, Адамы, должны быть заостренными”. Гумилев, не теряя бесстрастия, сказал, положив ногу на ногу: – Вот и прекрасно: вы мне сочинили позицию – против себя: покажу уже вам “акмеизм”! Так он стал акмеистом; и так начинался с игры разговор о конце символизма»^[202]. Роль Вячеслава Иванова в формировании теории новой поэтической школы признавал и Мандельштам. Акмеизм стал своего рода «парнасской реакцией» на символизм. В статье «Наследие символизма и акмеизм», опубликованной в январском номере «Аполлона» за 1913 год и носившей характер манифеста, Гумилев писал: «Русский символизм направил свои главные силы в область неведомого. Попеременно он брался то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом. Некоторые его искания в этом направлении почти приближались к созданию мифа. И он вправе спросить идущее ему на смену течение... какое у него отношение к непознаваемому. Первое, что на такой вопрос может ответить акмеизм, будет указанием на то, что непознаваемое, по самому смыслу этого слова, нельзя познать. Второе – что все попытки в этом направлении – нецеломудренны. <...>

Дорогие могилы связывают людей больше всего. В кругах, близких к акмеизму, чаще всего произносят

имена Шекспира, Рабле, Виллона и Теофиля Готье. Подбор этих имен не произволен. Каждое из них – краеугольный камень для здания акмеизма... Шекспир показал нам внутренний мир человека, Рабле – тело и его радости, мудрую физиологичность, Виллон поведал нам о жизни, нимало не сомневающейся в самой себе, хотя знающей все – и Бога, и порок, и смерть, и бессмертие, Теофиль Готье для этой жизни нашел в искусстве достойные одежды безупречных форм. Соединить в себе эти четыре момента – вот та мечта, которая объединяет сейчас между собою людей, так смело назвавших себя акмеистами»^[203].

Объединение недаром приняло имя Цеха. В средневековой Германии существовали цехи мастерзингеров, где поэтов обучали работать со словом, как и мастеров других профессий с их материалом – строителей с камнем, плотников с деревом, башмачников с кожей. Тайнам «посвященных» акмеисты противопоставляли секреты ремесла, жрецу, «магу и мистагогу» – честного мастера, знатока своего дела. Гумилев говорил, что обучение искусству поэзии состоит из четырех разделов – фонетики, синтаксиса, композиции и эйдолологии (науки об образах). Своеобразным акмеистическим манифестом стала и строфа из стихотворения Мандельштама «Адмиралтейство», где речь идет о знаменитом кораблике на шпиле:

Ладыя воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота – не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра^[204].

Впрочем, несмотря на тогдашние теоретические расхождения, Мандельштам на всю жизнь сохранил

благоговейное отношение к Вячеславу Иванову. Он считал его одним из тех «поэтов навсегда», к которым современники проявляют «чудовищную неблагодарность». В статье «Буря и натиск» он провидчески писал: «Вячеслав Иванов более народен и в будущем более доступен, чем все другие русские символисты. Значительная доля обаяния его торжественности относится к нашему филологическому невежеству. Ни у одного символического поэта шум словаря, могучий гул наплывающего и ждущего своей очереди колокола народной речи, не звучит так явственно, как у Вячеслава Иванова, – “Ночь немая, ночь глухая”, “Мэнада” и проч. Ощущение прошлого как будущего роднит его с Хлебниковым. Архаика Вячеслава Иванова происходит не от выбора тем, а от неспособности к относительному мышлению, то есть сравнению времен. Эллинистические стихи Вячеслава Иванова написаны не после и не параллельно с греческими, а раньше их, потому что ни на одну минуту он не забывает себя, говорящего на варварском родном наречии»^[205]. Вместе символисты и акмеисты сотрудничали и в «Аполлоне».

А жизнь на «башне» по-прежнему не утихала. Вера Шварсалон поступила на отделение классической филологии Высших женских курсов и стала ученицей знаменитого профессора, переводчика и комментатора Софокла, доброго знакомого Вячеслава Иванова Фаддея Францевича Зелинского. Ей неожиданно пришла в голову мысль разыграть на семинаре небольшой отрывок из какой-нибудь античной драмы. Для пеплума были использованы яркие ткани, оставшиеся после Лидии Дмитриевны. Сценическому искусству Веру взялся обучать частый гость «башни» – Всеволод Мейерхольд. Он с радостью и готовностью согласился быть режиссером этой постановки.

От старшей сестры страстью к театру заразилась и Лидия. Вместе с двумя своими подругами, по замыслу Веры, она разыграла на «башне» сцены из «Эстер» Расина и «Фарса о Пателене» на французском языке. Мейерхольд, видевший их игру, остался к ней равнодушен, хотя некоторые моменты «Пателена», как он сам признавался, пробудили в нем новые идеи. Между тем и Вячеслав Иванов, прежде уже писавший трагедии на сюжеты античных мифов, вместе с Блоком и Андреем Белым задумывал создать «театр дионисийского действия». Замысел этот не осуществился, но тем не менее «башне» было суждено навсегда войти и в историю русского театра.

19 апреля 1910 года Мейерхольд поставил на квартире Вячеслава Иванова пьесу Кальдерона «Поклонение Кресту» в переводе К. Бальмонта. Декорации и костюмы к спектаклю делал художник Сергей Судейкин – опять были задействованы ткани Лидии Дмитриевны. В постановке приняли участие домашние и друзья Иванова: Вера Шварсалон получила главную мужскую роль Эусебио, Лидия сыграла Менгу. Достоинно проявили себя на «башенной» сцене поэты Владимир Пяст и Михаил Кузмин. В книге «Встречи» Пяст позже вспоминал, как выглядела «театральная хоромина» в квартире Ивановых: «Изобилие материй пленило Судейкина; наворотивши вороха тканей, он создал настоящий пир для взора»^[206]. В спектакле были заняты даже дети прислуги: им вымазали лица сажей, превратив в «арапчат», и они открывали и закрывали занавес. Комната, где происходило действие, была тесно набита публикой. Секретарь редакции «Аполлона» Евгений Зноско-Боровский в восьмом номере журнала за 1910 год опубликовал статью об этой постановке под названием «Башенный театр», где так изобразил происходившее: «...Крошечной и даже без подмостков

сцене была придана – тайной распределения сукон, тянувшихся, скрывая низко висячую лампу, от задней стены к середине и здесь свешивавшихся на задрапированные, делившие стены на две неравные части ширмы, – иллюзия глубины, довольно значительной, но не чрезмерной. Занавес открывался не мановением невидимого человека-машины: двое арапчат в обворожительных костюмах весело раздвигали его и опять сдвигали, сами оставаясь впереди и сбоку его, или скрывались за ним... Если надо прятаться – прячутся за занавес, если надо засыпать травой или ветками – попросту натягивают ковер, устилающий пол, если надо спешно уйти – не стесняются уйти в зрительный зал»^[207].

Воспоминание об этих арапчатах отозвалось тридцать с лишним лет спустя, в страшные годы, когда режиссер «Поклонения Кресту» Всеволод Мейерхольд после нечеловеческих пыток был расстрелян, во второй главе первой части «Поэмы без героя» Анны Ахматовой (героем ее был сам Серебряный век):

Видишь, там за вьюгой крупчатой
Мейерхольдовы арапчата
Затевают опять возню^[208].

Вячеслав Иванов вскоре после спектакля написал об этом удивительном вечере стихотворение «Хоромное действо» и посвятил его дочери Лидии:

Менга, с честью вчера
Ты носила свой повойник!
А прекрасная сестра
Впрямь была святой разбойник.

Помню сжатые уста,

Злость и гибкость леопарда
И склоненья у Креста...
Страшен был бандит Рикардо!

Лестницу он уволок
Чрез партер, с осанкой важной.
Курсио, отец, был строг,
Черноокий и отважный.

В шлеме был нелеп и мил
Наш Октавио. И злобен
Дон-Лисардо, – только хил.
Фра-Альберто – преподобен.

В яму Хиль спустил осла;
С Тирсо Хиля ты тузила.
Круглолица и смугла,
Юлия изобразила

Гордость девы молодой,
Страсть монахини мятежной.
В залу мерной чередой
Долетал подсказ прилежный.

Кто шатром волшебным свил
Алый холст, червонный, черный?
В черной шапочке ходил
Мэтр-Судейкин по уборной.

Мейерхольд, кляня, моля,
Прядал лют, как Петр Великий
При оснастке корабля,
Вездесущий, многоликий.

То не балаган, – чудес,
Менга, то была палата!

Сцену складками завес
Закрывали арапчата...

Так вакхический приход,
Для искусства без урона,
В девятьсот десятый год
Правил действо Кальдерона^[209].

Домашняя забава благодаря тем, кто в ней участвовал, навсегда стала событием и фактом русской культуры.

Все эти годы Вячеслав Иванов вел еще и неослабевающую лекционную деятельность, выступал с докладами в Религиозно-философском обществе, Обществе ревнителей художественного слова, которое он основал при журнале «Аполлон» вместе с И. Ф. Анненским и С. К. Маковским. Кроме того, взяв на себя миссию быть преемником умершего в 1909 году И. Ф. Анненского, преподавал греческую и римскую словесность на Высших женских курсах Раева. С поездкой на одну из таких лекций был связан курьезный эпизод (который, правда, мог закончиться гораздо более серьезно), навсегда изменивший внешний облик поэта. Сидя в пролетке, Вячеслав Иванов хотел закурить и зажег спичку. Чтобы огонек не погас на ветру, он сунул ее в приоткрытую коробку, не заметив, что спички в ней лежат головками вверх. Коробка вспыхнула, и Вячеславу Иванову опалило половину бороды. Пришлось ехать не на лекцию, а к брадобрею. Но после этого случая все в один голос начали убеждать Иванова, что с бритым лицом ему гораздо лучше. С тех пор всю оставшуюся жизнь он уже не носил бороды. Это делало Вячеслава Иванова, особенно в старости, похожим на одного из любимых его поэтов – Тютчева.

История со сгоревшей бородой скоро стала известна всему литературному Петербургу. В марте 1912 года в журнале «Черное и белое» появилась эпиграмма на Вяч. Иванова за подписью «Граф А. Толстой»:

Огнем палил сердца доныне
И, строя огнестолпный храм,
Был Саламандрою Челлини
И не сгорал ни разу сам.

Но только отблеск этот медный
Чела и лика, впалых щек
Был знак, таинственный и вредный,
Тому, кто тайно души жег...

Но как Самсон погиб от власа —
Твоя гибель крылась где?
Вокруг полуночного часа
В самозажженной бороде^[210].

Многие лекции и выступления Вячеслава Иванова изначально писались как статьи и затем публиковались в журналах. В 1909 году из своих философских и литературоведческих работ он составил сборник «По звездам» и издал его в основанном им же самим петербургском символистском издательстве «Оры». Художник Мстислав Добужинский, сотрудничавший в нем, вспоминал: «У Вячеслава Иванова я еще бывал и по поводу затеянного им его собственного издательства “Оры”. Он торжественно нарек меня почетным именем “художника ‘Ор’ ”, и я сделал несколько обложек для крошечных книжек того издательства, удовлетворяя Вячеслава Иванова моими символическими рисунками. Эти книжки были: антология “Цветник ‘Ор’ ”, “Трагический зверинец” и “33 уroda” Лидии

Дмитриевны, писавшей под именем Зиновьевой-Аннибал, и “По звездам” Вячеслава Иванова»^[211].

Несмотря на бесконечное тематическое разнообразие вошедших в эту книгу работ, их словно бы пронизывал некий единый «сюжетный» стержень. Они могли показаться главами одного произведения. В каждой поэт (а Вячеслав Иванов неизменно оставался поэтом и в религиозно-философской мысли, и в филологии) явил себя с исчерпывающей глубиной.

Так, одна из статей называлась «О веселом ремесле и умном веселии». Она стала неким «Ars poetique» Вячеслава Иванова. В художнике он видел наследника средневекового ремесленника, гордящегося своим мастерством и испытывающего радость от работы, всегда нуждающегося в «заказе» в самом широком смысле этого слова. Иное положение дел для него было следствием недоразумения: «...художник истинный... есть ремесленник... он нуждается в заказе не только вещественно, но и морально, гордится заказом и, если провозглашает о себе подчас, что “царь” и, как таковой, “живет один”, – то лишь потому, что сердится на неудовлетворенных его делом или не идущих к нему заказчиков, а когда внушает себе: “ты сам свой высший суд”, – то лишь повторяет старинные бутады самоуверенных и непокладливых мастеров, в роде Микель-Анджело Буонароти или упрянца Бенвенуто Челлини, который также запирался порой, отказавшись от сбыта, в свою мастерскую золотых дел мастера – “усовершенствовать плоды любимых дум”»^[212]. Перелом же произошел на пороге эпохи Возрождения: «Когда отпал религиозный импульс в художественной деятельности, художник без определенного и срочного заказа оказался индивидуалистом и поспешил изобрести индивидуализм. Что заставляет Петрарку так преувеличивать значение филологической своей

эрудиции и латинских поэм в ущерб значению своей бессмертной и национальной лирики, если не тайная мысль об интимности и, следовательно, ненужности тех любовных канцон и сонетов, которые Данте бросал некогда приятелям, а те отдавали улице?»^[213]

С этого времени, по Вячеславу Иванову, и началось самозамыкание поэзии, превращение ее в достояние круга избранных, в искусство «для немногих»: «Всякого рода “гениальничанье”... и романтизм есть надменное праздношатайство художественной богемы, принуждение работать не иначе, как впрок и про запас, что немедленно она возводит в принцип и на своем кичливом жаргоне называет “искусством для искусства”»^[214].

Выход из этого сущностного тупика Вячеслав Иванов видел в религиозном осмыслении творчества. Поэзия будущего, считал он, должна стать соборным действием, а поэт – корифеем народного хора, голосом его гармонической воли, хранителем и творцом мифа: «Какою хочет стать поэзия? Вселенскою, младенческою, мифотворческою. Ее путь к всечеловечности вселенской – народность, к истине и простоте младенческой – мудрость змеиная; к таинственному служению творчества религиозного – великая свобода внутреннего человека, любовь, дерзающая в жизни и духе... Преодолевая индивидуализм... и прозревая на лики божественного, она напишет на своем треножнике слова: Хор, Миф и Действо... Страна покроется оркестрами и фимелами, где будет плясать хоровод, где в детстве трагедии или комедии, народного дифирамба и народной мистерии воскреснет истинное мифотворчество (ибо истинное мифотворчество – соборно)... Хоры будут подлинным выражением и голосом народной воли. Тогда художник окажется впервые только художником, ремесленником веселого

ремесла, – исполнитель творческих заказов общины, – рукою и устами знающей свою красоту толпы, вещим медиумом народа-художника»^[215].

Времена Эсхила и Софокла, Пиндара и Вакхилида, считал Вячеслав Иванов, вернуться, обретя евангельскую основу и глубину. В XX веке этому не суждено было сбыться. Вот уже более чем два столетия как произошел в России очень болезненный вылом человека из родового единства. Путь художника ко Христу был теперь только личностным – даже если он лежал через соборный опыт Церкви...

О том же Вячеслав Иванов размышлял и в другой важнейшей для себя работе, включенной им в книгу «По звездам», – в эссе «О русской идее». Эта идея была для него неременной составляющей всечеловеческого многоцветья и богатства, не химерой, а безусловной реальностью, тождественной самому понятию «культура»: «...не Гердер и Гегель изобрели понятие “национальная идея”, не философы его измыслили... но создала и реализовала, как один из своих основных фактов, история... Национальная идея есть самоопределение собирательной народной души в связи вселенского процесса и во имя свершения вселенского... Ложным становится всякое утверждение национальной идеи только тогда, когда неправо связывается с эгоизмом народным или когда понятие нации смешивается с понятием государства»^[216].

Отозвалось в статье и сильное влияние славянофильства. Вячеслав Иванов видел в России две противостоящие друг другу культуры. Одну он определял как «примитивную» или «органическую», другую – как «критическую». Первая являла собой единство представлений о божественном и человеческом, о праведности и грехе, об укладе жизни и о красоте, присущих народу, вторая была для него

вычленением из первоначального соборного целого. Ее Вячеслав Иванов возводил от культуры «сынов Каиновых – ковщиков металлов и изобретателей мусийских орудий»^[217]. В России носителем этой культуры, коренящейся в заимствованной с петровских времен западной цивилизации, была интеллигенция, стремившаяся *возвести* народ до себя. В основе же «органической» культуры, по Вячеславу Иванову, лежал противоположный принцип – нисхождения. Поэт воспринимал его двояко. Он видел в нем огромную опасность нигилистически-варварской ненависти к культуре как таковой, равнодушия к справедливому и достойному устройению жизни, пренебрежительного отношения к личности, циничного презрения ко всему прекрасному и высокому. Как примеры похожего явления в античном мире Вячеслав Иванов приводил изгнанного афинянами Анаксагора и приговоренного ими к смерти Сократа, чьи мысли о Боге не умещались в привычные для толпы представления.

Но вместе с тем эта воля к нисхождению рождало в русском народе то, что было недоступно его цивилизованным соседям, – готовность отвергнуть все земные блага и плоды просвещения, чтобы идти за Христом. Для Вячеслава Иванова разница эта сильнее всего сказывалась в той радости, с какой в России празднуется Пасха: «...в одной России Светлое Воскресение есть поистине праздник праздников и торжество торжеств. Соборный внутренний опыт нашего народа существенно различествует в этот момент его религиозной жизни от внутреннего опыта других народов: тем народам светлее и ближе таинственное Рождество... когда человек возвышенным и облагороженным чувствует себя чрез нисхождение и воплощение Бога; русской душе больше говорит тот праздник, когда

...колокола в ночи пасхальной,
Как белый луч, в тюрьме сердец страдальной
Затеplit Новый Иерусалим...»[\[218\]](#)

Вячеслав Иванов утверждал, что если другие европейские народы дорожат достигнутым на пути своего возвышения, защищают и оберегают его, отчего порой бывают «мертвенно-скупы», то русские одержимы дионисийской жаждой самосожжения, саморастраты. Парадоксально, но более всего он видел это устремление в самом «западническом» слое русского общества – интеллигенции с ее кодексом жертвенности и «хождением в народ». Недоразумение же заключалось в незнании и неприятии интеллигенцией того насущного, что надо было нести народу, не просвещенному еще светом Евангелия, несмотря на более чем девятисотлетнюю историю христианства в России. Только оно могло удержать страну от саморазрушительного упоения и безумия.

«...особенность христианской идеи, с наибольшей полнотою и безусловностью выразившей и возвысившей идею человечности, – писал Вяч. Иванов, – в том, что она в противоположность, например, буддизму развивает из себя самые правые условия нисхождения, ограничивающие его самоубийственное тяготение, <... > и право сочетает его с законом самосохранения. Неприемлема христианскому чувству легенда о Будде, отдающем плоть свою голодной тигрице; между тем Будда не распят на кресте за грехи мира, и трагизм, как чисто-человеческое в религии, чужд буддизму. Трагизм возникает в христианстве именно вследствие присутствия в нем закона самосохранения»[\[219\]](#).

На статью Вяч. Иванова «О русской идее» с убийственной, горестной иронией отозвался Д. С. Мережковский. Если первый размышлял о

сущностном в возвышенных религиозно-философских категориях, то второй говорил о страшных фактах русской жизни и истории. В статье «Земля во рту», напечатанной в газете «Речь» 15 ноября 1909 года, Мережковский писал: «Огорчился я, а Вяч. Иванов утешил меня... Я знаю теперь, что если мы не летим, то не потому, что не можем, не умеем, а потому, что не хотим летать. Наше дело - нисходить, никнуть, погребаться, зарываться в землю. И надо нам отдать справедливость: мы это дело как нельзя лучше делаем. Я утешен, но, признаюсь, не совсем...

“Во Христе умираем, Духом Святым воскресаем”, - уверяет Вяч. Иванов. Его бы устами мед пить. Что мы вообще умираем, этому поверить легко: стоит лишь взглянуть на все, что происходит сейчас в России. Но во Христе ли умираем, - сомнительно...

Восхождение может быть каиновым, люциферианским, сатанинским; но ведь и нисхождение - точно так же... Ведь вот знает же Вяч. Иванов, что нисхождение, не закрепившее силы света, - самоубийственно...

Я никогда не забуду, как однажды, в первый день пасхи, встретил я на углу Бассейной и Надеждинской кучку пьяных, которые, шагая посередине улицы, горланили: Христос воскрес! - вместе с чудовищной, тоже, увы, единственной, русской бранью. И надо всей Россией, над одной Россией стоит в этот день “гул всезвонных колоколов”, смешанный с матерной бранью.

Понятно, почему Лейбниц говорил о русских: “крещеные медведи”, а ученый швед, Иоанн Ботвид, в 1620 году, в Упсальской академии защищал диссертацию: “Христиане ли московиты?”...

Нет, не Духом Святым воскресаю, а духом звериным удушаюсь, умираю, - мог бы ответить погребенный. - Кричи, стучи - и никто не слышит. Уж земля

обсыпалась, задавила меня. Больше не могу кричать, голоса нет. Земля во рту»^[220].

В равной мере искали пути преодоления торжествующего в русской жизни зла Вяч. Иванов и Мережковский, но один видел их в глубинном преображении народного духа, другой – в культурных и общественных преобразованиях, также религиозно осмысленных. Времени же оставалось очень мало.

Особое место в книге «По звездам» занимали историко-литературные штудии Вячеслава Иванова. Одна из них – «О Шиллере» – была написана к столетию смерти великого немецкого романтика. Этот гений, которого еще в XIX веке многие считали безнадежно устаревшим (Ницше называл его «трубачом морали», что в устах автора «Заратустры» и «Рождения трагедии» было убийственной оценкой), вдруг оказался востребованным в Новое время. Говоря о том, чем обогатил Шиллер русскую поэзию, по сути, изменив ее облик, о переводах Жуковского и Тютчева, о Шиллеровых гимнах в «Братьях Карамазовых» у Достоевского, Вяч. Иванов прозревал в нем одного из предтеч символизма, а кроме того – носителя Дионисова духа, экстатика, наследника античного хорового действия и дифирамба. «Два первые свидетеля, – писал он, – два избранных служителя Диониса, ручаются нам за истинность дифирамбического одушевления, владевшего Шиллером: Бетховен и Достоевский. Бетховен избрал «Гимн к Радости» словесную основу своего великого и первого в новом искусстве музыкального дифирамба Девятой Симфонии. Достоевский чтит и лелеял Шиллерову память. Он святил в поэте человечности любовь к божественному лику человека, веру в человеческую божественность – ту любовь и ту веру, которые не исчерпываются содержанием

положительных “идеалов” жизни, но коренятся в “мистическом” касании к мирам иным»^[221].

Эти слова позже отозвались в мандельштамовской «Оде Бетховену»:

О, Дионис, как муж, наивный
И благодарный, как дитя!
Ты перенес свой жребий дивный,
То негодуя, то шутя!
С каким глухим негодованьем
Ты собирал с князей оброк
Или с рассеянным вниманьем
На фортепьянный шел урок!

Тебе монашеские кельи —
Всемирной радости приют,
Тебе в пророческом весельи
Огнепоклонники поют;
Огонь пылает в человеке,
Его унять никто не мог.
Тебя назвать не смели греки,
Но чтили, неизвестный бог!^[222]

Мандельштам внимательно прочитал «По звездам». Его письмо Вяч. Иванову от 13 августа 1909 года стало попыткой своего рода свободной эпистолярной рецензии на эту книгу: «Разве, вступая под своды Notre Dame, человек размышляет о правде католицизма и не становится католиком просто в силу своего нахождения под этими сводами?»

Ваша книга прекрасна красотой великих архитектурных созданий и астрономических систем. Каждый истинный поэт, если бы он мог писать книги на основании точных и непреложных законов своего творчества, – писал бы так, как вы.

Вы самый непонятный, самый темный, в обыденном словоупотреблении, поэт нашего времени – именно оттого, что, как никто, верны своей стихии, – сознательно поручив себя ей»^[223].

Лето 1910 года Вяч. Иванов проводил в Италии. Там он собирал материалы для задуманной им книги о дионисийстве и предшествовавших ему архаических культах. Из Греции к нему в Рим приехала Вера Шварсалон. Через топографию и ландшафт каменистой Эллады она по-новому соприкоснулась с преданиями и мифами, которые изучала в семинаре Зелинского. Вера рассказывала Вячеславу, как чуть было не заблудилась в Корикийской пещере – владении царицы подземного мира Персефоны, но все же сумела выбраться и не стала пленницей Аида.

Вячеслав слушал ее, улыбаясь, вспоминая свои археологические путешествия в годы учения у Моммзена. Глубокая внутренняя связь у него с Верой была уже давно – особенно с тех пор, как их объединило общее горе, когда они в Загорье вдвоем находились рядом с телом умершей, бесконечно любимой обоими. Вячеслав помнил, что незадолго до болезни и смерти Лидия Дмитриевна показала рукой на Веру и задумчиво и таинственно проговорила: «Быть может – она...» Эти слова глубоко запали тогда в душу Вячеслава. Теперь он начал воспринимать их как некое завещание. Дочь стала для него продолжением матери. Тихая и хрупкая Вера была совсем не похожа на Лидию с ее огненной натурой и львиной статью. И все же что-то неуловимо-общее, сближающее их, сквозило во внутреннем облике Веры. Как и с Лидией, решение навсегда связать жизнь пришло к ним в Риме. Площади и улицы Вечного города словно вернули поэту счастье минувших лет. Но в отличие от тогдашнего грозowego потрясения в сердце теперь царили ясность и тишина.

Вячеслав верил, что с Верой его соединяла Лидия, духовная связь с которой не ослабевала у него и после земной разлуки. В апреле 1910 года он посвятил Вере сонет под названием «Ее дочери», где были такие строки:

Так оный день благословляла мать,
Уча меня судьбы твоей приметам
С надеждою задумчивой внимать [\[224\]](#).

Особое участие Лидии в жизни дочери и свою таинственную сопричастность судьбе Веры Вячеслав чувствовал и прежде. В 1912 году он посвятил ей новое стихотворение под тем же названием:

Не вотще на берег Элевсина
Вынесла, волнуясь, пучина
В оный день опасную ладью!
Меж колонн, где светит Персефона,
Вижу в складках влажного хитона
Шею наклоненную твою.

Вижу твой – в сугробах Девы горной
И в пещере Корикийской черной —
Богомольный и мятежный шаг,
Нежная паломница святыни,
Детский список дочери-богини,
Преступившей заповедный праг [\[225\]](#).

В «детском списке дочери-богини» комментаторы видели случайную опisku автора, полагая, что надо читать «Детский список матери-богини», то есть Деметры. Упоминание в стихотворении Элевсина сразу воскрешало в памяти Элевсинские таинства и миф о

разлуке и скорби матери и дочери, об умирании и возрождении природы. Но язык мифа говорил о реально пережитом опыте потери и страдания. Недаром появилась здесь и Корицейская пещера из рассказа Веры, где она чуть не заблудилась: словно Деметра Персефону из царства теней, мать вывела ее на свет, чтобы вверить их с Вячеславом друг другу. В примечании Вяч. Иванов позже писал: «Стихотворение посвящено моей третьей жене Вере Константиновне, и в нем говорится о том, что я вижу в ней лик и отсвет моей любимой, ее матери, моей второй жены, Лидии Дмитриевны... и что я боюсь потерять ее так же внезапно, как потерял ее мать»^[226]. Да, этот новый союз был только «отсветом» прежнего, главного в жизни поэта.

Оба стихотворения «Ее дочери» вошли в книги Вяч. Иванова, вышедшие в 1911-1912 годах: сонет - в «*Cor ardens*», а второе - в сборник «Нежная тайна».

Появление «*Cor ardens*» стало одним из важнейших событий не только в жизни самого поэта, но и в истории Серебряного века, да и всей русской поэзии. Книга вышла в двух томах в московском издательстве «Скорпион». Первый том увидел свет в 1911 году, второй - в 1912-м. Великолепное оформление Константина Сомова делало это издание подлинным шедевром. Книга включала стихи, написанные Вяч. Ивановым с 1905 по 1912 год. Если «Кормчие звезды» и «Прозрачность» засвидетельствовали появление в русской литературе большого поэта, если «Эллинская религия страдающего бога» и «По звездам» открыли в нем одного из самых культурных людей своего времени, выдающегося мыслителя и блистательного филолога, то два тома «*Cor ardens*» окончательно подтвердили постоянство этой величины.

«Cor ardens» на латыни означало «пламенеющее сердце». Название было связано с традицией поклонения Сердцу Иисуса Христа в католической церкви. В западноевропейской религиозной живописи это Сердце изображается пылающим. Такой рисунок можно было видеть и на обложке «Cor ardens». На титульном листе книги значилось посвящение:

Бессмертному Свету
Лидии Дмитриевны
Зиновьевой-Аннибал.
Той, что, сгорев на земле моим
пламенеющим сердцем,
стала из пламени свет в храме гостя земли.
Esse cor ardens
той,
чью судьбу и чей лик
я узнал
в этом образе мэнады
с «сильно бьющимся сердцем»
ΠΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΡΑΔΙΝΗΣ —
как пел Гомер —
когда ее огненное сердце
остановилось [\[227\]](#).

Образ мэнады с «сильно бьющимся сердцем» был связан с одним из лучших стихотворений Вяч. Иванова, написанным в 1905 году, - «Мэнада». Оно открывало первый том «Cor ardens». Неистовый ритм дионисийского танца и огненный экстаз встретились в нем с мотивом жертвы и скорби. Такой поэт видел и любил свою подругу.

Бурно ринулась Мэнада,
Словно лань,

Словно лань, —
С сердцем, вспугнутым из персей,
Словно лань,
Словно лань, —
С сердцем, бьющимся, как сокол
Во плену,
Во плену, —

С сердцем яростным, как солнце
Поутру,
Поутру, —
С сердцем жертвенным, как солнце
Вечеру,
Вечеру...

Так и ты, встречая бога,
Сердце, стань...
Сердце, стань...
У последнего порога,
Сердце, стань...
Сердце, стань...
Жертва, пей из чаши мирной

Тишину,
Тишину! —
Смесь вина с глухою смирной —
Тишину...
Тишину... [\[228\]](#)

Книга поражала богатством и бесконечным многообразием языков мировой культуры, в совершенстве освоенных поэтом. Древнегреческий дифирамб и хор соседствовали здесь со средневековой балладой, рондо и триолетом, русская народная песня- заклинание - с венком сонетов и гекзаметрической

поэмой, стихи, написанные по горячим следам современных русских бед – поражения в японской войне, смуты, казней и погромов, – с древним преданием об Атлантиде, могучей державе, погубленной своей собственной гордыней и неправдой, в результате угашения духа:

Лежит под Океаном
Нетленная страна.
А древле, за туманом,
Над темным Океаном,
Незримая, она,

Как остров сокровенный
Колдуньи Калипсо,
Цвела в красе надменной;
И мимо сокровенной
Катилось колесо

.....

Что рдеет подо мглами?
Вы сердце той земли
Похитили, и пламя,
Окутанное мглами,
За море унесли.

И розой этот пламень
Вселенной с неба дан;
А остров, мертвый камень,
Отдав небесный пламень,
Нисходит в Океан [\[229\]](#).

Великолепны в стихах «Cor ardens» были и звукопись, и цвет, и обилие света с его поистине

державинской, огненной мощью, как, например, в «Духовом дне»:

Как улей медных пчел,
Гудят колокола,
Как будто низошел
На верные чела
В соборном сонме Дух,
И каждый грезит вслух,
И ранний небосвод
Льет медь и топит мед...

То Духов день, день огневой,
Пылает над Москвой!^[230]

«Cor ardens» и в самом деле стала «пламенеющим сердцем» всей творческой биографии Вяч. Иванова, ее кульминацией, «контрапунктом». Внутри книги были хорошо видны и сущностные изменения, произошедшие с поэтом за эти годы под воздействием пережитой скорби. Как писал С. С. Аверинцев: «Мир первого тома “Cor ardens” – это тот самый двусмысленный мир, с которым прощается Ахматова в “Поэме без героя”. Но ведь и Вячеслав Иванов по-своему ушел из него.

Уже второй том “Cor ardens” человечнее, самоуглубленнее, сосредоточеннее: он в значительной своей части связан с воспоминанием об умершей Лидии. Сквозной символ “пламенеющего сердца”, вызывающий в воображении католическую эмблематику эпохи барокко, становится наконец чуть менее “солнечным” и более “сердечным»^[231].

Особняком в книге стояла поэма «Солнцев перстень», написанная в 1911 году. У Блока в дневнике есть запись: «Вячеслав читал замечательную сказку “Солнце в перстне”»^[232]. В поэме тесно переплелись

античная, древнеегипетская и славянская мифологии с их видением безмерности и одновременно гармонической стройности и красоты космоса. В основе лежал фольклорный мотив ежедневно повторяющегося рождения и смерти солнца, а кроме того – образ подземного солнца-двойника. Недаром и размером своим – четырехстопным хореем, и сказочно-поэтической речью «Солнцев перстень» так явственно перекликался с «Коньком-Горбунком»:

Стань на край, где плещет море,
Оглянися на просторе:
Солнце ясное зашло,
Зори красные зажгло;
Справа месяц тонкорогий.
Топни по мели отлогой,
Влажной галькой веки тронь,
Гикни: «Гей ты, птица-конь,
Огнегривый, ветроногий!
Мчи меня прямой дорогой
Меж двух крыльев, на хребте,
К заповедной той черте,
Где небес дуга с землею
Золотой свита шлеею,
Где сошелся клином свет, —
Ничего за тыном нет.
В царской, бают, там палате,
Что ни вечер, солнце, в злате,
В яхонтах и в янтаре,
Умирает на костре.
В ночь другое ль народится,
Аль, ожив, помолодится,
Заиграет на юру,
Что сгорело ввечеру?»^[233]

Мандельштам был отчасти прав, когда называл Вяч. Иванова «самым темным поэтом». Стихи его понимали немногие. Слишком глубоки и сложны были их культурные коды. Лидия Иванова вспоминала в своей книге, посвященной отцу, такой забавный эпизод. Однажды кадетский корпус, где учился ее сводный брат Константин Шварсалон, посетил великий князь Константин Константинович, известный поэт, писавший под псевдонимом «К. Р.». Между юным кадетом и его августейшим тезкой состоялся такой диалог:

«- Шварсалон, поэт Вячеслав Иванов твой отчим?

- Так точно, Ваше Императорское Высочество.

- Ты читал его произведения?

- Так точно, Ваше Императорское Высочество.

- И понял их?

- Так точно, Ваше Императорское Высочество.

- Ну, значит, ты умнее меня, я ничего не понял» [\[234\]](#).

В 1912 году в издательстве «Оры» вышла и другая книга лирики Вяч. Иванова - «Нежная тайна». Все ее стихи были написаны летом того же года в Савое. А еще прежде, весной, Вячеслав и Вера решили пожениться. Лидия Иванова вспоминала об этом так: «Наступает весна 1912 года. Мне скоро минет 16 лет. И вдруг Вячеслав ко мне обращается и приглашает к себе в комнату на башню, чтобы со мной поговорить... Я опять сажусь в важное черное кресло и слышу невероятные вещи.

Вячеслав и Вера любят друг друга и решили соединить свою судьбу и всю жизнь. Это не есть измена маме. Для Вячеслава Вера есть продолжение мамы, как бы дар, который ему посылает мама. Будет ребенок. А ребенок всегда создает новую жизнь, новый свет.

Принимаю ли я то, что Вячеслав мне говорит? Если да, я буду с ними. Если для меня это неприемлемо, мне будет устроена самостоятельная жизнь...

Минута была острой... Сердце исполнилось любовью, и я решила:

– Я с вами.

Вячеслав сказал:

– Что бы ни случилось дальше в нашей жизни, я этого момента не забуду»^[235].

В петербургской богеме по поводу брака Вяч. Иванова и Веры начали распространяться чудовищно непристойные сплетни. Вскоре стал известен и их источник.

Когда Вяч. Иванов осенью 1912 года прислал рукопись «Нежной тайны» в «Оры», сотрудник издательства, верный друг и горячий поклонник его творчества Алексей Дмитриевич Скалдин пришел в негодование: почему одно из стихотворений сборника посвящено клеветнику? Им оказался Михаил Кузмин, который подолгу жил на «башне» и считался близким дому человеком.

Скалдин писал Вяч. Иванову: «Кузмин здесь распространяет о Вас и Вере слухи в интерпретации крайне некрасивой... Сначала в негодовании я хотел вызвать Кузмина на дуэль, но, по строгом рассуждении, нашел его поступок столь низким, что не вижу доблести... в вызове. По-моему, если я вызову Кузмина, то это будет, с моей стороны, умышленным убийством или же (если я сжалюсь) – кукольной комедией...»^[236]

Вяч. Иванов был глубоко огорчен. От Кузмина он такого не ожидал. Но стихотворения, посвященного ему, из «Нежной тайны» не удалил. Оно должно было напомнить Кузмину о прежних днях, когда его, как друга, принимали на «башне», и пробудить в нем укоры совести. Стихотворение называлось «Соседство»:

Союзник мой на Геликоне,
Чужой меж светских передряг,
Мой брат в дельфийском Аполлоне,

А в том – на Мойке – чуть не враг!

Мы делим общий рефекторий
И жар домашнего огня.
Про вас держу запас теорий:
Вы убегаете меня^[237].

История эта имела продолжение. Сергей Шварсалон, защищая честь сестры, подошел к Кузмину в Русском драматическом театре А. К. Рейнеке, публично дал ему пощечину и вызвал на дуэль. Скандал стал известен, и о нем даже появилась заметка в «Биржевых ведомостях». Но пощечина эта не отозвалась громким эхом, в отличие от той, что тремя годами прежде в Мариинском театре Волошин дал Гумилеву, вступившись за оскорбленную Черубину де Габриак – Елизавету Дмитриеву, после чего между поэтами состоялась дуэль, вошедшая в анналы Серебряного века. Кузмин от дуэли отказался.

В те дни еще один человек назвал брак Вячеслава и Веры гибельным. Это была Анна Рудольфовна Минцлова – теософка, занимавшаяся оккультными практиками, ставшая затем фанатичной последовательницей знаменитого «антропософа» Рудольфа Штайнера. Его учение она стремилась распространить в художественных кругах Петербурга. Обладая сильной волей, говоря загадочными прорицаниями подобно древним сивиллам, Минцлова умела подчинять умы своему влиянию. Одним из первых испытал его Максимилиан Волошин, познакомившийся с ней в 1905 году. 19 июня он записал в дневнике: «А<нна>Р<удольфовна>М<инцлова>. “В Вашей руке необычное разделение линий ума и сердца. Я никогда не видела такого. Вы можете жить исключительно головой. Вы совсем не можете любить...”

Линия путешествий развита поразительно. Она может обозначать и другое... Линии успеха и таланта очень хороши... Болезнь, очень тяжелая и опасная. Но жизнь очень длинная"»^[238].

Под воздействием Минцловой антропософами и учениками Штайнера сделались жена Волошина Маргарита Васильевна – на всю жизнь и Андрей Белый – надолго. Одно время «штайнерианцем» был и Волошин, но он «вырос» из этого учения, взяв из него все нужное ему – те знания о человеке и кризисном развитии цивилизации, что позже отзовутся в поэме «Путями Каина».

Бессильными оказались «чары» Минцловой против Бердяева, который на дух не принимал «мистики черного хода». Почуввав это, Анна Рудольфовна стала опасаться и избегать его.

Об одном своем «странном», но очень знаковом видении в день, когда Минцлова должна была приехать на дачу, где отдыхали Бердяевы, вспоминала свояченица философа – Евгения Юдифовна Рапп: «О приезде Минцловой я не думала и вдруг неожиданно я увидела себя в нашем парке, погруженном в жуткие предрассветные сумерки. Н. А. (Бердяев. – Г. З.) стоял около пруда на полуостровке и пристально всматривался во что-то ползущее по стальной поверхности пруда. Я увидела длинную змею, которая, извиваясь, приближалась к нему. Меня охватил ужас. Я увидела голову змеи, мертвенно бледную, которая напоминала голову женщины с огромными мутными глазами. Эти глаза впивались в глаза Н. А. Он стоял неподвижно, как зачарованный, и в то мгновение, когда когти змеи впились в землю и она подползла к нему, он выхватил кинжал и вонзил в голову змеи. Кровавые полосы поползли по стальной поверхности пруда. В это

мгновение я услышала голос Минцловой, которая выходила из коляски»^[239].

На «башню» Минцлову привел в 1906 году Волошин. И очень скоро Вяч. Иванов, Лидия Дмитриевна и Маргарита Васильевна Сабашникова, которые в это время пытались построить свой «тройственный союз», стали испытывать ее сильное воздействие. Союза этого Минцлова явно не одобряла, но не из нравственных, а из эзотерических соображений. Волошин в своем дневнике записал ее слова: «У Вячесл<ава> нет силы. У него была. Он мог прямо войти, минуя всю земную ступень. Но он устремился в земную страсть, так же сильно и прекрасно, как он еще делает. И он глубоко ушел. Теперь ему надо пройти другой физической дорогой. И он совсем одинок... У него нет учеников. Ему некому говорить. В этом ужас. У него, может быть, два близких человека – Лидия и Аморя. И они враги смертельные»^[240].

Узнав о смерти Лидии Дмитриевны, Минцлова тут же приехала в Загорье и, увидев Вяч. Иванова, бросилась ему навстречу со словами: «Милый, смерти нет!»

Когда Вяч. Иванов вернулся в Петербург, Анна Рудольфовна стала бывать на «башне» каждый день и приобщать поэта к оккультным знаниям. Желая забыться после пережитого горя, да и вообще всегда интересовавшийся тайными доктринами, Вяч. Иванов с готовностью припал к этому замутненному источнику и на какое-то время сделался учеником Минцловой. Будучи штайнерианкой, она тем не менее утверждала, что связана с розенкрейцерами и что у нее со Штайнером равная степень «посвящения». И Вяч. Иванов посвятил ей стихотворение «Vates», вошедшее в «Cor ardens»:

Не видит видящий мой взор,
Далек – и близок, остр – и слеп
И мил и страшен вам:
Привык тонуть в лазури гор
И улыбаться в черный склеп
Просветным синевам.

Не видя, видит он, сквозь сон,
Что в тайне душ погребено,
Как темный сев полей.
И *СЛЫШИТ*: в поле реет звон,
И наливаются зерно
Под шелесты стеблей^[241].

Видя огромную духовную и творческую одаренность Вяч. Иванова, масштаб его личности, его способность влиять на умы, Минцлова всеми силами стремилась сделать поэта членом тайного общества «посвященных». Ей даже казалось, что скоро она достигнет в этом успеха. Но постепенно Вяч. Иванов начал прозревать в Минцловой темное, демоническое, губительное начало. В своем дневнике 1909 года он записал эпизод ссоры с ней по поводу поэмы «Спор», в которой Анна Рудольфовна углядела не скорбь, а перенесение земной страсти в вечность: «Я читал многим, никто не воспринял так – все были достаточно чисты и чувствовали светлое... Вы сатанистка в глубине души... Безличный, змеиный яд... Ее устами говорит Ш. (Штайнер. – Г. З.)»^[242].

Особенно беспокоило Минцлову растущее чувство Вяч. Иванова к Вере. Она всячески старалась этому помешать. Когда в 1910 году Минцлова поняла, что ее усилия тщетны, то в отчаянии сказала Вяч. Иванову, что он мог бы изменить судьбу Отечества ко благу, но лишь в том случае, если останется безбрачным. Вяч. Иванов

резко отверг это предложение, видя в нем посягательство на его внутреннюю свободу. Отказ словно громом поразил Минцлову. Замысел ее – и, судя по всему, не только – разрушился в одночасье. Камень, имя которому человек, сдвинуть не удалось. Она тихо сказала: «Я виновата. Не сумела исполнить *их* поручения. Они меня отзывают. Прощайте. Да хранит Вас Господь...» Кто эти «они» – остается только догадываться. Анна Рудольфовна Минцлова с тех пор бесследно исчезла. Ни в Петербурге, ни в России, ни на Западе никто из общих знакомых ее больше уже не видел.

«Нежная тайна» стала последним прижизненным поэтическим сборником Вяч. Иванова. Всю книгу пронизывало чувство радости, обретенной через опыт страданий и потерь, радости, коренящейся в вере, что смерти нет, в евангельской Благой вести Воскресения. В полной мере это чувство воплотилось в стихотворении, давшем название сборнику:

Тайна нежна, – вот слово мое, – а жизнь
колыбельна;
Смерть – повитуха; в земле – новая нам
колыбель.
Тайна нежна: мир от вечности – брак,
И творенье – невеста;
Свадебный света чертог – Божья всезвездная
Ночь.
Тайна нежна! Всё целует Любовь, и лелеет
Пощада.
Всё, что ни вижу, венцом светлым объемлет
Жених^[243].

Книга была посвящена Александру Блоку. За семь месяцев до ее выхода, в конце апреля 1912 года, Блок

написал послание «Вячеславу Иванову», где вспоминал начало собраний на «башне», которое совпало с первыми месяцами смуты 1905–1906 годов:

Был скрипок вой в разгаре бала.
Вином и кровию дыша,
В ту ночь нам судьбы диктовала
Восстанья страшная душа.

Из стран чужих, из стран далеких
В наш огонь вступивши снеговой,
В кругу безумных, томнооких
Ты золотою встал главой.

Слегка согбен, не стар, не молод,
Весь – излученье тайных сил,
О, скольких душ пустынный холод
Своим ты холодом пронзил!

.....

И я, дичившийся доселе
Очей пронзительных твоих,
Взглянул... И наши души спели
В те дни один и тот же стих.

Но миновалась ныне вьюга.
И горькой складкой те года
Легли на сердце мне. И друга
В тебе не вижу, как тогда.

.....

И много чар, и много песен,
И древних ликов красоты...
Твой мир, поистине, чудесен!
Да, царь самодержавный – ты.

А я, печальный, нищий, жесткий,
В час утра встретивший зарю,
Теперь на пыльном перекрестке
На царский поезд твой смотрю^[244].

Этот словесный портрет, с высшей точностью воссоздающий облик «Вячеслава Великолепного», говорил и о непростоте отношений двух поэтов. Камней преткновения было немало.

Особенно возмутило Вяч. Иванова блоковское «Возмездие». Первое чтение этой так и не завершенной поэмы состоялось на «башне». Сергей Городецкий вспоминал: «Наш учитель глядел грозой и метал громы. Он видел разложение, распад, как результат богоотступничества... преступление и гибель в этой поэме»^[245]. В ответ на «Возмездие» Вяч. Иванов начал писать автобиографическую поэму «Младенчество», над которой работал с 1913 по 1918 год. И – вот удивительное дело! – «Возмездие» и «Младенчество» парадоксально соотносятся с детством обоих поэтов. Об этом контрасте в своей книге о Блоке писал К. И. Чуковский: «Блок любил ощущать себя бездомным бродягой, а между тем, казалось бы, русская жизнь давно уже никому не давала столько уюта и ласки, сколько дала она Блоку. С самого раннего детства —

Он был заботой женщин нежной
От грубой жизни огражден.

Так и стояли вокруг него теплой стеной прабабушка, бабушка, мама, няня, тетя Катя – не слишком ли много обожающих женщин? Вспоминая свое детство, он постоянно подчеркивал, что то было детство

дворянское, – “золотое детство, елка, дворянское баловство...”

Но странно: стоит только вместо биографии Блока прочесть любое из его стихотворений, как вся идиллия рассыплется вдребезги, как будто кто-то швырнул в нее бомбу... Читая его стихи, никогда не подумаешь, что они создавались под столетними липами, в тихой стародворянской семье... В творчестве он отринул все благополучное и с юности сделался поэтом неюта, неблагополучия, гибели...»[\[246\]](#)

В отличие от Блока Вяч. Иванов рос в бедности, пяти лет от роду осиротел, учась в гимназии, вынужден был зарабатывать репетиторством. Но память о детстве в поэме «Младенчество» словно озарена мягким и теплым светом.

Впрочем, несмотря на все то, что разделяло двух этих огромных поэтов, связывало их главное, о чем Вяч. Иванов сказал в стихах, посвященных Блоку, которыми открывалась «Нежная тайна»:

Пусть вновь – не друг, о мой любимый!
Но братом буду я тебе
На веки вечные в родимой
Народной мысли и судьбе.

Затем, что оба Соловьевым
Таинственно мы крещены;
Затем, что обрученьем новым
С Единою обручены [\[247\]](#).

В мае 1912 года Вяч. Иванов с Верой и Лидия уехали во Францию. Вскоре вслед за ними туда отправилась и М. М. Замятина, «домашний гений» семьи, бессменная хранительница очага Ивановых, никогда не оставлявшая своих друзей. Вячеслав работал над

стихами, которые составили «Нежную тайну». Тем же летом у него и Веры родился сын. Мальчика назвали Димитрием. Затем семья переехала из Франции в Италию, где в Риме Вяч. Иванов продолжал научные исследования. Дочь вспоминала: «Вячеслав был счастлив и весел в своем любимом Риме. Он много и усердно работал»^[248]. В греческой церкви в Ливорно их с Верой обвенчал тот же, теперь уже очень старенький священник, что когда-то совершил венчание Вячеслава и Лидии Дмитриевны. Младенец Димитрий был крещен в православном храме во Флоренции. Зиму, весну и лето 1913 года Ивановы провели в Италии. Правда, в мае уехала Лидия, чтобы поступать в Московскую консерваторию, – у нее открылся талант композитора. Вяч. Иванов и Вера с сыном вернулись в Россию только осенью, но уже не в Петербург, а в Москву. «Башенный» период в жизни поэта полностью исчерпал себя. Наступал новый этап духовного накопления – время тишины и сосредоточенности.

Глава VI

Перед крушением. 1913-1917 годы

В Москве Вяч. Иванов с семьей поселился на Зубовском бульваре в доме номер 25. По сравнению с шумным, кипучим Петербургом родной город был по-прежнему тих и уютен, несмотря на размах деловой жизни, промышленности и строительства. Хотя облик его значительно изменился благодаря появлению новых пяти- и шестиэтажных доходных домов. Все затраты застройщиков и домовладельцев достаточно быстро окупались: иметь такой дом в Москве было выгоднее, чем золотой прииск в Сибири. Чаще всего здания эти строились в неоклассическом стиле. Квартиры в них – обычно от пяти до восьми комнат – были очень удобны и уютны. На верхних этажах они стоили дешевле, чем на нижних, по причине трудности подъема. В таком доходном доме и наняли квартиру Ивановы. Лидия вспоминала об этом жилище: «Наша квартира в Москве была меньше, чем на Башне: комнат было пять. Две выходили окнами во двор и три на Зубовский бульвар, посреди которого был широкий сквер с лужайками, скамейками и развесистыми деревьями. Вид из всех трех комнат был великолепный, т. к. квартира находилась на верхних этажах, а впереди не было высоких домов; перед нами расстилалась широкая, открытая панорама на весь город.

Первая из этих комнат служила столовой, вторая гостиной, но в обеих находилось по широкому дивану, на которых можно было спать. Последняя комната принадлежала Вячеславу. Богатая библиотека покрывала все стены ее до самого потолка. Вячеслав

любил, чтобы его постель была в алькове, замаскированном занавесями и книжными шкафами. На окне были гардины, на полу ковер. Господствовал темно-красный бордовый цвет»^[249].

Для Вяч. Иванова наступила теперь другая жизнь – тихая, размеренная, в чем-то похожая на ту, что была у него в годы учения в Берлине, без радений ночи напролет, без неожиданных визитов приехавших издалека друзей, привыкших надолго останавливаться на «башне», но протекающая между семейными заботами, ежедневным трудом в кабинете, докладами и лекциями. Работал Вяч. Иванов очень много и плодотворно: писал стихи и эссе, переводил Алкея и Сафо. Переводы эти вышли вскоре отдельной книгой: «Алкей и Сафо. Собрание песен и лирических отрывков в переводе размерами подлинников Вячеслава Иванова со вступительным очерком его же. М., 1914». И стихотворные размеры, и повседневная жизнь Эллады, подобно живому ключу питавшая ее поэзию, были переданы Вяч. Ивановым с необычайной точностью, как, например, в этом отрывке из Сафо:

Стройте кровельку выше —
Свадьбе слава!
Стройте, плотники, выше, —
Свадьбе слава!
Входит жених, ровно бог-воевода:
Мужа рослого ростом он выше^[250].

Или же в другом:

У придверника ноги в семь сажен;
Сапоги – из пяти шкур бычачьих;
Их сапожников шили десяток^[251].

Позже строки эти аукнулись в стихотворении Мандельштама «На каменных отрогах Пиэрии»:

Высокий дом построил плотник дюжий,
На свадьбу всех передушили кур,
И растянул сапожник неуклюжий
На башмаки все пять воловьих шкур^[252].

Кроме того, Вяч. Иванов переводил тогда и Петрарку и завершил переложение стихов Новалиса, начатое им еще на «башне», после смерти Лидии Дмитриевны. Работа эта, длившаяся несколько лет, имела для него особое значение. Великий немецкий поэт-мистик, наследник Мейстера Экхардта и Якова Беме, певец «Голубого цветка», затронул глубинные струны в душе Вячеслава Иванова. Для него он словно бы воплощал собой самый дух немецкого романтизма. В статье «О Новалисе», написанной в 1913 году в Москве, Вяч. Иванов так говорил о его значении для религиозной мысли нового времени: «...не иным волхвом представляется он в истории нового религиозного сознания, как одним из тех царственных волхвов востока, которые принесли из глубины своих таинственных и мудрых царств в дар Вифлеемскому Младенцу золото, ладан, смирну. Недаром сам Новалис поет нам об этих волхвах, поет об Орфее, пришедшем взглянуть на Христа и понесшем благовестие в далекую Индию, и не устает вспоминать о родном волшебном востоке как некоей колыбели божественного света. Ведь истинная мудрость и жизнь – в прошлом...

Подобно восточным мудрецам, Новалис пришел умудренный какою-то первобытною памятью священной тайны приветствовать Христа, родившегося в новой, познавшей и преодолевшей свое я душе человечества»^[253].

Тем же чувством были проникнуты стихотворные переложения из Новалиса, сделанные Вяч. Ивановым. Духовный опыт поэта совпал здесь с духовным опытом переводчика, пережившего в своей жизни такую же Встречу:

Что был бы я, когда б не встретил
Тебя, и не пошел с Тобой?
На небе ль Рок меня отметил!
Один, лицом к лицу с Судьбой,
Я б трепетал, и сколь бы тщетной
Казалась мне любовь моя!
И замер голос безответный
Над черным срывом бытия.

.....

Но я Христа узнал! Всей силой,
Всей волей вверился Ему —
Как жадно пламень быстрокрылый
Ничтожества снедает тьму!
Впервые с ним я человеком
Восстал, и в лик судеб взглянул,
Дохнул Земли грядущим веком,
Всей грудью полною вдохнул [\[254\]](#).

Несмотря на изменения ритма жизни, московский круг друзей и знакомых Вяч. Иванова не сузился по сравнению с петербургским, а стал еще шире. Продолжалась дружба с Бердяевым, который перебрался в Москву еще в 1909 году. Вместе с женой, Лидией Юдифовной, и ее сестрой Евгенией он поселился сначала в Кривоколенном переулке, а затем в гостинице «Княжий двор» на Волхонке, 14. Изначально там находился особняк, построенный в XVIII веке для екатерининского вельможи князя М. М. Голицына. Но в 1774 году по случаю заключения с Турцией Кючук-

Кайнарджийского мирного договора Екатерина II вместе с двором перебралась в Москву и избрала этот дом местом своей резиденции. Здание было перестроено М. Ф. Казаковым. Новый архитектурный комплекс включил в себя усадьбу М. М. Голицына и В. С. Долгорукова и стал именоваться Пречистенским дворцом. В XIX столетии в нем поочередно существовали Голицынский музей, Московская консерватория, Университет А. Л. Шанявского. В 1892 году в перестроенном флигеле дворца открылась гостиница «Княжий двор». Бердяевы поселились в ней осенью 1910 года. Вяч. Иванов и раньше виделся с ними всякий раз, как наезжал в Москву. Так, 10 февраля 1911 года он участвовал в заседании, посвященном десятилетию со дня смерти Владимира Соловьева, которое должно было состояться еще осенью 1910 года, но по каким-то причинам отложенное. Проходило оно в специально арендованном для этого зале Университета Шанявского – рядом с «Княжьим двором», где жил Бердяев. Кроме Вяч. Иванова и Бердяева в программе значились Блок и Эрн. Правда, из-за болезни Блока его доклад зачитывал литератор М. И. Сизов. Еще 19 января Бердяев отправил Вяч. Иванову письмо, в котором говорилось: «Дорогой Вячеслав Иванович! Молю Вас как можно скорее выслать по моему адресу тезисы Вашего доклада о Вл. Соловьеве. Заседание назначено на 10 февраля, уже взята зала. Необходимо сейчас же подавать прошение градоначальнику с тезисами. Откладывать нельзя, т. к. потом следует масляница и первая неделя поста... Моя тема – проблема Востока и Запада у Соловьева... <Все мы?> счастливы будем Вас видеть. О многом важном хочется поговорить с Вами по-новому. Мне радостно, что свидание наше уже

близится. Привет Вам от Л<идии> Ю<дифовны>. Целую Вас с любовью. Ваш Ник<олай> Бердяев»^[255].

Присутствовавший на этом заседании поэт С. Бобров через несколько дней писал Андрею Белому о своих впечатлениях: «...Эрн бессодержателен был, Бердяев длинноват и более о себе, чем о Соловьеве, Вяч. Иванов очень интересен, Блок тоже»^[256].

После переезда в Москву Вяч. Иванов стал регулярно встречаться с Бердяевым. Вместе они принимали участие в деятельности Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева. Одним из основателей его был философ Евгений Николаевич Трубецкой – друг великого мыслителя, владелец подмосковного имения Узкое, «пустыньки», где Соловьев так любил жить последние годы. И Бердяев, и Вяч. Иванов почувствовали намного большую глубину духовной и умственной жизни московской культурной среды по сравнению с петербургской богемой. Общество собиралось в доме знаменитой меценатки Маргариты Кирилловны Морозовой на Смоленском бульваре. Эта женщина замечательного ума и столь же замечательной красоты вызывала восхищение многих. Андрей Белый посвятил ей поэму «Первое свидание», где она фигурировала под именем «Надежда Львовна Зарина». Валентин Серов написал ее портрет. Запечатлено лицо Морозовой и на картине Врубеля «Венеция». Издательство «Путь», на которое Маргарита Кирилловна жертвовала значительные суммы, выпустило и «Сочинения» Вл. Соловьева, и немало других прекрасных книг. На заседаниях Общества собирался цвет русской мысли и искусства. Сама обстановка дома, в которой был виден прекрасный вкус хозяйки, его интерьеры, живопись, собранная еще покойным мужем Маргариты Кирилловны, известным коллекционером

М. А. Морозовым, изящная бронза, коллекция старинных икон – все настраивало на возвышенный лад. Впечатления и события первых месяцев московской жизни отразились в воспоминаниях Лидии Ивановой: «Москва приняла Вячеслава с тем радушием, которое ее всегда характеризовало. Мы сразу почувствовали себя дома, возникли тесные отношения со многими москвичами, с которыми нам прежде не приходилось встречаться. Мы были окружены друзьями старыми и новыми: Рачинский, Маргарита Кирилловна Морозова, Евгений Трубецкой, Сергей Булгаков, Бердяев, Густав Шпет, Флоренский, Эрн, Скрябин, Гречанинов, Цетлины, Высоцкие, Брюсов, Степун. Меня лично в Москве поглощало прежде всего мое учение в консерватории...

Вообще все было просто и ясно. Вячеслав читал много докладов. Он надевал свой старенький сюртук, который ему чрезвычайно шел – вся его фигура становилась очень элегантно... Он принимал участие в Религиозно-философском обществе и выступал там нередко. Заседания происходили в красивом особняке Маргариты Кирилловны Морозовой. Вспоминается Рачинский с окладистой седой бородой, князь Евгений Трубецкой и сама добрая Маргарита Кирилловна, высокая пышная красавица. Где-то в этом же доме висела прекрасная, но неуютная картина Врубеля “Демон”, который, казалось, вот-вот выйдет из рамы, – что было нежелательно...

Бердяевы – Николай Александрович, его жена Лидия Юдифовна Рапп и ее сестра Евгения Юдифовна – жили в центре города, где-то в переулках между Арбатом и Остоженкой, в старом барском особняке. У них был чудный двусветный большой зал прекрасной архитектуры. Они любили время от времени собирать изрядное количество друзей у себя в зале и в шутку называли эти вечера “балами”»^[257].

Подружился Вяч. Иванов и со своим соседом – профессором-экономистом и философом Сергеем Николаевичем Булгаковым, жившим также на Зубовском бульваре в пятиэтажном доходном доме под номером 15, принадлежавшем супругам Любоцинским. Начало жизненного пути С. Н. Булгакова в чем-то перекликалось с ивановским. Сын ливенского священника из Орловской губернии, учась в духовной семинарии, как и многие его ровесники-семинаристы того времени, в юности он утратил веру, но сохранил поэтический настрой души. Конечно, по складу характера лучше бы ему было поступить на историко-филологический факультет, однако движимый господствующими тогда среди русской интеллигенции идеями о долге и обязанности каждого образованного человека служить народу, то есть приносить ощутимую материальную пользу, Булгаков выбрал совсем не то, что любил. Он поступил на отделение политической экономии юридического факультета. В годы учения пришло и серьезное увлечение марксизмом. В нем Булгаков увидел стройную систему, точно объясняющую законы развития истории. Но при интенсивной работе ума сердце оставалось иссохшим и пустым. Иногда эта глухая завеса словно бы приоткрывалась, в душу проникал тихий свет, знакомый с детства, и тут же угасал.

Об удивительных внутренних озарениях в период неверия С. Н. Булгаков поведал впоследствии в одной из главных своих книг – «Свет невечерний»: «Вечерело. Ехали южной степью. Вдали синели кавказские горы. Впервые видел я их. И вперя жадные взоры в открывавшиеся горы, впивая в себя свет и воздух, внимал я откровению природы. Душа давно привыкла с тупой молчаливой болью в природе видеть лишь мертвую пустыню под покрывалом красоты, как под обманчивой маской. Помимо собственного сознания

душа не мирилась с природой без Бога. И вдруг, в тот час заволновалась, задрожала душа: “А если есть, если не пустыня, не ложь, не маска, не смерть, но Он, благой и любящий Отец; Его риза, Его любовь”... Сердце колотилось под звуки стучавшего поезда, и мы неслись к этому догоравшему золоту и к этим сизым горам. И я снова старался... задержать сверкнувшую радость... Но разве это возможно? Разве не знаю я еще из семинарии, что Бога нет? Разве вообще об этом может быть разговор? Могу ли я в этих мыслях признаться даже себе самому, не стыдясь своего малодушия, не испытывая панического страха пред “научностью” и ее синедрионом? О, я был, как в тисках, в плену у “научности”, этого вороньего пугала, поставленного для интеллигентской черни, полуобразованной толпы, для дураков! Как ненавижу я тебя, исчадьё полуобразования, духовная чума наших дней, заражающая юношей и детей!..

Закат догорел. Стемнело. И то погасло в душе моей, так и не родившись от мертвости, от лени, от запуганности»^[258]...

Но Булгакову удалось порвать путы духовного рабства идолу «научности», этому интеллигентскому ваалу. За озарением через природу в его жизни последовало озарение через искусство, о котором он также рассказал в «Свете невечернем»: «И вдруг нежданная, чудесная встреча: Сикстинская Богоматерь в Дрездене... Моя осведомленность в искусстве была совершенно ничтожна, и вряд ли я хорошо знал, что меня ждет в галерее. И там мне глянули в душу очи Царицы Небесной, Грядущей на облаках с Предвечным Младенцем. В них была безмерная *сила чистоты и прозорливой жертвенности*, знание страдания и готовность на вольное страдание. И та же вещая жертвенность виделась в недетски мудрых очах

Младенца. Они знают, что ждет их, на что Они обречены. И вольно грядут себя отдать, совершить волю Пославшего. Она “принять орудие в сердце”, Он Голгофу...

Я не помнил себя. Голова у меня кружилась. Из глаз текли радостные, и вместе, горькие слезы. А с ними – в сердце таял лед, и разрешался какой-то жизненный узел. Это не было эстетическое волнение. Нет! То была *встреча*, новое знание, *чудо!* Я (тогда марксист!) невольно называл это созерцание молитвой. И всякое утро, стремясь попасть в галерею, пока никого еще там не было, бежал туда пред лицо Мадонны “молиться” и плакать. И немного найдется в жизни мгновений, которые были бы блаженнее этих слез»^[259].

Сила искусства может быть и убийственной, и возрождающей к жизни. Стоя в той же Дрезденской галерее перед полотном Ганса Гольбейна «Труп Христа», Достоевский в ужасе произнес: «Такая картина способна лишить человека веры!» И здесь же сердце его трепетало от радости и восторга перед Сикстинской Богородицей. В ней он увидел тот «идеал Мадонны», против которого бессилён «идеал содомский». О картине этой проникновенную статью написал В. А. Жуковский и одно из лучших стихотворений своих – прекрасный русский поэт А. К. Толстой:

Склоняся к юному Христу,
Его Мария осенила;
Любовь небесная затмила
Ее земную красоту.

А он, в прозрении глубоком,
Уже вступая с миром в бой,
Глядит вперед – и ясным оком
Голгофу видит пред собой^[260].

От марксизма С. Н. Булгаков через философию Канта эволюционировал к идеализму, а затем, восприняв учение Владимира Соловьева, вернулся к христианству. Укоренению его в Церкви предшествовала трагедия – смерть любимого сына Ивашечки. Булгакову довелось пережить страшный опыт Иова: «Но здесь начинается невыразимое словом. Святой мой, у святыни мощей твоих, у чистого твоего тела, белый мой, светлый мальчик, узнал я, как говорит Бог, понял, что значит Бог сказал! В новом, никогда прежде невиданном ясновидении сердца – вместе с крестной мукой сходила в него небесная радость, и с тьмою богооставленности в душе воцарился Бог»^[261].

Вместе с Бердяевым Булгаков издавал журнал «Новый путь», а в 1909 году участвовал с ним в сборнике «Вехи», где опубликовал статью «Героизм и подвижничество». Оба мыслителя были настолько близкими друзьями, что их в шутку называли «Бурдяев и Белгаков».

В Москве С. Н. Булгаков преподавал политическую экономию в университете, Коммерческом институте и Императорском техническом училище. Правда, в 1911 году среди других профессоров он покинул университет в знак протеста против политики министра народного просвещения Л. А. Кассо. Его перу принадлежали такие фундаментальные труды, как «Философия хозяйства» и «Капитализм и земледелие». Кроме того, он был видным деятелем Кадетской партии и представлял ее в Государственной думе. В 1911 году С. Н. Булгаков издал в Москве и великолепное богословское сочинение под названием «Два Града». Но никто, в том числе и он сам, не мог тогда еще даже предположить, что ему, ученому, писателю и видному думскому деятелю, предстояло стать одним из замечательных пастырей Российской Православной

Церкви XX столетия. Поистине, пути Господни неисповедимы... Вяч. Иванов посвятил Булгакову стихотворение «Мать», где звучали горестный опыт пережитой утраты, знакомый им обоим, и неизбывная надежда воскресения:

Те глыбы, что нежно засыпали гроб
(Так снежным теплом одеваает сугроб
Озимый посев черноземья),
Меж тем как ручался пред нивами звон,
Что лоно Родимой – могильный полон, —
Те мягкие, черные комья, —

Я слышал их грохот о горестный дуб
В словах твоих, верный. И горек и люб
Мне был твой рассказ незабвенный,
Как в день обручальный учила внимать
Смиренную душу Таинница-Мать
Обетам души сокровенной.

И дольняя как бы ни застила пыль
Очам одряхлелым священную быль,
Во мне не найдешь иноверца:
Зане нам обоим чрез милую Смерть
В земле просквозила нетварная Твердь
И тайна глубинного Сердца [\[262\]](#).

Пути Булгакова и Вяч. Иванова были путями двух русских интеллигентов, сознательно выбравших веру в Бога в зрелом возрасте.

В квартире С. Н. Булгакова на Зубовском Вяч. Иванов встречался с его постоянными гостями – В. В. Розановым, Л. И. Шестовым, Н. А. Бердяевым, М. А. Волошиным, отцом Павлом Флоренским. С последним поэт был знаком еще по Петербургу, но, как

и с Булгаковым, их общение окрепло и углубилось уже в Москве. Флоренский окончил физико-математический факультет университета и стал профессором математики. Но помимо этого он был настоящим *homo universale* – того же духа, что Леонардо, Гёте и Ломоносов. Его интересы и открытия простирались во многих областях – от химии до стиховедения. Он утверждал, что нет отдельных знаний, а существует одно огромное Знание. Это мироощущение и побудило Флоренского стать священником. В 1908 году он окончил Московскую духовную академию и был рукоположен. Лидия Иванова рассказывала о своем визите с Верой к Флоренскому в Сергиев Посад, где он жил: «Домик вроде избы, вокруг садик с густыми кустарниками. Сам Флоренский в рясе, небольшой, очень худой, с бородкой, с длинными, как полагается, волосами, имел вид благообразный, тихий, напряженный, ласковый. Дом внутри бедный и очень чистый, о чем заботилась скромная, смиренная молодая жена. Вокруг много маленьких детей... Флоренский нам рассказывал, как он хотел быть монахом; как старец, его духовник, ему этого не позволил, а велел сделаться “белым священником” и жениться; как он встретил на мосту, по предсказанию духовника, свою суженую...

Он провожал нас... Я заметила на земле булавку и наклонилась, чтобы ее поднять.

– Оставьте ее, – сказал Флоренский, – вещи с остриями опасны. Они могут быть наколдованы»^[263]. При всем универсализме и глубине знаний он не был свободен от магических суеверий.

В начале 1914 года в жизни Флоренского произошло важное событие: вышла одна из главных его книг – «Столп и утверждение Истины». Она сразу вызвала споры. Кто-то принял ее с восторгом, кто-то – в штыки, но равнодушных не было. Мандельштам одно время не

расставался с этой книгой, постоянно носил ее с собой. Бердяев написал о ней очень острую статью под названием «Стилизованное православие». Е. Н. Трубецкой обрушился на «антиномизм» Флоренского и выступил в Религиозно-философском обществе с его резкой критикой. Напротив, Вяч. Иванов встал на защиту Флоренского. Как писал об этом в своей статье «О границах искусства у Вяч. Иванова и о. Павла Флоренского» известный исследователь А. Б. Шишкин: «Трубецкой решил выступить с докладом о “Столпе” на заседании московского Религиозно-Философского Общества и спрашивал Флоренского, каким лучше сделать заседание – публичным или непубличным? Флоренский высказался, видимо, за открытое заседание, и за несколько недель до него были разосланы программы и тезисы Трубецкого... В ряду прочих их получил Вяч. Иванов... К заседанию 26 февраля в доме Вяч. Иванова... спешно заканчивали восьмисотстраничную “сумму” о. Павла; иногда читали вслух, собравшись вместе... Вяч. Иванов в одном лагере с С. Булгаковым выступил в защиту антиномизма Флоренского от критики Трубецкого...»^[264]

А. Б. Шишкин опубликовал в своей работе сохранившуюся запись Вяч. Иванова, сделанную им во время выступления Е. Н. Трубецкого на заседании Религиозно-философского общества по поводу книги отца Павла Флоренского: «Верит ли Ф.[лоренский] в преображение ума человека. С одной сто[роны] – антиномия грех. С другой: Антиномична сама истина (истина об Истине). Антиномичность – печать истинного»^[265].

Защищая антиномичность «Столпа и утверждения Истины», Вяч. Иванов защищал принцип парадокса, лежащий в основе и мироздания, и Божественного замысла о человеке. При всем критическом отношении к

книге Флоренского высоко оценил ее антиномичность и Бердяев. В своей статье он писал: «Самое ценное в книге свящ. Флоренского – это его учение об антиномичности. Религиозная жизнь по существу антиномична... Антиномичность... разумно неразрешима; она изживается в религиозном опыте и там снимается»^[266].

В мае 1914 года Вяч. Иванов вместе со своим другом, философом Владимиром Францевичем Эрном, жившим в то время у него в квартире на Зубовском, побывал в Сергиевом Посаде на защите в Московской духовной академии магистерской диссертации отца Павла Флоренского на основе «Столпа и утверждения Истины». О диспуте по поводу книги Эрн писал жене: «Третьего дня я собрался ехать в Посад. Вяч[еслав] захотел вместе со мной. Мы отправились вместе, и вышло очень хорошо. Хотя Павлуша ругался, что мы приехали на его позор, но все же внутренне был доволен. Вместо позора вышло прославление. Оппоненты вместо критики рассыпались в похвалах... Ректор сказал, что с книгой Павлуши Совет Академии переживает затруднение. С одной стороны ему следовало бы дать не магистра, а доктора (но это по их законам нельзя), с другой стороны давать ему степень несколько зазорно: своей книгой он совершенно опрокидывает академическую науку... После диспута был традиционно обязательный ужин (ставший Павлуше около 200 р.). Здесь говорилось много хвалебных речей. Сказал маленькое слово и Вячеслав»^[267].

Вскоре после диспута Флоренский приехал в Москву и остановился у Вяч. Иванова. Насколько живым и глубоким было их общение, можно судить по письму В. Ф. Эрн жене: «Все эти дни гостит у нас о. Павел. Мое спасение, что днем они с Вячеславом спят, а ночью я с

ними сижу лишь до 1 – до 2-х, они же сидят каждый день до 7 – до 8!»^[268]

Но такие ночные «симпозионы» были теперь нечасты в московской жизни Вяч. Иванова. В памяти обоих собеседников их встречи остались навсегда. Насколько высоко оценивал Флоренский роль Вяч. Иванова в русской культуре, свидетельствует его письмо дочери Ольге, написанное из Соловецкого лагеря в 1935 году: «Теперь о Вяч. Иванове. Под гениальностью, в отличие от талантливости, я разумею способность видеть мир по-новому и воплощать свои совершенно новые аспекты мира. Талантливость же есть способность работать по открытым гением аспектам и применять их. В жизни я встретил три человека, за которыми признал гениальность: Розанов, Белый, Вяч. Иванов. Гениальность есть особое качество, она может быть большой и малой, равно как и талантливость. Не берусь судить, насколько велика гениальность этих людей, но знаю, что у них было это особое качество, но Андрей Белый был совсем не талантлив, Розанов – мало талантлив, а В. Иванов обладал, при гениальности меньшей, большей талантливостью. Он сумел проникнуть изнутри в эллинизм и сделать его своим достоянием. Его познания очень значительны и потом он – поэт для немногих и всегда будет таковым: чтобы понимать его – надо много знать, ибо поэзия его есть вместе с тем и философия»^[269].

Но особенно близок Вяч. Иванову из его московского круга знакомых был В. Ф. Эрн. Их дружба окрепла еще осенью 1912 года, когда они вместе находились в Риме. Лидия Иванова вспоминала об этом времени: «В Риме Эрн жил с женой-армянкой, Евгенией Давидовной Викиловой, и трехлетней дочкой Ириной. Он был в командировке от Московского университета для

подготовки своей докторской работы... Каждый день аккуратно после завтрака, часа в два являлся к нам Эрн, и начинались между ним и Вячеславом интереснейшие дискуссии, длившиеся до вечера. Главной темой римских разговоров была апология католичества со стороны моего отца, апология православия со стороны Эрна. - “Лидия у нас стала совсем богословом”, - говорили они в шутку про меня, но поскольку я их слушала молча, я возражала: “Не богослов, а богослушатель”.

С Эрном я очень дружила. Позже, в Москве, я провела зимний сезон 1916-1917 с Эрнами, которые жили у нас на Зубовском бульваре и как бы совсем вошли в нашу семью. Иной раз мы говорили с ним об очень душевных проблемах, а иной раз, к восхищению его маленькой дочки Ирины, предпринимали ярые сражения диванными подушками»^[270].

В Эрне слились четыре крови. Отец его был полушвед, полунемец (Эрн - шведская фамилия), мать - наполовину полька, наполовину русская. Родился и вырос он в Тифлисе - городе, где привычно соседствовали много народов, наречий, культур и религий. Случилось так, что в тифлисской гимназии он оказался на одной скамье с Павлом Флоренским и Александром Ельчаниновым - будущим выдающимся педагогом, ставшим затем в эмиграции православным священником и настоящим подвижником духовного просвещения. Дружба и сотрудничество их продолжились и после гимназии. Втроем они, при участии С. Н. Булгакова, написали и издали в 1909 году в московском книгоиздательстве «Польза» «Историю религии» - книгу глубокую, отличающуюся высоким научным уровнем и вместе с тем необычайно живую и захватывающую. Простым и доступным языком рассказывала она читателю о первобытных верованиях,

культых Древней Греции, буддизме, ветхозаветной религии и христианстве.

В студенческие годы Эрн прошел через увлечение революционными идеями, даже входил в круг «тайных людей», готовых строить будущее счастье на сегодняшней крови, однако очень скоро их бесчеловечие и цинизм вызвали у него отвращение и привели к разрыву. Эрн сделался глубоко верующим православным христианином. Он много и серьезно занимался философией Платона и, защитившись, стал приват-доцентом Московского университета. В начале 1910-х годов у него уже была репутация крупного философа. Его перу принадлежала монография, посвященная жизни и учению великого украинского мыслителя и поэта XVIII века Григория Сковороды, вышедшая в издательстве «Путь» в 1912 году. Это обстоятельство отозвалось в шуточном стихотворении Вяч. Иванова, посвященном В. Ф. Эрну:

Жил в России викинг бедный,
Как приват-доцент простой,
С виду тихий и безвредный,
Духом смелый и прямой.

.....

По хвосту одной Идеи
Раз взобравшись на звезду,
Видел он, как в Эмпиреи
Вел Эрот Сковороду^[271].

Но зловещая встреча с настоящим «викингом» Вяч. Иванову и его друзьям еще предстояла.

Новый, 1914 год справляли у Бердяевых, живших в особняке В. Гриневиц возле Остоженки. На празднике присутствовал новый гость, сразу поразивший всех

своей необычной внешностью. Бердяев в книге «Самопознание» описывал его так: «Это был nordischer Mensch (северный человек (нем.). - Г. З.), напоминающий викинга: огромного роста, очень красивый, но уже среднего возраста, с падающими на плечи кудрями, одетый в плащ»^[272]. Незнакомца звали доктор Любек. Он был шведским врачом. В этот новогодний вечер проявилась необыкновенная сила его проницательности, почти ясновидения. Доктор Любек обладал безусловной мистической одаренностью.

В большой зале особняка царило радостное оживление, гости шутили, смеялись. Хозяйка дома, Вера Степановна Гриневиц, обратилась к доктору Любеку с просьбой сказать, каким ему видится наступающий год. «Мне очень не хочется нарушать веселое настроение ваших друзей, - ответил доктор Любек. - То, что я вижу, очень страшно». Но Вера Степановна все же настояла. И тогда доктор Любек сказал, что очень скоро в Европе разразится чудовищная мировая война. В ходе ее Россия потерпит поражение, потеряет многие свои земли, а затем в ней произойдет разрушительная кровавая революция, которая вихрем сметет всю прежнюю жизнь. Мир изменится до неузнаваемости.

Предсказал в этот вечер доктор Любек и будущее некоторых из присутствующих на празднике. Так, Бердяев услышал, что его изберут профессором Московского университета. Смеясь, философ ответил, что это невозможно - у него нет докторской степени. «Вы скоро увидите, прав ли я...» - спокойно проговорил Любек. Впоследствии так и произошло. Вспоминал Бердяев, что доктор Любек проявил настоящее ясновидение и относительно Вяч. Иванова. Касалось ли оно самого поэта или его близких, мыслитель не уточнил. Вполне возможно, что речь шла о жене Вяч. Иванова. Лидия рассказывала в своей книге, что когда

Вера вошла в залу, Любек спросил, кто она, и, получив ответ, горестно произнес: «Какая несчастная! Какая несчастная женщина!»

На новогоднее веселье в ту ночь явственно легла тень будущей беды.

Лето 1914 года Вяч. Иванов решил провести вместе с семьей в Костромской губернии. Они сняли флигель усадьбы «Петровское на Оке», стоявшей на крутом, поросшем лесом берегу. Два других флигеля наняли приятели Вяч. Иванова: Павел Павлович Муратов – известный писатель, искусствовед, автор знаменитой книги «Образы Италии», приехавший в Петровское с женой Евгенией Владимировной и сыном Никитой, и Юргис и Мария Балтрушайтис. Общение с последними было особенно дорого и радостно для Вяч. Иванова. Дни проходили в тихих прогулках по прекрасным окрестностям усадьбы, неторопливых беседах, вдохновенных трудах, а по вечерам поэты читали друг другу стихи. Эти последние подаренные им мирные часы грозного лета, удивительные по красоте виды отзовутся в стихотворении Вяч. Иванова «Петровское на Оке», посвященном Балтрушайтису и его жене Марии Ивановне:

Колонны белые за лугом... На крыльце
Поэтова жена в ванэйковском чепце, —
Тень Брюгге тихого... Балкон во мгле
вечерней, —
Хозяйки темный взгляд, горящий суеверней, —
Мужского голоса органные стихи...
И запах ласковый сварившейся ухи
С налимом сладостным, подарком рыболова
Собрату рыбарей и сеятелей слова...
Вы снова снитесь мне, приветливые сны!
Я вижу, при звездах, кораллы бузины
В гирляндах зелени на вечере соседской,

Как ночь, торжественной, – как игры Музы
детской.

И в облаке дубов, палатой вековой
Покрывшем донизу наклон береговой,
В мерцаньи струй речных и нежности закатной,
Все тот же силуэт, художникам приятный,
Прямой, с монашеской заботой на лице,
Со взглядом внемлющим, в ванэйковском
чепце^[273].

Раздолье в Петровском было и маленькому сыну Вяч. Иванова Диме. Особенно полюбил он лошадей, которых называл «дядя Тпруа». Этим же именем он почему-то величал и Балтрушайтиса. Когда Диму приводили в конюшню, он всегда радовался, протягивал сквозь решетку руку лошадам со словами «Здравствуй, дядя Тпруа» и очень обижался, почему те не отвечали на его приветствие рукопожатием.

Лидия Иванова рассказывала в своей книге и о другом замечательном эпизоде из жизни Димы в Петровском: «Помню ясный молодой месяц на бледном, еще светлом небе. Дима указывает его няне:

– Няня! Няня!

– Это месяц, Димочка.

– Дай! Дай! Я его хочу! Дай!..»^[274]

И вдруг, как гром среди ясного неба, в тихий мир Петровского, полный радости, дружбы, возвышенного общения, поэзии и красоты, ворвалось страшное известие: 17 июля (1 августа) Германия объявила войну России. Зловещие новогодние предсказания доктора Любека начинали сбываться.

Братья Веры, Сергей и Константин Шварсалоны, отправились на фронт. На пятый день войны во время штыковой атаки немецкая пуля перебила прапорщику Сергею Шварсалону основной нерв бедра. Лидия

Иванова и М. М. Замятина отправились в Москву, чтобы встретить его и устроить в военном лазарете. Позже возвратились Вяч. Иванов с Верой и Димой.

Дней, когда два поэта в Петровском узнали о начале всемирной катастрофы, Иванов не забыл никогда. В другом стихотворении цикла «Петровское на Оке», где не случайно прозвучал апокалиптический образ семи громов, он обращался к Балтрушайтису с такими словами:

Забуду ль в роковые дни
Взрастившего злой колос лета,
Семьи соседственной поэта
Гостеприимные огни?

Мы вместе зажигали свечи
И выносили образа,
Когда вселенская гроза
Семью громами издалече

Заговорила... И во мне
Навек жива взаимность эта,
Как соучастие обета
Спасенных на одном челне [\[275\]](#).

В первую военную осень Вяч. Иванов подружился с композитором А. Н. Скрябиным. Они были знакомы с 1913 года, но только теперь по-настоящему сблизились. Поэт бывал в доме у Скрябина в Николопесковском переулке, 11. Неподалеку, в доме 15 по тому же переулку жил еще один его друг - Константин Бальмонт.

Поклонник немецкой классики, Вяч. Иванов с недоверием относился к новой музыке. Но когда Скрябин пришел к нему в гости и, сев за старый рояль,

долго играл отрывки из своей поэмы «Прометей», объясняя их, и Вяч. Иванов, и Лидия, ученица А. Б. Гольденвейзера, приняли и полюбили его творчество. Скрябин замышлял написать «Мистерию», после исполнения которой, как он полагал, должен закончиться прежний эон и начаться новый. Но осуществить этого композитор не успел: весной 1915 года он неожиданно умер от заражения крови. Ничтожная случайность погасила вселенское пламя. Дружба великого поэта и великого композитора продлилась всего лишь несколько месяцев, но они успели обогатить друг друга. О Скрябине Вяч. Иванов написал две работы: «Взгляд Скрябина на искусство» и «Скрябин и дух революции». В первой он утверждал, что творчество Скрябина – это знак обновления и музыки, и поэзии, и всех искусств, и самого времени: «Музыка оплакивает одного из величайших своих зодчих и весь хоровод Муз – одного из тех художников, чьи имена готовят эпохи искусства... Если же в круге новым и могущественным языком заговорила о чем-то новом и неслыханном Музыка... – это ли не знак, что сама душа века рождает из недр своей сокровенной воли новое слово? Можно ли отрицать и такую круговую поруку всех сфер духовной деятельности, при коей безусловно некое обретение в одной из них необходимо сопровождается явно или тайно с ним связанными переменами в других?»^[276] О том же Вяч. Иванов писал в одном из тех своих стихотворений, что были вплетены в текст этой статьи:

Осиротела музыка. И с ней
Поэзия, сестра, осиротела.
Потух цветок волшебный, у предела
Их смежных царств, и пала ночь темней
На взморие, где новозданных дней
Всплывал ковчег таинственный. Истлела

От тонких молний духа риза тела,
Отдав огонь Источнику огней^[277].

Мотив творческого самосожжения Скрябина звучал у Вяч. Иванова не раз. В другом стихотворении, вошедшем в то же эссе, поэт вспоминал неповторимые минуты своего личного общения с гением, знакомые только ему одному:

Двухлетний срок нам был судьбою дан.
Я заходил к нему – «на огонек»;
Он посещал мой дом. Ждала поэта
За новый гимн высокая награда, —
И помнит мой семейственный клавир
Его перстов волшебные касанья.
Он за руку вводил по ступеням,
Как неопита жрец, меня в свой мир,
Разоблачая вечные святыни
Творимых им, животворящих слав.

.....
Но мнилось, – всё меж нас – едва начало
Того, что вскоре станет совершенным.
Иначе Бог судил, – и не свершилось
Мной чаемое чудо – в час, когда
Последняя его умолкла ласка,
И он забылся; я ж поцеловал
Священную хладеющую руку —
И вышел в ночь...^[278]

В Скрябине Вяч. Иванов видел наследника древних певцов и пророков, соприкасавшихся «мирам иным» и преображавших своим пением мир, подобно Орфею, носителя небесной гармонии. Недаром он сравнивал его

с Новалисом, в лире которого жил тот же высокий мистический настрой:

Он был из тех певцов (таков же был Новалис),
Что видят в снах себя наследниками лир,
Которым на заре веков повиновались
Дух, камень, древо, зверь, вода, огонь, эфир^[279].

Поначалу, признавался Вяч. Иванов, он воспринимал Скрябина исключительно как утонченного эстета и индивидуалиста. Но, узнав его ближе, убедился, что в нем живет жажда служения высшему, сверхличному началу, что он стремится воплотить в своей музыке идеал хорового и соборного действия, коренящийся в дионисийстве и по-новому осмысленный, очищенный от темных хаотических стихий и просветленный в христианстве. Создать эту заветную Мистерию Скрябину не удалось. Похоронен композитор был на кладбище Новодевичьего монастыря – в одном из самых любимых Вяч. Ивановым мест в Москве, освященном для него могилой Владимира Соловьева. Теперь поэт навещал здесь две могилы. Память об этом осталась в сонете «Новодевичий монастырь»:

Но вечер тот в душе запечатлен.
Плыл, паруса развев, ковчегом новым
Храм облачный над спящим Соловьевым;

А за скитом, в ограде внешних стен,
Как вознесенный жертвенник, молила
О мире в небе Скрябина могила^[280].

Первую мировую войну русские поэты и мыслители восприняли по-разному. Федор Сологуб откликнулся на

ее начало циклом патриотических стихотворений. Николай Гумилев, несмотря на состояние здоровья, добровольцем отправился на фронт в звании унтер-офицера лейб-гвардии Уланского полка. За храбрость, проявленную в боях, он был награжден двумя Георгиевскими крестами. Войну он воспринимал как христианский подвиг самоотречения, преодоления себя и собственных слабостей во Имя Божье и ради отечества.

Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня,
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.
Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого что Господне слово
Лучше хлеба питает нас [\[281\]](#).

О буднях войны, увиденных глазами участника и очевидца, Гумилев рассказал в своей прекрасной прозе «Записки кавалериста», главами выходящей в «Биржевых ведомостях».

Мандельштам поначалу видел в этой войне осуществление тютчевских чаяний, что все славянские ручьи сольются в едином море, в чем главная роль, несомненно, будет принадлежать России.

Но вскоре в его поэзии славянофильские мотивы сменились всечеловеческими. Он увидел, как во время тектонического разлома между двумя эпохами вырывается на волю «древний хаос», дремавший до поры в человеке под «златотканым покровом» цивилизации.

Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры;
Светильник в глубине пещеры
И воздух горных стран – эфир;
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать.
Козлиным голосом опять
Поют косматые свирели [\[282\]](#).

«Козлиный голос» и «косматые свирели» зазвучали в стихотворении «Зверинец» отнюдь не случайно. Мандельштам, конечно же, был хорошо знаком и с ницшевским «Рождением трагедии из духа музыки», и с «Эллинской религией страдающего бога» Вяч. Иванова. Свирели и «козлиная» символика («трагедия» в переводе с греческого и означает «песнь козлов») были неизменными атрибутами Дионисовых мистерий. Подобный взрыв «дионисийства» Мандельштам увидел и в Первой мировой войне. Метафора вербализовалась, обрела буквальный смысл: геральдические звери с европейских гербов ожили и начали грызться между собой. В человеке пробудилось все самое темное, хаотическое, изнаночное. Отвергнув Евангелие, он жил теперь по Дарвину. Всею силой своего дара Мандельштам призывал человека победить зверя в самом себе.

А ныне завладел дикарь
Священной палицей Геракла,
И черная земля иссякла,
Неблагодарная, как встарь.
Я палочку возьму сухую,
Огонь добуду из нее,
Пускай уходит в ночь глухую
Мной всполошенное зверье!

Петух и лев, широкохмурый
Орел и ласковый медведь —
Мы для войны построим клеть,
Звериные пригреем шкуры.
А я пою вино времен —
Источник речи италийской —
И в колыбели праарийской
Славянский и германский лен![\[283\]](#)

Мировой войне, разделившей людей по национальному признаку, этой «борьбе видов» поэт противопоставлял мировую культуру, ее единый исток, а первобытному зверству – огонь и слово, те два начала, которые создали человека и выделили его из круга земнородных.

Ахматова прозревала в войне и страданиях народа глубинную связь с Голгофой – с крестными муками Спасителя:

Можжевельника запах сладкий
От горящих лесов летит.
Над ребятами стонут солдатки,
Вдовий плач по деревне стоит.
.....

Низко, низко небо пустое,
И голос молящего тих:
«Ранят тело твое Пресвятое,
Мечут жребий о ризах Твоих»[\[284\]](#).

Максимилиан Волошин встретил начало войны в Будапеште. Впечатления этого дня откликнулись в его очерке «Год назад»: «...Толпа текла, как ртуть... Я был вынесен на улицу, еще более людную и широкую...

Стало ясно, что город переживает нечто необычайное. Но что? Мятеж? Революцию? Демонстрацию? Празднество? Выборы? Я искал признаков, по которым можно определить смысл судороги, охватившей его... Протиснувшись сквозь группу толпившихся у стены, я увидел, что они читали широкие, белые афиши. Я не мог понять в них ни слова. Но цвет бумаги, официальность шрифта, государственные гербы подсказывали мне, что это не революционное воззвание, а обращение правительства. Манифест... солдаты... знамена... барабаны... – Война! С кем?.. Прислушиваясь к крикам, мне казалось, что я различаю звуки, похожие на имя моей страны»^[285].

Из Австро-Венгрии Волошин переехал в Швейцарию, где в Дорнахе участвовал в строительстве «антропософского храма» – Гетеанума: рубил каменные барельефы. Затем поселился в Париже и написал там книгу стихов о войне – «Anno Mundi Ardentis» («Год пылающего мира»). Издал он ее в 1916 году, когда вернулся в Россию, – в московском издательстве М. О. Цетлина «Зерна». Войну Волошин воспринимал как глубочайшую духовную и историческую катастрофу, разрывающую единое тело христианской Европы, уничтожающую вековые основы ее жизни. С особой силой скорбь поэта слышалась в стихотворении «Реймская Богоматерь». Поводом к его написанию стала разрушительная бомбардировка германской артиллерией Реймского собора – одной из величайших святынь Франции. Богоматерь, соединившая в Себе небесное и земное, словно была воплощением всей страдающей земли.

Она сама была землей —
Ее лугами и реками,
Ее предутренними снами,
Ее вечерней тишиной.

...И обнажив, ее распяли...
Огонь лизал и стрелы рвали
Святую плоть... И по ночам,
В порыве безысходной муки,
Ее обугленные руки
Простерты к зимним небесам^[286].

Осмысляла эту войну и стремительно менявшийся мир не только русская поэзия, но и русская философия, хотя они всегда были близки друг другу. Свои раздумья регулярно публиковал в «Утре России» и «Биржевых ведомостях» Н. А. Бердяев. Его мысль, словно острый меч, рассекала пласты истории, отчего современность виделась яснее и глубже. Чудовищный взрыв дикости и варварства под личиной высокоразвитой промышленной цивилизации он увидел в инициаторе этой войны – Германии, жаждущей мирового господства. Родина Гёте и Шиллера, Новалиса и Шеллинга теперь в новом могуществе своем являла угрозу культуре и человечности. «Воля к власти» могла породить только чудовищ. «Прусский юнкер, эстетически завершённый в лице императора Вильгельма – варвар, принявший лишь внешнюю цивилизацию. Это милитаристическое варварство с закрученными вверх усами... грозящее полным вырождением и упадком, призвана Россия с другими народами отразить и смирить. Задача столь же мировая и жертвенная, как отражение татарщины, наполеоновского нашествия, турецких зверств»^[287]. Когда Бердяев писал эти строки, он еще не знал, что очень скоро ему придется услышать о самом страшном и отвратительном из всех «турецких зверств» – о геноциде армянского народа, который правительство «младотурок» осуществит с молчаливого благословения своих немецких союзников. Не мог он знать, как эти уроки людоедства будут усвоены в XX веке в самой

Германии, какие зловещие тени маячат в ее недалеком будущем. Хотя использование на фронте отравляющих газов и потопленные германскими подводными лодками мирные суда говорили о многом. Посредственный обыватель уже ощущал себя господином мира в силу «особой» крови, текущей в его жилах. Другие народы были для него только расходным материалом на пути к этой «высшей» цели. Отвратительное, мещански-самодовольное лицо немецкого национализма с его претензиями на сверхчеловечество со всей очевидностью проявилось и тогда. Бердяев отрицал не только претензии Германии на первенство в европейском мире, но даже ее право называться империей: «Наполеон и был последним западным императором в античном и всемирном сверхнациональном и сверхгосударственном смысле слова. Его империя была стилизацией античной империи и его императорская власть была такою же республиканской, как и власть Юлия Цезаря. Новейшая Германская империя не имеет никакого стиля империи, в ней нет универсального духа. Это империя лжеименная – ... резко немецкая, с своекорыстно-хищническими инстинктами. Германский буржуазный империализм... хочет, чтобы Германия была всем и все было Германией»^[288]. Впрочем, столь же ненавистно Бердяеву было и отечественное черносотенство: недаром название этой партии он в знак презрения неизменно писал с маленькой буквы – «союз русского народа».

Философ с отвращением относился к любому животному-стадному национализму. Видел Бердяев и губительные начала несвободы в русской жизни, мешающие России осуществлять ее великую всемирную миссию, к которой она была призвана в те грозные годы, но оказалась не на высоте своего призвания: «...

Ветхой идеей престижа власти, чина и положения, а не достоинства человека... все еще руководствуется на Руси исправник в отношении к своему уезду, губернатор в отношении к своей губернии, министр в отношении к всей России, родители в отношении к детям, педагоги в отношении к ученикам, помещики и хозяева в отношении к крестьянам и рабочим. Старая Россия не прошла еще, она живет еще и в новых людях»^[289].

Но всем своим горячим и безмерно любящим Россию сердцем отвергал Бердяев и «пораженчество» – эту предательскую идею отпетых негодяев, готовых ради осуществления каких бы то ни было социально-политических целей, пусть даже самых «прогрессивных», пожертвовать судьбой отечества: «“Пораженческая” психология – психология рабов, которые не собственной силой хотят завоевать себе свободу и блага, а мечтают получить их, как дар и милость от врага родины. Это – психология растления, сочувствие отверженных, для которых ничто не определяется изнутри, а все – извне...»^[290] Свободу Россия должна была обрести в результате духовного возрастания. Войну эту Бердяев воспринимал как глубочайший кризис нескольких предшествующих эпох мировой культуры и мысли начиная с Возрождения.

О том же размышлял и друг Вяч. Иванова Владимир Эрн. Его славянофильство теперь становилось все более всечеловеческим и всемирным вслед за Достоевским и Владимиром Соловьевым. Если германский империализм представлялся ему назревшим гнойником Европы, аккумулировавшим в себе все худшее, что возникло в ее философской и политической мысли на протяжении нескольких веков – позитивистское мировоззрение, утилитаризм, Макиавеллиевы методы правления, – то другие страны Запада в годину

испытаний освобождались от этой скверны и преображались на глазах. В них пробуждалось христианство с его духом рыцарства. Храмы сражающейся Франции наполнялись молящимися. Маленькая Бельгия и ее король явили перед лицом немецкой военной мощи небывалое мужество и благородство. Великобритания незамедлительно пришла на помощь своим союзникам, вступив в войну. В обращении английских писателей к русским, напечатанном в номере 254 «Нового времени» за 1914 год, говорилось: «Вы сами, быть может, даже и не представляете себе, каким источником неиссякаемого вдохновения была ваша литература для англичан последних двух поколений... Прежде и главнее всего это было, конечно... тяготение к ценностям духовным в обход ценностей материальных... И вас еще называют варварами! После этого надо было нам самим оглянуться на себя и посмотреть, что понимаем мы под словами “культура” и “цивилизация”. Именно в такое время, как наше, когда материалистическая европейская цивилизация как бы предает нас и выказывает всю лживость своей сердцевины, именно в такое время мы понимаем, что поэты и пророки были правы»^[291]...

Об этом Эрн говорил в двух своих лекциях под названием «Время славянофильствует», которые он прочитал в Религиозно-философском обществе памяти Владимира Соловьева и в Московском университете, а затем издал отдельной книгой. Будучи православным человеком, он ощущал глубоко *своей* скорбь католической церкви, чьи святыни страдали от варварства обезбоженной германской армии: «Когда немецкие войска превращают костелы в конюшни и на престолах пьют и едят, как в кабаках, когда немецкие лейтенанты стреляют в чудесную реймскую храмину

Божией Матери и посягают на столь же чудесную парижскую Ее храмину – мы, православные, чувствуем, что оскорбляются не в переносном, а в мистическом и буквальном смысле *наши* святыни... И тут в этом общем порыве гнева и ужаса перед оскорблением святынь католики и православные неожиданно нападают на огненную и несокрушимую линию своего умопостигаемого родства»^[292].

Четвероногое и оскалившееся человекобожество Германии, родившееся из «союза ума и фурий», очень напоминало собой то, что сто лет назад явила в Москве наполеоновская армия, на одном из знамен которой был начертан скептический вопрос «Что есть Бог?», когда французские солдаты, впитавшие на азбучном уровне уроки «энциклопедистов», превращали кремлевские соборы в конюшни и швальни. Эрн не дожил до тех дней, когда и лик России изменится до неузнаваемости, и в ней на долгие годы восторжествует воинствующее безбожие – эта религия скотства. Осмыслить же исторические и философские истоки современного ему германского безумия он попытался в лекции, прочитанной им на заседании Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева 6 октября 1914 года и воспринятой в штыки приверженцами традиционных научных взглядов ввиду ее неслыханной дерзости. Лидия Иванова вспоминала: «В академических кругах огромный скандал. Владимир Эрн напечатал статью “От Канта к Круппу”, где доказывает, что диалектическое развитие философии Канта неизбежно приводит к войне. Возмущение в университете неопишное. Вся карьера Эрна была испорчена, и ему грозил остракизм. Он смело продолжал стоять на своем»^[293].

В статье «От Канта к Круппу» главный посыл Эрна сводился к следующему: кантовская «Критика чистого

разума» в ее последовательном развитии приводила к отрицанию возможности проявления всего относящегося к миру Высшего, сущностного как во внешнем, так и во внутреннем человеческом опыте. Эрн цитировал в своей работе слова одного немецкого историка: «“Критика чистого разума” имела для нас, немцев, почти такое же значение, какое для французов революция 1789 года»^[294]. Человеку при отсутствии высшей точки отсчета в его жизни оставалось одно: самому стать «мерой всех вещей», исходить только из соображений целесообразности, приняв себя за абсолют. А для нации, также воспринятой как «феномен», это означало: увеличивать свой интеллектуальный потенциал для создания небывалой военно-технической мощи, чтобы доминировать над другими народами, силой оружия подчинить их себе. Таким образом, высочайший интеллект, лишенный совестной составляющей, становился орудием первобытного зверства. Пушки Круппа, по Эрну, были естественным завершением кантовской мысли. В своей статье он писал: «Феноменалистический принцип “аккумулируется” в орудиях Круппа в наиболее страшные свои сгущения и становится как бы прибором, осуществляющим законодательство чистого разума в больших масштабах всемирной гегемонии. Разрушительность гигантских снарядов Круппа, их дикая насильственность логически вытекает из их феноменалистической сущности. Международное право, верность данному слову, святыни религии, человеческая честь – все это абсолютно “превзойденные точки зрения”. Феноменализм для своего распространения не нуждается в добром согласии или в убеждении народов, подлежащих процессу немецкой феноменализации. Орудия Круппа – слишком живое, не требующее никаких оправданий

явление превосмогающей силы и правды феноменалистического принципа... Поэтому в Сионе немецкого феноменализма, где святое святых есть “Критика чистого разума”, орудия Круппа занимают почетное и логически необходимое место. Кант в самых характерных и оригинальных моментах своей философии диалектически постулирует Круппа. Крупп в самых гениальных созданиях своих дает материальное выражение феноменалистическим основоначалам Кантовой философии»^[295].

Тема «Критики чистого разума» и германской жажды мирового господства отзовется в русской литературе почти тридцать лет спустя – в рассказе Андрея Платонова «Пустодушие», написанном им на фронте в 1943 году. Там попавший в плен немецкий лейтенант Курт Фосс разглагольствует о том, что человек – это только «машинка», а поскольку немецкая машинка лучше русской, для немцев целесообразно завоевать русскую землю и истребить стариков, чтобы не тратить продовольствие на экономически бесполезное население. Ничего, кроме прагматического подхода к жизни и права силы, он не признает, однако вздрагивает при вопросе, есть ли у него старая мать. «– Мы – критика чистого разума, вооруженного огнем, – сказал мне Фосс, вспомнив чужую фразу. – Чистый разум есть идиотство, – отрезал я ему. – Он не проверяется действительностью, поэтому он и “чистый” – он есть чистая ложь и пустодушие...

Я теперь понял Фосса как интеллектуального идиота; этот человеческий образ существует давно; он был и до фашизма...»^[296]

Неизвестно, читал ли Андрей Платонов статью Эрна «От Канта к Круппу», но он продолжал тот же жизненный и философский спор – спор русской мысли и

литературы с бесчеловечием и безбожием, хотя номинально и не стоял на фундаменте христианства.

В статье «От Канта к Круппу» Эрн также писал: «В зрелище современной Германии... мы видим, по меткому уподоблению Вяч. Иванова, все элементы античной трагедии»^[297]. Речь шла о статье Вяч. Иванова «Вселенское дело», прочитанной им на заседании Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева в тот же день, что и доклад Эрна – 6 октября 1914 года, и напечатанной вместе с ним в одном номере «Русской мысли». Эта работа стала для Иванова главной попыткой понять смысл происходящего, выражением его воззрений на Первую мировую войну, на то, что готовилось веками и теперь совершалось на арене истории. В судьбе Германии, в ее почти полувековом пути он увидел нечто глубинно родственное сюжетной основе греческой трагедии, связанной с ложным выбором героя, замешанным на своеволии и гордыне: «Германские племена жаждали единения государственного: дух германский искал целостного воплощения. Он много дал миру и требовал справедливого, ибо трудящийся достоин своей награды. Рождалась новая Германия, в которой, как естественно было надеяться друзьям человечества, положительные начала национального духа, необходимые в домостроительстве богочеловеческом и издавна питавшие своими добрыми плодами духовный голод Европы, должны были проявиться еще полнее и благотворнее, чем во дни политической немощи и вынужденного разделения»^[298].

Вяч. Иванов безмерно любил и Германию, и старую немецкую культуру. Он не мог не помнить о Гёттингенском университете в начале XIX столетия, этой «Мекке» русских юношей, о лицейских профессорах Пушкина, окончивших его, о немецком

романтизме, который Жуковский привил к стволу русской поэзии, о поклонниках Шеллинга – «любомудрах», будущих славянофилах. В его сердце всегда жила благодарная память о профессоре Моммзене, об углубленных семинарских занятиях и беседах в доме учителя, о самозабвенном энтузиазме Ragazzi Capitolini из Германского археологического института в Риме. Но он не мог забыть и о том страшном, что зрело на его глазах в тишине довоенной Германии: «...едва коснувшись заветного отцам и истари чаемого сокровища, победители, хватая одною рукою вождельный дар из рук Провидения, другою уже творили насилие и притеснение, уже злоупотребляли добытым благом. Достижение совпало с нарушением. То, чего некогда всего более страшились богобоязненные и мудрые эллины, случилось: нагнетена была и через край переполнена мера, и тотчас проснулась в недрах времен и устала на торжествующих неотводный, мстительный взор памятливая Эриния, ревнивая Немезида. Кто превысил меру, говорили эллины, впал в “надмение” – Гибрию. Оно будет расти и, когда настанет година возмездия, внезапное затмение разума: роковое умопомрачение – слепая Ата – поведет гордеца и богоборца, не внешним понуждением, но его же вольным избранием, на край бездны и пагубы, в сети черной Керы» [\[299\]](#).

Предчувствие этой трагедии в судьбе Германии XIX столетия Вяч. Иванов видел у наследника эллинской мудрости Гёте в созданном им образе Фауста, словно воплотившем в себе дух, историю и роковые заблуждения немецкого народа, ведомого по своему собственному выбору духом зла к ложным целям: «Разуверившийся во всех внеположных вещественной действительности, или, точнее, феномену жизни, основам духа, Фауст одержим надмением, за коим

следует по пятам Обида. Недаром своим доверенным приспешником в овладении царствами и богатствами мира, своим первым министром и полномочным наместником он ставит Мефистофеля. Этот, с помощью Трех Сильных, из-под чьих личин сквозит бездушная мощь боевых орудий, правит землю, как приличествует дьяволу. Тогда начинается слепота Фауста, сбитого с толку демоном суетливой Заботы, – наступает его конечное умопомрачение и, меж тем как прислужники Аримана роют ему могилу, он мнит себя впервые в жизни удовлетворенным. О, эта ирония поэта-провидца!.. То, что обуславливает эпилог в небе и спасение бессмертной части Фауста, в современной, видимой миру, Германии безнадежно затемнено и утрачено»^[300].

В подтверждение этих мыслей Вяч. Иванов «давал слово» своим немецким оппонентам, как бы «суммируя» все то, чем они так гордились: «Как далеко опередили мы вас, народы Европы, в накоплении и хитром использовании всех наличных частных энергий! Всех опередили мы и в преодолении старинных предрассудков, препятствовавших механистической целесообразности... Мы преодолели пору политического дробления и бессилия, которых, по-видимому, вовсе не замечал добрый старик Гете, хотя и правильно догадывался в лице своего Фауста, что “в начале бе” не Слово, а Дело. Мы стали практические люди... и самого Лютера, который все еще запуская в беса чернильницей, – преодолели... Вся деятельность духа станет в нашем смысле наукообразной... жизнь же будет отдана жизни, в ее научно-биологическом смысле... Это и есть культура! Они восстают на нас... и в исступлении кричат: “Маски долой, – вы и без того угадали правду!..” Последнее слово того

антропологического процесса, который мы называли культурой, – антропофагия»^[301].

Невольно вспоминалась одна из новелл романа В. Одоевского «Русские ночи» – «Город без имени», где жители страны Бентамия, провозгласившие, что польза и выгода превыше всего, закончили полным разрушением экономической и общественной жизни, одичали и начали приносить человеческие жертвы. Принцип «нравственно то, что выгодно» (безразлично, для чего и для кого – для немецкого государства или промышленной империи Круппа, для дела нации или пролетарской революции) привел в XX веке к самым страшным за всю мировую историю бесчисленным гекатомбам. Но начиналось это тогда, когда выгода и целесообразность были поставлены превыше Бога и совести.

Тем тяжелее мыслилась для Вяч. Иванова ответственность России, совершающей, как он считал, возложенное на нее вселенское дело: сумеет ли она изжить свое внутреннее, копившееся веками зло, искупить прежние исторические грехи и неправды и оказаться достойной великого поручения: «Вселенское дело родины нашей представляется по чудесному сочетанию в нем многоразличных дилемм общечеловеческого самоопределения; все важнейшие нити мировых судеб сплелись ныне в один трагический узел; война ведется за выбор основных путей человеческого духа... Смоется ли на общем празднике славянского мира наш грех неомытый, незамоленное преступление исторического жития нашего – растерзание живой Польши?.. Откроются ли обетованные дали нового, более счастливого и благостного века, – или же, гонимые лютыми полчищами одержимых и сами заражаемые их одержимостью, мы ринемся с ними во тьму

дохристианской дикости, в первобытные дебри духа, где царевать будет светловолосая Bestia?»^[302]

Снова приходилось давать отпор ницшевскому «белокурому зверю», причем гораздо больше, чем на поле боя, – внутри себя, внутри самой России, и снова со всей насущностью вставал тот же прежний соловьевский вопрос, обращенный к отечеству:

Каким ты хочешь быть Востоком —
Востоком Ксеркса иль Христа?^[303]

Уроки вселенского христианства Владимира Соловьева слышались и в других статьях Вяч. Иванова того времени: «Славянская мировщина», «Польский мессианизм, как живая сила» и «Духовный лик славянства». Тема Польши и места польского народа в судьбах Европы и в истории человечества возникла у него не случайно. В Москве тогда поселилось немало спасавшихся от войны представителей польской интеллигенции. Их радушно принимали в московских культурных кругах. Создавали они и свои собственные небольшие домашние салоны, где бывали и русские писатели. Там велись дружеские беседы, а порой и горячие споры о смысле происходящего. Общались с ними и члены Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева: Е. Н. Трубецкой, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн и Вяч. Иванов. Его вдохновили многие пламенные идеи польского мессианизма, глубоко религиозного по своей сути. В братстве трех славянских народов, каждый из которых явил в годы войны духовный подъем – православной Руси и католических Польши и Чехии, – Вяч. Иванов видел залог преодоления раскола между Восточной и Западной Церковью.

В статье «Славянская мировщина» он писал: «Три просвещеннейших славянских племени полагают всю душу свою, даже в наш век видимого всеобщего ослабления религиозных сил... Я разумею Россию, которая в церковной своей самобытности и мнимой неподвижности ревниво отстаивает девственную неприкосновенность своего подлинного неизреченного богосозерцания и как бы дыхания в Боге. Я разумею Польшу, в религиозном чувствовании которой обострена до крайней ревности энергия вселенской правды и церковности Петровой. Я разумею, наконец, Чехию, душа которой, подобно ее покровителю, святому князю Вячеславу, мученику уже X века, но равно чтимому Востоком и Западом, сочетает глубокую верность первосвятителю римскому и вселенскому, – верность, которая предохранила ее от уклона к протестантству, одним из предтеч коего несправедливо признается Гус, – с неутолимою жаждою причастия восточно-католическим таинством и как бы объемлет в своем религиозном порыве, внутри славянского мира, вместе и Польшу, и Русь, как бы не ведает, в своем молитвенном созерцании, внешнего и поверхностного разделения единой церкви между запечатленным вертоградом Востока и выявленным и раскрытым в историческом делании христианством Запада»^[304].

В другую статью – «Духовный лик славянства» – Вяч. Иванов включил стихотворение, посвященное им своему святому покровителю, чешскому князю Вячеславу. По преданию, Вячеслав сам возделывал виноградник, из гроздьев которого выжимал вино для Таинства Евхаристии. Вяч. Иванов видел в этом символ исконного желания чешской церкви причащаться под двумя видами – хлебом и вином, Телом и Кровью Христовой, как было принято на православном Востоке:

Князь чешский, Вячеслав, святой мой
покровитель,
Славянской ныне будь соборности зиждитель!
Светильник двух церквей, венцом своим венчай
Свободу Чехии, и с нашей сочитай!
Как лик твой воссиял на княжеском совете
И ужаснулись все о том чудесном свете,
Так воссияй очам расторгнутых племен
Небесным знаменьем о полноте времен!
Как некогда ты сам у вышеградских башен
Сок гроздий выжимал для литургийных брашен,
Так сопричастникам божественную Кровь
Для общей вечери воскресной уготовь!^[305]

Статьи, написанные Вяч. Ивановым после сборника «По звездам», составили две книги. Первая вышла в 1916 году в московском «метнеровском» издательстве «Мусагет». Называлась она «Борозды и Межи». Поистине, отозвались «звучные звенья» отцовских землемерных цепей из глубин детской памяти и семейного предания – но теперь промеры были уже совсем другими. В книгу «Борозды и Межи» с подзаголовком «Опыты эстетические и критические» вошли работы Вяч. Иванова, посвященные Достоевскому и Толстому, а также статьи «башенного» периода о поэзии Серебряного века, теории символизма и искусства, такие как «О поэзии Иннокентия Анненского», «Заветы символизма», «Мысли о символизме», «Манера, лицо и стиль», «О границах искусства» и «Чурлянис и проблема синтеза искусств»; кроме того – эссе «Религиозное дело Владимира Соловьева», написанное к десятилетию со дня кончины великого мыслителя.

Вторая книга – «Родное и Вселенское» – была опубликована в 1918 году издательством Г. А. Лемана и

С. И. Сахарова. Она включала в себя религиозно-философские размышления Вяч. Иванова о войне, о судьбах России и Европы, о славянстве, о путях Церкви. Те же мотивы звучали и в его стихах военных лет.

Земля с духоносным пределом
Общается жертвенной меной.
Родимую бранную братью
Крепит сокровенный оплот.
И видят враги перед ратью,
Идущей на подвиг смиренный,
Троих, в одеянии белом,
На белых конях, воевод.

.....

Чья правда? Но сень Иоанны,
Ковчег крестоносцев узорный, —
Червей огнедышащих зевы
Вотще пожирают собор!
Чья сила? Но перст Женеьевы
От Града, как встарь, чудотворный,
Отвел одержимые станы —
И явен святой приговор [\[306\]](#).

В стихотворении «Буди, буди!» поэт говорил о соблазне самоупоения и имперской гордыни, в который Россия может впасть, если она победит в этой войне, осуществит вековую мечту о Константинополе и забудет о смирении перед Богом, возомнит себя вершительницей судеб земли, а не орудием Его воли.

Вражья ль мощь тебе страшна?
Сень ли смертная ужасна?
С Божьей волею согласна,
Чашу выпьешь ты до дна...
Но победа суждена,

И победа лишь опасна.

Страшно встретиться с Христом
Не во вретище и прахе.
Легче каяться на плахе,
Чем на троне золотом.
Русь, в царьградскую порфиру
Облачась, не рабствуй миру!^[307]

Апофеозу самодержавной мощи поэт противопоставлял унижение Того, Чьим Крестом был спасен мир.

Но самое сущностное о природе войны, о взаимной вражде людей и народов, составляющих единое тело человечества, которое по Божьему замыслу должно стать мистическим Телом Христовым, Вяч. Иванов сказал в «мелопее» «Человек» – одном из главных произведений всей своей жизни.

«Адаме!» – Мать-Земля стенает,
Освободитель, по тебе.
А человек не вспоминает,
В братоубийственной борьбе,
О целого единой цели...
И Солнце тонет в багреце;
И бродит мысль – не о конце ли? —
На бледном Каина лице.

Когда ж противники увидят
С двух берегов одной реки,
Что так друг друга ненавидят,
Как ненавидят двойники?
Что Кришна знал и Гаутама, —
По ужаснувшимся звездам
Когда ж прочтут творцы Адама,

Что в них единый жив Адам?^[308]

Адам, библейский образ единого человечества, через которого должно освободиться от власти смерти и преобразиться все мироздание, сам находится ныне в каиновом братоубийственном состоянии. Вяч. Иванов видел эту трагедию, происходящую у него на глазах, с точки зрения вечности.

Мелопею «Человек» он, по всей вероятности, задумывал уже давно. В своем серьезном и глубоком исследовании «К истории мелопеи “Человек”: творческая и издательская судьба» А. Б. Шишкин высказал такое предположение: «Истоки некоторых идей мелопеи могут восходить к 1907 г., когда поэт писал для “Весов” эмоциональную и критически острую заметку о драме “Жизнь Человека” Л. Андреева. В отзыве 1907 г. звучат важные для Вяч. Иванова темы: продолжение в человеческой истории тяжбы – в духе Иова – Человека с Богом, представление о поэзии как о совершенном знании Человека и знании мира через знание Человека...»^[309]

Мелопея была написана в Москве в 1915 году. Сначала она состояла из трех частей, а в 1918–1919 годах Вяч. Иванов дополнил ее еще четвертой частью и эпилогом. Издательство Сабашниковых предложило поэту издать трилогию в том же 1915 году. Иванов согласился, но публикация была отложена автором после беседы с Флоренским, который сказал: «Вещь прекрасная, но ее мало кто поймет. Хотите, я напишу примечания?» Вяч. Иванов, конечно же, с радостью согласился, однако Флоренский писал свои комментарии очень медленно. В его архиве сохранился небольшой набросок этих примечаний, позволяющий догадываться о некоторых ходах мысли отца Павла:

«**Темы** о Человеке

1) Тема Креста, распадающаяся на антиномические – и мужск<ое> и женск<ое>, да и нет.

2) Крест имя Божие.

3) Золото в Лазури (тоже распадающееся на да и нет).

4) Эрос – голодные сытые.

5) **Колодец**, пещера... женск<ое> **начало**.

6) **печать**.

7) любовь и смерть.

8) тема слепоты, кровосмешения, Эдипа.

9) Море, лоно, земная утроба, Афродита.

“Человек” Вяч. Иванова

1) “Аз” как имя Божие (и потом ч<елове>ка), ср. у Хомякова предположение, что Адам и Ева – Я и Ты.

2) Каб<бала> (Зогар 125 и 133) Адам-Иегова (число строк).

3) Дайте перстень (сыну блудному Еван<гелие> Лк. 15:22)»[\[310\]](#).

Набросок этот был датирован лишь октябрём 1916 года. Потом началась революция, и мелопея «Человек» в издательстве Сабашниковых так и не вышла. Только в журнале «Русская мысль» появилась третья часть поэмы – венок сонетов под названием «Два Града». Полностью же мелопея «Человек» была издана, когда Вяч. Иванов уже жил в Италии: в 1939 году ее опубликовало парижское издательство «Дом книги» отдельным выпуском тиражом 200 экземпляров в серии «Русские поэты». Сюжет мелопеи тесно связан с апокрифом об Адаме, хорошо известным еще в Древней Руси. В нем рассказывалось, что Бог навел на Адама сон, в котором тот увидел будущее страдание, смерть и воскресение Христа: «И вложи Господь Бог сон в Адама, и успе Адам, и взят его ребро левое... и созда ему жену в шестый день, и показа ему Господь Свою смерть и

распятие и воскресение, и провиде вознесение за полшесты тысяч лет...

И воста Адам от сна своего и трепетен бысть во ужасе велице о провидении. И вожда Господь Адама в раи ходяща и рече ему: “Адаме, Адаме, повеждь Ми”... Адам же рече Ему: “Господи Владыко, Тебе видех на кресте распята во Иерусалиме, а ученики Твоя видех ходяща - Петра в Риме, а Павла в Дамасце, проповедующе Твое распятие и воскресение. - И рече ему Господь: подобает Ми тебе ради снити на землю и распяту быти и в третий день воскреснути; и ты же не поведай никому же видения сего, дондеже увидиши Мя в раю сидяща одесную Отца, и ты о том поскорби, Адаме»[\[311\]](#).

В мелопее Адам также видит во сне и будущую жизнь всего людского рода, и то, насколько человек, единый и цельный в Божественном замысле, разбит и раздроблен в действительности. Он одновременно и Пилат, осуждающий Христа на казнь, и Петр, пытавшийся спасти Учителя и несколько часов спустя отрекшийся от Него, и страж, стоящий у креста, и любимый ученик, припавший к груди Иисуса. Целостность человека - Адама, олицетворяющего собой все человечество, восстановится, когда он «вырастет в меру возраста Христова» - станет единым мистическим телом Богочеловека Иисуса Христа, обретет в Нем свою подлинную личность.

Увы! Поныне только *люди*,
Мы оттого не *Человек*,
Что тем теснее наши груди,
Чем святотатственнее век...
Век, веледушней и щедрее,
Юнейший, приходи скорей!
Давно покинула Астрея
Градоизждительных зверей.

«Аз есмь» Премудрость в нас творила,
«Еси» – Любовь. Над бездной тьмы
Град Божий Вера озарила.
Надежда шепчет: «Аз – есмы».
Повеет... Дрогнет сердце – льдина,
Упорнейшая горных льдин...
И как Душа Земли едина,
Так будет Человек един [\[312\]](#).

Об этой главной идее поэмы «Человек» так говорил великий религиозный мыслитель второй половины XIX века, продолжатель традиций русского духовного возрождения, всю свою жизнь отдавший проповеди Христа и принявший за Него мученическую кончину, отец Александр Мень: «И творчество имеет огромное значение, потому что человек – образ и подобие Божие. Богу люди предстоят все вместе, и в идеальном состоянии люди должны быть... взаимопроникающи, чего человек достигает в какие-то мгновения любви, дружбы, во время сопереживаний каких-то событий. Но в целом люди еще друг от друга отделены. Об этом писал Вячеслав Иванов в знаменитой своей поэме “Человек”, в которой он создал прекрасный образ. Адам заснул под деревом, ему приснилось создание Евы, грехопадение, история всего мира, возникновение всех людей, и потом он просыпается, один под сенью этого древа, и снова все возвращается к единому Адаму. Это не причуда Иванова, это соответствует каким-то внутренним интуициям этого философа, богослова. Космический человек Адам... Значит, есть какое-то единство в людях и какая-то душа, которая одна во всех, которая складывается, осуществляется и когда-то завершится. Это ноосфера. Она творит, она призвана творить. Хотя она еще очень мало существует, но это

чудеснейшее явление, несмотря на все глупости человеческой истории и все гнусности, которые делал человек»^[313].

Но кроме размышления о тайнах бытия и трагических путях человека – Адама в жизни Вяч. Иванова и круга мыслителей и поэтов, в котором он жил, всегда находилось место веселой и легкой шутке. Вернее сказать, самые серьезные и острые споры, не делающие тем не менее друзей, хотя и идейных противников, врагами, оборачивались шуточной полемикой. Сказывалась традиция рыцарского отношения к сопернику, идущая из XIX века, когда в московских домах Авдотьи Елагиной или Федора Глинки спорили между собой Чаадаев и Константин Аксаков. Так, Бердяев совершенно не принимал «славянофильства», пусть даже «вселенски» осмысленного, Вяч. Иванова. Еще в декабрьском письме 1914 года он писал Лидии Юдифовне: «...от атмосферы у Вяч. Иванова и Эрна у меня осталось тяжелое и отвратительное впечатление, так совсем нельзя говорить, я кричал от возмущения. Квасной патриотизм, бахвальство, готовность лежать на брюхе перед городовым, отрицание фактов – все это в размерах колоссальных. Мне даже ходить туда тяжело»^[314]. Столь же острым и беспощадным было «боевое» письмо Бердяева от 30 января 1915 года, обращенное к Вяч. Иванову: «Вы всегда нуждаетесь во внешней санкции. Сейчас Вам необходима санкция Эрна или Флоренского... Жизнь в свободе – трудная и страдальческая жизнь, легка и приятна – лишь жизнь в необходимости...

Ваше мироощущение в своей первооснове языческое, просто внехристианское, а не антихристианское. Вот в моей природе есть что-то антихристианское, но вся кровь моя пропитана

христианской мистерией. Я – “еретик”, но в тысячу раз более христианин, чем Вы – “ортодокс”... Я объявляю себя решительным врагом ваших нынешних платформ и лозунгов. Я не верю в глубину и значительность Вашего “православия”». Но заканчивалось это письмо такими словами: «Целую Вас. Любящий Вас Ник<олай> Бердяев»^[315].

Точно так же как в личных письмах, он был решителен и бескомпромиссен в статье «Эпигонам славянофильства», опубликованной в «Биржевых Ведомостях» 18 февраля 1915 года: «Реставрация славянофильства есть реакция в глубочайшем смысле слова. Последствия этой реакции немедленно дают себя знать на практике... Если бы они имели смелость до конца раскрыть свои религиозно-общественные и религиозно-государственные верования и упования, то это стало бы ясно»^[316].

Бердяев оказался прозорливее своих оппонентов, видя тупиковость их пути. Подобно Чаадаеву, он не мог любить Россию слепо. Скоро жизнь подтвердила его правоту. Суд готовился в истории не только над Германией, но еще более близкий и страшный – над Россией, ничуть не менее отравленной демоническими стихиями, теми самыми «трихинами» Достоевского.

Правда, следует оговориться, «славянофильство» Вяч. Иванова, если его можно даже так назвать, никогда не было окрашено в националистические и державные цвета. Это в своей статье подтверждал и Бердяев.

Однако баталии между теми, кто, несмотря на глубокие разногласия, говорил на языке одной, драгоценной им всем культуры, могли происходить не только серьезные, но и очень веселые, искрящиеся умом и красотой слова. Полем таких шуточных сражений стал в 1915 году рукописный домашний

журнал «Бульвар и Переулок». Его листки хранятся в фонде М. О. Гершензона Отдела рукописей Российской государственной библиотеки. Добротную и подробную статью о «Бульваре и Переулке» с приложением материалов из журнала опубликовала в десятом номере (1994) «Нового литературного обозрения», полностью посвященном Вяч. Иванову, В. Ю. Проскурина.

Возникло это рукописное издание из дружеских вечеров и застолий русских мыслителей – участников Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева. Журнал недаром получил свое название. Сложилось так, что «славянофилы» – Вяч. Иванов, В. Ф. Эрн, С. Н. Булгаков – жили на Зубовском бульваре, а их противники – рядом, в переулках между Арбатом и Пречистенкой. На рисунке Е. С. Кругликовой, который предназначался для обложки, на углу бульвара и переулка нос к носу сталкиваются кот и пес. Этот символ противостояния – «как кошка с собакой» – имел еще и скрытый смысл. Кот был своеобразным семейным тотемом Вяч. Иванова и его домашних, пес – не менее очевидным «геральдическим знаком» Бердяева с его атакующим полемическим задором и темпераментом. К тому же если Ивановы всегда держали котов и кошек, Бердяевы – собак. Не склонный к слезам философ вспоминал, как плакал, когда умер его мопс Томка и когда при высылке из советской России вынужден был расстаться со своим скайтерьером Шулькой. Но, впрочем, в Париже любимцем Бердяева и Лидии Юдифовны стал кот по имени Мури – «красавец и настоящий шармёр». Когда он умер, Бердяев рыдал.

В феврале 1915 года, приехав в Москву после очередного продолжительного отсутствия, Бердяевы остановились, как они предполагали поначалу, ненадолго, в квартире сестер Аделаиды и Евгении Герцык в Кречетниковском переулке, 13. Но через две недели Бердяев упал на улице и сломал ногу. Два

месяца ему пришлось провести в гипсе у сестер Герцык, что не мешало продолжению горячих споров с Вяч. Ивановым, В. Ф. Эрном и С. Н. Булгаковым. «Вот тогда-то, – писала В. Ю. Проскурина, – скорее всего, и намечаются контуры “Бульвара и Переулка” с “нейтральной” зоной в доме сестер Герцык, объединивших противостоящие стороны. Тогда и сочиняется объявление о выходе журнала со списком участников»... [\[317\]](#)

В этот список вошли Вяч. Иванов, Н. А. Бердяев, В. Ф. Эрн, М. О. Гершензон, С. Н. Булгаков, Л. И. Шестов, А. К. и Е. К. Герцык, Ю. К. Балтрушайтис. Кроме того, авторами журнала были жены Н. А. Бердяева и Вяч. Иванова – Лидия Юдифовна и Вера Константиновна.

Оппоненты «бульварников» именовались «переулочниками». М. О. Гершензон с семьей (он был женат на сестре консерваторского профессора Лидии Ивановой А. Б. Гольденвейзера Марии Борисовне) жил в Большом Николопесковском, 13; Бердяевы весной 1915 года переехали от сестер Герцык в Большой Власьевский, 14, где прожили семь лет вплоть до самого изгнания. Об этом постоянно спорящем между собой содружестве, пытаюсь понять его, Е. К. Герцык писала: «Но что же объединяло между собой таких несхожих мыслителей, как Вяч. Иванов и Гершензон, Шестов и Бердяев? Это не группа идейных союзников, как были в прошлом, например, кружки славянофилов и западников. И все же связывала их не причуда личного вкуса, а что-то более глубокое. Не то ли, что в каждом из них таилась взрывчатая сила, направленная против умственных предрассудков и ценностей старого мира, против иллюзий и либерализма, но вместе с тем и против декадентской мишуры, многим тогда казавшейся последним словом?» [\[318\]](#)

Смеховая традиция «Бульвара и Переулка» была тесно связана с «арзамасскими» забавами и с наследием Козьмы Пруткова. Здесь царили пародия и веселый перевертыш. Для травестирования мог сгодиться даже формат газетного объявления, как, например, в шуточном опусе Эрнэ «Бульварная пресса и переулочные точки зрения». Вот одно из этих объявлений: «Вегетарианская столовая... Примерное меню: 1. Разварной тезис. 2. Антитезис с горьким миндалем. 3. Душа России всмятку. 4. Салат из антиномий. 5. Пастеризованный синтез... Собачья Площадка, что у Николы-на-Ямах...»^[319]

Текст был, конечно же, рассчитан на очень узкий круг «своих», знающих обстоятельства и потому хорошо понимающих намеки. Речь шла о Бердяеве. «Тезис», «антитезис», «синтез», «антиномии» были постоянными композиционными приемами в его сочинениях, методом парадоксального мышления философа. «Душой России» называлась одна из бердяевских работ, вышедшая отдельным изданием в 1915 году. Адрес «Собачья площадка, что у Николы-на-Ямах» тоже включал в себя сразу несколько намеков. «Собачья площадка», где философ никогда не жил, напоминала о бердяевском «тотеме» с рисунка Е. С. Кругликовой. Трактир «у Николы, что на Яме» находился на противоположном конце Москвы от арбатской Собачьей площадки – у Мясницких ворот. Всем было известно, что Бердяев ходил туда беседовать с народными богоискателями. И наконец, «Ямы» во множественном числе намекали на неблагоустроенность улиц, где философ сломал ногу.

Характер столь же веселого словесного шаржа носило «объявление» «Врачи и лечебницы», составленное Л. Ю. Бердяевой: «**Эрн В. Ф.**, профессор. По всем специальностям. Народная медицина... Баня,

травы, заговоры. Метод онтологический». Здесь явно пародировалось «славянофильство» Эрна.

«Иванов Вяч. Ив., приват-доцент. Гипнотизм, магнетизм. Ритмическая гимнастика. Лечит парами и эфиром»^[320]. В шуточном портрете выделялись главные черты прежнего хозяина «башни» – душеловца с его почти магической властью над умами, великого знатока античной и русской метрики.

А М. О. Гершензон сочинил для «Бульвара и Переулка» забавную «Теорию словесности», где уподобил грамматический состав предложения семье: подлежащее – отцу семейства, сказуемое – матери-хозяйке, дополнения – детям, прилагательные – племянницам и другим родственникам, живущим в доме. На основе этого он сделал «сравнительный анализ» стиля Бердяева и Вяч. Иванова: «Фраза Н. А-ча более похожа на деловое товарищество, нежели на любящую семью; у него члены фразы находятся между собою в юридических, но не в душевных отношениях, каждая фраза замкнута, не желает знать своих соседей... Отсюда проистекает впечатление, что слова, употребляемые Н. А-чем, в сущности, прирожденные холостяки... те немногие определения, которые родились у подлежащего со сказуемым, кажутся лишними, нелюбимыми...

То ли дело патриархальная фраза Вяч. Ив.! Здесь много детей... но еще больше гостей; ибо здесь царит радушное и приветливое гостеприимство, дверь для всех открыта и стол повсечасно уставлен яствами. Фраза Вяч. Ив. – многолюдная трапеза, где за непринужденной беседой сотрапезники неспешно вкушают поэзию и мудрость, коих к концу и вовсе не остается. Власть домохозяев – подлежащего и сказуемого – почти не чувствуется, но все совершается по их тайному замыслу... Сюда не войдет какой-нибудь

неуч, грубый труженик, конкретное существительное, здесь только избранные слова, которые способны поддержать разговор “о Логосе и о матерьях важных”; здесь вокруг стола что ни слово, то именитый символ, или благородная метафора, каждое существительное – не существительное, а глагол, именно “глагол времен, металла звон”, здесь дальние странники, выходцы из грек и из латин, ветхие мнихи, слова иератические, речения выпренье и торжественные»^[321].

Журнал «Бульвар и Переулок» просуществовал всего лишь несколько месяцев, но любовь к веселой импровизации сохранилась в семье Ивановых навсегда. Позже, в 1926 году, живя в Италии, дети Вяч. Иванова Лидия и Дмитрий начали выпускать для отца рукописную газету в одном экземпляре. Называлась она «Пуля Времен – Гляс наших, открытый всеми новому, НО благородному». (Слово «Гляс» возникло в результате опечатки вместо «глас», но прижилось и не было исправлено.) Газета выходила на протяжении многих лет. Среди ее воображаемых сотрудников были писавший политические передовицы ярый монархист генерал Поедай-Жаркое и заведующий культурной частью бывший семинарист Фьоресценский (явный намек на Флоренского). Публиковался в ней и Вяч. Иванов, а со временем стали появляться материалы и высказывания от лица собратьев по перу, разбросанных по всему миру, вовсе не знакомых людей, католических монсеньоров и даже папы римского. Никто из них, конечно, о своем «авторстве» в «Пуле» и не подозревал.

Летом 1916 года Ивановы вместе с Эрнами наняли дачу на Красной Поляне – неподалеку от Гагры. Там находились греческое селение и несколько профессорских дач. В ущельях и долинах среди гор рос густой лес. Повсюду царил дикая, первозданная

красота. Впоследствии Вяч. Иванов вспоминал об этих местах в неоконченной поэме «Деревья»:

И первую мне Красная Поляна,
Затворница, являет лес чинар,
И диких груш, и дуба, и каштана
Меж горных глав и снеговых тиар.
Медведь бредет, и сеть плетет лиана
В избыточной глуши. Стремится, яр,
С дубравных круч, гремит поток студеный
И тесноты пугается зеленой^[322].

Медведей, один из которых упомянут в поэме, в тех местах и в самом деле водилось немало. Лидия Иванова вспоминала, как однажды маленький Дима увидел рядом с собой четырех медвежат и хотел было к ним кинуться, но мама и нянюшка, несмотря на бурный протест ребенка, увели его во избежание встречи с медведицей, что могла появиться в любую секунду.

Познакомились тогда Ивановы и Эрны и с молодым монахом отцом Маркелом, который был тайным помощником отшельников-«имяславцев», живших вокруг в лесах. Возникло это направление в русском монастыре на Афоне. «Имяславцы» утверждали, что имя Иисуса уже само по себе есть Бог и обладает Божественной силой. В обители между братией вспыхнули бурные споры. Святейший синод Российской Православной Церкви, рассмотрев дело, признал «имяславство» (или, как его называли еще, «имябожество») ересью. В 1913 году к Афону подошли русские военные корабли. Несколько сотен «имяславцев» были насильственно вывезены в Россию и разосланы по разным монастырям. Некоторые из них тайно жили в лесах, в том числе и вокруг Красной Поляны. Лидия Иванова писала: «Они располагались за

много верст один от другого, и зимой были абсолютно лишены какого-либо общения с людьми... Летом же посредником меж ними служил о. Маркел. Он им носил провизию для зимы – муку, крупу, свечи, спички. Деньги о. Маркел добывал продажей мелких деревянных изделий – ложек, блюдец, разрезных ножей, которые пустыnnики вырезали из красивого белого дерева, напоминающего слоновую кость и прозванного в этих местах “кавказской пальмой”»[\[323\]](#).

«Имяславцам» в России сочувствовали очень многие верующие и культурные люди. В их защиту выступил отец Павел Флоренский. Одно из своих стихотворений посвятил «имяславцам» в 1915 году Мандельштам:

И поныне на Афоне
Древо чудное растет,
На крутом зеленом склоне
Имя Божие поет.

В каждой радуются келье
Имябожцы-мужики:
Слово – чистое веселье,
Исцеленье от тоски!

Всенародно, громогласно
Чернецы осуждены;
Но от ереси прекрасной
Мы спастись не должны.

Каждый раз, когда мы любим,
Мы в нее впадаем вновь.
Безымянную мы губим
Вместе с именем любовь [\[324\]](#).

Благоволил «имяславцам» и Эрн. Он сумел войти с ними в доверительные отношения и даже пригласил одного из пустынников встретиться с ним и Вяч. Ивановым. Когда тот пришел, они втроем закрылись в комнате и очень долго, оживленно и сердечно беседовали. На Вяч. Иванова эта встреча произвела глубокое и радостное впечатление.

Осенью Лидия с М. М. Замятниной и Эрнами вернулась в Москву, поскольку начинались занятия в консерватории. Вяч. Иванов с Верой и Димой решили на год остаться на юге. На две недели они остановились в Мацесте, где поэт лечился грязевыми ваннами, а затем поселились в пансионате «Светлана» в Сочи. Вяч. Иванов работал там очень много: написал значительную часть мелопеи «Человек», ряд лирических стихотворений, перевел размером подлинника Эсхиловы трагедии.

В декабре из Москвы приехала Лидия, чтобы провести с семьей рождественские праздники. Об этих днях она вспоминала: «Среди пансионеров были певцы, один пианист; они устраивали музыкальные вечера. Вячеслав для забавы написал маленькую драматическую сценку, и Вера устроила спектакль. Я забыла, о чем шла речь, но было что-то патетическое и появлялся отравленный букет цветов»^[325].

Весело и беспечно праздновали в пансионате «Светлана» наступающий 1917 год.

Глава VII

«На дне преисподней». 1917-1920 годы

Февральскую революцию огромное большинство русской интеллигенции встретило с восторгом. Не были исключением и поэты. Мережковский и Гиппиус увидели в этих событиях осуществление заветов и чаяний свято чтимых ими декабристов. Блок, прибыв с фронта, где он находился в составе инженерной дружины Союза земств и городов (в «земгусарах», как называли этих солдат), тут же, не будучи демобилизован, был прикреплен в качестве секретаря к Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного правительства по расследованию злоупотреблений царской власти.

Федор Сологуб воспел февраль такими стихами:

Тяжелый и разящий молот
На ветхий опустился дом.
Надменный свод его расколот,
И разрушенье словно гром.

Все норы самовластных таин
Раскрыл ликующий поток,
И если есть меж нами Каин,
Бессилен он и одинок.

.....

Назад зовущим дети Лота
Напомнят горькой соли столп.
Нас ждет великая работа
И праздник озаренных толп.

И наше новое витийство,
Свободы гордость и оплот,
Не на коварное убийство —
На подвиг творческий зовет [\[326\]](#).

И лишь очень немногие среди всеобщего ликования зорко видели уже близкий, самый страшный в русской истории обвал, когда вновь замаячили впереди призраки смуты и опричного разгула. Одним из этих немногих был Максимилиан Волошин. В статье «Россия распятая» он вспоминал о мартовских днях 1917 года, проведенных в Москве: «По мокрому снегу под кремлевскими стенами проходили войска и группы демонстрантов. На красных плакатах впервые в этот день появились слова: “Без аннексий и контрибуций”. Благодаря отсутствию полиции в Москву из окрестных деревень собралось множество слепцов, которые, расположившись по папертям и по ступеням Лобного места, заунывными голосами пели древнерусские стихи о Голубиной книге и об Алексее – человеке Божьем.

Торжествующая толпа с красными кокардами проходила мимо, не обращая на них никакого внимания. Но для меня, быть может подготовленного уже предыдущим, эти запевки, от которых веяло всей русской стариной, звучали заклятиями. От них разверзлось время, проваливалась современность и революция, и оставались только кремлевские стены, черная московская толпа да красные кумачовые пятна, которые казались кровью, проступившей из-под этих вещей камней Красной площади, обогранных кровью Всея Руси. И тут же внезапно и до ужаса отчетливо стало понятно, что это только начало, что Русская революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы

стоим на пороге Великой Разрухи Русской земли, нового
Смутного времени»[\[327\]](#).

В те же дни Волошин написал стихотворение
«Москва», где отчетливо слышалось это предчувствие
близкой смуты:

В Москве на Красной площади
Толпа черным-черна.
Гудит от тяжелой поступи
Кремлевская стена.

На рву у места Лобного
У церкви Покрова
Возносят неподобные
Нерусские слова.

Ни свечи не засвечены,
К обедне не звонят,
Все груди красным мечены,
И плещет красный плат.

По грязи ноги хлюпают,
Молчат... проходят... ждут...
На папертях слепцы поют
Про кровь, про казнь, про суд [\[328\]](#).

Чувством приближающейся катастрофы были
проникнуты и написанные в мае 1917 года стихи
Марины Цветаевой, хорошо знавшей историю
французской революции, когда мечты Мирабо
и Лафайета обернулись гнусным беснованием
парижской революционной черни и кровавым безумием
якобинства:

Из строгого, стройного храма
Ты вышла на визг площадей...
– Свобода! – Прекрасная Дама
Маркизов и русских князей.
Свершается страшная спевка, —
Обедня еще впереди!
– Свобода! – Гулящая девка
На шалой солдатской груди![\[329\]](#)

О событиях, произошедших в Петербурге – отречении царя от престола и создании Временного правительства, Вяч. Иванов узнал в Сочи. Отношение его к революции было двойным. Всем сердцем он хотел надеяться, что свобода в России восторжествует и жизнь станет достойной и возвышенной, основанной на идеале евангельской правды. Но внутренний опыт подсказывал ему, что народ к этому не готов и вся полнота свободы и добра может осуществиться лишь в эсхатологической перспективе. Внешние социальные перемены не уберегут от подводных камней истории, от страшных срывов и потрясений, не улучшат духовный мир человека. Главная битва со злом совершается внутри, а не вовне. Об этом Вяч. Иванов размышлял в стихотворении «Поэт на сходке». В нем явственно отзывалось пушкинское «Поэт и толпа». Также звучал мотив сущностного взаимного непонимания. Если поэт звал к миру, толпа была упоена ненавистью к «проклятому прошлому», видя в нем главное препятствие на пути к счастью:

Юродивый о тишине
Поет под гул землетрясения
И грезит: родина во сне
Внимает вести воскресенья...
Не видит он, что эта груда

Во прах поверженных твердынь,
Народом проклятых гордынь —
Народной ненависти чудо,
Не дар небесных благостынь... [\[330\]](#)

Поэт же прозревал страшную, уже недалекую опасность, связанную со слепым самоупоеанием толпы и ее неглубоким пониманием свободы как «свободы от», а не «свободы для», предостерегал от «исторической дальнорзости», когда далекое казалось близким:

Но подле колыбели вырыт
Могильный ров, – народ, внимли!..
И воинов скликает Ирод
Дитя похитить у Земли!

Всем миром препояшьте к брани,
Замкните в дух огни знамен —
И бойтесь праздновать заране
Последний приговор времен! [\[331\]](#)

Хотя вопреки этому Вяч. Иванова охватывал порой порыв надежды, восторг сопричастности всенародному делу, «соборному действию», и он был счастлив слить свой голос с общим хором во имя торжества свободы. Но и тогда он понимал, что путь к свободе долог и труден, требует внутренних усилий и духовного подвига, самоотречения ради ближнего, как видно из его патриотического гимна «Вперед, народ свободный»:

Вперед идя, за шагом шаг,
Будь верен первой из присяг:
Пока не сыт голодный
И с братом брат как с волком – волк, —

Твоя свобода – праздный толк.
Вперед, народ свободный!
Свобода – честь, свобода – долг,
Свобода – подвиг славный,
Свобода – труд державный [\[332\]](#) ...

Словно отзывалась в этих стихах последняя сцена из «Фауста»: «Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день за них идет на бой» [\[333\]](#).

Но, увы, очень скоро то, что многим казалось торжеством жизни, станет шествием смерти. Уже невдали слышался шаг шеренг «дрожащих лемурув»...

Дочь поэта вспоминала свои впечатления от первых дней февральской революции, о том, как встретила ее Москва: «Иду вдоль кремлевских стен, пробираюсь сквозь толпу. Весенний ласковый день, светит солнце. И тут странное явление: конечно, в церковные колокола никто не бил, но у меня осталось яркое воспоминание о пасхальном перезвоне всех московских колоколов. Встречные все смотрят друг на друга, как на родных, многие целуются. Упал старый режим, точно тяжелая свинцовая крепость по чудесному мановению растаяла – исчезла. Как карточный домик. Бескровная революция» [\[334\]](#).

Но такое восторженное восприятие оказалось обманчивым. Очень скоро оно сменилось разочарованием.

Революция отнюдь не была «бескровной». Сразу начались массовые убийства городских, жандармов, офицеров, если те отказывались надеть красный бант. День ото дня усиливалось разложение армии на фронте. В тылу то и дело вспыхивали мятежи. Кульминацией стала июльская попытка переворота в Петербурге. Управленческие структуры были

парализованы. Беспомощность власти в условиях всеобщего кризиса грозила катастрофой. В стране воцарился хаос – не согласное «соборное действо», а оргиастический дионисийский разгул, своеволие, несовместимое со свободой, преддверие невиданной кровавой вакханалии.

Искони простора,
Воли да раздолья,
Хмеля да веселья
Хочет Русь.
На пиру хлебнула
С волей своеволья,
Да и захмелела [\[335\]](#).

Придя домой, Лидия поделилась своими восторгами с Эрном, но философ почему-то не спешил разделять их, хотя и не показывал этого явно. Вскоре он тяжело заболел. У него обострился хронический нефрит. Болезнь протекала мучительно, и 29 апреля 1917 года Эрн скончался. Стояли пасхальные дни. Гроб с телом Эрна провожали на кладбище Новодевичьего монастыря под пение «Христос Воскресе». Теперь к двум дорогим Вяч. Иванову могилам – Соловьева и Скрябина – там прибавилась третья.

О смерти друга поэт узнал от Лидии, когда та приехала на каникулы в Сочи. Она рассказала об этом отцу и Вере на берегу моря. Горестные минуты запечатлелись в стихотворении «Скорбный рассказ»:

На скорбные о том, как умер он, расспросы
Ты запись памяти, не тайнопись души
Читала нам в ответ; меж тем прибоя росы
У ног соленые лоснили голыши.
Как море, голос твой был тих; меж тем украдкой

Живой лазури соль кропила камень гладкий^[336].

Памяти Эрн Вяч. Иванов посвятил несколько стихотворений. Вспоминал он его и в неоконченной поэме «Деревья», где говорилось о их дружеском общении в Красной Поляне в то прекрасное лето 1916 года:

Владимир Эрн, Франциска сын, – аминь!
Ты не вотще прошел в моей судьбине.
Друг, был твой взор такую далью синь,
Свет внутренний мерцал в прозрачной глине
Так явственно, что ужасом святынь,
Чей редко луч сквозит в земной долине,
Я трепетал в близи твоей не раз
И слезы лил внезапные из глаз^[337].

Летние дни, проведенные под теплым южным солнцем на берегу ласкового моря, стали для Ивановых последним временем блаженства перед чередой тяжких испытаний и потрясений, которые им суждено будет разделить со всей страной. Буквально через два месяца после того как они вернулись в Москву, грянул октябрьский переворот. На смену власти, не способной ни на что, приходила та, что была способна на всё.

Есть в истории российской словесности некие таинственно-судьбоносные произведения. Они странным образом, неведомым самим их творцам, отзываются в происходящих событиях.

Так было с Пушкиным, когда, вернувшись домой после неудачного побега из Михайловского, поэт задался вопросом о соотношении случайности и закономерности в истории: стал бы Рим республикой, если б Тарквиний не овладел Лукрецией? За ночь с 13

на 14 декабря 1825 года он написал поэму «Граф Нулин», где герой терпит неудачу. В тот же день восстание на Сенатской площади было разгромлено.

Вяч. Иванов в Москве пишет статью «Скрябин и дух революции», где есть такие слова: «Так, если душа революции – порыв к инобытию, демон Скрябина был, конечно, одним из тех огнеликих духов, чей астральный вихрь мимолетом рушит вековые устои – и недаром знаменовался мятежным знаменем древнего Огненосца... Не одних скитальцев... звал за собою этот демон, но подымал своими заклинаниями всю громаду человечества, как возмущает ангел великого восстания народное море, взрывая вверх все, что улеглось и отстоялось на дне и в мрачную муть дикого волнения обращая спокойную прозрачность глубин»^[338]. Под статьей стояла дата – «24 октября 1917 г.».

Дом, где жили Ивановы, оказался в ноябре 1917 года в эпицентре московских уличных боев, когда верные законному правительству юнкера и офицеры пытались остановить наступавшие на Кремль отряды мятежников. Самые ожесточенные перестрелки происходили совсем недалеко – на Пречистенке и Остоженке, рядом с Главным штабом Московского военного округа. С Воробьевых гор артиллерия большевиков обстреливала Кремль, и снаряды пролетали прямо над домом. Однажды окно в квартире Ивановых разбила пуля. Тут же послышался свирепый стук в дверь и в коридор вломились разъяренные солдаты, утверждавшие, что в них стреляли из окна ивановской квартиры. Они требовали сдать оружие. Вяч. Иванов спокойно объяснил, что оружия у него нет, и предложил обыскать дом. Ему сначала не поверили, звали с собой вниз, чтобы там «объясниться», но в конце концов невозмутимость и открытость поэта

решили дело. Сказав, что произошло «недоразумение», солдаты спешно ушли.

Столь же невозмутимо вел себя в те дни и Бердяев, продолжавший во время обстрелов как ни в чем не бывало работать в кабинете. Был даже случай, когда в дом попал снаряд и все жильцы бросились в подвал. Бердяев же прежде разыскал своего любимого песика Шульку, взял его под мышку и только после этого спокойно спустился в убежище. А на следующий день в квартире этажом ниже, под самым кабинетом Бердяева, обнаружили неразорвавшуюся гранату.

Обстрел Кремля недаром назвали впоследствии «расстрелом». Его зданиям, хранящим память веков русской истории, был нанесен чудовищный ущерб. Большевики действовали беспощадно и безграмотно. Известен случай, когда пьяный артиллерист, потеряв раму для прицела, начал целиться через дуло. В результате снаряд, пролетев мимо Кремля, сшиб в другом месте Москвы фабричную трубу, убив при этом нескольких случайных прохожих.

Прямо напротив окон квартиры Ивановых почти трое суток полыхал огромный пожар, охвативший чуть ли не квартал. Тушить было некому. Наверное, так же горела Москва во время наполеоновского нашествия. И тогда, и теперь город находился в руках «воинствующих безбожников». Но свои оказались долговечнее и уж куда как лютее к собственному народу, чем даже иноземные захватчики...

В нескольких сгоревших неподалеку от Зубовского бульвара строениях размещалось книгоиздательство Сабашниковых. В пожаре погиб весь тираж только что напечатанной книги Вяч. Иванова «Эллинская религия страдающего бога». У поэта, к счастью, сохранился корректурный экземпляр.

Но в то же самое время в терзаемом смутой древнем городе под грохот орудий, стук пулеметов и ружейную

пальбу происходило другое событие, среди страданий, крови, в разгар бесовского торжества, вопреки ему обозначившее поворот в глубинах русской истории. В Кремле и в храме Христа Спасителя с 28 августа 1917 года начал свою работу первый за двести семнадцать лет Всероссийский Поместный Собор Православной Церкви. Со всей страны на него были избраны 564 депутата: архиереи, священники, монахи, миряне. Собор подводил черту под «Синодальным периодом» – пресловутой «симфонией», которая на деле обернулась какофонией и двести лет сковывала живую жизнь русской Церкви, подчинив ее империи. Но за этим стоял еще более глубокий смысл – завершалась полуторатысячелетняя «константиновская» эпоха. Церковь переставала опираться на костыль государства. При всех спорах и разногласиях соборная воля склонялась к восстановлению патриаршества. Горячим сторонником его был и С. Н. Булгаков, избранный депутатом Собора как представитель от высших школ вместе с другим членом Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева – Е. Н. Трубецким, а также всемирно известным историком Древнего Востока академиком Б. А. Тураевым. Наряду с представителями духовенства, крестьянства и других сословий здесь присутствовал и цвет русской интеллигенции, без которой полнота народа была немыслима.

5 (18) ноября, под грохот уличных боев, когда Кремль еще удерживали верные Временному правительству войска, Собор избирал патриарха из трех епископов, набравших наибольшее количество голосов. Дальше все решал жребий. Большинство участников Собора ожидали, что патриархом станет митрополит Антоний Храповицкий – лидер правого крыла Русской Церкви, непоколебимый сторонник сохранения привилегий епископата, жесткий консерватор, твердый

и волевой. Но неожиданно для всех жребий пал на митрополита Московского Тихона, умеренного по взглядам и отличавшегося мягкосердечием, приветливостью и бесконечной добротой. Еще в годы учебы товарищи прозвали семинариста Василия Белавина «Патриархом». Тогда не было и намека на восстановление патриаршества на Руси, и как бы они удивились, узнав, чем обернется их шутка!

Свое избрание на Патриарший престол Тихон принял со слезами. Он предвидел, какую горькую чашу страданий доведется ему испить. В речи, обращенной к Собору, он сказал: «Ваша весть об избрании меня в Патриархи является для меня тем свитком, на котором было написано: “Плач и стон и горе” (Иез. 2:10)... Сколько и мне придется глотать слез и испускать стонов... в настоящую тяжелую годину! Подобно древнему вождю еврейского народа – пророку Моисею, и мне придется говорить ко Господу: “И почему я не нашел милости пред очами Твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего” (Числ., 11:11)»^[339].

Эта речь патриарха, произнесенная, когда в стране рушилась жизнь, откликнулась в стихотворении Мандельштама «Сумерки свободы»:

Прославим роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть – тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет^[340].

Другой русский поэт – Максимилиан Волошин, вспоминая исторический опыт преодоления смуты в XVII веке, опубликовал в крымской газете «Таврический голос» (1918. № 67. 22 декабря) статью под названием

«Вся власть Патриарху». В ней он писал: «Не случайно русская Церковь в тот самый момент, когда довершался разгром Русского государства, была возглавлена Патриархом. Не случайно большинство Собора, бывшее против Патриархата, тем не менее установило его, интуитивно повинувшись скрытому гению Русской истории. При развале Русского государства Патриарх, естественно, становится духовным главой России.

Как в то время, когда насущной исторической задачей момента было разрушение России, проводимое последовательно и неуклонно по гениальным планам германского Генерального Штаба, лозунг момента был прекрасно сформулирован Лениным в его книге “Вся власть – Советам!”, так теперь, когда дело идет о воссоздании единой России, лозунгом должна стать формула “Вся власть – Патриарху”.

Патриарх в настоящее время естественный глава России. Ему надлежит направлять действия Добровольческой армии, ему право созвания “Земского Собора”; он предлагает Собору возможные формы постоянной власти, он благословляет власть, утвержденную Собором»^[341].

Но призыв Волошина остался втуне. В отличие от начала XVII столетия в России теперь не было единой народной воли к преодолению смуты. Узурпаторы крепко держали власть в своих руках, действуя по-разбойничьи бесстыдно. Многократно опробованный ими террор стал носить массовый характер. К тому же сам патриарх Тихон совсем не хотел поднимать упавший в прах державный скипетр. Он настаивал на принципе аполитичности Церкви. Несмотря на многочисленные уговоры, он отказался благословить Добровольческую армию и Белое движение. Всею глубиной сердца патриарх понимал, что Россию может спасти только духовное преображение, а не военно-

политические меры. Стране предстояло долго и трудно изживать свою болезнь изнутри.

С. Н. Булгаков сразу включился в работу Собора. Тяжелый, добросовестный, производительный труд, со стороны кажущийся неподъемным, был для него не внове. Он с радостью отдал всего себя делу возрождения Церкви. Булгакову поручили готовить соборные документы. Составил он и первое послание от лица патриарха Тихона о вступлении на престол. В нем говорилось: «В годину гнева Божия, в дни многоскорбные и многотрудные вступили мы на древнее место патриаршее. Испытание изнурительной войной и гибельная смута терзают Родину нашу... Но всего губительнее снедающая сердца смута духовная. Затемнились в совести народной христианские начала строительства государственного и общественного, ослабела и самая вера, неистовствует безбожный дух мира сего. Но среди свирепеющей бури слышится верному сердцу слова Господа: *«Что тако страшливи есте: како не имате веры»* (Мк. 4, 40)... Ныне потребно сие дерзновение веры, беспрепетное ее исповедание во всяком слове и делании»^[342]. Но в это судьбоносное для Русской Церкви время сердце Булгакова жаждало большего, чем работа над соборными документами. Он принял твердое решение стать священником. Память о ливенском детстве в отцовском доме, о тихой и ясной радости на литургии в зрелости обернулась осознанным выбором, выстраданным всем опытом жизни. Кроме С. Н. Булгакова желание принять сан изъявили два других участника Собора – князь Ухтомский и известный журналист Валентин Свенцицкий (впоследствии священномученик, погибший в 1931 году в застенках НКВД). Булгаков обращался с просьбой о рукоположении к епископу Федору Поздеевскому и к самому патриарху Тихону. Тот с улыбкой отшучивался:

«Вы нам в сюртуке важнее». Но в конце концов он уступил настойчивым и горячим просьбам Булгакова. Рукоположение состоялось в Даниловом монастыре солнечным летним днем 1918 года. Профессор Сергей Николаевич Булгаков, великий ученый, писатель и богослов, стал отцом Сергием. Жизнь обрела венец. На рукоположении, разделяя с ним радость, присутствовали его многочисленные друзья, в том числе и Вяч. Иванов. Потом духовенство храма устроило чаепитие, что в те времена было нелегко. Сам Булгаков вспоминал: «9 июня в канун Троицына дня я отправился в Данилов монастырь, неся с собой узел с духовным платьем. Обрато в нем же принес я уже свою сюртучную пару. В Даниловом монастыре по благословению преосвященного Феодора (Поздеевского) я и ночевал. В день Святой Троицы я был рукоположен во дьякона. Если можно выразить невыразимое, то я скажу, что это первое дьяконское посвящение пережито было мною, как самое огненное. Это явилось для меня началом нового состояния моего бытия...

Когда я шел домой по большевистской Москве в рясе, вероятно, с явной непривычностью нового одеяния, я не услышал к себе ни одного грубого слова и не встретил грубого взгляда. Только одна девочка в Замоскворечье приветливо мне сказала: “Здравствуйте, батюшка”. И буквально то же самое повторилось и на следующий день, когда я возвращался уже священником. Переживания этого рукоположения, конечно, еще более неописуемы, чем дьяконство... Была общая радость, и сам я испытывал какое-то спокойное ликование. Чувство вечности. Умирание миновало, как проходит скорбь страстных дней в свете пасхальном. То, что я переживал тогда, и была та пасхальная радость»[\[343\]](#).

Одну из первых своих литургий отец Сергей Булгаков отслужил в храме Ильи Обыденного, что в Обыденском переулке, неподалеку от Остоженки. Не исключено, что Вяч. Иванов также присутствовал на ней.

Связать жизнь с Русской Православной Церковью, а тем более принять священнический сан было в те годы подвигом. Старая русская поговорка «Близ царя – близ смерти» полностью относилась теперь к патриарху. Даже просто в буквальном смысле – в Донском монастыре от пули «неизвестных» ночных гостей погиб верный келейник святейшего Яков Анфимович Полозов, заслонивший его собой.

Новая власть сразу явила свою богоборческую сущность. Многие русские епископы, священники и монахи приняли тогда мученическую смерть. Большевики уничтожали их с особым остервенением, как когда-то якобинцы – французское духовенство. Сказывалась вековая бесовская революционная ненависть к Евангелию и Церкви, идущая еще от вольтеровского «Раздавите гадину!». Красный террор, официально объявленный 5 сентября 1918 года, начался на самом деле с первых дней советской власти. Массовые бессудные расстрелы стали в Москве повседневностью. Сначала их производили в Петровском парке, где среди других был расстрелян любимый москвичами отец Иоанн Восторгов, затем на Ходынке, в Хамовнических казармах, в бывшем Александровском юнкерском училище на Знаменке и на городских кладбищах. Обычно расстреливали в ночное время, тайно, включая мотор автомобиля, чтобы заглушить звуки выстрелов и крики казнимых, тела которых тут же зарывали.

Москва превратилась в самое большое в России место концентрации политзаключенных, заложников и пленных. Заложниками становились люди из всех

сословий – духовенства, интеллигенции, дворянства, купечества, а также простые горожане и крестьяне. Взятый в заложники был почти наверняка обречен на расстрел.

ЧК со своей страшной внутренней тюрьмой занимала целый комплекс зданий на Лубянке. Один из москвичей, имея в виду справочное издание тех лет «Вся Москва», горько пошутил: «Посмотрите адрес-календарь Москвы, и вы увидите, что “Вся Москва” сидит или сидела тут».

Но поскольку московские тюрьмы не могли вместить огромного количества узников, в первые же месяцы своего существования ЧК начала создавать в Москве концлагеря. Это были первые семена ГУЛАГа, который заполнит потом всю страну. Многие из лагерей разместили в древних московских монастырях – Иоанно-Предтеченском, Рождественском, Андреевском, Спасо-Андрониковом, Новоспасском, Покровском и других. Самыми страшными расстрельными местами стали Иоанно-Предтеченский и Новоспасский монастыри. В Новоспасском работал настоящий конвейер смерти. По свидетельству очевидцев, тела расстрелянных зарывали прямо тут же, в насыпи на берегу Москвы-реки.

13 (26) октября 1918 года патриарх Тихон отправил Совету народных комиссаров свое послание, в котором подводил итог годовщине кровавого правления большевиков. Впервые со времен митрополита Филиппа, обличавшего злодеяния Ивана Грозного, этого венчанного душегуба, верховный пастырь Русской Церкви обращался к власти с таким горьким и гневным пророческим словом: «Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания?..

Народу... вы обещали дать мир “без аннексий и контрибуций”.

От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию к позорному миру? Вместо аннексий и контрибуций великая наша Родина завоевана, умалена, расчленена, и в уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото.

Вы отняли у воинов все, за что они прежде доблестно сражались. Вы научили их, недавно еще храбрых и непобедимых, оставить защиту Родины, бежать с полей сражения...

Отказавшись защитить Родину от внешних врагов, вы, однако, беспрерывно набираете войска.

Против кого вы их ведете?

Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и, вместо мира, искусственно разожгли классовую вражду...

Не России нужен был заключенный вами позорный мир с внешним врагом, а вам, задумавшим окончательно разрушить внутренний мир. Никто не чувствует себя в безопасности; все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью, часто без всякого следствия и суда... Казнят не только тех, которые перед вами в чем-либо провинились, но и тех, которые даже перед вами заведомо ни в чем не виновны, а взяты лишь в качестве "заложников"... Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чем не виновных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой и неопределенной "контрреволюционности". Бесчеловечная казнь отягчается для православных лишением последнего предсмертного утешения - напутствия Святыми

Тайнами, а тела убитых не выдаются родственникам для христианского погребения.

Но вам мало, что вы обагрили руки русского народа его братской кровью... вы толкнули его на самый открытый и беззастенчивый грабеж...

Сначала под именем "буржуев" грабили людей состоятельных; потом, под именем "кулаков", стали грабить наиболее зажиточных и трудолюбивых крестьян, <...> хотя вы не можете не сознавать, что с разорением великого множества отдельных граждан уничтожается народное богатство и разоряется сама страна...

Вы обещали свободу...

Великое благо - свобода, если она правильно понимается: как свобода от зла, не стесняющая других, не переходящая в произвол и своеволие. Но такой-то свободы вы не дали: во всяческом потворстве низменным страстям толпы, в безнаказанности убийств, грабежей заключается дарованная вами свобода. Все проявления как истинной гражданской, так и высшей духовной свободы человечества подавлены вами беспощадно. Это ли свобода, когда никто без особого разрешения не может провезти себе пропитание, нанять квартиру, когда семьи, а иногда население целых домов, выселяются, а имущество выкидывается на улицу, и когда граждане искусственно разделены на разряды, из которых некоторые отданы на голод и разграбление? Это ли свобода, когда никто не может высказать открыто свое мнение, без опасения попасть под обвинение в контрреволюции? Где свобода слова и печати, где свобода церковной проповеди? Уже заплатили своей кровью мученичества многие смелые церковные проповедники; голос общественного и государственного осуждения и обличения заглушен; печать, кроме узко большевистской, задушена совершенно...

Не буду говорить о распаде некогда великой и могучей России, о полном расстройстве путей сообщения, о небывалой продовольственной разрухе, о голоде и холоде, которые грозят смертью в городах, об отсутствии нужного для хозяйства в деревнях... Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества, и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя»^[344].

Большевики пытались разрушить Церковь не только извне, но и изнутри. Для этого и был создан «обновленческий» проект, рожденный в недрах ЧК. Многие из революционеров учились в духовных семинариях, ставших во второй половине XIX века рассадниками атеизма и радикальных взглядов. Они хорошо знали внутреннюю жизнь Церкви и ее противоречия, в частности недовольство белого духовенства епископатом, на чем и сыграли. Немало священников придерживалось тогда левых убеждений. Даже отец Сергей Булгаков долгое время был сторонником идеи «христианского социализма». Реформы в Церкви – и канонические, и касающиеся приходской жизни – назрели давно, но они оказались в руках тех, кто рьяно изъявил готовность во всем сотрудничать с новой, откровенно безбожной властью. Так возникла «Живая церковь». Среди ее деятелей и сторонников было много людей искренних, жаждущих благих перемен, но были и завзятые властолюбцы и интриганы, не брезгающие предательством и доносами. При всем своем «модернизме» лидеры обновленчества – епископ Антонин Грановский, Александр Введенский, Владимир Красницкий и другие – оказались приверженцами давней и худшей церковной традиции – искать опору и поддержку в светской власти, забыв слова из псалма, звучащие на каждой литургии: «Не

надейтесь на князи, на сыны человеческие, в них же несть спасения».

В 1922 году обновленцам удалось добиться заключения под домашний арест патриарха Тихона. Как раз в это время Бердяев готовился к высылке из России, и ему часто приходилось бывать в ГПУ.

О том, чему ему там довелось быть свидетелем, мыслитель поведал в автобиографической книге «Самопознание»: «Однажды я пришел в Гепеу и дожидался следователя, заведывавшего высылкой. Я был поражен, что коридор и приемная Гепеу были полны духовенства. На меня это произвело тяжелое впечатление. К Живой церкви я относился отрицательно, так как ее представители начали свое дело с доносов на патриарха и Патриаршую церковь. Так не делается реформация, которой я сам хотел. В приемной Гепеу я столкнулся с епископом Антонином, которого я встречал в Петербурге. Епископ Антонин был один из самых талантливых и передовых русских епископов, он играл активную роль в Религиозно-философских собраниях. Но его роль в образовании церкви возрождения была некрасивой, он постоянно угрожал и доносил. Епископ Антонин подошел ко мне, поцеловал меня и хотел вести со мной интимный разговор, вспоминая прошлое. Разговор в приемной Гепеу мне показался неуместным, и я был с ним очень сух. Это было одно из последних моих впечатлений от советской России и не радостных»^[345].

Что же испытывал Вяч. Иванов в эти «минуты роковые»? Октябрьского переворота он принять не мог, видя его враждебность высшим духовным, нравственным и культурным ценностям и циничную бесчеловечность, лежащую в основе идеологии и политики большевиков. Но, в отличие от своих друзей Мережковского и Гиппиус, он не вступил на путь

открытого противостояния этой новой власти. Он просто был *глубинно иным* самим фактом своего бытия. То же, что Вяч. Иванов чувствовал и переживал в связи с событиями, тогда происходящими, отразилось в его стихах того времени. Они писались «по горячим следам».

Одно из них было посвящено расстрелу Кремля и избранию патриарха Тихона. 3 ноября снаряд шестидюймового орудия, пробив нижнюю часть Успенского собора, упал внутри его между патриаршим и царским местом. Вторым снарядом повредило купол главки храма с юго-западной стороны. Святыни Кремля были любимы поэтом еще с детства, когда он вместе с матерью совершал пешие прогулки – «паломничества» к мощам московских святителей. Теперь, вспоминая ту блаженную тишину, видя разрушаемым все дорогое его сердцу и одновременно величие происходившего вопреки торжеству зла, Вячеслав Иванов писал:

Когда кощунственный снаряд упал над старшим
Из храмов, что в кремле, и, купол просверля,
Меж государевым шатром и патриаршим
О плиты грохнулся, и сотряслась земля,
Но выстоял собор: седалище царево
Пустело, праздное, в те дни, а на другом
Вновь патриарх воссел и был в годину гнева,
Безглавый при царях, возглавлен Божий
Дом [\[346\]](#).

Другое стихотворение, написанное в то время, Вяч. Иванов посвятил памяти Ф. Ф. Кокошкина. С ним поэт подружился в годы войны. Внук знаменитого театрала XIX века, приват-доцент Московского университета по кафедре государственного права, автор ряда книг, Федор Федорович Кокошкин был видным земским

деятелем, одним из основателей Конституционно-демократической партии и ее депутатом в Государственной думе, где считался непревзойденным знатоком проблем местного самоуправления, конституционных и национальных вопросов. В 1917 году он стал членом Временного правительства и Учредительного собрания. 28 ноября (11 декабря) Кокошкина арестовали и отправили в Петропавловскую крепость. Заключенных там охраняли революционные матросы. Видя их зверское отношение к узникам, старые надзиратели Петропавловки ужасались и говорили, что прежде такие грубости были немыслимы. Позднее из-за тяжелой болезни Ф. Ф. Кокошкина перевели в Мариинскую больницу, где вместе с другим членом Временного правительства, А. И. Шингаревым, он был убит матросами.

С Кокошкиным, знавшим и любившим его поэзию, Вяч. Иванов дружил недолго, но крепко. Это чувство слышалось и в стихотворении, посвященном памяти замечательного деятеля и человека, бескорыстно и самоотверженно служившего на благо отечества:

Несчастный друг, слуга народный
И Муз поклонник благородный!
До времени пугала нас
Тебя зовущей Смерти близость.
Но зверского убийцы низость
Грозящий упредила час.

Речь замирает на устах,
Душа мертвеет, негодуя —
Но - мнится - слышу «Аллилуя»
В тебе доступных небесах.
И, друг счастливый, России в сердце
Вписалась повесть о страстотерпце![\[347\]](#)

Суть же того, что случилось в результате революции – разрушение страны и рождение невиданной прежде тирании, коренящейся, однако, в худшем наследии русской истории, утрату какой бы то ни было свободы, даже права на жизнь, – Вяч. Иванов выразил в стихотворении «Порочный круг». Ему он предпослал эпиграф из 2-го Послания апостола Петра: «Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи» (2, 22):

Ругаясь над старою славой,
Одно сберегли мы – бесславье;
Покончив с родимой державой,
Оставили – самодержавье.

Позор! Выступает писатель,
Как встарь, за свободное слово.
Так водит нас демон-каратель
В безвыходном круге былого.

Все ново; да тот же в нас норев!
Мы песенку тянем все ту же!
Так дочиста вымытый борев
В зловоннейшей хлюпает луже [\[348\]](#).

Стихотворение было написано 6 декабря 1917 года, через месяц после захвата власти большевиками, уже тогда возродившими дух опричнины. Два с небольшим года спустя Максимилиан Волошин говорил о том же в стихотворении «Северовосток»:

Что менялось? Знаки и возглавья.
Тот же ураган на всех путях:
В комиссарах – дурь самодержавья,
Взрывы революции в царях.

Вздеть на виску, выбить из подклетья,
И швырнуть вперед через столетья
Вопреки законам естества —
Тот же хмель и та же трин-трава [\[349\]](#).

А жизнь в Москве тем временем становилась все хуже и хуже. Как сказал об этом известный ученый-экономист Питирим Сорокин, материализм привел к тому, что в России исчезла вообще всяческая материя.

Дом, где жили Ивановы, как и другие московские доходные дома, перестали отапливать. От лютого холода спасала только печурка. Хлебный паек составлял 100 граммов на два дня. На рынке невозможно было купить ни мяса, ни масла (даже растительного), ни молока. Из рыбы продавалась лишь вяленая вобла. Муку, крупу, картошку удавалось порой раздобыть у «мешочников», которые в деревнях меняли вещи на продовольствие и, рискуя жизнью, везли его в Москву. Тогда в речевой обиход прочно вошло слово «достать», бытовавшее в нем всю советскую эпоху. Лидия Ивановна вспоминала, что с трудом добытую картошку ей приходилось жарить на рыбьем жире или касторке.

Нянюшка Димы уехала к себе в деревню и оттуда несколько раз отправляла Ивановым посылки с пшеном. Семья всегда с благодарностью помнила эту простую женщину с добрым сердцем.

Чтобы кормить домочадцев, Вяч. Иванову пришлось поступить на службу в Наркомпрос. Многие люди культуры стремились попасть в это ведомство, которое возглавлял А. В. Луначарский – партийный интеллигент с замашками просвещенного вельможи, в мягко поблескивающих очках в золотой оправе. В молодости он учился в Цюрихском университете, где изучал философию, естествознание, историю искусств. Затем

примкнул к социал-демократам. В 1902 году за революционную деятельность был сослан в Вологду. Среди других ссыльных круг его общения составляли там Н. А. Бердяев, А. М. Ремизов, П. Е. Щеголев, Б. В. Савинков. Дороги каждого из них пролегли потом в разные стороны. Луначарского стихия революции вынесла к верхам власти. Товарищи по партии очень часто ругали его за «либерализм». И действительно, на посту народного комиссара просвещения Луначарский проявил определенную широту и терпимость, стремясь в равной степени помогать писателям самых разных направлений, стараясь, «чтобы все цветы цвели». Помощь эта обычно выражалась в конкретных проявлениях – в получении комнаты, путевки в дом отдыха, продовольственного пайка или бумаги для издания книги. В разное время в Наркомпросе работали Осип Мандельштам и Михаил Булгаков. Вяч. Иванов в 1918 году поступил в только что образованный Театральный отдел (ТЕО) Наркомпроса. Располагался он на Неглинной.

Заведовала отделом О. Д. Каменева – жена первого секретаря Московского горкома партии и родная сестра Троцкого. У Вяч. Иванова, оценивающего людей не по идеологическому, а по личностному признаку, сложились с ней очень теплые отношения. Он посвятил Ольге Каменевой стихотворение, где были такие строки:

И полюбились нам Ваш быстрый гнев и лад,
Нрав опрометчивый, и Борджий профиль
властный,
И черных глаз горячий взгляд,
Трагический, упорный, безучастный...
И каждый видит Вас такой, – но каждый рад
Вновь с Вами ратовать, товарищ наш

прекрасный^[350].

Впрочем, далеко не все писатели, служившие в ТЕО, питали к Каменевой симпатию. Владислав Ходасевич в очерке «Белый коридор» отзывался о ней весьма нелестно и более трезво, чем Вяч. Иванов: «К концу 1918 года в числе многих московских писателей (Бальмонта, Брюсова, Балтрушайтиса, Вяч. Иванова, Пастернака и др.) я очутился сотрудником Тео, т. е. Театрального отдела Наркомпроса. Это было учреждение бестолковое, как все тогдашние учреждения. Им заведовала Ольга Давыдовна Каменева, <...> существо безличное, не то зубной врач, не то акушерка. Быть может, в юности она игрывала в любительских спектаклях. Заведовать Тео она вздумала от нечего делать и ради престижа»^[351].

В ТЕО Вяч. Иванов заведовал историко-театральной секцией, кроме того, руководил «Кружком поэзии» при Литературном отделении Московского Государственного института декламации, вел занятия в различных секциях Пролеткульта. Довелось ему участвовать и в дискуссиях с Луначарским. Тот вообще очень любил организовывать диспуты на самые разные темы – литературные, политические, экономические, философские, религиозные. На последних он обычно выступал с позиций воинствующего атеизма и материализма, предпочитая спорить с противниками диаметрально противоположных взглядов. Оратором и полемистом Луначарский был очень сильным. Часто такие диспуты с его участием происходили в большой аудитории Политехнического музея, куда собирались тысячи слушателей. На одном из них Луначарский, упиваясь собственным красноречием, провозглашал атеизм. Когда он закончил, аудитория долго рукоплескала ему. Вслед за ним на эстраду вышел Вяч.

Иванов. Он начал свою речь тихим, однако всем слышным голосом, словно бы проникновенно обращаясь к сердцу каждого слушателя. Говорил он о Христе и антихристе, о Боге, страдающем за людей, о Церкви, которая созидалась прежде и созируется теперь на Русской земле молитвами, скорбями и подвигами святых исповедников и мучеников, рассказывал житийные легенды, читал стихи. После того как он умолк, какое-то время в зале стояла совершенная тишина. О таких мгновениях говорят – «будто ангел пролетел». И вдруг зал взорвался громом аплодисментов...

Почти в одно время с Вяч. Ивановым поступила на службу в Наркомпрос его дочь Лидия. Она устроилась в Музыкальный отдел (МУЗО), который располагался у Пречистенских ворот, на углу Волхонки и Гоголевского бульвара, в здании Первой мужской классической гимназии, где когда-то учился ее отец. Возглавлял этот отдел композитор Артур Лурье, знакомый Вяч. Иванова еще по Петербургу. Вместе с Лидией там работала Надежда Яковлевна Брюсова – сестра поэта. Она предложила ей стать наркомпросовским инструктором музыки в школах – читать лекции учителям и давать показательные уроки детям. О школьной обстановке тех лет Лидия Иванова вспоминала: «В эти переходные годы школы были в хаотическом состоянии. Учителям было указано дать детям полную свободу. Детей же поощряли к слежке за учителями и писанию доносов»^[352]. То, что для московских гимназистов времен Вяч. Иванова было несомненной низостью, достойной глубокого презрения, теперь становилось нормой.

Жизнь продолжала ухудшаться. Наркомпросовский паек спасал от голода. Но квартира, где жили Ивановы, все больше приходила в негодность, как и дом в целом.

Будучи «экспроприированным», оставшись без хозяев, он лишился и заботы, и благоустройства. От холода начали лопаться водопроводные трубы. В 1918 году семья переехала с Зубовского бульвара в Большой Афанасьевский переулок, 41, и поселилась, как и прежде, на третьем этаже. Дом этот, на углу Арбата и Большого Афанасьевского, стоит и сегодня. Вяч. Иванову отвели половину квартиры, где вместе с ним жили Вера Константиновна, Лидия, шестилетний Дима и неразлучная с ними Мария Михайловна Замятнина. В то время жилищная норма составляла шесть квадратных метров на человека. Ивановым очень повезло с соседями по квартире. Рядом с ними жил известный московский врач-педиатр Василий Яковлевич Гольд с женой и сыном. Это были настоящие арбатские интеллигенты, хранящие вопреки нечеловеческим условиям жизни благородство, достоинство и постоянную верность ценностям культуры. О их семье писала исследовательница И. В. Корецкая: «У Гольдов нередко собирались люди литературно-художественной Москвы. Душой этих встреч была хозяйка дома, жена Василия Яковлевича, Людмила Васильевна Гольд (1877–1926), с юности поклоняясь искусству, она стремилась жить в его мире. Училась скульптуре в 1905–1914 гг. в Париже, в мастерских академии Гранд Шомьер у Бурделя, в Москве дружески общалась с С. Коненковым (сохранившем ее облик в мраморе), занималась у Н. Андреева (написавшего ее портрет)... О прекрасном и вечном беседовали и в гостиной Гольдов, где стояло пианино Блютнера, на котором игрывал Рахманинов, висели старинные полотна и поблескивал гарднеровский фарфор. И хотя на печке-“буржуйке” варилась лишь надоевшая “пша”, и чай с таблеткой сахара завершал трапезу, которую разделял порой и Вяч. Иванов, собравшиеся у уютного очага увлеченно

слушали чтение стихов автором “Cor ardens” и “Нежной тайны”»[\[353\]](#).

Зимой следующего года отопление перестало работать и в доме в Большом Афанасьевском. На стенах появилась изморозь. Стали лопаться трубы. Выручала лишь «буржуйка». А еще раньше заболела Мария Михайловна. Ее поместили в больницу. Весной 1919 года во время эпидемии сыпного тифа она заразилась там и умерла. Своего верного друга, давно ставшего родным человеком в их семье, Ивановы похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилой В. Ф. Эрнэ. Гроб для Марии Михайловны пришлось сколачивать из досок со щелями.

Все потери, лишения и тяготы Вяч. Иванов переносил с удивительной стойкостью и спокойствием. Он словно бы олицетворял собой слова апостола Павла о том, что сила Божья в немощи совершается, живя духом, мыслью и трудом. Тот же пламень пылал и в его собеседниках, не давая им унывать и побуждая к новым творческим замыслам.

Москва походила на город мертвых. Как будто буквально на глазах сбывалось определение Чаадаева, назвавшего ее Некрополем. Грязные улицы были завалены хламом. Дома своим видом напоминали склепы. Трупы павших лошадей никто не убирал, пока их не сжирали голодные собаки и вороны. Зловещие черные крылья, распростертые над падалью, напомнили Сергею Есенину паруса:

Если волк на звезду завыл,
Значит, небо тучами изглодано.
Рваные животы кобыл,
Черные паруса воронов...
Сестры-суки и братья-кобели,
Я, как вы, у людей в загоне.
Не нужны мне кобыл корабли

И паруса вороньи^[354].

Среди этой всеобщей разрухи, вопреки ей, было задумано и осуществлено одно из самых замечательных начинаний тех лет – Вольная Академия Духовной Культуры, в деятельности которой принял горячее участие Вяч. Иванов.

Зародилась она в 1918 году в квартире Бердяева в Большом Власьевском, 14, где собирались те, кому была дорога свобода русской мысли, кто пытался ее сохранить в годы, когда личность безжалостно растаптывалась. Сюда приходили как прежние члены Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева, так и новые гости: М. О. Гершензон, Г. А. Рачинский, П. П. Муратов, Ю. И. Айхенвальд, С. Л. Франк, Андрей Белый, М. В. Сабашникова, отец Павел Флоренский. Конечно же, постоянно бывал на этих встречах и Вяч. Иванов. Философ Ф. А. Степун, также участник заседаний Вольной Академии Духовной Культуры в бердяевской квартире, вспоминал его таким: «Как и встарь, радовал глаз своею внешностью и пленял дух богатством мыслей и изысканностью речи горько бедствовавший Вячеслав Иванов»^[355].

На заседаниях в промерзшей комнате (дом, где жил Бердяев, также не отапливался зимой) участники сидели в валенках и шубах. Чтобы они могли согреться, свояченица Бердяева Евгения Юдифовна Рапп подавала им чашки с горячей настойкой из березовой коры или с брусничным чаем, а к ним – торт из картофельной шелухи и маленькие морковные пирожки. Но голод и холод не могли помешать духовной высоте общения. Нищенская трапеза в голодной Москве превращалась в платоновский пир.

И тем не менее Бердяеву и его товарищам недостаточно было камерных заседаний в узком кругу

«любомудров». Они задумали обширный культурно-просветительный проект и решили сделать домашнюю академию своего рода «народным университетом».

Вольную Академию Духовной Культуры (ВАДК) ее учредители зарегистрировали в Моссовете, где председательствовал Каменев. Тогда это еще было возможно – свобода в области философии, культуры, создания общественных объединений, книгоиздания пока что допускалась. У большевиков просто не доходили руки до всеобщего государственного и идеологического регулирования – оно придет чуть позже. Теперь же на повестке дня стоял вопрос выживания и захвата власти во всей стране.

Своего помещения ВАДК не имела, и ее занятия проходили в здании Высших женских курсов на углу Поварской и Мерзляковского переулка. Каждый из участников бердяевских домашних заседаний читал курс лекций. Сам Бердяев был председателем Академии. Кроме того, как и предсказывал в ту новогоднюю ночь 1914 года доктор Любек, философа избрали профессором Московского университета, да еще вдобавок и председателем Всероссийского союза писателей. Это, впрочем, мало улучшило его бедственное существование. Бердяев читал в Академии курсы «Философия истории» и «Философия религии». Его лекции и доклады легли в основу трех книг, изданных им уже в эмиграции: «Смысл истории», «Миросозерцание Достоевского» и «Константин Леонтьев». Преподавали в Академии также Андрей Белый, П. П. Муратов, С. Л. Франк, Ф. А. Степун. Вяч. Иванов читал курс лекций о греческой религии. Вел он и семинарские занятия, делал доклады, участвовал в прениях. Обычно количество слушателей в аудитории составляло примерно сто человек, но если докладчик был известным, то собиралось множество народу, так

что даже не все желающие могли попасть в зал. В первом ряду неизменно сидел чекист.

В конце 1919 года в жизни ученых и деятелей культуры, в том числе и преподававших в ВАДК, произошли некоторые улучшения. О них в своей прекрасной книге «Жизнь Бердяева» А. В. Вадимов (Цветков) писал так: «Нормированное снабжение населения продовольствием с 1 Июня 1918 года проводилось в соответствии с четырьмя категориями. Волей просвещенных властителей писатели, художники, ученые попали в третью, оказавшись таким образом ниже официантов, банщиков, парикмахеров и конторских служащих, хотя и выше капиталистов и владельцев увеселительных заведений. В Октябре того же года ученых все-таки перевели в первую категорию, а с 23 декабря 1919 года для интеллигенции был учрежден специальный академический паек, распределением которого ведала Центральная Комиссия по Улучшению Быта Ученых»^[356].

Вольная Академия Духовной Культуры просуществовала с 1918 по 1922 год – до высылки из России цвета русской мысли на «философском пароходе». Бердяев писал о ней в «Самопознании»: «Значение Вольной академии духовной культуры было в том, что в эти тяжелые годы она была, кажется, единственным местом, в котором мысль протекала свободно и ставились проблемы, стоявшие на высоте качественной культуры»^[357].

В 1918 году произошло и другое значимое в истории русской культуры и мысли событие, в котором участвовал Вяч. Иванов, – вышел сборник статей «Из глубины». По духу своему он продолжал религиозно-философскую и общественную традицию «Вех». Да и многие авторы были те же. В редакционном предисловии к сборнику видный общественный деятель

П. Б. Струве писал: «Большая часть участников “Вех” объединилась теперь для того, чтобы, в союзе с вновь привлеченными сотрудниками, высказаться об уже совершившемся крушении – не поодиночке, а как совокупность лиц, несмотря на различия в настроениях и взглядах, переживающих одну муку и исповедующих одну веру. Взор одних из нас направлен непосредственно на конечные религиозные вопросы мирового и человеческого бытия, прямо указующие на Высшую Волю. Другие останавливаются на тех вопросах общественной жизни и политики, которые... лишь через промежуточные звенья связаны с религиозными основами жизни. Но всем авторам одинаково присуще и дорого убеждение, что положительные начала общественной жизни укоренены в глубинах религиозного сознания и что разрыв этой коренной связи есть несчастье и преступление. Как такой разрыв они ощущают то ни с чем не сравнимое морально-политическое крушение, которое постигло наш народ и наше государство»^[358].

Бердяев опубликовал в сборнике свою работу «Духи русской революции», где речь шла о провидении беснования новых дней в русской классической литературе – у Гоголя, Достоевского и Толстого.

Отец Сергей Булгаков выступил с драматическим диалогом «На пиру богов». Смысл названия восходил к строкам тютчевского «Цицерона»:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир^[359].

Диалог был напрямую связан с «Тремя разговорами» Владимира Соловьева. Его герои продолжали прежний

спор, но уже не в тишине конца XIX столетия, а в то время, когда воочию сбывались самые страшные предчувствия русских мудрецов и поэтов.

Вяч. Иванов был из тех «вновь привлеченных сотрудников», о которых писал в своем предисловии П. Б. Струве. Статья его, помещенная в сборнике «Из глубины», называлась «Наш язык». Катастрофу, происходящую с Россией, он видел совершавшейся в глубинах русского языка, в попытках его обмирщения, калечения, начавшегося в петровские времена и продолжающегося в годы революции, вынесшей на поверхность жизни «неподобные нерусские слова». Свою работу он начинал так: «“Духовно существует Россия... Она задумана в мысли Божией. Разрушить замысел Божий не в силах злой человеческий произвол”. Так писал недавно один из тех патриотов, коих, очевидно, только вера в хитон цельный, однотканый, о котором можно метать жребий, но которого поделить нельзя, спасает от отчаяния при виде разодранной ризы отечества... Нарочито свидетельствует о правде выше приведенных слов наш язык»^[360]. Патриотом, о котором говорил Вяч. Иванов, был Н. А. Бердяев. Сравнение с «хитоном цельным» восходило к Евангелию от Иоанна (19, 23–24).

На глазах Вяч. Иванова начиналось упрощение орфографии, неразрывно связанной со всем строем русского языка, прагматическая подгонка законов речи под обиходные нужды, введение уродливых сокращений. Намеренно пренебрежительное отношение новых «хозяев жизни» к преемственности и традиции, чреватое огромными потерями в культуре, их безграмотно-самоуверенная решимость строить без фундамента, безжалостно повреждая при этом тончайшую, сложную и прекрасную языковую ткань, вызывали у поэта горькое чувство. Он понимал, что

утраты в слове обернутся утратами в духе и в совести: «Язык наш свят: его кощунственно оскверняют богомерзким бесивом – невероятными, бессмысленными, безликими словообразованиями, почти лишь звучаниями, стоящими на границе членораздельной речи, понятными только как переключки общников, как разинское “сарынь на кичку”. Язык наш богат: уже давно хотят его обеднить, свести к насущному, полезному, механически-целесообразному... Язык наш свободен: его оскопляют и укрощают; чужеземною муштрой ломают его природную осанку, уродуют поступь... Орудие повседневного обмена понятиями и словесности обыденной, язык наших грамотеев уже не живая дубрава народной речи, а свинцовый набор печатника»^[361]. Говорил Вяч. Иванов и о сущностном значении для русской речи и культуры церковнославянского языка с его эллинской природой, которой сделались сопричастными и мы: «Язык, стяжавший столь благодатный удел при самом рождении, был вторично облагодатствован в своем младенчестве таинственным крещением в животворящих струях языка церковно-славянского. Они частично претворили его плоть и духотворно преобразили его душу, его “внутреннюю форму”... Церковно-славянская речь стала под перстами боговдохновенных ваятелей души славянской, свв. Кирилла и Мефодия, живым слепком “божественной эллинской речи”, образ и подобие которой внедрили в свое изваяние приснопамятные Просветители»^[362]. Это родство с Элладой, утверждал Вяч. Иванов, сообщало русскому языку вселенское значение: «Через него невидимо сопричастны мы самой древности... Уже не варвары мы, поскольку владеем

собственным словом и в нем преемством православного предания, оно же для нас – предание эллинства.

И как преизбыточно многообразен всеобъемлющий, “икуменический”, “кафолический” язык эллинства, так же вселенским и всечеловеческим в духе становится и наш язык...»[\[363\]](#)

Эту духовную всемирную сущность тщетно стремились вытравить из русского языка его «реформаторы». Вяч. Иванов сравнивал их усилия с потугами тогдашних украинских «самостийников» создать искусственную национальную «мову»: «Язык наш неразрывно сросся с глаголами церкви: мы хотели бы его обмирщить. Подобным же образом кустари новейшей украинской словесности хватают пригоршнями польские слова, лишь бы вытеснить и искоренить речения церковно-славянские из преобразуемого ими в самостийную молвь наречия. Наши языковеды, конечно, вправе гордиться успешным решением чисто-научной задачи, заключающейся в выделении исконно-русских составных частей нашего двуипостасного языка; но теоретическое различие элементов русских и церковно-славянских отнюдь не оправдывает произвольных новшеств, будто бы “в русском духе”, и общего увлечения практическим провинциализмом, каким должно быть признано вожделение сузить великое вместилище нашей вселенской славы, обрусить – смешно сказать! – живую русскую речь»[\[364\]](#).

Скоро в семью Ивановых пришла новая беда. Здоровье Веры Константиновны, и без того хрупкое, из-за тяжелых условий жизни сильно пошатнулось. Обострилась желудочная болезнь. Манную крупу или пшеничную муку, необходимые для ее диетического рациона, можно было с трудом найти только на Сухаревском рынке, да и то не всегда. Летом 1919 года

состояние Веры Константиновны совсем ухудшилось. С помощью доктора Гольда, который как известный врач был вхож в кремлевские круги, ее вместе с Димой удалось устроить в санаторий «Габай» в Серебряном Бору. В августе и сентябре вместе с ними находился там и Вяч. Иванов. В это время он написал цикл стихотворений под названием «Серебряный Бор». В них словно живой вставал перед глазами прекрасный подмосковный пейзаж с его первозданной, целебной для сердца тишиной, березами и соснами, зеленью кустарников и трав, крутым берегом, бегущей вдаль рекой, рассветами и закатами.

Бор над оползнями красный:
За излучиной реки,
Отлагающей пески,
Кругозор голубо-ясный,
Перелески да лески.

Вот могильник зеленеет
Стародавней татарвы;
Церковь тут и там белеет,
И в тумане розовеет,
Блеща, марево Москвы.

Край исконный мой и кровный,
Серединный, подмосковный,
Мне причудливо ты нов,
Словно отзвук детских снов
Об Индее баснословной^[365].

Но эти подмосковные виды через тончайшие ассоциативные связи неожиданно, с мягким юмором, вызывали в памяти отголоски эллинских мифов и

одновременно воскрешали московский «детский рай» рядом с Зоологическим садом.

Что видел не скажу, пугливый соглядатай;
Собак я днем боюсь, как Актэон рогатый.
Пришельцы древние из солнечной земли,
Любезны кошки мне, и – помнится – влекли
В повозке Вакховой меня младенцем тигры,
Я с пардами делил в раю невинном игры.
Подальше ж уйдем, о Муза, от охот
И чар лесных под кров, где ужин, свет и кот [\[366\]](#).

В конце сентября 1919 года Вяч. Иванов вернулся в Москву. А перед Рождеством Лидия Вячеславовна отправилась в Серебряный Бор навестить Веру Константиновну и Диму. О той зимней поездке в санаторий «Габай» она вспоминала так: «Путь был нелегкий. Я присоединилась к каким-то людям, ехавшим в розвальнях в направлении Серебряного Бора. Меня ссадили на перекрестке узкой дороги с двумя глубоко врывшимися в снег колеями.

– Идите по колее до самого леса, видите там, вдали? В лесу будет широкая дорога, потом недалеко, повернете по тропинке и выйдете прямо к санаторию.

По полю идти было мучение: либо в узкой глубиной $\frac{1}{2}$ метра колее, либо спотыкаться в снегу. Вокруг ни души. Темнело, и отражение снега слепило глаза. Дорога через покрытый инеем как бы замороженный лес была восхитительна. Никакого поворота я не нашла, доплелась до какой-то избы и постучала. Добрая одинокая женщина приютила, даже угостила чем-то, что имела, и положила спать на теплую печь. Было бы совсем хорошо, если бы не клопы. Впрочем, в те годы и в городе было мало квартир, где их не было. Рано утром я пришла в санаторий и застала Веру с Димой больными

в постелях... Все москвичи, попадавшие из своих ледяных квартир в тепло отопленный Серебряный Бор, сразу заболевали»^[367]. Сама Лидия Вячеславовна тут же слегла с острым бронхитом. Дима лежал с воспалением легких. Но страшнее всего дело обстояло с Верой Константиновной – у нее развилась скоротечная чахотка. В те годы она считалась неизлечимой. Это был почти наверняка смертный приговор.

На Рождество навестить семью приехал и Вяч. Иванов. Известие о тяжелой болезни жены горем отозвалось в его сердце. И несмотря на крайнюю изможденность, усталость и подавленность в то время, когда, казалось бы, стихи были невозможны, с декабря 1919-го по февраль 1920 года поэт написал один из лучших своих стихотворных циклов – «Зимние сонеты». Они сразу обрели отзвук среди тех, кто любил поэзию, – их читали, переписывали от руки, учили наизусть. Даже Ахматова, которая отнюдь не была поклонницей Вяч. Иванова и считала его творчество чрезмерно усложненным, делала исключение именно для «Зимних сонетов», восхищаясь ими. В 1960-е годы она говорила, что, когда другие русские поэты молчали, Вяч. Иванов смог в 1919 году претворить свои страдания в искусство и что это что-то значит.

«Зимние сонеты» стали органическим продолжением летне-осенних картин цикла «Серебряный Бор». Они и в самом деле представляли собой новый этап в мироощущении и поэзии Вяч. Иванова. Как писала об этом британская исследовательница Памела Дэвидсон: «Различие между ранней поэзией Иванова и “Зимними сонетами” заключается в том, что если ранее Иванов пользовался чисто символическими образами для обозначения душевного состояния, то теперь он прибегает к более естественному словарю для обозначения состояния как

физического, так и душевного. В этом отношении круг образов “Зимних сонетов” местами почти пушкинский и напоминает такие стихотворения Пушкина, как “Зимний вечер” (1825), “Бесы” (1830) и, в особенности, “Зимняя дорога” (1826), в котором поэт противопоставляет однообразию зимнего пути ожиданию встречи с любимой...

Как зима несет с собой конец летнему изобилию, так и “зима души” знаменует завершение предыдущего этапа иллюзорных богатств... В “Зимних сонетах” зима, сменяющая лето, становится символом бедности или аскетизма, отсекающего прежние излишества»^[368]

Время года в «Зимних сонетах» стало огромной развернутой метафорой человеческой жизни и ее итога, подобно как и в гениальной «Осени» Боратынского.

1

Скрипят полозья. Светел мертвый снег.
Волшебно лес торжественный заснежен.
Лебяжьим пухом свод небес омержен.
Быстрее оленя туч подлунных бег.

Чу, колокол поет про дальний брег...
А сон полей безвестен и безбрежен...
Неслежен путь, и жребий неизбежен:
Святая ночь, где мне сулишь ночлег?

И вижу я, как в зеркале гадальном,
Мою семью в убежище недалюном,
В медвяном свете праздничных огней.

И сердце, тайной близостью томимо,
Ждет искорки среди бора. Но саней
Прямой полет стремится мимо, мимо.

2

Незримый вождь глухих моих дорог,
Я подолгу тобою испытуюем
В чистилищах глубоких, чей порог
Мы жребием распутья именуем.

И гордости гасимой вот итог:
В узилищах с немилым я связуем,
Пока к тому, кого любить не мог,
Не подойду с прощеным поцелуем.

Так я бежал суровыя зимы:
Полуденных лобзаний сладострастник,
Я праздновал с Природой вечный праздник.

Но кладбище сугробов, облак тьмы
И реквием метели ледовитой
Со мной сроднил наставник мой сердитый [\[369\]](#).

И так же, как в «Осени», горький опыт земного бытия, угасание жизненных сил и надежд на счастье соседствовали в «Зимних сонетах» с упованием на осуществление глубинных чаяний поэта в творчестве и в горнем мире.

3

Зима души. Косым издалека
Ее лучом живое солнце греет,
Она ж в немых сугробах цепенеет,
И ей поет метелицей тоска.

.....

Оледенел ключ влаги животворной,
Застыл родник текучего огня.

О, не ищи под саваном меня!

Свой гроб влачит двойник мой, раб покорный,
Я ж истинный, плотскому изменя,
Творю вдали свой храм нерукотворный [\[370\]](#).

Вера Константиновна с Димой вернулась в Москву. Было ясно, что для спасения ее жизни необходимо лечение на чистом горном воздухе. Вяч. Иванов стал просить о командировке в Швейцарию. Луначарский, который благоволил поэту, в начале 1920 года выхлопотал разрешение на выезд кроме других и ему. Причем условия для Иванова были оговорены уникальные, так как вместе с семьей тогда не выпускали. Отъезд назначили на лето. Ивановы готовились к нему с надеждой, что горный воздух Давоса, куда они собирались, поможет излечению туберкулеза у Веры Константиновны.

Лидия Иванова в это время заканчивала консерваторию. Ее наставник А. Б. Гольденвейзер посоветовал ей сдать экзамен досрочно, чтобы получить диплом до отъезда. Он, видимо, догадывался, что Ивановы вряд ли вернутся из-за границы.

Для Веры Константиновны с Димой на время ожидания поездки наняли комнату на даче в подмосковном имении «Голубое».

В мае в Москву приехал Блок. В большой аудитории Политехнического музея был устроен его авторский вечер. Поэт читал все написанное за последние три года. Переполненная до отказа аудитория устроила ему овации. Но сам Блок выглядел смертельно усталым и погасшим. Даже тени радости не было на его лице.

Затем по просьбе своих московских знакомых он читал стихи на частной квартире, где собралось чуть больше двадцати человек. В первом ряду сидел Вяч.

Иванов. В самом конце вечера он попросил Блока прочесть «Незнакомку». Это было последнее стихотворение, которое Блок прочитал в тот день. Потом они с Вяч. Ивановым отошли к окну и тихо о чем-то разговаривали. Прощаясь, обнялись. Больше встретиться им было не суждено.

Блок тоже нуждался в лечении за границей. Разрешение получить ему не удавалось. Наконец, по представлению Луначарского, Блоку дали визу, отобрав ее у Федора Сологуба, жене которого, тяжелобольной Анастасии Чеботаревской, также необходимо было лечиться в Европе. Сологуб впоследствии так и не выехал за границу, а Чеботаревская во время приступа болезни покончила с собой. Блоку эта виза тоже не помогла: вскоре после ее получения он умер.

Годом раньше сорвалась и поездка Ивановых. Незадолго до назначенного им срока за границу выехал Бальмонт. Луначарский взял с него слово, что он воздержится от антисоветских выступлений. То же условие было поставлено и Вяч. Иванову. Оба согласились на него. Но, лишь только оказавшись в Ревеле, Бальмонт тотчас же резко выступил против большевиков. После его выступления Луначарский отменил командировку Вяч. Иванова. Эту весть Вера Константиновна восприняла как приговор. В июле в тяжелом состоянии она слегла в туберкулезную больницу. Дни ее были сочтены.

А еще раньше, в июне, Вяч. Иванова, чье здоровье к тому времени также сильно расстроилось из-за постоянных волнений, тяжелых условий жизни и переутомления, с помощью доктора В. Я. Гольда удалось поместить в одну из московских здравниц «для работников умственного труда», находившуюся в 3-м Неопалимовском переулке между Смоленским рынком и Плющихой. Там он оказался в комнате вдвоем со своим старинным и добрым приятелем – Михаилом

Осиповичем Гершензоном, замечательным мыслителем, историком литературы, автором известных книг «Мудрость Пушкина» и «Грибоедовская Москва». Владислав Ходасевич, находившийся тогда в той же здравнице, позднее вспоминал: «Летом 1920 года я прожил в этом убежище около трех месяцев... В здравницу устроил меня Гершензон, который сам отдыхал в ней, так же как Вячеслав Иванов. Находилась она... в белом двухэтажном доме... Было очень чисто, светло, уютно. Среди тогдашней Москвы здравница была райским оазисом... Гершензон с Вячеславом Ивановым жили вместе. В их комнате, влево от двери, стояла кровать Гершензона, рядом – небольшой столик. В противоположном углу (по диагонали), возле окна, находились кровать и стол Вячеслава Иванова... Из этих-то “двух углов” и происходила тогда известная “Переписка”»^[371].

Вяч. Иванов и М. О. Гершензон были людьми диаметрально противоположных взглядов, но друг друга любили, уважали и очень высоко ценили. Они заняли в комнате каждый свой угол и, как прежде у них бывало при встречах, по целым дням что-то рассказывали друг другу и спорили, пока один из них не сказал: «Мы слишком много разговариваем и мешаем друг другу заниматься; давайте лучше обмениваться письмами». – «Отлично, – ответил другой, – у нас получится переписка из двух углов». Под этим названием впоследствии вышла книжка, состоящая из двенадцати писем Вяч. Иванова и М. О. Гершензона. Ее выпустило в 1921 году петербургское издательство «Алконост», принадлежавшее С. М. Алянскому. Позже она была переведена на английский, французский, немецкий, испанский, итальянский языки и не раз выходила в Европе. Слишком важными были поставленные в ней вопросы.

Октябрьский переворот, как и французская революция, и другие подобные катаклизмы, пробудил одновременно и страсть к уничтожению культурного наследия, к отказу от него и волю к его сохранению. Противоборство двух этих волей и вылилось в великий эпохальный спор о ценности культуры.

Гершензон, блестящий знаток русской духовной традиции и историограф русской мысли, впервые издавший с собственным предисловием и комментариями в 1914 году «Философические письма» П. Я. Чаадаева, вдруг почувствовал усталость от тысячелетнего культурного груза и непреодолимое желание сбросить его с плеч. В моменты кризисов этот могучий зов пустоты и жажда духовного самоуничтожения нередко посещают людей самой высокой пробы.

В письме «из угла» Гершензон писал Вяч. Иванову: «Меня тяготит вся эта отвлеченность, и не она одна: в последнее время мне тягостны, как досадное бремя, как слишком тяжелая, слишком душная одежда, все умственное достояние человечества, все накопленное веками и закрепленное богатство постижений, знаний и ценностей. Это чувство давно мутило мне душу подчас; но не надолго; а теперь оно стало во мне постоянным. Мне кажется, какое бы счастье кинуться в Лету, чтобы бесследно смылась с души память о всех религиях и философских системах, обо всех знаниях, искусствах, поэзии и выйти на берег нагим как первый человек, нагим, легким и радостным; и вольно выпрямить и поднять к небу обнаженные руки, помня из прошлого только одно – как было тяжело и душно в тех одеждах и как легко без них... Мы не тяготились пышными ризами до тех пор, пока они были целы и красивы на нас и удобно облегали тело: когда же, в эти годы, они

изорвались и повисли клочьями, хочется вовсе сорвать их и отбросить прочь»^[372].

Подобного «совлечения всех культурных одежд и покровов» Вяч. Иванов принять не мог. Если идти в этом до конца, то по смыслу и по последствиям оно совпадало с призывом «обнажимся!» в рассказе Достоевского «Бобок». Тот же зов распада, разложения и смерти. Для Вяч. Иванова такое бегство в Лету беспамятства означало предательство по отношению к тем, чьими наследниками были и Гершензон, и он сам – и к Чаадаеву, и к любимому старшему другу и учителю Владимиру Соловьеву, враждебно относившемуся к буддийской устремленности в «нирвану», в ничто. Святой Фома Аквинат когда-то сказал: «Мы карлики, стоящие на плечах гигантов». Духовная традиция и культура всегда были живы памятью, что и делало человека человеком, а не одним из биологических видов. Недаром хоровод муз вела за собой Мнемозина.

Отвечая Гершензону, Вяч. Иванов писал: «То умонастроение, которое Вами в настоящее время так мучительно владеет – обостренное чувство непомерной тяготы влекомого нами культурного наследия, – существенно проистекает из переживания культуры не как живой сокровищницы даров, но как системы тончайших принуждений... Для меня же она – лестница Эроса и иерархия благоговений. И так много вокруг меня вещей и лиц, внушающих мне благоговение, от человека и орудий его, и великого труда его, до минерала, – что мне сладостно тонуть в этом море... – тонуть в Боге...

“Опроститься” – вот магическое слово для интеллигенции нашей; в этой жажде сказывается вся ее оторванность от корней. Ей мнится, что “опроститься” значит ощутить корень, пустить в землю корень. Таков был Лев Толстой, который должен закономерно

привлекать Вас. Иноприроден ему был Достоевский, закономерно Вас отталкивающий. Этот “опрощения” не хотел, но то, что писал он о саде, как панацее общежития, и о воспитании детей в великом саду грядущего, и о самом “заводе” в саду – есть духовно-правая и исторически-правдивая не мечта, а программа общественного действия. Опрощение – измена. Забвение, бегство, реакция трусливая и усталая. Несостоятельна мысль об опрощении в культурной жизни столь же, сколь в математике, которая знает не только “упрощение”. Последнее есть приведение множественной сложности в более совершенную форму простоты, как единства. Простота, как верховное и увенчательное достижение, есть преодоление незавершенности окончательным свершением несовершенства – совершенством. К простоте вожденной и достолюбезной путь идет через сложность. Не выходом из данной среды или страны добывается она, но восхождением. На каждом месте – опять повторяю и свидетельствую – Вефиль и лестница горизонта. Это путь свободы истинной и творчески-действенной; но пуста свобода, украденная забвением. И не помнящие родства – беглые рабы и вольноотпущенники, а не свободно-рожденные. Культура – культ предков, и, конечно, – она смутно сознает это даже теперь, – воскресение отцов»^[373]. Переписка эта продолжалась месяц – с 17 июня по 19 июля, – до того дня, когда Вяч. Иванов и Гершензон покинули здравницу.

5 августа 1920 года Вере Ивановой исполнилось 30 лет. В этот день поэт написал последний, девятый, незавершенный сонет цикла «De profundis amavi», который слагался тем летом. Цикл имел характер исповеди за всю жизнь. Это был напряженный, горячий, покаянный разговор с Богом, где душа открывалась до

последней глубины, где вспоминался пережитый опыт встречи с любовью милующей и спасающей из бездны.

Дремучей плоти голод и пожар
Духовный свет мне застил наважденьем,
Подобным куреву восточных чар.

Их ядовитый я вдыхал угар, —
Но жив любви во мрак мой нисхожденьем:
Любить из преисподней был мой дар^[374].

Память о Лидии – главной утрате в жизни – несла в себе одновременно воспоминание и притчи о блудном сыне, возлюбившем прекрасное творение больше Творца, и о мучительном очищении через страдание, о пути к любви небесной через любовь земную.

Последний, девятый сонет стал одним из самых глубоких, открытых и личностных в русской поэзии признаний Богу в любви. Вяч. Иванов обращался к Нему необычайно доверительно и вместе с тем благоговейно – как к ближайшему другу и Владыке всей своей жизни, ее смыслу и цели:

Из глубины Тебя любил я, Боже,
Сквозь бред земных пристрастий и страстей...
Меня томил Ты долго без вестей,
Но не был мне никто Тебя дороже.

Когда лобзал любимую, я ложе
С Тобой делил. Приветствуя гостей,
Тебя встречал. И чем Тебя святей
Я чтил, тем взор Твой в дух вперялся строже.

Так не ревнуй же!..^[375]

Стихотворение словно бы обрывалось на выдохе. Через три дня после того как оно было написано, 8 августа 1920 года, Вера Константиновна умерла. Для Вяч. Иванова это был тяжкий и неожиданный удар. Он не мог полагать, что смерть жены наступит так скоро. Совсем незадолго до того вместе с ним и Димой она была на выпускном экзамене Лидии в Консерватории. Похоронили Веру Иванову на кладбище Новодевичьего монастыря рядом с могилами В. Ф. Эрн и М. М. Замятниной. После ее смерти Вяч. Иванов и Лидия поняли, что еще одной зимы им в Москве не пережить. Чтобы спасти детей от голода и холода, Иванов стал просить в Наркомпросе командировку куда-нибудь на юг, если уж нельзя было выехать за границу. В этом Луначарский пошел ему навстречу. Поэт получил путевку на шестинедельный отдых вместе с семьей в одном из санаториев Кисловодска и даже билеты на «привилегированный» поезд. Но и на нем ехать было небезопасно. Многочисленные банды, орудовавшие на юге во время Гражданской войны, совершали налеты на поезда, грабили и убивали пассажиров. Тем не менее до Кисловодска Ивановы добрались достаточно спокойно.

Какое-то время они прожили в санатории, но в один прекрасный день его ликвидировали. Отдыхающим предложили решить, кто куда поедет – кто в Москву, кто в города Центральной России, кто в Баку. Вяч. Иванов выбрал последнее. Баку был южным городом, где ни холод, ни голод не угрожали. К тому же близко находилась граница. При безвыходных обстоятельствах открывалась возможность перейти ее и, хоть с трудом и риском, но если повезет, все же добраться до Италии, куда Вяч. Иванов уже окончательно решил уехать. В вагоне 3-го класса, с приключениями – в поисках еды во время одной из остановок Ивановы отстали от поезда и его пришлось нагонять, – на девятый день пути семья добралась до Баку.

Заканчивался русский Серебряный век. Черту ему подвели 1921 и 1922 годы. 7 августа 1921 года умер Блок. О его смерти Вяч. Иванов узнал уже в Баку. Памяти друга он посвятил такие строки:

В глухой стене проломанная дверь,
И груды развороченных камней,
И брошенный на них железный лом,
И глубина, разверстая за ней,
И белый прах, развеянный кругом, —
Всё – голос Бога: «Воскресенью верь» [\[376\]](#).

А 25 августа по обвинению в участии в «контрреволюционном заговоре» петроградской губчека был расстрелян Гумилев. Ученица Гумилева по 3-му Цеху поэтов Ида Наппельбаум, дочь великого фотографа Моисея Наппельбаума, вспоминала, что, узнав об аресте учителя, чтобы спасти его, она бросилась в Москву к Луначарскому, хорошо знавшему ее и ее отца. При ней Луначарский позвонил Ленину и в ответ услышал: «Мы не можем целовать руку, поднятую против нас». Трубка была брошена. Это уже потом Лариса Рейснер создала легенду, что якобы Ленин дал в Петроград телеграмму: «Сохраните Гумилеву жизнь», но она опоздала на полчаса.

Узнав о смерти Блока и расстреле Гумилева, Максимилиан Волошин написал стихотворение «На дне преисподней»:

Темен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.

Может быть, такой же жребий выну,

Горькая детоубийца, – Русь!
И на дне твоих подвалов сгину,
Иль в кровавой луже поскользнусь,
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь [\[377\]](#).

Волошин еще раньше сделал свой выбор, навсегда связав с Россией и жизнь, и смерть.

А 28 сентября 1922 года из Петрограда на знаменитом «философском пароходе» был выслан на Запад цвет русской мысли и культуры. Н. А. Бердяев перед отъездом пошел проститься со своим духовником – замечательным московским священником отцом Алексием Мечевым, служившим в храме Святого Николая в Кленниках на Маросейке и позже причисленным Русской Православной Церковью к лику святых. Он принимал людей вне зависимости от их веры, национальности и политических взглядов. По ночам к нему тайно приходили на исповедь коммунисты и красноармейцы. В годы Гражданской войны отец Алексей говорил, что надеется не на Деникина и Врангеля, а на действие Духа Божьего в самом грешном русском народе. Когда Бердяев вошел в маленькую комнатку отца Алексия, тот встал навстречу ему. Мыслителю в этот миг показалось, что отец Алексей весь пронизан светом. Стоял солнечный день. Отец Алексей был в белой рясе. Бердяев говорил, как горько и тяжело ему расставаться с любимой им родиной. «Вы должны уехать, – ответил отец Алексей, – ваше слово должен услышать Запад». На прощание он подарил Бердяеву икону и Евангелие, с которыми мыслитель с тех пор никогда не расставался.

Завершалась, насильственно оборванная, великая эпоха мировой культуры. Теперь каждый из тех, кто ее составлял, избирал свой путь. Одним предстояло

сохранить русскую речь и мысль в изгнании, другим – что возможно было только чудом – в обезбоженной и растерзанной России.

Глава VIII

Прощание. 1920-1924 годы

Первым, кого встретили Ивановы, приехав в Баку, был Сергей Городецкий, некогда постоянный гость «башни». Он жил здесь вместе со своей женой Анной Алексеевной и создал некую «стенную газету», ставшую диковинкой для этого восточного города, сам составлял ее и издавал. К тому времени, как выяснилось, Городецкий даже вступил в РКП(б). Впоследствии он без особого труда вписался в советскую жизнь и литературу. На его «причуды» и старомодность, которую он усердно изживал, смотрели снисходительно.

Городецкий помог Ивановым на первое время поселиться в одной из бакинских квартир, где в тесноте да не в обиде обитало множество семей. О ее обстановке и жизни в Баку Лидия Иванова вспоминала: «Наш багаж был втащен, и нам разрешили тут же спать на полу. Я вынула из сундуков, что можно было, чтобы смягчить ложе Вячеславу. Помню ноги шагающих через нас людей, когда мы лежали. В Баку торговля была – о радость! – еще свободная. Можно было купить чаю, колбасы, хлеба и масла, а добрые наши сожители нам одалживали чайник с кипятком, чтобы мы утешались горячим чаем»^[378].

Но необходимо было искать работу. Вяч. Иванов с дочерью отправились в бакинский Наркомпрос. И там они узнали, что совсем незадолго до их приезда в Баку открылся университет. Там уже начали преподавать русские профессора из Тифлиса, изгнанные со своих кафедр меньшевистским правительством Грузии. Вскоре прибыла группа профессоров Казанского

университета, бежавших в Баку из Казани, поскольку по всему Поволжью свирепствовал голод, вызванный политикой «военного коммунизма». Вяч. Иванова Наркомпрос сразу же направил в университет, где он с ликованием был встречен ректором и всеми профессорами. Его имя ученого не уступало имени поэта. Вяч. Иванову тут же дали кафедру классической филологии. Он начал читать курсы по греческой и римской литературе и по античной религии. Во время его лекций в большой аудитории университета собиралось от шестисот до тысячи человек. Приходили студенты со всех факультетов. Многие стояли в проходах, ловя каждое слово.

Под жильем Ивановым отвели университетскую курительную комнату. Профессора с готовностью пожертвовали ею для семьи своего коллеги. Достав где-то большой кусок брезента, с его помощью отгородили часть комнаты под кабинет главы семейства, создав там все возможные удобства: поставили стол, стул и кровать. Оставшееся пространство заняли крошечная кухонька, столовая и спальня Лидии и Димы. Умыться приходилось идти через весь коридор в общественные университетские туалеты. Но после московской квартиры с неработающим зимой отоплением и лопающимися от холода водопроводными трубами такая жизнь казалась вполне сносной.

Нашла работу и Лидия. Музотдел бакинского Наркомпроса направил ее в только что открывшуюся консерваторию, преобразованную из музыкальной школы. В нее сразу записались шесть тысяч учеников. Бедные преподаватели были в ужасе: они и вообразить себе не могли, как можно обучать такую ораву! А тут, к их счастью, появилась Лидия Иванова – инструктор Музо Наркомпроса из Москвы, да еще и с программой, составленной Н. Я. Брюсовой, в которой был разработан метод группового обучения фортепьяно. Впрочем, очень

скоро проблема разрешилась сама собой: огромное большинство записавшихся в консерваторию без призвания, музыкальных навыков и желания работать покинуло ее, и жизнь учебного заведения вошла в нормальное русло. Лидия Иванова преподавала фортепьяно, сольфеджио, гармонию, а заодно и училась на отделении композиции. Консерватория выделила ей для домашних занятий бехштейновский рояль, который с немалым трудом разместился в курительной комнате.

Тем временем подраставший Дима крепко подружился с двумя своими сверстниками, сыновьями профессора А. Д. Гуляева, – «Мишатом и Шуратом», как называли их дома на тюркский манер. Вместе ребята предавались веселым том-сойеровским шалостям в этом жарком восточном городе: бултыхались в маслянистой каспийской воде (рядом находились нефтепромыслы), подсматривали в щелку за представлением в цирке шапито, раздобыв где-то ведро и оловянный стаканчик, продавали жаждущим за копейку питьевую воду. Однажды Дима даже утянул у отца папироску и с очень важным видом попытался прикурить у какого-то прохожего. Долго ничего не получалось, пока прохожий не заметил, что юный «курильщик» засунул папиросу табаком в рот, а к огню подносит мундштук. Диму подняли на смех, оскорбив в лучших чувствах – стремлении казаться взрослым и независимым. Баку в его мальчишеской памяти остался таким: «На базаре – красные, зеленые, золотые горы овощей и фруктов, живописные продавцы в белых халатах. С торжественной гримасой презрительно переходят улицу верблюды. Вдали виднеется лес нефтяных вышек. В порту важно покачиваются пароходы, море украшено разноцветными пятнами нефти»^[379].

Но в отличие от яркого и праздничного города школа, где учился Дима, запомнилась ему скучной и

казенной. Плохо усваивал он обязательные в Баку уроки тюркского языка, не готовил домашние задания, писал небрежно, с помарками, постоянно опаздывал. Учитель, вызывая Лидию в школу, пенял ей, что сын профессора учится из рук вон скверно. Зато отец никогда не наказывал и не ругал Диму за плохую учебу. Он понимал, что советская школа в Баку – это не Первая классическая гимназия в старой Москве, и считал, что гораздо большему мальчик научится дома, слушая беседы взрослых. Дима развивался свободно. В восемь лет (видимо, не без участия Вяч. Иванова) он начал читать Достоевского. Лидия ужасалась этому, пыталась воспрепятствовать такому «раннему развитию», которое, как она считала, может лишить ребенка детства и повредить его психике, но ничего не помогало. Дима читал Достоевского запоем и уже пытался сочинять сам.

Проникся он и интересом к лекциям университетских профессоров – слушал их тайно, спрятавшись на хорах в аудитории. Лидия Иванова вспоминала, как однажды застала его там. Мальчик затаив дыхание внимал рассказу профессора о неудавшемся бегстве Людовика XVI из Версаля и поимке его в Варенне.

Жизнь в курительной комнате тем не менее была тяжелой. От бесчисленных клопов едва спасал керосин, которым приходилось постоянно пропитывать кровати. Дима несколько раз переболел острым бронхитом, а Лидию на два месяца свалил брюшной тиф.

На выручку Ивановым из Петербурга приехала свояченица Ф. К. Сологуба Александра Николаевна Чеботаревская. Она сняла комнату в Баку, где выхаживала Лидию после болезни. Тогда же ей пришлось заботиться и о Вяч. Иванове, заболевшем желтухой. В семье она получила домашнее прозвище Кассандра. Как когда-то М. М. Замятина,

А. Н. Чеботаревская на какое-то время стала хранительницей дома Ивановых, если так можно было назвать бывшую курительную комнату, отгороженную брезентом. Эта безбытная, творческая семья всегда нуждалась в добрых и заботливых помощниках, и они почему-то неизменно находились.

Летом 1922 года Ивановы вместе с Кассандрой и несколькими знакомыми из университета отправились отдохнуть на полуостров Зых неподалеку от Баку, наняв там несколько комнат. На Зыхе Ивановы бывали и прежде. Скупой пейзаж с небогатой цветовой гаммой, каменистая, поросшая сухой травой земля обладали тем не менее особой, притягательной для сердца красотой. Здесь водились змеи, к которым Вяч. Иванов относился трепетно, помня их символику в античной мифологии. Да и сам вид этих мест чем-то напоминал землю Греции.

Между Баку и Зыхом ходил пароход «Меве» (от немецкого «Möwe» - чайка). Когда Ивановы возвращались, Дима, засмотревшись на что-то, положил правую руку на борт. Пароход начал отчаливать, но вдруг неожиданно его качнуло обратно сильной волной, и ладонь мальчика зажало между бортом и столбом. Диму сразу же отвезли в клинику, где хирург был вынужден ампутировать ему на правой руке четыре пальца, кроме большого. Дима остался левшой. Это увечье впоследствии уберегло его от мобилизации и возможной гибели на фронтах Второй мировой, куда он всеми силами стремился.

В детской памяти сына Вяч. Иванова сохранился и духовный облик отца, определявший атмосферу и настрой всей семьи: «С самых рассветных сумерек моей религиозной жизни я храню в себе чувство всеобъемлющей религиозной атмосферы, которая исходила от Вячеслава. Более точно - атмосферы евангельской. В Баку - и позже в Италии - не было ежедневного чтения Евангелия, как случилось это

раньше. Но Евангелие было у Вячеслава настольной книгой, как стало оно у меня несколько лет спустя, когда я тяжело заболел. Об евангельских притчах Вячеслав часто говорил во время застольных семейных бесед, и чувствовалось в неожиданном волнении голоса непосредственное движение души к Христу и Благой Вести, Христом принесенной»^[380].

Запомнил сын и отца-педагога, мудрого воспитателя с его безнажимной манерой передавать знания, искусством вводить ребенка в мир глубокого и сложного, делая это глубокое и сложное захватывающим, с неизменным уважением к достоинству юного слушателя: «Диалог с Вячеславом не прерывался. С его стороны он никогда не переходил в педагогическое или моральное поучение, это всегда было некое прямое сообщение, рассказ о чем-то внутренне пережитом. И сколь ни смешными казались нам обожествленные козлята, мы знали, что по сути речь идет о чем-то важном и нужном, суть была в еще для нас невыразимом, но уже смутно нами воспринимаемом единстве мира. Когда Вячеслав говорил о греческом мифе, мы сознавали, что дело шло не о баснях мертвого прошлого, что живая нить органически связывает прошедшее и настоящее, что в древних культах уже искали и слепо нащупывали люди те истины, которые нам медленно открывались в нашей теперешней религиозной жизни»^[381].

В Баку круг общения Вяч. Иванова, всегда притягивавшего к себе людей, был столь же обширен, как в Петербурге и Москве. В своем тесном жилище Ивановы приютили Сергея Витальевича Троцкого, знакомого им еще со времен «башни» поэта-дилетанта. Чтобы выглядеть «поэтически», он одевался очень богемно: носил черную бархатную курточку, перстни и брелоки с драгоценными камнями. Искусству и поэзии

он был предан всем сердцем. С. В. Троцкий владел небольшим хутором на Украине и во время Гражданской войны бежал на Кавказ в надежде выбраться за границу. Но контрабандисты, которые обещали переправить его, вместо этого ограбили беднягу дочиста. Так нищий «малороссийский помещик» оказался в Баку и, узнав, что там находится Вяч. Иванов с семьей, пришел к нему. Отказать бездомному в крове Ивановы не могли. Ему поставили постель, и «Сержик» сделался своим домашним человеком. К тому времени Ивановы получили две комнаты в квартире. Рядом жила вдова университетского кассира со своей племянницей. В жаркие летние ночи все обитатели квартиры выбирались спать на веранду дома. Появилась у Ивановых и домработница – девочка Настя Косырева. Она была из семьи саратовских старообрядцев, которые от поволжского голода бежали на Кавказ. Здесь она похоронила мать и сама тяжело заболела лихорадкой, но бакинские доктора, хорошо знакомые с этой болезнью, сумели ее вылечить. Настя оказалась очень хорошей. Все крепко ее полюбили. Пять человек дружно жили в двух комнатах.

Из известных поэтов Вяч. Иванова в Баку в 1921 году посетили два футуриста. Одним из них был Велимир Хлебников. Он еще в Петербурге слушал лекции Вяч. Иванова по стихосложению сначала на «башне», а потом в редакции «Аполлона». Тогда, в 1909 году, Вяч. Иванов посвятил Хлебникову стихотворение под названием «Подстерегателю»:

Нет, робкий мой подстерегатель,
Лазутчик милый! я не бес,
Не искуситель – испытатель,
Осенок, циркуль, лот, отвес.

Измерить верно, взвесить право

Хочу сердца – и в вязкий взор
Я погружаю взор, лукаво
Стеля, как невод, разговор.

И, совопросник, соглядатай,
Ловец, промысливший улов,
Чрез миг – я целиной богатой,
Оратай, провожу волов:

Дабы в душе чужой, как в нови,
Живую врезав борозду,
Из ясных звезд моей Любви
Посеять семенем – звезду^[382].

Судя по этому стихотворному ответу, Хлебникова могло смущать «душеловство» старшего собрата по перу. Многие хлебниковские поиски в области фонетики и корнесловия были интересны Вяч. Иванову.

Через Баку Хлебников пешком шел в Персию – недаром на Востоке его называли «дервиш урус». Лидия Иванова вспоминает поэта таким: «Абсолютно ни на кого не похожая фигура, высокий, в кожаном тулупе, обитом бараньей шкурой, меховая шапка, а на ногах какая-то странная обувь. Весь желтый, и одежда и лицо, с большими отеками, как у голодающих. Действительно ли он голодал или был болен, не знаю. Вячеслав страшно обрадовался, так как его очень любил»^[383].

Находился в это время в Баку и Алексей Крученых. Он бывал у Вяч. Иванова, и поэты подолгу дружески беседовали. Крученых рассказывал о своей теории «заумной речи» в поэзии, а в мае 1921 года Вяч. Иванов принимал участие в его творческом вечере.

Сложилось в Бакинском университете и студенческое поэтическое общество под названием

«Чаша». Излишне говорить, что душой и общепризнанным наставником его стал Вяч. Иванов. На заседаниях участники читали свои стихи, мэтр внимательно слушал их, а затем глубоко и доброжелательно разбирал. По большей части «Чашу» посещали студенты филологического факультета, где преподавал Вяч. Иванов. Это общение не прошло для них даром. Многие потом сделали выдающимися учеными. Достаточно только назвать имена Ц. С. Вольпе, блестящего исследователя жизни и творчества В. А. Жуковского и автора книги «Судьба Блока», М. М. Сироткина, впоследствии видного педагога и психолога, М. А. Бриксмана, биографа А. И. Одоевского, М. М. Гухман, ставшую крупным лингвистом, К. М. Колобову, профессора античной истории Ленинградского университета. Но особенно близки Вяч. Иванову были три его бакинских ученика. Один из них – Виктор Андроникович Мануйлов, поэт, в будущем выдающийся ученый-лермонтовед, профессор Ленинградского университета. На своей фотографии, подаренной Мануйлову, Вяч. Иванов сделал стихотворную надпись-посвящение под названием «VICTORI MANU ELONIM»:

Поэт, пытатель и подвижник
In puse и в одном лице.
Вы добрый путник, белый книжник
Мне грезитесь в тройном венце.
Вы оправдаете, ревнитель
И совопросник строгих Муз,
Двух звуков имени союз.
Рукою Божьей победитель [\[384\]](#).

Имелось в виду значение имени («Виктор» (лат.) – «победитель»), отчества («Андроник» (греч.) –

«побеждающий мужей») и фамилии («Мануйлов» происходит от еврейского «Эммануэль» – «С нами Бог»). Последнее напоминало о стихотворении Владимира Соловьева с тем же названием. Мануйлов оставил воспоминания о Вяч. Иванове, где образ учителя предстает необычайно живым и объемным: «Вячеслава Ивановича располагало ко мне не только знакомство с моими ранними стихами и увлеченность университетскими занятиями, но и повседневная занятость и работоспособность. Вот почему он счел возможным даже поручить мне обязанность секретаря двух семинаров, которые он вел, – по Пушкину и по поэтике... Он верил, что я справлюсь и с этой нагрузкой, а я, конечно, был благодарен ему и очень ценил почти каждодневные встречи с ним... Вячеслав Иванов внимательно и подолгу расспрашивал меня о моих сокурсниках. Это помогло мне лучше понять его внимание и заботу, без которых нельзя себе представить строгой щедрости нашего Учителя.

Значительность всего, связанного с Вячеславом Ивановым, глубина и проникновенность его речей часто сочетались с иронической улыбкой, грациозной шуткой, полунамеком на бытовые мелочи, понятным только двум-трем его собеседникам. Это сочетание значительности и простоты, жреческого, почти торжественного спокойствия и непринужденной свободы и легкости общения всегда удивляло и восхищало меня. Быть может, это объяснялось не только мудростью Вячеслава Иванова, но и чуткостью его, способностью отчетливо представлять себе состояние собеседника, подлинным тайновидением...

Разговаривать с Вячеславом Ивановым было всегда и сладко и очень страшно. Мне посчастливилось беседовать с разными и часто значительными собеседниками. Из них едва ли не самым удивительным был Вячеслав Иванов. В разговоре с ним никогда не

оставалось пустых моментов, лишних фраз, слов вежливости, того, что Щерба называет “упаковочным материалом”. Всегда было взято все самое главное, самое существенное. Вячеслав Иванович знал, что всего нужнее и интереснее собеседнику. Он понимал всякий раз, в каком состоянии приходит к нему человек... Разговор всегда поражал двумя противоположностями. Вячеслав Иванов был человек мягкий, но мягкость была тигриная, волевая... Его собеседник всегда чувствовал себя прочно взятым в руки. Вместе с тем, Вячеслав Иванов, ничего не упрощая, говоря иногда непонятное нам по нашему возрасту и развитию, не унижал собеседника ощущением бесконечного расстояния между собой и нами... Вячеслав Иванов был сама мудрость. Но он проявлял такую любовную заинтересованность, что с ним говорилось, как с отцом, как с человеком, который мудрее тебя, но который говорит с тобой, как с равным, хотя знаешь, что ни о каком равенстве не может быть речи. Он обладал поразительной вкрадчивостью и мягкостью, которые вызывали удивительное доверие. Я бы не сказал, что это был человек необыкновенной доброты, как Максимилиан Волошин. Иногда Иванов был человеком совсем не добрым. И вообще от него иногда исходили страшноватые искры. Если бы хотел, он мог бы испепелить собеседника-противника. Но, зная свою колдовскую силу, он употреблял ее в редчайших случаях. В гневе он был страшен. Мне пришлось видеть его в гневе только несколько раз. К счастью, его гнев был обращен не на меня...

Мне довелось узнать Вячеслава Иванова в пору его творческой зрелости. Ему предстояло еще прожить полное исканий и жизненных испытаний целое 25-летие. Но уже в Баку в его стихах было заметно стремление к большей ясности и простоте – простоте высокой, пушкинской...

Анализ звукописи в лирике Пушкина и разработка проблемы звукообраза у Пушкина в трактовке Вячеслава Иванова опередили наших пушкиноведов, а также историков и теоретиков стиха... Вячеслав Иванов не принимал теории искусства для искусства. В его представлении искусство всегда служит самопознанию человечества. Художник должен быть “солью земли”. Все решительнее не принимая принципа индивидуализма, лежащего в основе философии Ницше, его антигуманизма и агрессивного имморализма, Вячеслав Иванов приходит к идее всенародности искусства. Он преодолевает ограниченность индивидуального сознания и сосредотачивает внимание на идее о сверхличном, всенародном и всечеловеческом – о “соборности” и “хоровом начале” в жизни и в искусстве»^[385].

Другим бакинским студентом, ставшим своим человеком в доме Вяч. Иванова, был Моисей Семенович Альтман – поэт, постоянный участник заседаний «Чаши», филолог-классик, впоследствии доктор филологических наук, автор многих литературоведческих трудов, в том числе книг «Читая Толстого» (Тула, 1966) и «Достоевский по вехам имен» (Саратов, 1975). Приходя к Вяч. Иванову в гости, Альтман подолгу беседовал с ним, записывая высказывания учителя. Впоследствии он частично опубликовал записи этих бесед в «Ученых записках Тартуского университета» за 1968 год (вып. 209). Вот некоторые из них: «Я процитировал стихи Бальмонта:

Мой зверь не лев, возлюбленный толпою,
Мне кажется, что он лишь крупный пес.

Вячеслав Иванович взъярился:

- Какая пошлость! Ведь сходство собаки со львом только внешнее и случайное, и сказать так, как сказал Бальмонт, значит сказать рифмованную пошлость. Бальмонт, впрочем, пошлости часто говорит. Он, конечно, поэт подлинный, первоклассный, но, к сожалению, слишком много (скажем скромно - 70 %) писал ненужного: перепевы самого себя, повторения, случайное, внешнее, а иногда и пошлое. Но вообще-то он поэт не пошлый. Вот у Пушкина нет ничего пошлого, и я, любя Пушкина и ненавидя пошлость, не могу не сердиться на Бальмонта...

- Два порока губят Бальмонта, - сказал В. И., - бедность языка и отвлеченность. Он самый отвлеченный поэт наших дней. В ранней своей фазе, когда он пел мимолетное, он был конкретным и поэтическим. Но потом он без конца стал разговорчивым, становился все более и более отвлеченным и все менее и менее поэтическим...

Я начал читать "Облачную лестницу": "Если хочешь в край войти, вечно золотой, Облачную лестницу нужно сплести мечтой". - Как, в край? - переспросил В. И. - в страну? Ах, как этот географический "край" неуместен в царстве грез. А этот рецепт ("нужно") как непоэтичен! Греза поэта очень милая, но язык не на высоте.

- Блок первый из современных русских поэтов. В обычной речи такой простой, он как бы двух слов связать не может, а в своих стихах, оказывается, он знает о вас интуитивно такие вещи, такие ваши интимные переживания, какие никто другой не знает. Блок и благозвучнее Бальмонта, и талант первоклассный...

Поэма "Возмездие" кажется В. И. "неубедительной, - самая фабула - неясна, хотя некоторые страницы и блистательны, но пушкинская форма не подходит к современной сложности, она кажется золотой ризой на мертвеце... Лирические же

стихи Блока великолепны, законченны, поэтичны"...
Большое значение придает В. И. "Скифам" Блока...

- Мой друг Рачинский рассказал мне такой анекдот. Пришел некий великий грешник на исповедь. Исповедующий спрашивает его: "Ты убивал?" - "Грешен". - "Прелюбодействовал?" - "Грешен". - "Разбойничал?" - "Грешен" и т. д. Наконец, спрашивает он: "Еретик?" - "Боже упаси!" Вот таков и я. Во всем грешен, но не еретик: в искусстве, как в религии, есть правовкусие и вкус еретика. И именно вкус еретика у Брюсова, возгласившего: "Но последний царь вселенной, Сумрак! Сумрак! - за меня!" Да, Брюсов жрец, пусть маленький, но очень старательный, именно этого сумрака, этого зла...

- А вот Андрей Белый, по-моему, стихом не владеет. И потому, быть может, не владеет, что так тонко знает технику стиха. В поэзии он только экспериментатор. Но он гениален в прозе. И его "Петербург" одновременно и неудавшаяся, и гениальная книга. К тому же Белый - колоссальнейший ум, необычайный диалектик, с огромными познаниями, и, как личность, пожалуй, более сложное явление, чем даже Ницше. Но он безумец, и это "красиво", когда слышишь это слово, но очень мучительно, когда с безумцем приходится жить. И он имеет еще несчастное свойство - все, что говорит и пишет, сейчас же и печатать...

- Поэта Гумилева я ценю. Одно время он был под сильным влиянием Брюсова и "французов", но затем он от своих учителей освободился и приобрел полную самостоятельность... Конечно, - романтик и упивающийся экзотикой, но романтизм его не заемный, а подлинный, им пережитый... Накануне своей дуэли с Максимилианом Волошиным... Гумилев провел ночь у меня. Я, хотя Волошин был моим приятелем, в этом его столкновении с Гумилевым был на стороне Гумилева, а с Волошиным разошелся... Это, разумеется, не мешает

мне высоко ценить стихи последних лет Волошина: в них он настоящий красавец»[\[386\]](#)...

Альтман познакомил Вяч. Иванова со своей семьей. Его родители были хасидами – принадлежали к одному из самых живых и сердечных направлений иудаизма. К учителю сына они прониклись такой нежностью, что даже пригласили вместе с дочерью на празднование Пасхи, которую обычно справляли в узком домашнем кругу. Вяч. Иванов здесь воочию соприкоснулся с ощущением радости от события более чем трехтысячелетней давности, неизменно переживаемого в дни пасхального седера как сегодняшнее, и еще раз почувствовал родство этой ветхозаветной трапезы – через Тайную вечерю – с Таинством Евхаристии. На стук в дверь маленькая сестренка Моисея Альтмана побежала открывать пророку Илии, который всегда приходил незримо. Библейская история словно оживала на глазах и помогала глубже и объемнее воспринимать Евангелие.

Альтману, несмотря на разницу в возрасте, сделавшемуся Вяч. Иванову настоящим другом, поэт посвятил цикл из трех сонетов, где были такие, полные признательности, строки:

Мятежному добро ль ученику
Довериться, как сердце подсказало,
Решат года, мне ж весело бывало,
Как у огней струистых над Баку,

С тем, кто умел стать другом старику,
Чьей беглой мысли ласковое жало
Целебно жгло, играя, и пронзало
Больной души сонливую тоску[\[387\]](#).

Третьим из наиболее близких Вяч. Иванову его учеников в Баку стала Елена Александровна Миллиор – впоследствии выдающийся специалист по античной истории. Она заведовала кафедрой в Ижевском университете, а последние годы жила в Ленинграде, где написала прекрасное исследование о романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Два отрывка из него были опубликованы в «Вестнике РХД» (1976. № 119) под инициалами «Е. М.». В Бакинском университете Елену Александровну называли Нелли. Вяч. Иванов подарил ей свою фотографию с надписью «Моей филологической сотруднице и сомечтательнице Елене Александровне Миллиор» и с такими стихами:

Какая светлая стезя
Открыта мысли, сердцу Нелли.
Иди же, Нелли, не скользя,
Сквозь горы, льдины и метели
На Дионисовы свирели.
Кому они однажды пели,
Тому нейти на зов нельзя [\[388\]](#).

Сохранился бакинский дневник Е. А. Миллиор, который она прислала Л. В. Ивановой. 21 июля 1921 года Елена Александровна записала в нем: «На днях держала экзамен у Вяч[еслава] Иванова. Наша беседа длилась около одного часа. При этом мы рассматривали и план Афин и фотографии развалин, и он рассказывал о них. Читал мне целые лекции о Дионисе и пра-Дионисе. И невзначай задавал коварные вопросы. Спрашивал даже мелочи, даже термины» [\[389\]](#).

А на следующий день произошло событие, о котором Е. А. Миллиор сделала запись 24 июля: «22-го я присутствовала на защите диссертации Ивановым.

Благодаря общению с ним, я была вполне в курсе дела и могла разобраться в смысле его тезисов. Затем было прочитано постановление факультета и при громе аплодисментов профессора начали поздравлять и целовать В. И.»^[390].

Речь шла о защите Вяч. Ивановым в Бакинском университете докторской диссертации. Если в поэзии этот период был ознаменован немногим – в основном шуточными стихами и посвящениями, – то научная деятельность протекала необычайно плодотворно. Он написал большую книгу-исследование «Дионис и Прадионисийство», которую и предложил историко-филологическому факультету на соискание степени доктора. Защита прошла с блеском. В 1923 году книга «Дионис и Прадионисийство» вышла в Баку. Она стала классическим трудом в области античной истории, религиоведения и словесности. В предисловии к этой книге, итоговой для его многолетних изысканий в области дионисийства, Вяч. Иванов писал: «Могущественный импульс Фридриха Ницше обратил меня к изучению религии Диониса. Гениальный автор “Рождения Трагедии” показал в нем современности вневременное начало духа, животворящее жизнь, и как бы ее первого двигателя. В его пробуждении видел он залог всеобщего обновления. Но не то же ли, еще раньше, хотел сказать на своем языке Достоевский проповедью “приникновения к Земле, восторга и исступления”? Не оба ли верили в Диониса, как в “разрешителя” от уз “индивидуализации”... “обособления” и “отъединения”, по мысли другого? Поистине, оба говорили о той же силе, но сколь различна была обоих воля, сколь несогласны чаяния!..

Исследование обнаружило всю несостоятельность... исторической концепции философа-филолога (Ницше. – Г. З.). Не подлежит сомнению, что религия Дионисова...

давала своим верным “метафизическое утешение” именно в открываемом ею потустороннем мире. Была она религией демократической по преимуществу и... первая в эллинстве определила своим направлением водосклон, неудержимо стремивший с тех пор все религиозное творчество к последнему выводу – христианства. В тяжбе пророков прошлое высказалось не за Ницше»^[391].

В этом же предисловии Вяч. Иванов говорил о различии между первой своей «дионисийской» книгой – «Эллинская религия страдающего бога» – и новой: «Первины моих изучений и размышлений об этом предмете, которым я вольно предавался на склонах Ликабета и под колоннами Парфенона, изложил я, уже много лет тому назад, в опыте общей характеристики дионисийства. Этот опыт, в виде серии статей, был напечатан в еженедельнике “Новый Путь” за 1904 г., под заглавием “Эллинская религия страдающего бога” и в сменившем его ежемесячнике “Вопросы Жизни” за 1905 г., под заглавием “Религия Диониса”. Отдельное издание погибло перед выходом в свет на складе...

Предлагаемая читателю монография никак не связана с упомянутым очерком... не отменяет его, но и не повторяет; он был бы не бесполезным в нее введением. Очерк сосредоточен на проблеме дионисийской психологии и, в частности, на мистике дионисийской жертвы; настоящее исследование – на вопросе о прадионисийских корнях Дионисовой религии. Первый обращается к широким кругам, второе – к изучающим предмет пристальнее. Тон первого – до смешного молод; тон второго досадно сух. Впрочем, как знать, что достойнее смеха?»^[392]

В книге Вяч. Иванов рассматривал архаические прадионисийские культы, имена страждущих божеств которых сохранились в мифологических преданиях,

став предтечами и древними ипостасями дионисийства. К ним относился и явно пришедший с Востока миф об Адонисе и Астарте, в Греции получившей имя Афродиты, и о Загрее, и об Актеоне, и об Оресте и Пиладе, и об Орфее, и об Аристее, и о Геракле. Иногда мотивы таких мифов причудливо переплетались, образуя новые варианты, но неизменно в их основе лежал образ страдающего и гибнущего бога или героя, как Адонис, убитый во время охоты кабаном, Актеон – олень, разорванный своими же собаками, Орфей, растерзанный вакханками (разрывание тела на части было очень характерно для этого мифологического пласта), или Геракл, сам отдирающий от себя вместе с кусками тела прилипший к нему отравленный плащ. Так, о последнем Вяч. Иванов писал: «Древнейшая история *Геракла* в эллинстве – история неудавшейся попытки объединить элемент будущей Дионисовой религии вокруг этого “героя-бога”, как именует его Пиндар... наименованием, собственно подобающим одному Дионису. Много причин обусловило неудачу: и печать доризма, которую постепенно, застывая и каменея, принимает его уже только подвижнический образ, – и его отчужденность от жизненно мощных корней материкового, фракийско-парнасского оргиазма, – и, наконец, сама устойчивость представления о нем, исключаящая ту не героическую, но божественную легкость превращений, какая прежде всего оказалась необходимой для владыки смерти и возрождения, для бога нижнего и высшего вместе, для небожителя и внезапного стихийного демона в одном лице. В свою раннюю пору Геракл (по-видимому – Сандон хеттского Тарса) был прадионисийским сопрестольником оргиастической богини, умирающим на костре и воскресающим, увенчанным виноградными гроздьями, грозным своими рогами и обоюдоострой секирой. Он был тогда и навсегда остался своего рода

богочеловеком, претерпевающим страсти. В свою позднейшую пору он непрерывно сближается в свойствах, судьбах и деяниях с Дионисом, во всем ему уподобляется, но при этом остается себе верен так, что черты сходства кажутся проистекающими из его самобытной природы: всегда эллины чувствовали его исконную независимость от Диониса и не забыли в нем своеобразного предтечи Дионисова... Геракл страждущий, умерший и возведенный на Олимп, предполагает утверждение Дионисовой религии как предварительное условие... Безумие, налагающее на героя дионисийскую печать (*Беллерофонт, Алкмеон, Орест, Аянт*), было простым следствием усмотрения одноприродности Геракла и Диониса... Геракл и Дионис воистину братья. Боги не могут победить Гигантов без помощи двух героев, рожденных Зевсом от смертных матерей - Семелы и Алкмены... Оба служат мистическим звеном, соединяющим мир живых и мир загробный...»^[393]

Вяч. Иванов глубоко исследовал прадионисийские и дионисийские корни двух основополагающих жанров древнегреческой поэзии - трагедии и дифирамба. Особенно сильно это первоизданное мистериальное начало было присуще первому трагику Эллады - Эсхилу, чьи драмы перевел Вяч. Иванов. В беседе с М. С. Альтманом он признавался, что замышлял издать в трех книгах свои переводы Эсхила, а в четвертой - статьи о нем. Замысел этот не осуществился. Но в 1989 году в издательстве «Наука» были опубликованы ивановские переводы Эсхилых трагедий и в качестве приложения к ним - четыре главы из «Диониса и Прадионисийства».

Утверждал Вяч. Иванов и то, что в дионисийстве и прадионисийстве таились глубинные, хотя и смутные, предчувствия христианства, смысл которых

окончательно и ясно раскрылся в Таинстве Евхаристии и в песнопениях литургии, где явственно слышались отголоски Эсхиловых хоров, их перекличка: «Уверовавшему эллину, воспитанному на страстных мистериях, христианство естественно должно было явиться только реализацией родных прообразов, предчувствий и предвестий, – зрением лицом к лицу того, что прежде было постигаемо гадательно и видимо как сквозь тусклое стекло. Воспитательной задачей церкви, естественно, прежде всего, оказалась задача – бороться с представлением, что новая вера только вид однородных мистерий, – внушить убеждение, что церковные таинства – мистерии окончательные и единственно спасительные, не затемненные, а совершенные, не преобразовательные, а осуществительные... Трагедия была глубочайшим всенародным выражением дионисийской идеи... Так эллинский мир создает почву для христианства, которое уже в самой колыбели своей, какою была “Галилея языческая” (Ис. IX, 1; Матф. IV, 15), кажется проникнутым символикой и пафосом дионисийства»^[394].

Две рецензии на книгу Вяч. Иванова написал в 1926 году его старинный добрый знакомый, частый гость «башни», Фаддей Францевич Зелинский – выдающийся филолог-классик, профессор Петербургского университета, переводчик Софокла. В это время он уже был в эмиграции в Польше, где стал профессором Варшавского университета и академиком. В одном из своих кратких разборов «Диониса и Прадионисийства» Зелинский писал: «Книга эта принесла бы славу русской классической филологии, если бы эта последняя еще существовала. Известно, однако, что наука эта, в России достаточно молодая, после краткого полувекового расцвета внезапно была истреблена – еще одна дионисийская жертва

человекогубительных исступлений нынешнего правительства. Преподавание древних языков и литературы было отменено, кафедры классической филологии в университетах закрыты, профессора вынуждены либо эмигрировать, либо заняться другими делами...

Не приходится ожидать, что книга... найдет многочисленных читателей как в России – по вышеназванным причинам, – так и за рубежом – из-за языка, на котором она написана...

Автор предполагает, что прежде распространения в Греции культа Диониса под Дионисовым именем... элементы культа уже существовали без имени бога, то есть под другими именами... Именно это он называет “прадионисизмом”...

Согласно автору, надлежит различать его два главные ответвления: культ островной и материковый; первый отличается от последнего тем, что божество в нем предстает в образе быка, во втором – дракона; атрибуты первого – двойной топор и виноградная лоза; второго – тирс и плющ; первого окружают дельфины и пантеры, второго – олени и козы, и т. д. Это различие представляется мне одной из наиболее сильных положений книги...

Без преувеличения можно сказать, что после гениального исследования Фр. Ницше никто другой не проник столь глубоко в тайный смысл дионисийских мистерий... Наша высокая оценка книги не будет полной, если мы не отметим широкой эрудиции автора, свидетельством чему его многочисленные примечания. Конечно, не в Баку, городе, известном больше нефтью, чем книжными богатствами, автор мог познакомиться со всей научной литературой; перед нами работы многих лет, и автор потрудился во многих библиотеках

и музеях. Действительно досадно, если научный мир не познакомится с этой книгой»[\[395\]](#).

Новое издание «Диониса и Прадионисийства» было выпущено лишь семьдесят с лишним лет спустя – в 1994 году Санкт-Петербургским издательством «Алетейя».

Но наряду с работой над фундаментальным научным исследованием Вяч. Иванову в Баку довелось обратиться и к самому несерьезному и веселому жанру – оперетте. Режиссер Бакинской оперы Н. Н. Боголюбов и композитор М. Е. Попов, консерваторский преподаватель Лидии, попросили его сочинить либретто. Вяч. Иванов с радостью и готовностью согласился и начал работать над текстом оперетты под названием «Любовь мираж?». По сюжету пьесы действие происходило в кафешантане, где встретились разочарованный в жизни Крушинин и неудачливая актриса Мари Бланпре. Поначалу им кажется, что их любовь – это мираж, но после трудных испытаний влюбленные соединяются, и все завершается счастливым финалом. С упоением писал Вяч. Иванов шуточные, искрометные куплеты, как, например, те, что пел «господин с орхидеей» в сцене «Состязание колен»:

Колен открыто состязанье.
Как так? Всё тотчас доложу.
Но прежде славное сказанье
По новым данным изложу.

На пристань гость всходил к Елене.
Дул Норд... Одежды вдруг взвились.
Увидел... что? – ее колени...
И страстью воспылал Парис[\[396\]](#).

И совсем в другой тональности была написана для той же оперетты песня рыбаков, от которой словно бы веяло солью Средиземноморья:

Кормит нас море родное,
Помнит прилива час:
Издали хлынет седое,
Подхватит рыбачий баркас.

На версты мели затопит
В буйном разбеге вода.
Ветер гуляет, торопит
Закидывать вглубь невода.

Море уловом откупит
Все, что нагребит у нас.
С рокотом прочь отступит,
В урочный вернется час^[397].

В бакинском Наркомпросе к Вяч. Иванову относились с глубоким уважением, но какие бы то ни было официальные посты занимать он отказывался, хотя в университете его выдвигали на должность декана, а затем и ректора. Вяч. Иванов не оставлял надежды уехать в Рим – город давно родной, где каждая улица, каждый дом и камень напоминали о самых счастливых днях жизни.

И вот неожиданно, после почти четырех лет, проведенных в Баку, вдруг все решилось. В мае 1924 года Вяч. Иванова пригласили в Москву для участия в торжествах по случаю 125-летия со дня рождения Пушкина. Луначарский хорошо помнил, как по его просьбе в 1918 году поэт блистательно выступил на открытии памятника Достоевскому на Цветном бульваре. Не сомневался он и теперь, что речь Вяч.

Иванова на пушкинском празднике будет одной из сильнейших. Оставив в Баку дочь и сына, Иванов отправился в Москву. Вместе с ним туда поехал В. А. Мануйлов.

Москва, которую они увидели, была совершенно иной, нежели та, голодная, разрушенная и разоренная, что в 1920 году Вяч. Иванов вместе с детьми покинул. Год спустя большевики, поняв, что еще немного – и народ, доведенный до отчаяния, сметет их, ввели нэп. Заработали рыночные механизмы, оживилось предпринимательство, стала востребованной частная инициатива – и жизнь внешне начала налаживаться. Правда, это не решило тяжелейших жилищных вопросов и не остановило маховик карательной машины. В том же 1921 году, когда был объявлен нэп, начал свою страшную работу и Соловецкий лагерь – эмбрион всей будущей многомиллионной системы ГУЛАГа.

Но тогдашняя ожившая Москва с ее деловым ритмом пришлась Вяч. Иванову по душе. Черты той эпохи замечательно воссоздал в своих очерках М. А. Булгаков, работавший в газете «Торгово-промышленный вестник». В фельетоне под названием «Торговый ренессанс (Москва в начале 1922-го года)» он писал: «Для того, кто видел Москву всего каких-нибудь полгода назад, теперь она неузнаваема, настолько резко успела изменить ее новая экономическая политика... Началось это постепенно... понемногу... То тут, то там стали отваливаться деревянные щиты, и из-под них глянули на свет, после долгого перерыва, запыленные и тусклые магазинные витрины. В глубине запущенных помещений загорелись лампочки, и при свете их зашевелилась жизнь: стали приколачивать, прибивать, чинить, распаковывать ящики и коробки с товарами. Вымытые витрины засияли... Трудно понять, из каких таинственных недр

обнищавшая Москва ухитрилась извлечь товар, но она достала его и щедрой рукой вытряхнула за зеркальные витрины и разложила на полках.

Зашевелились Кузнецкий, Петровка, Неглинный, Лубянка, Мясницкая, Тверская, Арбат. Магазины стали расти как грибы, окропленные живым дождем НЭПО... Государственные, кооперативные, артельные, частные... За кондитерскими, которые первые повсюду загорелись огнями, пошли галантерейные, гастрономические, писчебумажные, шляпные, парикмахерские, книжные, технические и, наконец, огромные универсальные...

На Кузнецком целый день кипит на обледеневших тротуарах толчая пешеходов, извозчики едут вереницей, и автомобили летят, хрипят сигналы...

На Петровке в сумеречные часы дня из окон на черные от народа тротуары льется непрерывный электрический свет...

Кондитерские на каждом шагу. И целые дни и до закрытия они полны народу... В б. булочной Филиппова на Тверской, до потолка заваленной белым хлебом, тортами, пирожными, сухарями и баранками, стоят непрерывные хвосты...

Движение на улицах возрастает с каждым днем. Идут трамваи по маршрутам 3, 6, 7, 16, 17, А и Б, и извозчики со всех сторон везут москвичей и бойко торгуются с ними: – Пожалуйста, господин! Рублик без лишнего (100.000)! Со мной ездили!

У Метрополя, у Воскресенских ворот, у Страстного монастыря, всюду на перекрестках воздух звенит от гомона бесчисленных торговцев газетами, папиросами, тянучками, булками.

У Ильинских ворот стоят женщины с пирожками в две шеренги. А на Ильинке с серого здания с колоннами исчезла надпись “Горный совет” и повисла другая с огромными буквами “Биржа”...

Когда уже закрыты все магазины, все еще живет неугомонная Тверская... Окна бесчисленных кафе освещены, и из них глухо слышится взвизгивание скрипок»[\[398\]](#).

Вяч. Иванов и его спутник остановились в Доме ученых. Учреждение это располагалось на Пречистенке, переименованной в Кропоткинскую, в доме номер 16, построенном на рубеже XVIII–XIX столетий для тогдашнего военного губернатора Москвы И. П. Архарова. В 1818 году владельцем усадьбы стал И. А. Нарышкин, дядюшка Н. Н. Гончаровой, жены Пушкина, который не раз бывал в этом доме. Во второй половине XIX века усадьбу приобрел богатый серпуховской фабрикант И. Коншин. После революции в ней разместилась ЦЕКУБУ (Центральная комиссия по улучшению быта ученых), а с 1922 года – Дом ученых. Директором его тогда была актриса М. Ф. Андреева, подруга Горького, старый член ВКП(б).

На следующий день по приезде в Москву Вяч. Иванов отправился к Луначарскому в Наркомпрос, который располагался в доме номер 6 на Чистых прудах. А 6 июня 1924 года в Большом театре состоялся торжественный вечер в честь пушкинского юбилея. Предполагались выступления Вяч. Иванова, а также крупнейших ученых-пушкинистов: П. Н. Сакулина и М. А. Цявловского. Затем должен был последовать концерт.

Открывал вечер Луначарский. Он намеревался произнести краткую речь, но, увлекшись, говорил два часа. Концерт пришлось сильно сократить.

Вяч. Иванов посвятил свое выступление жизни Пушкина в 1824 году. Особенно он остановился на анализе поэмы «Цыганы», которой исполнялось сто лет. О ней Вяч. Иванов размышлял еще в статье «О “Цыганах” Пушкина», написанной в 1908 году для

второго тома пушкинского собрания сочинений, подготовленного С. А. Венгеровым, и вошедшей в сборник «По Звездам». Многие из положений этой статьи он включил в свою речь. Главным мотивом в ней стало обретение Россией ее религиозного призвания. Можно предположить, что в те дни Вяч. Иванов вспоминал, как сорок четыре года назад вместе с одноклассниками-гимназистами присутствовал на торжественном открытии опекушинского памятника Пушкину и как потрясла его речь Достоевского. Но теперь он спорил со своим любимым писателем: «Недостаток толкования Достоевского, по нашему мнению, в том, что он выдвигает, несоответственно с намерениями Пушкина, на первый план национально-общественный вопрос и чрез него ищет подхода к религиозному содержанию поэмы, тогда как Пушкин прямо противопоставляет богоборству абсолютно самоутверждающейся личности идею религиозную – идею связи и правды вселенской – и в этой одной видит основу истинной и цельной свободы... Что же можно противопоставить этому демоническому самоопределению гордого человека, если не антитезу религиозную?»^[399]

В повороте от самоутверждения к обретению Бога в своем сердце Вяч. Иванов видел подлинное, полное раскрытие человеческого «я» и настоящей, глубинной свободы. Это был и путь Пушкина – от «Цыган», где он начинал спор с Байроном, продолженный в «Евгении Онегине» и «Полтаве», до стихов последних лет жизни, таких как «Отцы пустынники и жены непорочны», «Мирская власть» и особенно «Странник», где внешнему побегу Алеко от людей противостоит побег внутрь себя, в ту глубину, на которой человек встречается с Высшей Правдой: «Только луч религиозной идеи обличает в Алеко “беглеца”, “раба,

замыслившего побег” – не от людей, а от себя самого, так как правды ищет он не в себе, а вне себя, и не знает, что “не в вещах эта правда и не за морем где-нибудь, а прежде всего в собственном труде над собою”. Тот, кто “для себя лишь хочет воли”, – только мятежный раб, или вольноотпущенник... Под... освобождением мы разумеем такое очищение и высветление индивидуального сознания, при котором человеческое я отметаёт из своего самоопределения все эгоистически-случайное и внешне обусловленное и многообразными путями “умного делания” достигает чувствования своей глубочайшей сверхличной воли, своего другого, сокровенного, истинного я»^[400].

Как и во время диспута шестилетней давности в Политехническом музее, речь Вяч. Иванова в Большом театре утверждала все то, что ниспровергал в своем, атеистическом по духу, выступлении Луначарский. Но публика бурно аплодировала и нарком просвещения, и поэту.

Через несколько дней Вяч. Иванов вместе с Мануйловым побывал в гостях у профессора П. Н. Сакулина. Это было связано с желанием учителя помочь ученику перейти из бакинского в Московский университет. После обеда Сакулин пригласил Вяч. Иванова и Мануйлова на заседание Общества любителей российской словесности. Уже более ста лет оно собиралось в здании Московского университета на Моховой. Стены эти помнили и чтение Жуковским своей стихотворной повести «Красный карбункул», и как принимали в общество пятнадцатилетнего Федора Тютчева, и спор между Пушкиным и Каченовским о подлинности «Слова о полку Игореве». В тот день члены Общества решили устроить чествование Вяч. Иванова. О неожиданной встрече, которая произошла на заседании, вспоминал В. А. Мануйлов: «Мы

отправились в старое здание Московского университета, где собралась полная аудитория. Студенты встали и аплодисментами приветствовали Вячеслава Иванова. Когда П. Н. Сакулин открыл заседание, один из студентов, участников общества, начал очень витиевато произносить для всех присутствующих мучительную речь. Это было приветствие Вячеславу Иванову, очень высокопарное приветствие: "...Вы, бард нашей поэзии, спасибо, что вы посетили нас. Для нас это событие, потому что мы все сыны муз..." и все в таком духе. В тот момент, когда речь была, видимо, только на середине, с шумом открылась дверь и вошел Маяковский с палкой в руке. За ним - Н. Асеев, а потом еще поэт Наседкин. Маяковский еще в дверях громко прервал говорившего студента: "Как вам не стыдно, молодой человек? К вам приехал большой поэт, а вы говорите такие смердящие слова?! Прекратите словоблудие! Ни Вячеславу Иванову, ни нам эта паточка не нужна. Лучше поговорим о деле, почитаем хорошие стихи. Вячеславу Ивановичу будет интересно, если я почитаю мои стихи. Он послушает, и вы слушаете не поэзию вчерашнего дня, а поэзию сегодняшнюю. Вячеслав Иванов умеет ценить настоящую поэзию. Мне давно хотелось почитать ему".

Вячеслав Иванович обрадовался прекращению высокопарного панегирика и поддержал Маяковского. Он пересел на одну из парт, чтобы лучше видеть Маяковского, и Маяковский начал читать свои стихи - просто, отчетливо и громко, как всегда, превосходно. В. Иванов слушал Маяковского очень внимательно. Был перерыв. Пили чай... В. Иванов сидел рядом с Маяковским. Они говорили о поэме "Про это", которая была недавно закончена Маяковским. В. Иванов говорил с Владимиром Владимировичем, как с хорошим, добрым знакомым, хотя они встречались нечасто. В. Иванов говорил: "Мне ваши стихи чужды. Я такого построения

стиха и такой лексики для себя не могу представить. Но это и хорошо. Потому что было бы ужасно, если бы все писали одинаково. Мне ваши стихи кажутся чем-то похожим на скрежет, как будто бы режут по стеклу чем-то острым. Но это, вероятно, соответствует тому, что вы чувствуете. Я понимаю, это должно волновать нашу молодежь". Говорилось это вполне сочувственно...

Встреча с Маяковским произвела на Вячеслава Иванова хорошее впечатление, и он потом тепло вспоминал о шумном и порывистом появлении Маяковского в этом затхлом собрании "любителей российской словесности"»[\[401\]](#).

Вяч. Иванову всегда хватало широты восприятия и способности оценить масштаб поэта, пусть даже глубоко чуждого ему. Ахматова говорила, что после Маяковского писать по-прежнему было уже невозможно. Но и Маяковский, когда-то призывавший «сбросить Пушкина с корабля современности», на самом деле очень хорошо знал, кто чего стоит в русской поэзии. Он мог говорить грубо и пренебрежительно о той же Ахматовой, мог на мотив известной, не очень приличной песни «Ехал на ярмарку ухарь-купец» пропеть ее «Сероглазого короля». Но когда в начале 1920-х годов до него дошел ложный слух о смерти Ахматовой, он был глубоко потрясен и опечален. И в Вяч. Иванове, совершенно чуждом ему с точки зрения стиха, он не мог не уважать большого поэта. Впрочем, такое отношение у Маяковского распространялось даже на открытого врага – достаточно вспомнить, каким величавым и достойным в своем отчаянии в поэме «Хорошо!» изобразил он Врангеля, покидающего Крым.

Навестил в эти дни Вяч. Иванов и Валерия Брюсова в его доме на Мещанской улице, 30. Разговор двух старых друзей был неллицеприятен. Вяч. Иванов упрекал Брюсова в том, что он сделал со своим поэтическим

даром, пытаюсь вписаться в новую эпоху, «шагать в ногу со временем», как говорили позже. Брюсов всегда поклонялся силе и власти и любил властвовать сам. Ему принадлежали, наверное, самые антипушкинские строки в русской поэзии:

Прекрасен, в мощи грозной власти,
Восточный царь Ассаргадон
И океан народной страсти,
В щепы дробящий утлый трон![\[402\]](#)

Вяч. Иванов вслед за Пушкиным хорошо знал: отвратительно и то и другое.

Брюсов был болен воспалением легких. Он собирался к Максимилиану Волошину в Коктебель, еще не зная, что и эта поездка, и встреча с Вяч. Ивановым станут для него последними.

Тогда же Вяч. Иванов навестил и отца Павла Флоренского, жившего по-прежнему в Сергиевом Посаде. Теперь, кроме священнического служения, он работал в Комиссии по охране памятников старины и искусства Троице-Сергиевой лавры. Вместе со своими товарищами – искусствоведом Ю. А. Олсуфьевым, историком С. П. Мансуровым, отцом Сергием Сидоровым и М. В. Шиком, будущими священномучениками, расстрелянными 27 сентября (в день Воздвижения Креста Господня) 1937 года на Бутовском полигоне, отец Павел Флоренский участвовал в спасении от поругания воинствующими безбожниками мощей преподобного Сергия Радонежского, тайно вынеся их ночью из храма, заменив другими останками, а затем спрятав в надежном месте. После этой встречи с отцом Павлом Флоренским Вяч. Иванов вернулся особенно вдохновенным и просветленным.

Тем временем Лидия и Дима по-прежнему находились в Баку, ожидая возвращения отца. И вдруг, как гром среди ясного неба, – телеграмма от Вяч. Иванова: немедленно собирать все вещи и ехать в Москву. В чем же была причина такой поспешности? Поэт получил шестинедельную командировку в Венецию по случаю открытия Советского павильона на Биеннале, да к тому же вместе с семьей, что могло показаться в те годы делом уж совсем неслыханным. После посещения Биеннале ему разрешалось поехать в Рим для продолжения академических занятий. Фактически это была бессрочная командировка. Получить ее, равно как загранпаспорта и визы, помогли О. Д. Каменева и, конечно же, прежде всего Луначарский, к которому Вяч. Иванов обратился с этой просьбой после их общего участия в пушкинских торжествах. Догадывался ли Луначарский, что Вяч. Иванов уезжает в Италию навсегда? По всей вероятности, да. Иванов и сам почти и не скрывал этого. Что же подвигло Луначарского принять положительное решение? Наверное, вспомнились ему «башенные среды», на которых он постоянно бывал, бесконечные упоительные ночные споры и беседы, атмосфера удивительной свободы и открытости, горящие свечи, бросающие теплые отсветы на оранжевые и красные ткани, радушие и приветливость хозяев... И интеллигент в очередной раз победил в наркоме большевика.

Приехав в Москву, Лидия Иванова и Дима поселились вместе с отцом в Доме ученых на Пречистенке. Здесь семье предстояло прожить еще два месяца до отъезда. Лидии пришлось сходить за вещами, оставшимися в их комнате в Большом Афанасьевском переулке. Вид этого жилища отозвался в ней горестными воспоминаниями.

Дима под влиянием своих бакинских сверстников сделался большим советским патриотом и очень огорчился, что отец не позволяет ему вступать в пионеры. Впрочем, желание это вскоре развеялось.

А у Вяч. Иванова завязалась тогда крепкая дружба с человеком, без которого невозможно представить всю последующую жизнь поэта и его семьи. Это была Ольга Александровна Шор, друг и неоценимая помощница, потом хранитель наследия и комментатор Собрания сочинений, первый биограф Вяч. Иванова. На его лекцию в Обществе свободной эстетики она попала впервые еще четырнадцатилетней московской гимназисткой. Туда ее тайком привела мать, одна из основательниц этого Общества, поскольку публичные лекции гимназистам посещать запрещалось. С тех пор Ольга Шор внимательно следила за всеми выступлениями Вяч. Иванова, жадно читала его книги, прекрасно знала стихи. Юность не мешала ей глубоко понимать сложнейшие ходы мысли в ивановских статьях, мифологические пласты и культурные коды в его поэзии.

Происходила Ольга Шор из высокообразованной еврейской музыкальной семьи. Ее отец, Александр Шор, был замечательным рояльным мастером. Для него в Московской консерватории даже создали специальную кафедру. Сестра Вера стала прекрасной скрипачкой, брат Юрий – виолончелистом. Дядя, Давид Шор, был знаменитым пианистом и педагогом, а его сын Евсей кроме музыкального образования получил еще и философское в Московском, а затем и в германских университетах. Он также был поклонником Вяч. Иванова и считал своим долгом познакомить немецкого читателя с его творчеством. Он перевел и издал брошюрой статью «Русская идея», а в 1932 году – отдельной книгой работы Вяч. Иванова о Достоевском. Длительное время Евсей Шор и Вяч. Иванов

переписывались. После прихода к власти Гитлера, при котором книга Вяч. Иванова попала в число запрещенных, Шор уехал из Германии в Палестину, куда к тому времени перебрался его отец. В Израиле Евсей Давидович жил до своей кончины в 1974 году. Вместе с женой он основал в городе Холоне консерваторию.

Ольге Шор знатоки прочили блестящее будущее в балете, как когда-то матери Вяч. Иванова, Александре Дмитриевне, – успех на поприще певицы. Но и та и другая выбрали тишину и глубину. Ольга Александровна училась во Фрейбурге, где познакомилась с Федором Степуном и Сергеем Гессеном. Но, в отличие от них, неокантианством она не увлеклась. Центральными в мировой культуре для Ольги Шор стали три великих имени – Платон, блаженный Августин и Микеланджело. Живопись и скульптура говорили ей не меньше, чем богословие и философия. Еще в молодости она начала создавать свою систему мысли, которую назвала «мнемологией» – учение о Памяти как основе Бытия. В записях Ольги Шор об этом говорилось так: «Блаженный Августин впервые указал связь Памяти с началом тождества, отметив Память в человеке как его благороднейшую способность. Это именно она – Память – удостоверяет наше бытие, неизменно настаивая на тождественности души самой себе... Действие Памяти обращает принцип тождества в начало Жизни. Память есть не только способность души, но и действие духа. Духа животворящего»^[403].

Нет нужды говорить о том, насколько близки были такие мысли Вяч. Иванову. Его спор с Гершензоном в «Переписке из двух углов» явил собой замечательный образец защиты культурной памяти против беспамятства.

Христианство стало для Ольги Шор сознательным выбором. В зрелом возрасте она приняла православие, которому оставалась верна всю жизнь. В 1921 году Ольга Шор приняла участие в создании Государственной академии художественных наук (ГАХН) и стала ее ученым секретарем. Академия размещалась в здании бывшей Поливановской гимназии (Пречистенка, 32). Ее целью было объединить усилия свободной творческой интеллигенции, оставшейся в России. В ГАХН сотрудничали такие выдающиеся деятели русской мысли и культуры, как отец Павел Флоренский, философ Г. Г. Шпет и другие. Академия просуществовала несколько лет и была закрыта.

Долгие беседы с Ольгой Шор приносили Вяч. Иванову великую радость. Словно бы продолжался «симпозион», знакомый со времен «башни». Поэт обрел верного друга, с которым его соединил духовный путь, озаренный евангельским светом. Но это была лишь прелюдия к их будущему многолетнему общению.

Последние месяцы перед отъездом проходили у Вяч. Иванова в прощании с бесчисленными московскими знакомыми. Он посещал многие дома, порой читал там лекции при большом скоплении народа. Но когда его просили почитать стихи, он обычно отказывался. Бакинский период не был богат поэтически.

К комнате Вяч. Иванова в Доме ученых порой выстраивались огромные очереди из желающих увидеться с ним. Об одном эпизоде О. А. Шор рассказывала в письме Ф. А. Степуну от 30 июня 1963 года: «Приблизившись, я увидела среди толпы Пастернака. Он, слегка склонившись, что-то карандашом чертил в записной книжке. “Зачем Вы здесь стоите, Боря?” – подошла я к нему. Он вскинул свое смуглое лицо белого араба, сверкнул своими пронзительными, темными, с безуменкой, глазами. – “Зачем стою? – отозвался он грудным, немного

театральным голосом, - пришел сюда со своими техническими сомнениями, да и не только техническими". Я рассмеялась: "Помилуйте, я не столь индискретна, чтобы задавать такие вопросы. Спрашиваю, зачем Вы стоите в общей очереди". Мы прошмыгнули боковым ходом. Боясь опоздать в соответственное учреждение, я сразу ушла. До сих пор сожалею, что не осталась тогда при их последней встрече. Быть может, та беседа подтверждала Ваше восприятие Пастернака, как последнего символиста»[\[404\]](#).

Наконец настал день отъезда. Он приходился на 28 августа 1924 года - день блаженного Августина, которого Вяч. Иванов, как и Ольга Шор, глубоко почитал. До вокзала доехали на машине, едва успев на поезд. Многие пришли, чтобы проводить Вяч. Иванова, покидавшего Москву - свой родной город, где все было памятным и любимым. Но другой, давно ставший не менее родным, властно звал к себе. Вяч. Иванов говорил: «Я еду в Рим, чтобы жить и умереть там». Путь лежал от Третьего Рима к Первому - к средоточию вселенной.

Глава IX

Меж родным и вселенским.

1924-1934 годы

Пройдя проверку паспортов на границе, Ивановы вместе с другими пассажирами продолжили свой путь. В вагоне их соседкой оказалась изящная циркачка-карлица, которая ехала на гастроли и везла с собой огромного добродушного сенбернара. Лидия потом вспоминала, как Вяч. Иванов поднимал и укладывал карлицу на ночь в сетку для багажа. С сенбернаром, ехавшим в соседнем купе, он тоже подружился, несмотря на то, что семейным тотемом неизменно оставался кот, а пес напоминал о собаках Гекаты, плачевной судьбе Актеона и трехглавом Цербере из царства мрачного Аида.

Когда позади за окном промелькнул лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – Вяч. Иванов торжественно откупорил бутылку. Его России уже не было. Он уезжал совсем из другой страны. Но не было и старой Европы, хотя уклад и формы жизни еще порой могли показаться прежними.

Миновав Ригу – первый заграничный город на их пути, – на третий день после отъезда из Москвы Ивановы приехали в Берлин. Здесь они провели несколько дней. Город этот стал одним из первых приютов русской эмиграции, ее своего рода «перевалочным пунктом». Многие думали, что в скором времени большевизм рухнет, и ждали, когда смогут возвратиться домой. Были и те, кто не определился, останется ли в зарубежье или вернется в Россию. Из живших в те годы в Берлине возвращение выбрали Андрей Белый, Илья Эренбург, Алексей Толстой, Виктор

Шкловский. Во время заграничных поездок бывали здесь и те, кто изначально и сознательно связал свою судьбу с советской Россией – Владимир Маяковский и Сергей Есенин. Им не раз доводилось встречаться с живущими в Берлине соотечественниками. По пути в Прагу в 1922 году останавливалась в германской столице и Марина Цветаева. Издавались в Берлине многочисленные русские газеты и журналы, работали издательства самых разных направлений.

Но вместе с ростом понимания того, что большевики утвердились в России очень надолго, берлинская эмиграция все более и более становилась парижской. А с приходом к власти Гитлера она почти полностью сошла на нет.

Для Вяч. Иванова Берлин, где в молодости он провел почти шесть лет в университетских аудиториях, в углубленных беседах с замечательным ученым, своим наставником Теодором Моммзенем в его профессорском доме, в тишине библиотечных и музейных залов, был совсем не чужим городом. Поэт хорошо помнил этот предгрозово-покой конца XIX столетия. Теперь же он увидел тот же и вместе с тем совсем другой Берлин. После военного поражения Германии и революции, упраздненной монархии, экономическая жизнь города, как и всей страны, постепенно приходила в порядок. Это своим цепким взглядом, остро различавшим приметы времени, уловил Маяковский, побывавший в Берлине весной того же 1924 года. В стихотворении «Два Берлина» он писал:

На первый взгляд
общий вид:
в Германии не скулят.
Немец —
сыт.
Раньше

доллар —
лучище яркий,
Теперь
«принимаем только марки».
По городу
немец
шествует гордо,
а раньше
в испуге
тек, как вода,
от этой самой
от марки твердой
даже
улыбка
как мрамор тверда.
В сомненьи
гляжу
на сытые лица я.
Зачем же
Тогда —
что ни шаг —
полиция!
Слоняюсь
и трусь
по рабочему Норду,
Нужда
худобой
врывается в глаз.
Толки:
«Вольфы...
покончили с голоду...
Семьей...
в камерке...
открыли газ...»[\[405\]](#)

За внешним заметным улучшением жизни были различимы глубокий внутренний слом и растерянность, вызванная крушением прежнего многовекового уклада. Свобода застала страну врасплох. Ответственные, трудолюбивые и честные немцы, привыкшие подчиняться власти и уважать ее авторитет, оказались неготовыми к самостоятельности и выбору. Лишившись кайзера, Германия напоминала армию без командира.

К тому же поражение в войне и унижительные условия капитуляции вызвали в стране, развивавшейся прежде самыми быстрыми темпами в Европе, тяжелую досаду и обиду. Желание реванша было похоже на тлеющий огонь.

Приехав в Берлин, тем же вечером Ивановы отправились в оперу – слушать «Мейстерзингеров» Вагнера. Любимому композитору Ницше был хорошо знаком Дионисов хмель. С Ивановыми же забавную шутку сыграл хмель совсем другой. В антракте они пошли в буфет, где им подали по огромной кружке пива. Немецкая мера оказалась непривычной для русских путешественников. Сказалась и дорожная усталость. Дионис в союзе с Морфеем победили любовь к музыке. На втором действии все трое заснули. Пробудившись, они ушли с «Мейстерзингеров» прямо во время представления, к глубокому изумлению зрителей.

Следующим немецким городом на пути Ивановых в Италию был Мюнхен. Они осмотрели мюнхенский кафедральный собор, который Лидия видела еще в детстве. О том, насколько другим собор показался ей семнадцать лет спустя, она написала в своей книге «Воспоминания»: «Тогда поезд стоял в Мюнхене меньше часа, и мы побежали по незнакомому городу через узкие переулки к собору. Собор остался у меня в душе, да и теперь еще стоит, как сказочное кружевное марево, как огромный лес розовых взлетающих ввысь спилей. Все это тогда внезапно явилось перед нами в

конце узкого переулка на фоне не пробудившегося еще, еще не реализованного утреннего неба. Теперь собор был совсем не тот. Да и весь остальной Мюнхен казался мне формальным гипсовым слепком каких-то классических архитектур»^[406].

8 ноября прошлого года в Мюнхене произошло событие, к которому мало кто в тогдашней Германии отнесся всерьез. Около трех тысяч молодчиков из созданной несколько лет назад национал-социалистической партии, одетых в коричневые рубашки, накачавшись пивом, устроили в городе марш и уличные беспорядки, выкрикивая противоправительственные, реваншистские и антисемитские лозунги. Громилы были вооружены. Их встретил отряд полицейских числом в сто человек, которые ружейным огнем, уложив несколько десятков, разогнали остальных. Вожаки бесчинств, среди них – неудавшийся художник, ефрейтор рейхсвера Адольф Гитлер, получили тюремные сроки. Эта выходка «вооруженной богемы», как называли в Германии нацистских штурмовиков, промелькнула почти незамеченной. Наверное, немногие понимали, чем обернется она для судеб XX века.

Из Мюнхена семья уехала уже в Венецию. Поезд прибыл туда к часу ночи. Выйдя в город, со словами: «К черту скупость!» – Вяч. Иванов тут же нанял гондолу и вместе с детьми отправился в упоительную прогулку по тихим, темным венецианским водам, озаренным луной. Очарование этого путешествия усиливалось еще и тем, что гондольер плыл не Большим каналом с видами, хорошо известными всем туристам, а маленькими извилистыми каналчиками, где открывалась настоящая Венеция. Точно так же как и подлинную Москву можно узнать не на Красной площади или Тверской, а в переулках Арбата, Пречистенки,

Ивановской горки или Замоскворечья. Впрочем, у гондольера, построившего этот прекрасный маршрут, мотивы были вполне прозаические – взять с приезжих побольше денег. Для полноты картины не хватало только баркаролы. Но и это оказалось поправимо. Когда гондольер привез Ивановых к маленькому пансиону и они разместились в нем, в открытое окно вместе с повеявшей в комнату ночной прохладой донеслись звон гитары и пение серенады. В городе из века в век одновременно с честолюбивыми замыслами, корыстолюбием и страстями дождей, политиков, купцов и кондотьеров совершалось чудо любви, музыки и поэзии.

Утром Ивановых разбудили веселый гомон, шум и крики зазывающих покупателей торговцев и рыбаков. Оказывается, под окнами их пансиончика располагался рыбный базар. Запах моря, рыбы и *frutti del mare*, спорящие и смеющиеся люди – все делало повседневность праздником.

Вяч. Иванов с Лидией и Димой отправился на Биеннале в советский павильон, чтобы выполнить поручение, ставшее официальной целью его командировки. Совсем недавно, в феврале 1924 года, Италия первой признала СССР и заключила с ним торговый договор. Участие в Биеннале и стало одним из проявлений сотрудничества двух государств – итальянского королевства и коммунистической России.

Кроме советского павильона Ивановы посетили еще и итальянский. И здесь вид огромной мраморной скульптуры – головы с тяжелым, выпяченным вперед подбородком и массивным голым лбом, словно воскрешающей времена Нерона или Веспасиана, – напомнил им, что и прежней Италии, подобно России и Германии, уже нет. Перемены эти незаметно зрели в тишине XIX века.

В 1883 году, когда семнадцатилетний Вяч. Иванов перешел в последний класс гимназии, в маленьком городке Предаппио области Эмилия-Романья в Северной Италии у четы Муссолини родился сын. Мать, Роза, школьная учительница, была женщиной тихой и набожной, уважаемой всеми за трудолюбие, обширные знания и безупречное поведение. Но отец, Алессандро Муссолини, являл полную противоположность жене. Кузнец по профессии, ярый атеист и убежденный социалист, большой любитель женщин, он обладал вспыльчивым и неуравновешенным характером, при этом будучи в своем деле тружеником и умельцем. Сына Алессандро назвал в честь одного из самых почитаемых им современников – вождя мексиканской революции Бенито Хуареса. Буйным характером юный Бенито пошел в отца: в школе постоянно дрался, однажды даже бросился с ножом на ученика старших классов. В другой раз в ответ на оплеуху учителя разбил ему лицо. С детства он хорошо знал, что такое труд: в три года уже помогал отцу в кузнице раздувать мехи, а в четыре понял, что бедность унижительна, и решил стать знаменитым и бороться за социальную справедливость. Скверно учась в школе, Бенито вместе с тем очень много читал – буквально проглатывал книгу за книгой. Мать, которую он обожал и смертельно боялся огорчить, постоянно водила его в церковь. Но гораздо ближе материнской веры Бенито был кумир отца – Карл Маркс. Вместе с Алессандро сын ходил в трактиры, где собирались социалисты, слушал их речи, беседы и споры, пытался выступать сам, оттачивая ораторское искусство, основы которого постигал, читая Цицерона. Кроме того, очень любил музицировать – играл на тромбоне и скрипке. Но политическая риторика явно брала верх над музыкой. В 1901 году, восемнадцати лет от роду, несмотря на плохую учебу Бенито Муссолини получил диплом учителя начальных

классов. Впрочем, он быстро понял, что педагогика – не его призвание. К тому же вскоре был уволен из школы за неблагонадежность, скандалы и драки из-за женщин и в 1902 году уехал в Швейцарию, где в то время находили приют революционеры из всех европейских стран. Там он сошелся и с русскими студентами-социалистами, которые восхищались тем, как «Бенитушка» пьет водку, сквернословит и богохульствует. Но особое значение имело для него знакомство с Анжеликой Балабановой. Она была старше Муссолини на пять лет. Происходила Анжелика из богатой еврейской семьи, жившей в Черниговской губернии. В юности она твердо решила стать профессиональной революционеркой и покинула дом. Училась в Бельгии и Германии, затем переехала в Швейцарию, где пользовалась большим уважением среди русских и итальянских социалистов. Под ее влиянием Бенито посерьезнел и начал усиленно заниматься самообразованием: запоем читал сочинения Маркса, Ницше, Бабефа, посещал лекции в Лозаннском университете и настолько усовершенствовал свой французский, что впоследствии преподавал его. Тогда же он стал регулярно публиковать статьи в крайне левых изданиях, положив начало журналистской карьере. В них Муссолини гневно обличал буржуазию, землевладельцев, правительство, монархию и Церковь. Не раз ему довелось пройти через арест и тюрьму. Он был выслан поочередно из Франции и Швейцарии. Одновременно пламенный революционер вел бурную, если не сказать бешеную, любовную жизнь, меняя женщин одну за другой, порой возвращаясь к своим прежним пассиям.

В Италии Муссолини продолжил с переменным успехом заниматься политикой и журналистикой, в неудачные времена перебивался учительством, написал

и опубликовал антиклерикальный роман «Клаудия Портичелли, или Любовница кардинала».

Взлет начался в конце 1912 года. Оценив яркие радикальные выступления Муссолини на митингах и в печати, особенно направленные против итало-турецкой войны в Ливии, товарищи по социалистической партии назначили его главным редактором газеты «Аванти!» («Вперед!»). На должность заместителя он пригласил свою наставницу Анжелику Балабанову. Успех оказался ошеломляющим: с двадцати тысяч экземпляров тираж газеты возрос до восьмидесяти тысяч. Передовицы, которые писал Муссолини, отличались полемическим задором, доступностью и резкой, грубоватой красочностью языка. В азарте он бил копытом, словно боевой конь перед битвой. Вскоре благодаря «Аванти!» Муссолини стал самым влиятельным среди социалистических вождей Италии. Его пример подтверждал известное ленинское определение газеты не только как коллективного пропагандиста и агитатора, но и как коллективного организатора.

Началась Первая мировая война. И тут Муссолини, этот яростный обличитель империализма, вдруг неожиданно для всех сделал крутой разворот в противоположную сторону. Он призвал Италию вступить в войну на стороне Франции против Германии. В «Аванти!» Муссолини поместил статью, где писал: «Отказываться проводить различия между одной войной и другой войной, позволить себе выступать против всех войн вообще – это свидетельство глупости, граничащей с идиотизмом. Тут, как говорится, буква убивает разум. Победа Германии означала бы конец свободы в Европе. Необходимо, чтобы наша страна заняла позицию, выгодную Франции»^[407]. Не забыл Муссолини упомянуть и о том, что Италия претендует

на Истрию и Трентино, находящиеся в составе союзной Германии Австро-Венгрии.

Товарищи по партии расценили это выступление как предательство. С негодованием отвернулась от Муссолини и Анжелика Балабанова, разорвав с ним все отношения. Впоследствии она принимала участие в русской революции, но, резко разойдясь с большевиками, в 1924 году уехала из России в США. После крушения фашизма Балабанова вернулась в Италию, где прожила в Милане до самой своей смерти в 1965 году.

Муссолини же в ноябре 1914 года сняли с поста главного редактора «Аванти!» и исключили из социалистической партии. Но он отнюдь не унывал, а создал новую ежедневную газету «Пополо д'Италия» («Народ Италии»), где продолжал призывать к вступлению страны в войну в союзе с Антантой. К тому же у Муссолини теперь был беспроигрышный аргумент, поскольку германские и австро-венгерские социалисты приняли сторону своих правительств. Тираж «Пополо д'Италия» за месяц взлетел с тридцати до девяноста тысяч экземпляров. Муссолини тогда нутром почувствовал то, что хотел слышать народ. Его поддержали гарибальдийцы, националисты, значительная часть социалистов, радикальные синдикалисты, анархисты и футуристы. 5 мая 1915 года, в день памяти начала похода Гарибальди, знаменитый писатель Габриеле д'Аннунцио произнес на митинге в Генуе огненную речь, в которой призывал Италию немедленно вступить в войну. Потрясенный этой речью Гумилев, к тому времени уже несколько месяцев находившийся на австрийском фронте в составе лейб-уланского полка, посвятил д'Аннунцио оду, где были такие слова:

Опять волчица на столбе...
Рычит в огне багряных светов...
Судьба Италии - в судьбе
Ее торжественных поэтов.

.....

Слова: «Встает великий Рим,
Берите ружья, дети горя...» —
Грозней громов; внимая им,
Толпа взволнованнее моря^[408].

Очень скоро сам Габриэле д'Аннунцио, несмотря на свои 52 года, вступил добровольцем в армию и стал летчиком итальянской военной авиации. Ему довелось участвовать в ночном налете на Вену и в воздушных боях. На войне он был ранен и потерял глаз.

В сентябре того же 1915 года на фронт отправился и Муссолини. Он служил в полку берсальеров, который в составе армии генерала Луиджи Кадорны сражался против австрийцев в Альпах возле реки Изонцо. Условия горной войны на высоте почти две тысячи метров были невероятно тяжелыми и опасными. Постоянный холод, трудности с доставкой боеприпасов, продовольствия и медикаментов, риск погибнуть не только от австрийской пули или осколка, но и сорвавшись в ущелье - вот что приходилось ежедневно терпеть итальянским солдатам. Муссолини тогда записал в своем дневнике: «Окопами нам служат лишь выемки, выдолбленные в скале и неспособные защитить даже от непогоды. Скалы столь же убийственны, как и выстрелы пушек. Ветер приносит холод, но зато смрад от разлагающихся трупов перестает чувствоваться»^[409].

Через полгода за храбрость, проявленную в боях, Муссолини получил чин капрала. Незадолго до этого он обвенчался с Ракеле Гуиди, от которой уже имел

пятилетнюю дочь Эдду. В сентябре 1917 года Муссолини вел стрельбу из миномета. Одна из мин разорвалась в стволе. Муссолини был тяжело ранен в ногу осколком и признан негодным к дальнейшей воинской службе. После выписки из госпиталя он вернулся в Милан и вновь занялся журналистикой, продолжая издавать газету «Пополо д'Италия».

Окончание Первой мировой войны в 1918 году и капитуляция Германии и Австрии не принесли Италии желаемого. Она расширила свою территорию на севере за счет прежних австрийских владений, но получила далеко не все, что было обещано ей Францией и Англией по Лондонскому договору 1915 года. Страна, принявшая на себя во время войны удар сорока отборных австрийских дивизий и тем немало облегчившая положение союзников, испытала жестокое разочарование. Д'Аннунцио назвал такую победу «увечной». К тому же ни одно из сменявших друг друга итальянских правительств не могло справиться с послевоенными проблемами – безработицей, нищетой, ростом цен, разгулом коррупции и преступности, эпидемиями. На этом фоне в марте 1919 года Муссолини учредил в Милане новую, созданную им партию – «Фашио ди комбаттименто» («Союз борьбы»). Она изначально создавалась как боевая организация. Значительное число в ней составляли бывшие участники войны. Слово «фашио» (буквально «связка») напоминало о символике древнеримских времен – фасках, пучках прутьев с топориками, атрибутах консулов, которые носили за ними ликторы. В Италии XX века оно обернулось фашизмом.

Теперь Муссолини позиционировал себя последовательным антисоциалистом, сторонником капиталистических отношений, без которых не мыслил нормального развития народного хозяйства. На учредительном съезде «Фашио ди комбаттименто» он

говорил своим сторонникам: «Мы позволим себе роскошь быть одновременно аристократами и демократами, революционерами и реакционерами, сторонниками легальной борьбы и нелегальной, и все это в зависимости от времени, места и обстоятельств, в которых нам придется находиться и действовать»^[410].

По Италии, и без того сотрясаемой забастовками и протестами, прокатилась волна кровавых столкновений «чернорубашечников» – боевиков «Фашио ди комбаттименто» – с социалистами и коммунистами. Был учинен погром редакции «Аванти!». Постоянно происходили поджоги социалистических клубов и домов профсоюзов, политические убийства. Популярность фашистов росла день ото дня.

В мае 1921 года Муссолини, вступив в коалицию с правыми партиями Национального блока, прошел в парламент, получив в нем 35 мест из 535. Несмотря на сравнительно небольшое количество, это была уже значительная победа – шаг на пути к вожделенной вершине власти. Вдохновленный успехом, «дуче» решил сделать лицо своей партии более респектабельным и общенародным. В декабре того же года на II съезде фашистов он переименовал «Фашио ди комбаттименто» в Национальную фашистскую партию. В своей речи он изложил программу действий: «Нация является средоточием всех материальных и духовных ценностей народа. Функции государства должны быть сведены к заботе о поддержании в стране политического и правового порядка. Обязанности и полномочия парламента необходимо также ограничить. Партия будет защищать национальные интересы и выражать национальную волю. Фашизм признает право на частную собственность»^[411].

В октябре 1922 года по призыву Муссолини сорок тысяч вооруженных чернорубашечников при поддержке

сочувствующих им военных начали поход на Рим. Испуганный этим король Виктор Эммануил III, которого Муссолини презрительно называл «сардинкой» за маленький рост, робость и безволие, пригласил «дуче» к себе и предложил ему возглавить кабинет министров. Стоило ли сомневаться, что тот согласится! Через год попытку подобного марша повторили вдохновленные успехом чернорубашечников немецкие нацисты в Мюнхене, но тогда их «пивной путч» провалился.

Муссолини сформировал коалиционное правительство, на деле вся власть оказалась в руках созданного и возглавленного им Большого фашистского совета. Чернорубашечники тут же начали расправляться со своими политическими противниками: одних убивали или избивали, других подвергали отвратительным унижениям: насильно поили касторкой и заставляли глотать живых лягушек.

Маяковский откликнулся на приход Муссолини к власти стихотворением, в котором изобразил его так:

Куда глаз ни кинем —
газеты
полны
именем Муссолиньим.
Для не видевших
рисую Муссолини я.
Точка в точку,
в линию линия.
Родители Муссолини,
не пыжьтесь в критике!
Не похож?
Точнейшая
копия политика.
У Муссолини
вид
ахов. —

Голые конечности,
черная рубаха;
на руках
и на ногах
тыщи
кустов
шерстищи;
руки
до пяток,
метут низы.
В общем,
у Муссолини
вид шимпанзы.
Лица нет,
вместо —
огромный
знак погромный.
Столько ноздрей
у человека —
зря!
У Муссолини
всего
одна ноздря,
да и та
разодрана
пополам ровно
при дележе
ворованного.
Муссолини
весь
в блеске регалий.
Таким
оружием
не сразить врага ли?!
Без шпалера,
без шпаги,

но
вооружен здорово:
на боку
целый
литр касторовый;
когда
плеснут
касторку в рот те,
не повозражаешь
фашистской
роте.
Чтобы всюду
Муссолини
чувствовалось как дома —
в лапище
связка
отмычек и фомок [\[412\]](#).

Став премьер-министром, вчерашний ярый антиклерикал Муссолини, следуя политическим урокам Наполеона, поспешил заключить соглашение с Ватиканом. Впоследствии он очень не любил вспоминать о своем романе «Любовница кардинала». В то же самое время он добился непризнания Ватиканом католической Народной партии, имевшей большую популярность в Италии и стоявшей на последовательных антифашистских позициях. Ее основатель, священник Луиджи Стурцо, вынужден был покинуть пост секретаря партии и эмигрировать.

Говоря о приверженности историческим традициям, «дуче» в своем правлении воскрешал худшие черты цезарианского Рима с поскрипционными списками, доносами и террором против несогласных. Это «наследие» проступало даже в его личной жизни, которая, несмотря на слова о семейных ценностях, по-

прежнему была полна грязного распутства в духе самых презренных персонажей императорской эпохи, поистине – от Мессалины до Муссолини.

За несколько месяцев до приезда в Италию Вяч. Иванова в ее политической жизни произошло знаковое событие – был похищен и убит депутат-социалист Джакомо Маттеотти, разоблачивший махинации фашистов во время выборов. Его тело нашли обезглавленным. Возмущенные этим злодеянием депутаты всех оппозиционных партий в знак протеста покинули парламент и создали антифашистский Авентинский блок. Муссолини также публично выразил негодование и сожаление по поводу убийства Маттеотти. Его вдове он назначил солидную пенсию. Но вскоре оппозиционный блок был разгромлен, многие депутаты и журналисты арестованы. Некоторых из них бросили в тюрьмы, других изгнали из страны. В Италии окончательно восторжествовало единовластие фашистской партии. Впрочем, таких повальных репрессий, как в гитлеровской Германии или сталинском СССР, режим Муссолини, при всей его мерзости, не учинил. Не истреблял он миллионы людей по причине их расовой или классовой принадлежности и самое главное – не провозглашал открытого богоборчества и не учинял гонений на Церковь. Ее жизнь протекала в Италии достаточно мирно и свободно, без вмешательства со стороны государства. Вяч. Иванов уехал из страны, где была во всеуслышание объявлена и уже шла война града земного против Града Божьего. Выбор он сделал. Одному из своих корреспондентов поэт писал: «Пришел час, когда должно решить, идешь ли ты за или против Того, Кто есть единственный предмет ненависти апостолов Ненависти. Пусть каждый выбирает один из двух воюющих Градов»^[413].

Покинув Венецию, Ивановы решили по пути в Рим три дня провести во Флоренции. Поезд шел по цветущим землям Умбрии и Тосканы, где каждый новый вид рождал в сердце радость и вызывал в памяти фрески Джотто и Фра Беато Анджелико. Сменяли друг друга виноградники, оливковые сады, поля пшеницы, зеленые горы с золотой дымкой над ними, небольшие селения, башни, храмы... Все это Ивановы не раз видели и прежде. Но теперь Италия стала *их* землей на всю оставшуюся жизнь, хотя никогда и не была для них чужбиной. Покинутая же Россия всегда продолжала жить внутри – в языке, в стихе, в памяти, в потаенной боли. Как когда-то Флоренция в сердце равеннского изгнанника.

Приехав в Рим, семья остановилась в маленьком пансионе «Рубенс» и сразу начала поиски постоянного жилища. Вяч. Иванов нашел его на виа делле Кватро Фонтане, рядом с пьядца Барберини, где находился знаменитый фонтан Тритон. Лидия Иванова вспоминала об этом доме и об их квартирной хозяйке: «Дом был старый, со стенами, украшенными орнаментальными фресками, черными на белом... Лестница была благообразная, хотя скромная. Подниматься нужно было пешком на пятый этаж и звонить в дверь с медной дощечкой, где значилось: Maria Cianfarani, vedova Placidi. Синьора Плачиди открывала дверь и неизменно рассыпалась радостными приветливыми восклицаниями... Она впускала нас в крошечную переднюю, затем в коридорчик, заставленный по обеим сторонам сундуками, корзинами, всяким скарбом, потом в маленькую крохотную комнату, которая служила ей и ее сыну столовой и где внутри буфета, среди стаканов и графинчиков, сидел большой белый и злой кот. Наконец, она доводила нас до нашего жилища. Оно состояло из трех комнат. Первая – проходная, была вся занята большим обеденным столом. Сбоку были

втиснуты – с одной стороны – выцветший красный бархатный диванчик, а с другой – трюмо с большим зеркалом. Окно выходило во дворик дома шотландских семинаристов. “Тут были огромные деревья, полные певчих птиц. Стоял весь день хор щебетаний, но ректор семинарии велел срубить деревья – птицы, мол, мешают ему спать”, – говорила синьора Плачиди. Из этой комнаты можно было пройти налево – к Вячеславу, направо – к нам с Димой. У нас, кроме двух кроватей, помещался большой и чрезвычайно старый рояль, взятый мною напрокат. Крошечную комнату Вячеслава с венецианским окном нельзя лучше описать, нежели он сделал это сам в своем римском дневнике 1 декабря 1924 г.:

Мне хорошо и уютно в моей комнатке, которая мне представляется порою то каютой, то отдельным купе вагона – и тогда чувство *bien être*’а еще острее. В Баку я четыре года не имел такой милой *scrivania*, располагающей к писанию. Забавно, что окно – дверь в пространство, огражденное балконной решеткой. В нашем *sallotino* ^[414] и повернуться нельзя...

Пол был мощен, как во всех итальянских домах, так называемыми *mattonella* – маленькие плитки майоликового кирпича. У синьоры Плачиди все было старинное, и пол образовывал постоянно лысины – места, из которых выскочили плиты. Сверху синьора постилала деревянные доски, чтобы удобнее было ходить. Нам казалось, что наша квартира была идеальное и уютнейшее гнездышко...» ^[415]

Синьора Плачиди ужасалась тому, как подолгу Лидия занималась на рояле. Подобно многим простым итальянцам, она считала, что усердное учение вредит здоровью. Как раз в это время министр образования Италии, философ Джованни Джентиле, единомышленник Муссолини, провел радикальную

школьную реформу – сделал обязательным изучение латинского и греческого языков. Школяры и их родители тяжело восстали. Нечто подобное происходило и в России при Александре II, когда министр народного просвещения граф Д. А. Толстой утвердил программу классической гимназии, где греческий и латынь были обязательными предметами. Те, кто видел в образовании только путь к получению «теплого местечка», пришли в негодование, но жаждущие знаний сразу поняли, что греческий и латинский языки – это ключ к глубинам европейской культуры и науки, будь то история, философия, филология, юриспруденция или медицина. Именно классической гимназии Россия была обязана тем широким слоем интеллигенции (не «профессиональных интеллигентов», умеющих только протестовать и «делать революции», а настоящих работников высокого умственного труда), к которому принадлежал и Вяч. Иванов.

На этих дрожжах взошел Серебряный век. И какой непоправимый вред нанес России указ времен Александра III о «кухаркиных детях», закрывший доступ к высотам образования талантливым детям из низших слоев общества! Боязнь знаний обернулась бедой. Страшнее всех оказались недоучки.

Лидия Иванова не в силах была понять синьору Плачиди. Она уехала из страны, где стремящиеся учиться студенты изгонялись из университетов за свое «классово чуждое» происхождение. Тем более что сын хозяйки Марио являл собой яркий пример недообразования. Этот двадцатилетний красавец, не окончивший школу и целыми днями ничего не делавший, был фатально не способен ни к умственной, ни к физической работе. Однако Марио очень гордился тем, что его записали в «мушкетеры Муссолини» – личную гвардию «дуче», состоявшую из пятидесяти

юных добровольцев. По торжественным дням он надевал свой черный с серебряным шитьем мундир и черную круглую шапочку, вешал на пояс кинжал, выглядя при этом очень картинно.

Вскоре по приезде в Рим Ивановым довелось увидеть уже не мраморного, а живого «дуче». Произошло это вот при каких обстоятельствах. 12 сентября 1924 года рабочий-коммунист Корви в отместку за убийство Маттеотти застрелил в трамвае фашистского депутата Казалини. Хоронили убитого фашиста с необычайной помпой: все улицы по пути следования процессии были оцеплены солдатами, играл военный оркестр, а Муссолини с обнаженной головой шел во главе колонны за гробом однопартийца. Двенадцатилетний Дима потом очень переживал, что, стоя в толпе, из-за своего маленького роста не сумел разглядеть премьера. Но пышность похорон произвела на него неизгладимое впечатление, и дома он заявил, что, пожалуй, монархия лучше республики.

Воздух Вечного города, где теперь Вяч. Иванову предстояло жить до конца своих дней, с новой силой пробудил его поэзию. Осенью и в декабре 1924 года после долгого молчания он пишет один из лучших своих стихотворных циклов – «Римские сонеты». Они родились из прогулок по Риму, целительных для поэта, которые он совершал в свободные от ученых занятий часы.

В городе произошло немало изменений, и некоторые отнюдь не радовали его. Но римская древность, пласты столетий, продолжающие жить в современности, никуда не ушли. Они оставались прежними и воскрешали в памяти счастливые для сердца приметы. Вяч. Иванов словно заново обретал Рим после почти двенадцати лет разлуки. В римском дневнике 5 декабря 1924 года он сделал такую запись: «Сегодня утром был в Biblioteca Nazionale за филологическими справками, относящимися к Антигоне и Артее. Потом захотелось

мне взглянуть на старый Рим, и я прошел через via delle Botteghe Oscure и площадь Черепак к портику Октавии, потом на Bocca della Verita, где завернул в мою любимую смиренную базилику S. Maria in Cosmedin, потом через via di Velabro, мимо Janus Quadrifrons к S. Teodoro и на Капитолий. Старые кварталы решительно портятся, современность все больше вторгается в них, и безобразия, “мерзость на месте святе”, все растет. Особенно не люблю я новую тибрскую набережную, даже ее аллеи, теперь великолепно-осенние. Гулял я без пальто – и нагулял себе, несмотря ни на что, запас римского счастья»^[416].

Из такого счастья и родились «Римские сонеты». Впервые за четыре года, со времени другого стихотворного цикла – «Зимние сонеты», к поэту вновь пришло вдохновение. Стихи были посвящены знаменитым фонтанам Рима. Вяч. Иванов словно приглашал в городское путешествие по дорогим, давно знакомым ему местам, дарил тем, кто захочет стать его спутниками, красоту римских площадей.

Цикл состоял из девяти сонетов. Первый из них открывался приветствием Вечному городу:

Вновь арок древних верный пилигрим,
В мой поздний час вечерним «Ave Roma»
Приветствую как свод родного дома,
Тебя, скитаний пристань, вечный Рим^[417].

Поэт в вечерний час жизни чувствовал себя не бездомным изгнанником, а вернувшимся в родной дом, в средоточие вселенной, куда ведут все земные дороги. Но ни на секунду он не отдалялся мыслью от своей оставленной, истерзанной, сгоревшей родины, от ее страдальческой и страшной судьбы. Так когда-то Эней оставил за спиной пожираемую пламенем Троию и

отплыл от ее берегов ради неведомого еще ему самому вселенского призвания. Вяч. Иванов принес Риму в дар сбереженное им русское слово, без которого всемирная сокровищница была бы неполной.

Мы Трою предков пламени дарим;
Дробятся оси колесниц меж грома
И фурий мирового ипподрома:
Ты, царь путей, глядишь, как мы горим.

И ты пылал и восставал из пепла,
И памятливая голубизна
Твоих небес глубоких не ослепла.

И помнит в ласке золотого сна,
Твой вратарь кипарис, как Троя крепла,
Когда лежала Троя сожжена [\[418\]](#).

О России и ее духовной болезни, о тех «трихинах» безбожия, которые через нее были готовы тогда заразить весь мир, Вяч. Иванов размышлял, работая одновременно над «Римскими сонетами», в декабрьском дневнике 1924 года: «Неустанная дума о нашей революции, и распространении пропаганды, о завтрашнем дне Европы... Все время, что я за границей, я твержу: “Hannibal ad portas” [\[419\]](#). Разумею коммунизм. Все в один голос говорили: неправда. Теперь вся Франция испуганно кричит о коммунистической опасности. Коммунизм – социальное выражение атеизма уже потому, что он один может быть суррогатом веры и на вопрос о смысле жизни дает ответ в терминах почти космических» [\[420\]](#).

Гражданства Италии Вяч. Иванов не принял, что создавало ему немало затруднений. Он оставался советским подданным, живущим за границей. Сомнения

свои он поверял дневнику: «Чувство спасения, радости, свободы не утрачивают своей свежести и по сей день. Быть в Риме – это казалось неосуществимым сном еще так недавно! Но как здесь остаться, на что жить? Чудо, ожидавшее меня за границей, чудо воистину нечаянное, сказочно-нечаянное – еще не обеспечивает нашего будущего»^[421].

И тем не менее, несмотря ни на что, Вяч. Иванов отчетливо понимал: возвращаться в СССР *нельзя*. Это – гибель. «Возвратить в советскую школу моего ненаглядного Диму было бы прямым преступлением. Итак, одному опять нырнуть..? Не значит ли это испытывать судьбу? Нырнул сызнова в пучину “спасенный – ...и уже не вернулся”»^[422]. Вяч. Иванов имел в виду балладу Шиллера «Водолаз», известную нам в переводе Жуковского под названием «Кубок». Позже, когда в СССР возвращалась Цветаева, всем сердцем не желая этого, но не способная покинуть мужа, она ясно осознавала, что едет на смерть.

Не оставляли Вяч. Иванова равнодушным вести с родины о судьбах друзей. Узнав, что умер Брюсов, по просьбе его вдовы он сложил поминальную молитву в стихах, которую сам назвал не современной, но своевременной:

Как листья ветр у Вечности преддверий
Срывает Смерть, что украшало нас;
И в этот строгий, нелицеприятный час
Я о душе твоей молюсь, Валерий,

О вечной памяти – не здесь, в молве,
На поколений столбовой дороге,
Но в ждущей нас недвижимой синеве,
Но в искони помыслившем нас Боге^[423].

Поэт знал, что Божий суд и милосерднее, и взыскательнее человеческого. Жизнь же Брюсова в последние годы и ее итог Вяч. Иванов видел с горькой трезвостью: «...Доломался, долгался, додурманился бедняга до макабрной пошлости “гражданских похорон”, с квартетом, казенными речами и почетной стражей “ответственных работников”»^[424]...

Но для Вяч. Иванова оставалась бессмертной другая Россия – та, что запечатлела свой след в Риме, который для него всегда был не только Римом апостолов Петра и Павла, Римом святых отцов, императоров, латинской древности, Средневековья, Возрождения и барокко, Римом Браманте, Микеланджело, Бернини и Торквато, но и Римом Батюшкова, Жуковского, Чаадаева, Гоголя, Тютчева, Достоевского, Владимира Соловьева, Александра Иванова, Сильвестра Щедрина. Этот русский Рим он помянул и в своих сонетах:

Бернини, – снова наш, – твоей игрой
Я веселюсь, от Четырех Фонтанов
Бредя на Пинчю памятной горой,
Где в келью Гоголя входил Иванов,
Где Пиранези огненной иглой
Пел Рима грусть и зодчество Титанов^[425].

«Римские сонеты» Вяч. Иванов послал в Сорренто жившему там тогда Горькому. В ответном письме тот писал: «Прекрасные стихи Ваши получил; примите сердечнейшую благодарность, мастер»^[426]. К похвалам Горького присоединился и Владислав Ходасевич, увидевший в «Римских сонетах» «высокое и скромное, не крикливое мастерство». Некоторые из них известный писатель Джованни Папини, бывший сотрудник московских «Весов», перевел на итальянский язык.

После «Римских сонетов» лира Вяч. Иванова, за немногими исключениями, умолкла почти на двадцать лет. Пока в урочный час вновь не пробудилась для лучших своих аккордов.

Кроме дионисийских исследований Вяч. Иванов в 1925 году работал над статьей «“Ревизор” Гоголя и комедия Аристофана». Статью он посвятил Всеволоду Мейерхольду с надписью: «На память о двадцатилетней дружбы автора». Они были знакомы с 1905 года, когда режиссер среди других гостей появился на «башне». Одним из самых ярких событий в их отношениях стала домашняя постановка кальдероновского «Поклонения Кресту» – знаменитое «Хоромное действие» 1910 года.

Теперь Мейерхольд, получив от Наркомпроса европейскую командировку, посетил в августе Рим вместе со своей молодой супругой, актрисой Зинаидой Райх, бывшей женой Сергея Есенина. Мейерхольд был влюблен в нее до безумия, бешено ревновал, «зарезался», как говорила о таких приступах сама Райх, а однажды, когда они шли в гости к Ивановым, целовался с ней в парадном на лестнице, чем вызвал возмущение консьержки. Узнав потом от Вяч. Иванова, что это муж и жена, она не поверила – уж слишком влюблены друг в друга для семейной пары.

Еще только приехав в Италию, Мейерхольд из Венеции сразу написал Иванову: «Дорогой Вячеслав Иванович... Застанем ли мы Вас в Риме? Нам бы очень хотелось с Вами повидаться... Зинаида Николаевна и я часто с восторгом вспоминаем нашу встречу с Вами в Москве, когда Вы так замечательно, с таким блеском и с таким тонким юмором читали Вашу умную, блестящую комедию на музыке. Дорогой учитель! Отвечайте на это письмо непременно и скоро. Любящий Вас. В. Мейерхольд»[\[427\]](#).

Речь в письме шла о пьесе Вяч. Иванова «Любовь – мираж?», которую он написал в Баку для одноименной оперетты композитора М. Е. Попова и летом 1924 года незадолго до отъезда читал в Москве Мейерхольдам. Но в этот раз они стремились увидеть Вяч. Иванова не только ради бескорыстного общения с мудрым собеседником. Мейерхольды привезли поэту очень значимый и важный и для них, и для него заказ.

Вяч. Иванов держал слово, данное при отъезде Луначарскому. Он не печатался в изданиях русской эмиграции и не искал с ней связей. Пытался сотрудничать он только с Горьким, издательские замыслы которого не имели успеха в зарубежье. Литературных, да, впрочем, как и иных заработков у Вяч. Иванова не было. Положение его семьи день ото дня становилось все более бедственным.

Мейерхольд же создавал в Москве журнал «Театральный Октябрь». Он должен был выходить при ТИМе («Театре имени Мейерхольда»). В нем предполагалось помещать статьи по вопросам искусства. К тому же в это время Мейерхольд задумал по-новому поставить «Ревизора» и ему нужен был более глубокий взгляд на великую гоголевскую комедию. Чтобы идти вперед, театральному революционеру потребовалось оглянуться назад. А кто лучше Вяч. Иванова мог осмыслить сущностную связь «Ревизора» с мировой комедийной традицией и ее истоком – античной драматургией? Мейерхольд знал, к кому обращался. Он заказал Вяч. Иванову для «Театрального Октября» статью о «Ревизоре». Обсуждалась при их встрече и последующая публикация в журнале сонетов Микеланджело в ивановских переводах. Привлекли к сотрудничеству и старого знакомого Вяч. Иванова – выдающегося искусствоведа и писателя, автора знаменитой книги «Образы Италии» П. П. Муратова. Ему Мейерхольды заказали статью о театре Пиранделло.

После того как режиссер с женой покинули Италию, Вяч. Иванов с жаром принялся за работу. В этом заказе его нравственному чувству ничто не претило и не казалось чуждым по идейным и совестным соображениям. Постепенно под пером Вяч. Иванова статья начала превращаться в фундаментальное исследование. В «Ревизоре» он увидел возрождение традиций «высокой» Аристофановой комедии, обращенной к народной площади, ко всему Городу, живущей с ним одной жизнью, болеющей его болями, смеющейся над его пороками, производящей в нем всеобщее мистериальное очищение через этот смех: «Из распада всенародной, политической, “высокой” комедии Аристофана типа, причудливой, крылатой и хищной, как Химера возникла иная, соответствующая муниципальному кругозору комедия, бытовая и обывательская, бескрылая и ручная, как сама обыденность, – и этой-то новой комедии суждено было с той давней поры... господствовать на театральных подмостках.

Главное отличие Гоголева “Ревизора” от античной мещанской комедии и... неожиданное сходство с “высокой” комедией пятого века – в том, что действие его не ограничивается кругом частных отношений, но, представляя их слагаемыми коллективной жизни, обнимает целый, в себе замкнутый... социальный мирок, символически равный любому общественному союзу и... отражающий в себе, как в зеркале (“на зеркало неча пенять, коли рожа крива” – эпиграф “Ревизора”), именно тот общественный союз, на потеху и в назидание коего правится комедийное действо.

...Безымянный городок Городничего – своего рода комедийный “Город” (будь то Афины или Тучекукуевск) древнего Аристофана, и его глупое гражданство также отвечает, в известном смысле и в известных пределах, выжившему из ума Аристофанову Демосу, как Антон

Антонович Сквозник-Дмухановский – управляющему именими Демоса, отъявленному наглецу, самоуправцу и плуту, пафлагонцу Кожевнику. Изображение целого города взамен развития личной или домашней интриги – коренной замысел бессмертной комедии, замысел Пушкина, который недаром был и “летописцем” села Горюхина...

Существенно, по-аристофановски комичен “Ревизор” тем, что пошлая мелочность и мерзость быта, основанного на общепризнанной и незыблемой иерархии прав на мошенничество, хищение, самоуправство, насилие и угнетение, представляет он в аспекте предустановленной гармонии некоего социального космоса. И вдруг этот космос потрясается до сокровенных недр... Тут уже не семейная или соседская суматоха и свара, а потревоженный в своих глубочайших устоях муравейник»^[428].

Говорил Вяч. Иванов и о более позднем понимании самим Гоголем собственной бессмертной комедии – об отзвуках в ней средневековой дидаскалии («школьной драмы») и о сплетении в «Ревизоре» бытового с inferнальным: «Он (Гоголь. – Г. З.) уже по-иному видел “Ревизора” – нравоучительную притчу в лицах, на идеальной сцене воображения, и его позднейшее суеверное видение разительно по своей средневековой наивности и силе. Нельзя отрицать своеобразную красоту примитива в этом зримом превращении города плутов в город чертей. Ибо не в одном Хлестакове, но и в других действующих лицах, изображающих человеческие страсти, должны были все явственнее сквозить бесы, а слова “Что смеетесь? Над собой смеетесь!” принадлежат, по определенному указанию в “Ревизоре” уже “не какому-нибудь рассердившемуся городничему”, а “самому нечистому духу”»^[429].

Это ивановское видение темы бесовщины в «Ревизоре» неожиданно перекликалось со статьей Бердяева «Духи русской революции» в сборнике «Из глубины», где мыслитель прозревал извечные гоголевские архетипы зла русской жизни в октябрьской катастрофе. Бердяев писал: «Русские люди, желавшие революции и возлагавшие на нее великие надежды, верили, что чудовищные образы гоголевской России исчезнут, когда революционная гроза очистит нас от всякой скверны. В Хлестакове и Сквознике-Дмухановском... видели исключительно образы старой России, воспитанной самовластьем и крепостным правом. В этом было заблуждение революционного сознания, неспособного проникнуть в глубь жизни. В революции раскрылась вся та же гоголевская Россия, нечеловеческая, полузвериная Россия харь и морд. В нестерпимой революционной пошлости есть вечно-гоголевское... Тьма и зло заложены глубже, не в социальных оболочках народа, а в духовном его ядре. По-прежнему нет уважения к человеку, к человеческому достоинству, к человеческим правам... Сцены из Гоголя разыгрываются на каждом шагу в революционной России. Нет уже самодержавия, но по-прежнему Хлестаков разыгрывает из себя важного чиновника, по-прежнему все трепещут перед ним... Хлестаковская смелость на каждом шагу дает себя чувствовать в русской революции. Но ныне Хлестаков вознесся на самую вершину власти... Революционный Иван Александрович горячится и кричит: “Я шутить не люблю... Я такой! Я не посмотрю ни на кого... Я везде, везде”... Не будем обманываться внешностью. Революционный Хлестаков является в новом костюме и иначе себя именует. Но сущность остается той же... В основе лежит старая ложь и обман, давно увиденные Гоголем... Не революция сама по себе это создала. Революция – великая проявительница, и она проявила

лишь то, что таилось в глубине России... Злые духи, которых видел Гоголь в их статике, вырвались на свободу и учиняют оргию»^[430].

И Бердяеву, и Вяч. Иванову довелось быть зрителями этой гоголевской драмы на подмостках русской истории. Вяч. Иванов видел в «Ревизоре» хоровое, всенародное действо, роднящее его с высокой античной комедией: «В “Ревизоре” при сравнительной оценке комедии в цепи ее историко-литературной генеалогии мы наблюдаем мощно поднимающуюся волну хоровой энергии... Само отношение между хором комедии и сонмом зрителей одинаково у Гоголя и Аристофана. Народ комедийного Города и мы, народ, собравшийся на зрелище, – одно и то же: ведь мы, по мысли поэта, в зеркало глядимся, над собою самими потешаемся»^[431]...

С этим хоровым началом «Ревизора» Вяч. Иванов связывал и всеобщее очистительное действие Смеха – единственного «благородного лица» в комедии, по определению самого Гоголя, катарсис, производимый им: «Всенародный Смех есть целительная катартическая сила “высокой Комедии” – так мог бы выразить свой постулат Гоголь на языке древних эстетиков, – Аристотель уже не дорожил психологически последней, и потому знает “очистительное” действие только трагической музы... Над кем же смеется соборно смеющийся народ? Над собой же самим, видя себя, каков он в низменно-житейском своем убожестве... Гоголевский идеал всенародного Смеха весьма близок задачам, какие... комедия пятого века... себе ставила и столь же просто, сколь удачно, разрешала»^[432].

В финале статьи Вяч. Иванов высказывал мысли по поводу сценического воплощения «Ревизора», чтобы постановка его стала подлинно соборным действием,

упраздняющим границу между актерами и зрителями. Предложения эти были напрямую обращены к Мейерхольду: «Возможно ли не прятать, как это до сих пор делается, то собирательное лицо, о котором единственно написана пьеса, не заслонять его индивидуальными масками, но показать сам Город – весь, как на ладони? Это возможно при условии снятия кулис и загородок и удвоения драмы мимическим представлением всего, что происходит за кулисами и что упоминается или подразумевается в диалоге, – на большой сценической площади, где бы, как это бывало в средневековых действиях, по разным местам расположены были разные постройки, служащие центром действия в отдельных актах... Все бы жило и двигалось, вначале по заведенному порядку, потом в постепенно нарастающей тревоге. И молекулярные движения муравейника, по мере нарастания всех охватывающего смятения, естественно слагались бы в массовые действия мимического хора»^[433].

Статья о «Ревизоре» была завершена в сентябре 1925 года. Еще до этого, во время одной из римских встреч, Вяч. Иванов подарил Зинаиде Райх фотографию Микеланджелова «Моисея» с такой надписью: «В искусстве не часто встречаешь попытки воплотить *безусловное*. В этом сверхчеловеке *безусловно* утверждается воля Бога живого. Ибо в Моисее уже нет своей личной воли, ни своего отдельного бытия. Но М<икел-> Анджело говорит ему: “Помни, что ты *жив*”. И так, *жив Бог*.

Дорогой Зинаиде Николаевне Райх-Мейерхольд на память о нашем посещении церкви S. Pietro in Vincoli и о том, как мы в Риме сдружились. Рим 4. VIII. 1925»^[434].

Но несмотря на мягкость и дружелюбность обращения, то *безусловное*, о котором писал Вяч. Иванов, было точкой отсчета, где пути его и

Мейерхольдов – и в жизни, и в искусстве – расходились. Мейерхольд и Райх всеми силами, очень искренне пытались вписаться в новую советскую реальность – настолько, что не заметили, как теряют сами себя. Отголосок этих глубинных противоречий слышался в письме Иванова Зинаиде Райх. Доброжелательность тона не могла скрыть сущностного несогласия. Отвечая на вопрос из прежнего письма своей корреспондентки, Вяч. Иванов писал: «– Было ли скучно, когда мы уехали?» – Еще бы, и до такой степени, что охотно выслушал бы опять самую дикую тираду против Рима и всей, подлежащей разрушению, европейской культурной традиции»^[435]...

Как прежде в споре с Гершензоном, Вяч. Иванов и теперь защищал мировую культуру, вне фундамента которой он не мыслил жизни по законам духа и совести. И особенно – вне ее религиозных корней. Их-то в первую очередь и отрицали Мейерхольд и Райх, «шагая в ногу со временем».

«Театральный Октябрь», задуманный Мейерхольдами как ежемесячный журнал, советская цензура разрешила издать только в виде сборника. Заказанная ранее П. П. Муратову статья о театре Пиранделло не была включена в него редколлегией. «“Ревизор” Гоголя и комедия Аристофана» пошла с цензурными оговорками и извинениями за «мистицизм» автора. Денег за свой труд Вяч. Иванов долгое время не мог получить: Райх в письмах объясняла их отсутствие плохими сборами в театре. Но более всего его огорчало невнимательное отношение Мейерхольда к этому исследованию, которое он сам считал одним из важнейших для себя. В последнем письме Райх от 23 августа 1926 года Вяч. Иванов писал: «Я отношусь к Вам с неизменной душевной симпатией, как и к дорогому Всеволоду Эмильевичу, которого обнимаю, но

- обнимая - тут же и попрекну его, как он заслужил, ибо на него я, пожалуй что, и дююсь. Во-первых, если какой-либо автор посвящает одну из своих важнейших статей приятелю, то сей последний или отвергает посвященное, или благодарит за него. Всеволод же просто от него отмахнулся... нелепейшим извинением перед читателями за мою будто бы "мистическую" статью о каком-то "мистическом хоре", коим наградил меня везде наборщик и корректор, ибо у меня в рукописи везде четко написано "*мимический хор*"... Из чего следует, что вникнуть в статью Всеволод Эмильевич не удосужился и ее или не читал, или так читал, что думал свое: "ну да, дескать, Вяч. Ив. мистик, он всегда говорит о своем коньке, о каком-то 'мистическом хоре' ". Так же и на теорию "героя", как *зачинательной* личности в коллективе - "хоре", редакция не соблаговолила бросить менее рассеянный взгляд, ибо иначе не печатала бы везде "значительная личность" (курам на смех!) вместо "зачинательная", т. е. инициативная»^[436].

Премьера «Ревизора» состоялась в ТИМе 3 декабря 1926 года. Она стала настоящим событием в тогдашней театральной жизни. Об этой постановке было написано множество рецензий и статей - и хвалебных, и яростно ругательных. Но Мейерхольд продолжал последовательно отрекаться от Серебряного века - той великой эпохи русской культуры, когда он состоялся. Предавая ее анафеме, гениальный режиссер предавал и себя. Коснулось это и Вяч. Иванова, которого Мейерхольд в прежние годы называл «учителем». В декабре 1937 года, выступая перед работниками ТИМа на общем собрании, он говорил: «В пьесе советского репертуара... может быть какое-нибудь аллегорическое значение, может быть символ, но не в том смысле, в каком это делает Вячеслав Иванов в своей статье "Две

стихии в современном символизме"... Достаточно прочесть статью Вяч. Иванова... чтобы понять, в чем опасность, в чем яд этого течения. *Опасность этого течения именно в том, что через него просачивались религиозные тенденции...* Валерий Брюсов оказался с нами, а Вячеслав Иванов оказался против нас... поскольку мы являемся прежде всего антирелигиозниками, прежде всего каждый материалист, каждый большевик должен быть атеистом, постольку это течение должно быть опорочено»^[437].

Отречение от Вяч. Иванова носило сущностный характер. Эта попытка стать своим для хозяев страны, провозгласивших безбожие государственной идеологией, обязательной для всех (ценой отказа, как и во времена первых христиан, была жизнь), не спасла ТИМ от закрытия, Мейерхольда – от ареста, чудовищных пыток следователя НКВД Бориса Родоса – одного из самых лютых сталинских палачей, и, наконец, расстрела, и Зинаиду Райх – от «неведомых» (а скорее всего – «ведомственных») ночных убийц.

До осени 1926 года Ивановы продолжали жить почти в нищете. Хорошо еще, что Диму удалось устроить во Французский лицей. Это учебное заведение было основано в Риме правительством Франции. Оно давало прекрасное образование, но фашистские власти не приветствовали, когда итальянские дети учились в школах, принадлежавших другим государствам. Поэтому среди учеников лицея преобладали иностранцы. Можно было встретить там и детей русских эмигрантов. Вместе с Димой ходил в этот лицей сын жившего в те годы в Риме знаменитого искусствоведа П. П. Муратова Гавриил. Муратов с семьей уехал из советской России в Италию еще в 1922 году. Давний друг Вяч. Иванова, он продолжал

общаться с поэтом и под небом Вечного города. В беседах оживала память о России, в том числе и о последних днях предвоенного покоя, когда они с Юргисом Балтрушайтисом отдыхали в Петровском на Оке. Юргис по-прежнему жил в Москве на Поварской, но теперь – как чрезвычайный посланник и полномочный министр независимой Республики Литва в СССР. Последний раз Вяч. Иванов виделся с ним перед отъездом из России. А тогда, в тишине Петровского, можно ли было представить те метаморфозы, которые произойдут в судьбах мира и каждого из них!

Тем временем Вяч. Иванов не оставлял попыток найти работу. Он даже думал о том, чтобы переехать в Египет, куда его приглашали преподавать в Каирском университете. Предлагали ему место профессора также в Кордове и Аргентине. Но покидать Италию Вяч. Иванову не хотелось. Замышлял он основать в Риме русский государственный институт наук и искусств наподобие уже существовавших там германского, французского и испанского. При этом политический аспект, связанный с большевистской властью, очень мало волновал поэта. Он говорил, что правительства приходят и уходят, а Россия и ее культура остаются всегда. Во главе этой «русской академии» в Риме Вяч. Иванов видел Горького. Чтобы поделиться с ним своим замыслом, в конце августа 1925 года он отправился в Сорренто. Об этом путешествии Вяч. Иванов писал в дневнике: «Суббота, 29-го, перед обедом. Снабдив себя (за 8 лир) аппетитным cestino (корзина с провизией (ит.). – Г. З.), где был и хлеб и много вкусной колбаски, и кусок ростбифа, и сыр crème, и яблоко, и фиаскетто с белым Castelli, я удобно уселся в полупустом поезде и не хотел читать, но с большим удовольствием и любопытством стал смотреть на горы, через которые мы переваливали. Миновали священный для религии и для филологии (библиотека рукописей!) бенедиктинский

монастырь Монте-Кассино. Тревожился я только густой мглой, через которую героически голубела кое-как южная лазурь, при ярком солнце: боялся я, что мгла эта потушит волшебные краски неаполитанского залива. Въехали в большой, неуютный, шумливый, грязный Неаполь. На трамвае доехал я в порт, но до пристани соррентского парохода пришлось мне очень долго – минут 20 – пробираться через рельсы с вагонами, ждущими разгрузки на громадные суда, между носильщиков, повозок, грузовиков, скота, – пока, наконец, не очутился я среди элегантнейшей публики на палубе большого парохода... Сначала долго плыли мы мимо Везувия... У четырех разнообразно и причудливо расположенных по берегу селений до Сорренто происходит высадка пассажиров: к пароходу подплывают большие лодки и, подхватив путников, скрываются в скалах. Над отвесными утесами громоздятся замки, церкви, виллы... Вошел в Сорренто из лодки, хотел я сесть в автобус на Капо, но подскочил человек, спросил, не в Минерву ли я еду, не к Максиму ли Горькому, и предложил отельный автомобиль, в который затем погружены были еще 3 англичанки. Мы полетели сырыми и дикими коридорами между скал, забираясь зигзагами в гору... С террасы Горького нас завидели. Я сейчас же пошел к нему, встретил он меня очень сердечно... Сразу коснулись вопроса о журнале. Ему предложили из Советской России издавать на госуд[арственный] счет журнал, кот[орый] составляться им будет за границей, а печататься в России. Он ответил согласием при условии, что ему будет предоставлена безусловная свобода, что цензуры над ним не будет... Он поставил между прочим условие, что редактором отдела поэзии должен быть Вяч. Иванов. Я ответил, что прошу его на этом условии отнюдь не настаивать, тем более что я еще не уверен, что могу принять на себя это трудное по тактическим причинам дело, и даже если бы

принял, не хочу один нести эту ответственность, а непременно с ним вместе, так что я был бы скорее его советником и предоставил бы ему окончательные решения, – на что он ответил: “благодарю Вас”. В тот же вечер мы уже успели поговорить кое о чем важном и принципиальном, в большой согласии»^[438]...

По всей вероятности, в беседе речь тогда шла о проекте русского национального института наук и искусств в Риме, с тем чтобы его возглавил Горький. Обсуждалась и возможность перевода Вяч. Ивановым «Божественной комедии» с последующим изданием ее в СССР. Но ни один из этих замыслов – ни журнал, ни «Божественная комедия», которую потом блистательно перевел Лозинский, ни русский институт в Риме – так и не был осуществлен.

Мытарства Вяч. Иванова закончились осенью 1926 года, когда ректор Колледжио Борромео, находящегося в Павии – небольшом городе близ Милана, – священник Леопольдо Рибольди предложил ему место профессора новых языков. Одновременно он рекомендовал Вяч. Иванова в Павийский университет – преподавать там русскую словесность. Простившись с Лидией и Димой, которые оставались в Риме, Вяч. Иванов переехал в Павию. Теперь встречаться с детьми он мог только в каникулы.

Учебное заведение, где ему предстояло работать, было основано князьями Борромео. Цель их состояла в том, чтобы дать возможность пятидесяти юношам из бедных семей Ломбардии получить университетское образование. Отбор этих юношей происходил на основе конкурса. Победители имели право жить в Колледжио Борромео и посещать лекции в Павийском университете. Но продолжать пользоваться льготами они могли, лишь только получая самые высокие оценки.

Располагался Колледжио Борромео в великолепном палаццо эпохи Возрождения, являвшем собой подлинный шедевр архитектуры. Вяч. Иванов так описывал этот дворец в письме детям от 3 ноября 1926 года: «Palazzo построен на возвышенности, образующей над садом высокую террасу, и его этажи так высоки, что мой primo piano соответствует вероятно вашему [quattro](#)^[439] на Bocca di Leone. (К тому времени сразу после отъезда Вяч. Иванова в Павию Лидия и Дима съехали от синьоры Плачиди с виа делле Кватро Фонтане и наняли две комнаты на виа Бокка ди Леоне. – Г. З.)

Поэтому здание господствует над долиной реки Тичино... Фонтан, устроенный каскадиком в нише задней стены сада, неумолчно шумит издали. С циклопической террасы, большие плиты которой поросли травой, ведут в сад монументальные лестницы. Их из моего окна не видно, но видно перпендикулярный к террасе тосканский портик, ограничивающий справа узорно разлинованный партер газонов... За портиком и партером с несколькими деревьями *передний* сад... расширяется и образует огромную поляну... Все это охвачено высокою каменною стеной...»^[440]

Вяч. Иванов преподавал в Павии с 1926 по 1934 год. Иногда навещали его в Колледжио Борромео Лидия и Дима, приезжая туда на два дня. А огромные каникулы, которые длились в Италии четыре месяца, отец проводил вместе с ними в Риме.

Жилье, предоставленное Вяч. Иванову в возрожденском палаццо, было поистине роскошным. В том же письме детям он рассказывал: «Вот что я люблю: поставить мягкий стул на вторую ступеньку глубокой оконной ниши в спальне, завеситься от комнаты прямо падающими складками больших белых гардин и в такой палатке сумерничать, греясь в теплом халате и глядя в

окно, кажущееся скорее узким при его большой высоте»^[441]. Эти вечерние и ночные часы на итальянской земле, священные для русской поэзии со времен Тютчева, подарили Вяч. Иванову в рождественские дни 1926/27 года несколько новых стихотворений, которые он посылал в письмах Лидии и Диме. Сухая и бесснежная средиземноморская зима совсем не походила на русскую. Рождество в Италии наступало иначе, чем в России, хотя дух праздника был един. И новые стихи Вяч. Иванова мало напоминали «Зимние сонеты». Одна из этих ночных песен называлась «Notturmo»:

Ропот воли в сумраке полей
Муסיкийских темных чар милей.

Пес провыл, и поезд прогремел.
Ветр вздохнул, и воздух онемел.

.....

В черных складках ночи сладко мне
Невидимкой реять в тишине,

Не своей тоскою тосковать,
Трепет сердца с дрожью звезд сливать^[442].

В другом стихотворении – «Собаки» – ночной лай напомнил о сворах Аида, гонящих в подземном царстве души умерших (недаром Вяч. Иванов испытывал по отношению к псам некое подобие мистического ужаса):

Ни вор во двор не лезет, ни гостя у ворот:
Все спит, один играет огнями небосвод.
А пес рычит и воет, и будит зимний сон;
Тоскливые загадки загадывает он.

Быть может, в недрах Ночи он видит прежде нас,
Что, став недвижно, очи в последний узрят час?
Иль слыша вой зазывный родных подземных свор,
С их станом заунывный заводит разговор?

Резва в полях пустынных, где путь лежит теней,
Их бешеная стая: «летать бы, лая, с ней»...
Иль есть меж полчищ Ада и ратей Дня вражда,
И псу, как волчье стадо, его родня чужда?

И за кого б на травле вступился страж людской?
За странницу ли Душу, зовущую покой?
Иль гнал бы, ловчий сильный, ее чрез топь и гать?
И пастию могильной рвался бы растерзать?.. [\[443\]](#)

Но поэт всегда уповал на Того, Кто может спасти
душу от адских свор и привести ее на трапезу радости
и Жизни:

Блажен, кто с провожатым сойдет в кромешный
мрак:
Махнув жезлом крылатым, вождь укротит собак.
И скоро степью бледной на дальний огонек
Придет он в скит к обедне и станет в уголок.

И взора не подымет на лица вокруг себя:
Узнает сердце милых, и тая, и любя.
А вот и Сам выходит, пресветлый, на амвон
И Хлеб им предлагает, и Чашу держит Он.

И те за Хлебом Жизни идут чредой одной;

И те, кто Чаши жаждут, другою стороною...
Молчанье света! Сладость! Не Гость ли у
ворот?..
Немеет ночь. Играет огнями небосвод [\[444\]](#).

На оборотной стороне рукописи этого стихотворения, посланного детям в письме, Вяч. Иванов сделал комментарий: «Причащение в последней строфе описано так, как изображается Тайная Вечеря на ранних мозаиках... Христос посредине, половина присутствующих апостолов подходит к Нему с одной стороны за Хлебом, половина с другой за Чашей» [\[445\]](#).

Ведя в Павии почти монашескую, уединенную, тихую жизнь, Вяч. Иванов углубился в чтение Отцов Церкви. Его собеседниками в это время стали святой Августин и святой Иероним. Читая труды последнего, поэт почувствовал в своей душе словно бы некий упрек за слишком сильную привязанность к дохристианской, языческой Элладе. Эти душевные борения отозвались в стихотворении «Палинодия»:

И твой гиметский мед ужель меня пресытил?
Из рощи миртовой кто твой кумир похитил?
Иль в вещем ужасе я сам его разбил?
Ужели я тебя, Эллада, разлюбил?
Но, духом обнищав, твоей не знал я ласки,
И жутки стали мне души недвижной маски,
И тел надменных свет, и дум Эвклидов
строй [\[446\]](#).

Поэт услышал голос, призывающий его:

«Покинь, служитель, храм украшенный бесов».
И я бежал, и ем в предгорьях Фиваиды

Молчанья дикий мед и жесткие акриды^[447].

Но окончательного разрыва с античностью у Вяч. Иванова все же не произошло: он хорошо помнил слова одного из Отцов Восточной Церкви, питомца афинской Платоновской академии святого Василия Великого о пользе изучения древних писателей для христиан. К тому же древнегреческая словесность давно уже стала языком Церкви.

Павийское уединение Вяч. Иванова порой нарушалось гостями, среди которых можно было встретить лучшие умы тогдашней Европы. Всех влекла беседа с замечательным русским поэтом, ученым и мыслителем – и людей, близких ему по духу, и приверженцев других, подчас противоположных взглядов. Так, из Цюриха в Павию приезжали меценат, собиратель живописи и библиофил Мартин Бодмер и литературный критик Генрих Штейнер – издатели журнала «Корона», где впоследствии Вяч. Иванов постоянно печатал свои статьи. Навещали его французский философ, христианский экзистенциалист Габриэль Марсель и писатель Шарль Дю Бос, издававший вместе с Франсуа Мориаком журнал «Vigile». В нем в 1930 году в переводе на французский была напечатана «Переписка из двух углов». Позже Дю Бос и Марсель подготовили ее отдельное издание.

В апреле 1931 года Вяч. Иванова посетил в Колледжио Борромео знаменитый итальянский философ XX столетия Бенедетто Кроче. Он был одной из центральных фигур антифашистской оппозиции, выпускал журнал «Критика», выходивший с 1903 по 1944 год, где публиковались статьи пусть не прямо антиправительственные, но либерального направления. Среди студентов Павийского университета было немало его горячих последователей.

Вяч. Иванов и Бенедетто Кроче придерживались диаметрально противоположных взглядов. Иванов не принимал исторического идеализма Кроче, а тот – христианского онтологизма Вяч. Иванова, но это не помешало обоим на встрече, которая состоялась в Колледжио Борромео, проявить чрезвычайную взаимную учтивость в споре, оставаясь непримиримыми противниками.

Бывал у Вяч. Иванова и выдающийся еврейский религиозный философ, профессор иудаики Франкфуртского, а после прихода к власти Гитлера – Иерусалимского университета Мартин Бубер. Он первым в Европе опубликовал в 1926 году в издаваемом им журнале «Die Kreatur» в переводе на немецкий язык «Переписку из двух углов». В религиозной мысли Бубера и Вяч. Иванова порой встречались параллели, в частности, когда речь шла о проблеме «я» и «ты» в отношениях человека и Бога.

О Бубере Вяч. Иванов писал: «Бубер оставляет сильное впечатление: это еврейский праведник с глазами, глубоко входящими в душу, – “истинный израильтянин, в котором нет лукавства”, как сказал И[исус] Христос про Нафанаила. Понимает он все душевно и умственно с двух слов. Он полон одной идеей, которая и составляет содержание умственного движения, им возглавляемого; эта идея – вера в живого Бога, Творца, и взгляд на мир и на человека, как на творение Божие. На этом, прежде всего, должны объединиться, не делая в остальном никаких уступок друг другу, существующие в Европе исповедания. Человек много возмечтал о себе и забыл свое лучшее достоинство – быть творением Божиим по Его образу и подобию. Не нужно говорить о Божестве как о предмете веры, это разделяет и надмевает; нужно Европе

оздоровиться сердечною верою в Создателя и сознанием своей тварности»^[448].

Обоих мыслителей объединяло стремление вернуться к чистому истоку и ветхозаветной религии, и христианства. Именно против этой библейской основы было направлено острие зла в XX веке.

В Павии Вяч. Иванов вел повседневную многотрудную жизнь профессора. Он преподавал древние и новые языки и помогал студентам, пишущим докторские диссертации, своими беседами и консультациями по лингвистике, литературе и истории. Особенно это касалось медиков, которые, как правило, недостаточно знали английский и немецкий языки. Платили за такую работу достаточно скромно, но Вяч. Иванов впоследствии говорил о годах, проведенных в Павии, как об одних из самых счастливых в своей жизни. О том, как протекали занятия, он сообщал в письме домашним: «По пон[едельникам], средам и пятн[ицам[немецкой; по втор[никам[, четв[ергам] и субб[отам] английский, с 6 до 7. Всех сорока студентов еще не набралось, но все же их уже так много, что я далеко не всех умею назвать по фамилии. Целый выводок matricole, т. е. новичков... Идет запись на немецкий и английский языки; англичан на несколько человек больше. Стараются... Мною очень любимый, умный физико-математик Cremante делает ряд сообщений по-франц[узски] по древней истории астрономии; я, конечно, поправляю и подсказываю выражения, не позволяю толпящимся вокруг перебивать и болтать. Все охотно говорят на скверном франц[узском] языке, но стремятся к совершенствованию речи и произношения»^[449].

Доводилось Вяч. Иванову встречать в Павийском университете и соотечественников, приезжавших туда читать лекции. Выступал там Николай Оттокар -

бывший ректор Томского, а затем профессор Флорентийского университета, специалист по истории городских коммун средневековой Италии.

Нередко наезжал в Павию из Варшавы старый друг Вяч. Иванова еще по Петербургу – блестящий филолог-классик Фаддей Францевич Зелинский. В Польше он стал академиком.

В январе 1927 года – в самом начале своего преподавания – по просьбе дона Леопольдо Рибольди (в том же году он оставит пост ректора и уйдет в монахи) Вяч. Иванов прочел цикл из четырех лекций о русской культуре, религиозной мысли и духовной традиции. Готовясь к ним, он проработал множество книг по истории России и русской Церкви. Цикл назывался «Религиозная мысль в современной России» и выглядел так:

1. «Русская церковь и религиозная душа народа»;
2. «Теза и антитеза: славянофилы и западники»;
3. «Толстой и Достоевский»;
4. «Владимир Соловьев и современники».

По ходу курса у Вяч. Иванова возникли разногласия с доном Леопольдо, о которых он рассказывал в письме детям: «Рибольди злился за длинное введение, для меня однако *необходимое*: 1) о том, что такое “религиозная мысль” (в отличие от теологии)... 2) о важности моего предмета для вопроса о воссоединении церковей, восточной и западной (о том, что католичество должно многому поучиться у Востока); 3) о попытке большевиков дехристианизировать Россию, и об атеистической русской школе»^[450].

Темы этого цикла, особенно последней лекции, были напрямую связаны с событием, которое произошло в жизни Вяч. Иванова еще до отъезда в Павию, 17 марта 1926 года, в день небесного покровителя поэта – святого князя чешского Вячеслава, и имело сущностное,

итоговое значение для его жизненного пути. Он на деле – собственным выбором и поступком – осуществил завет Владимира Соловьева о христианском вселенском единстве. В этот день в римском соборе Святого Петра перед алтарем святого Вячеслава Вяч. Иванов прочитал формулу присоединения к католической церкви. Формула была не обычная, произносимая в таких случаях, а особая, составленная Владимиром Соловьевым. В тогдашней традиционной формуле, единой и для православных, и для протестантов, переходящих в католицизм, содержалось отречение от прежней веры и осуждение ее. Для Вяч. Иванова такое было неприемлемо. Он не отрекался от православия, а, оставаясь православным человеком, *присоединялся* к католической церкви, становился вселенским христианином, не разделял, а объединял. С большим трудом удалось добиться разрешения на произнесение соловьевской формулы у ватиканской бюрократии из Sant'Ufficio, и не слышавшей имени великого русского мыслителя.

Затем Вяч. Иванов был на литургии, отслуженной по церковнославянскому чину в капелле над могилой апостола Петра, и причастился Святых Таин под двумя видами – по обряду Восточной Церкви. Обедню эту служил отец Владимир Абрикосов – католический священник, происходивший из знаменитой старообрядческой купеческой семьи, чьи шоколадные конфеты славились на всю Россию. Вяч. Иванов не раз бывал в московской квартире отца Владимира на Пречистенском бульваре.

В тот день в маленькой капелле над гробом святого Петра на службе присутствовали только три или четыре человека, но это не уменьшало безмерности происходившего там. О смысле его Вяч. Иванов писал Шарлю Дю Боссу 15 октября 1930 года: «Я впервые почувствовал себя православным в полном смысле этого

слова, обладателем священного клада, который был моим со дня моего крещения, но обладание которым до тех пор, в течение уже многих лет, омрачалось наличием чувства какой-то неудовлетворенности, становящейся все мучительней, и мучительней от сознания, что я лишен другой половины живого того клада святости и благодати, что я дышу наподобие чахоточных, одним только легким. Я испытывал великую радость покоя и свободы действий, неведомую ранее той поры, счастье общения с бесчисленными святыми, от помощи и молитвы которых я долго и противовольно отказывался, сознание, что выполняю свой личный долг, и в своем лице долг моего народа, уверенность, что поступил согласно его воле, которую я тогда ясно увидел созревшей для Единения, что остался верен его последнему завету: требованию забыть его и принести в жертву великому делу Соборности. И – удивительно – я мгновенно почувствовал его, в духе возвращенным мне рукою Христа: вчера я присутствовал на его похоронах, сегодня я вновь был соединен с ним, воскресшим и оправданным»^[451].

Теперь поэт свободно и полно дышал двумя легкими. Приобщившись вселенскому, он еще сильнее почувствовал красоту и богатство родного. Протяженностью в шестьдесят лет пролегал этот трудный путь от тихого детства в Третьем Риме до осознания своего места и предназначения посланника русской культуры и мысли в сердце христианской ойкумены – Риме первом, вселенская полнота которого была бы куда как неполна без России, без ее такой непростой, порой яростно отрицающей родство, порой тайной, скрытой, но всегда неизбывной любви. Это воля к единству с христианским миром испокон веков жила в русском народе. Она звучала в первом произведении нашей словесности – «Слове о законе и благодати»

митрополита Илариона - и в пушкинской речи Достоевского. Ее послами были Чаадаев и Владимир Соловьев. Уникальный духовный опыт Русской Церкви и оплодотворенная ею культура имели всемирное значение и открыли западной сестре неведомое прежде великое сокровище. Вяч. Иванов всякий раз был счастлив, когда видел в римском соборе Святого Петра изображения святых равноапостольных княгини Ольги и князя Владимира, принесших христианство на Русь. Они свидетельствовали о неразрывном единстве, корнящемся в Царстве Небесном, куда, по словам святителя Московского Филарета (Дроздова), никакие земные перегородки не доходят.

Среди присутствовавших на этой литургии в капелле была и дочь Вяч. Иванова Лидия. Отец Владимир Абрикосов обратился к ней с вопросом, почему она до сих пор не присоединилась к католической церкви, но Вяч. Иванов резко оборвал его, сказав, что у Лидии собственная духовная жизнь. Он был яростным противником принуждения и не допускал какого бы то ни было давления в вопросах веры. И, конечно же, уважал духовную свободу своих детей, считая, что присоединение к католической Церкви может быть для них только делом личного, глубоко осмысленного и выстраданного выбора. Об этом свидетельствуют письма Вяч. Иванова 1927 года из Павии Лидии и Диме, в них он не скрывал всей непростоты многовековых отношений между христианским Западом и христианским Востоком, с которой им придется столкнуться, если они решатся присоединиться к католической Церкви.

Совсем еще недавно Рим именовал христиан-некатоликов схизматами или еретиками. Но сама Римская Церковь на протяжении двух с лишним столетий переживала период тяжелого упадка и застоя. Это было связано с формализацией ее духовной жизни,

закрытостью и внутренней несвободой. В 1864 году папа Пий IX в своем послании назвал свободу совести одним из главных заблуждений времени. Тютчев откликнулся на это стихотворением «Encyclicá», где были такие строки:

Не от меча погибнет он земного,
Мечом земным владевший столько лет, —
Его погубит роковое слово:
«Свобода совести есть бред!»^[452].

Христианства без свободы не мыслили себе ни Тютчев, ни его наследник в русской поэзии Вяч. Иванов.

На рубеже XIX – XX веков католическая церковь начала оживать, выходя из многолетнего закоса. Она становилась все более открытой и свободной, стремясь следовать духу Евангелия. Особенно ярко это обновление дало о себе знать в папе Бенедикте XV. Восхищенный его посланием в августе 1914 года, в котором он призывал к немедленному прекращению войны и объявлял о нейтралитете Святого престола, в стихотворении «Encyclicá», не случайно названном так же, как и тютчевское, Мандельштам писал:

Есть обитаемая духом
Свобода – избранных удел.
Орлиным зреньем, дивным слухом
Священник римский уцелел^[453].

Сравнивая стихи двух русских поэтов с одноименным названием, можно было убедиться, какие за полвека произошли изменения в католической церкви. Теперь Римский престол занимал папа Пий XI,

человек широко и свободно мыслящий. Но у большинства католического духовенства поворот в сознании совершался очень медленно. Дух прежней ортодоксии был еще силен.

В письме Диме, желавшему, подобно отцу, присоединиться к католической церкви, Вяч. Иванов открыто и глубоко говорил с пятнадцатилетним юношей о всех сложностях, связанных с этим шагом, предоставляя делать окончательный выбор ему самому: «Милый Дима! Среди католиков и именно среди католического духовенства (как ни обучают его за последнее время тому, что такое православие) существует до сих пор много ложных мнений о православном Востоке – не меньше, чем у нас о католичестве. Поэтому не очень-то верь всему, что слышишь от не-русских (в сутанах или без сутан) о русской Церкви. За правильность того, что я изложу... – я ручаюсь, и сам Папа Пий XI не скажет, что я говорю неправду... Когда католических священников русские обвиняют в том, что они обращают в католичество малолетних православных... – они оправдываются и извиняются, чем доказывают, что делать это им не велено»^[454]. Далее в письме Вяч. Иванов вкратце излагал Диме историю трагического разрыва между Западной и Восточной Церковью: «Римский епископ есть истинно преемник власти апостола Петра и, как Петр был главою Церкви, так и он остается главою Церкви. Греческий Восток признавал власть римского первосвященника целых тысячу лет. За это время было семь Вселенских Соборов, постановление которых составляло основу православия, жили и учили великие святители и учителя Восточной Церкви, мнения которых имеют для православия (как и для Запада) величайший авторитет: и как соборы, так и святые учителя Востока признавали без всякого колебания не только

преимущественную честь, но и преимущественную власть преемника Петрова. Россия приняла христианство от греков, когда еще греческая Церковь составляла единство с римскою. Уже существовавшая разница в обрядах нимало не нарушала этого единства и не препятствовала признанию папы римского главою Церкви. Но издавна было много вражды у греков против Рима и политических распрь, и попыток расколоть Церковь, все восточные святые были, конечно, против этого духа “схизмы”, т. е. раскола. Только в 1054 году греки окончательно взбунтовались и отделились от Рима»^[455].

Говорил Вяч. Иванов и о пути Русской Церкви после раскола 1054 года: «Русских всему научили греки и они вооружили наших предков против Рима. Впрочем, русские мало об этом думали, потому что Россия вскоре вследствие исторических причин... совсем отделилась от Европы и не имела никакого понятия о том, что делалось на Западе. Россия никогда не была отлучена Римом от Церкви. Она просто замкнулась в себе и находилась в фактическом отделении»^[456].

Но ни на секунду не ставил Вяч. Иванов под сомнение той полноты благодати, которая, вопреки разделению, действовала в Русской Православной Церкви: «Если бы благодать Божия не действовала в православии на души людей, чуждых лично всякого схизматизма... несмотря на национальное схизматическое отделение от вселенского единства, православная Россия не имела бы своих великих святых: а кто не чтит и не любит, например, преподобного Сергия Радонежского и преподобного Серафима Саровского, тот русский не достоин именоваться христианином, – все равно, будь он православный или католик. Ибо явление Божией Матери Серафиму, как и св. Сергию – такая же “Нечаянная Радость” и подарок

человечеству, как и Ее явление в Лурде. Радостный Серафим, учивший о Духе Святом, был “старец” в Сарове, современник Пушкина. И если названные святые не записаны до сих пор в католические святцы, это потому только, что разделение Церквей делает невозможным обычного порядка канонизации»^[457].

В другом письме Диме как образец вселенского православия Вяч. Иванов приводил в пример своего великого учителя: «Вл. Соловьев провозгласил, что он “право славный” не в современном, условном, а в исконном и полном смысле слова и потому видит в преемнике Петра главу Церкви Вселенской, как признавали его таковым истинные православные, напр. Иоанн Златоуст, составивший чин православной литургии, и учителя славян, святые братья Кирилл и Мефодий. Из чего следует, что родившемуся в православии должно быть прежде всего хорошим православным... и когда он дойдет... до высшего класса в православии, тогда все ему само собой приложится, и он будет о Церкви думать как Иоанн Златоуст или Кирилл»^[458].

Письмо к дочери отличалось совсем иной тональностью. По всей вероятности, Лидия переживала в это время затяжной кризис веры. Вяч. Иванов писал ей: «Тебе я не написал бы всего, что пишу Диме, – не потому что считаю тебя более подготовленной: напротив, в некотором смысле Дима впереди тебя, потому что у него определенное положительное благочестие... у тебя же благочестие тайное, невыявленное и боящееся выявления, покрытое пластом агностицизма и противления... Для тебя идет дело не столько о католичестве, сколько о conversion^[459] в собственном смысле, в смысле “обращения” Св. Августина из манихейства в христианство... Акт присоединения поставил бы тебя в

совсем новые условия духовной жизни. Он потребовал бы от тебя правильной жизни в Церкви и положил бы конец беспорядочности, неприбранности, запущенности душевного быта»^[460].

Тем временем многие знакомые Вяч. Иванову католические священники настойчиво пытались как можно скорее обратить Лидию и Диму, но это вызывало лишь обратную реакцию. Католический прозелитизм среди русских православных эмигрантов в Западной Европе вообще носил в те годы характер внешнего давления. Один из замечательных деятелей мирового православия в XX столетии, владыка Антоний Сурожский, вспоминал, как во Франции его пытались определить в очень хорошую католическую школу. Но когда священник поставил условие, что мальчик должен стать католиком, будущий митрополит Антоний, тогда еще восьмилетний Андрей, сказал маме: «Уходим отсюда. Я не на продажу». Поверхностно-массовый, административный подход применялся там, где требовались внутренняя свобода, глубина и личностно осмысленный выбор, где совершалась тайна богочеловеческих отношений.

Не был доволен такими «стараниями» и Вяч. Иванов. В одном из павийских писем он прислал Лидии шуточное стихотворение, в котором упоминался и давний «домашний тотем» Ивановых:

Катешизируют котов —
Монашка – реверенд О’Коннор,
Архиепископ Леписей,
Collegio Veda, pater Майкель
Мулла, спец – ориенталист
И музыкальный монсиньор
А в голове дезордр и вздор.
...Где ж Абрикосов? Путь готов.

После этого Вяч. Иванов резюмировал: «Я же думаю: не готов, а загроможден. И вся эта мобилизация тем особенно неприятна, что стесняет уже свободу решения и действия...»^[461]

Чтобы привести в порядок мысли и духовный настрой, Лидия отправилась в Париж к своей теще и подруге, которую почитала как старшую сестру и всегда советовалась с ней, принимая трудные решения, - к Лидии Юдифовне Бердяевой, жене философа. После изгнания Бердяевы жили в маленьком домике в парижском предместье Кламар. Еще до отъезда, в страшном 1919 году, Лидия Юдифовна в Москве перешла из православия в католицизм. Сам Бердяев, бесконечно любя жену, не мог принять ее взглядов. Он считал, что вся полнота и глубина духовной свободы возможна именно в православии. В Париже Бердяев был постоянным прихожанином Трехсвятительского храма, находящегося в ведении Московской патриархии. Даже когда значительная часть русской общины во главе с митрополитом Евлогием перешла под Константинопольский омофор, Бердяев не последовал за ней. Он твердо решил оставаться в Церкви гонимой и страдающей. Не покинула храм Трех Святителей и его свояченица Евгения Юдифовна. Но, несмотря на разномыслие, в доме царила атмосфера настоящей христианской любви. Обстановку этого кламарского жилища Бердяевых Лидия вспоминала такой: «В какой час ни зайдешь в этот домик, в нем всегда были гости. Вокруг большого стола без конца пили чай, закусывали, обедали и говорили, говорили... Споры и рассуждения не кончались, проблемы не разрешались.

- Как Вы можете работать в таких условиях, спросила я Николая Александровича.

Он ответил, что это ему необходимо для работы, что это та атмосфера, в которой у него рождаются мысли. При таком образе жизни работа по хозяйству была адская, и ее брала на себя кроткая и всегда ласковая Евгения Юдифовна. Сестры напоминали Марфу и Марию. Лидия Юдифовна жила аскетично, вся преданная молитве и медитации. Здоровье у нее было очень хрупкое»^[462].

В эмиграции Бердяев и Вяч. Иванов не возобновляли переписки. Сведения, которые доходили до Бердяева о Вяч. Иванове, были отрывочны и не всегда точны. Об этом свидетельствует фрагмент из бердяевского «Самопознания» – книги, представляющей собой уникальный опыт философской автобиографии: «Он (Вяч. Иванов. – Г. З.) был всем: консерватором и анархистом, националистом и коммунистом, он стал фашистом в Италии, был православным и католиком, оккультистом и защитником религиозной ортодоксии, мистиком и позитивным ученым»^[463].

Далеко не все здесь соответствовало тому, что имело место быть. Вяч. Иванов работал в советских учреждениях, чтобы кормить семью, но никогда не был ни коммунистом, ни даже сторонником советов. Не стал он и фашистом в Италии. Напротив, ему отказали в месте профессора Флорентийского университета, когда узнали, что он не состоит в фашистской партии и имеет советское гражданство (итальянское Вяч. Иванов принял только в 1935 году).

Всем сердцем любя Россию, он не переступал за ту грань, где начинался национализм, оставаясь всечеловеком и европейцем. А православие и католицизм были для него вслед за Владимиром Соловьевым двумя неразрывными составляющими вселенского христианства, «двумя легкими» единого организма.

К тому же Вяч. Иванов в Италии был совсем иным, нежели тот, которого Бердяев знал в Петербурге и даже в Москве. В нем не осталось и следа прежнего душеловца, «мага и мистагога». И в жизнь, и в поэзию вошла высокая простота. Об этом Вяч. Иванов позже скажет в одном из своих стихотворений:

К неофитам у порога
Я вещал за мистагога.
Покаянья плод творю:
Просторечьем говорю.

Да и что сказать то? Много ль?
Перестал гуторить Гоголь,
Покаянья плод творя.
Я же каюсь, гуторя, —

Из Гомерова ли сада
Взять сравненье? – как цикада.
Он цикадам (сам таков!)
Уподобил стариков.

Чтоб на ветках все сидели,
На зеленых в лад скрипели,
Гуторком других учу:
Не вещаю, – не молчу^[464].

Лидия Юдифовна приняла соименницу как родную. Она познакомила ее со своим духовным отцом – польским священником и богословом Августинном Якубсиаком. Тот сначала дал Лидии несколько книг апологетически-миссионерской направленности, но они вызывали у нее резкое неприятие. И тогда отец Августин посоветовал ей прочитать Библейскую книгу «Премудрости». Раздвоенность и тревога уступили

место радости и глубокому внутреннему покою. Кризис веры миновал. Теперь предстоял выбор между жизнью в католической или православной церкви. Для Лидии и та и другая были равно святы, но католицизм она ощущала более близким для себя. Решение присоединиться к католической церкви созрело очень быстро. Лидия сочла необходимым сообщить о нем православному священнику. Для этого она отправилась к отцу Сергию Булгакову, который служил теперь в Париже. О встрече с ним и о том, как проходило ее присоединение, Лидия Иванова рассказала в своих воспоминаниях: «Булгаков говорил мне, что католичество для меня будет гибелью. Что он видит ясно, как все будет: я пойду в монастырь (это он *ясно* видит). В монастыре моя свободная душа будет искалечена католической системой “подпорок”, искусственно формирующих человека. В конце свидания он добавил:

- Вас заставят при переходе в католичество проклинать православие. Я Вас помню в Москве, как Вы стояли на одной службе. Вы жили тогда в Духе Святом. Теперь, при уходе из православия, Вы совершите грех против Духа Святого!

Я вышла от него потрясенная этими последними словами. Не могу описать, как мне было тяжело те два-три дня, которые предшествовали церемонии моего перехода в католичество.

Она была назначена на 12 июля. Еще в то утро я проснулась на заре, полная колебаний, но сделала усилие над собой и зашла в церковь бл. Августина. Там я обрела силу и решимость и отправилась в Сент-Медар, где меня ожидали отец Августин и моя дорогая Лидия (Бердяева. - Г. З.). В формуле, которую мне дали прочесть перед обедней, никаких проклятий не было. После службы, так как я была вне себя от волнения, Лидия взяла меня с собой в Кламар, где Евгения

Юдифовна меня встретила с лаской и любовью, хотя она сама была ярой православной»[\[465\]](#).

В том же 1927 году к католической церкви присоединился и Дима. Осенью он тяжело и опасно заболел туберкулезом, так что кровь шла горлом. Но болезнь, унесшая когда-то его деда в Москве, в итальянском климате и переносилась, и лечилась легче. Диму удалось поместить в римский санаторий «Чезаре Баттисти», директором которого был опытный врач – доктор Мендес. Он представлял собой очень колоритную фигуру. Ярый антиклерикал и одновременно верующий иудей и убежденный сионист, доктор Мендес был горячим сторонником фашистской партии. В те годы Муссолини активно старался привлекать евреев в ее ряды. Позже, под давлением Гитлера, «дуче» изменил свое отношение к ним.

Находясь в санатории, Дима много молился, постоянно читал Евангелие и возымел твердое намерение стать католиком. Самый воздух Рима, его прекрасные церкви, красота богослужений, которые он посещал, дружба со священниками и верующими сверстниками еще до болезни подготовили юношу к принятию этого решения.

Присоединение состоялось в часовне санатория. По просьбе Димы его совершил пожилой французский архиепископ Алексис Мари Леписье, хорошо знавший Ивановых. Это был человек необычайной душевной чистоты и неизменно дружелюбный в общении. Даже доктор Мендес, на дух не терпевший католического духовенства, принял его очень любезно.

Узнав о произошедшем, Вяч. Иванов писал детям: «Слава Богу, что все совершилось по желанию, что мы трое духовно соединены и религиозно раскрепощены вселенскою Правдой от уз и вины национального обособления, что в вере нашей мы уже не русские

только, а чада Божии по слову “Даде им область чадам Божиим быти, верующим во Имя Его”. (Ев<ангелие> от Иоанна, гл. I, 12.) Мы благодатно вооружены этой “властью” против враждующих с Церковью сил “мира сего”, в частности – как русские – против русского мятежного интернационализма в безверии и русского мятежного национализма в вере. Христианство – Ecclesia militans^[466], особенно в наши дни. Молюсь, чтобы жизнь Димы на каком бы то ни было поприще была в этом смысле служением Богу...»^[467]

Обозначился 1927 год и другим событием, изменившим жизнь семьи к лучшему. В Рим приехала Ольга Александровна Шор, ставшая поклонницей творчества Вяч. Иванова еще в 1910 году в Москве. Теперь она занялась изысканиями, связанными с ее любимым Микеланджело, к которому относилась как-то особенно лично. Каждое утро, подходя к окну и глядя на купол Святого Петра, Ольга Александровна говорила: «Здравствуй, Мишенька». Кроме того, многие другие «римские» темы привели ее к интереснейшим и очень глубоким научным выводам. Ими она делилась в беседах с Вяч. Ивановым и его домашними. Но как поэт ни просил Ольгу Шор написать эти исследования, они остались только в набросках. Главным делом своей жизни Ольга Александровна считала заниматься творчеством Вяч. Иванова. У нее была насущная потребность отдавать себя другим. Ни на что меньшее ее «христианка душа», если вспомнить слова блаженного Августина, не соглашалась. Совершенно равнодушная к собственному быту, одежде, еде, Ольга Шор могла целые дни посвящать помощи ближним. Именно она ухаживала за больным Димой, вспомнив свой опыт сестры милосердия в годы Первой мировой войны. Очень скоро Ольга Шор стала для Ивановых в Риме таким же родным и сущностно необходимым

человеком, каким в России была Мария Михайловна Замятнина. Но в отличие от нее, тянувшей хозяйственную жизнь семьи, Ольга Александровна, кроме того, выполняла всю секретарскую работу. Вяч. Иванов видел в ней незаменимого помощника и любимого, равного себе собеседника. Он поверял ей многие тайны своей внутренней жизни и памяти. Недаром Ольга Шор впоследствии стала хранительницей архива Вяч. Иванова. Она подготовила к публикации многие его работы, написала к ним предисловия, была редактором и комментатором собрания сочинений Вяч. Иванова и автором введения к нему – первого фундаментального исследования жизни и творчества поэта. Ольга Шор точно угадала и истолковала бесчисленные культурные и бытийственные коды, скрытые в его стихах. Их она знала и чувствовала как ни один другой человек.

В самом ее облике, изящной и хрупкой фигуре, в горбоносом профиле было что-то возвышенно-неотмирное, птичье. Вяч. Иванов прозвал Ольгу Шор Фламингой – это слово он склонял. Со временем домашнее прозвище сравнялось с именем. К католической церкви она не присоединилась, до конца дней оставаясь прихожанкой русского православного храма в Риме, но это не мешало ей быть для Ивановых сестрой во Христе. Ольга Шор прожила долгую жизнь, успев осуществить все, в чем видела поручение, данное ей свыше. Она умерла в 1978 году. Как раз тогда террористы из «Красных бригад» – наследники «бесов» Достоевского – похитили видного итальянского политического деятеля Альдо Моро, долго держали в заточении, а затем убили. Лидия Иванова вспоминала, что, узнав об этом, уже будучи при смерти, Ольга Александровна, потрясенная, повторяла: «Боже мой! Зачем, зачем они это сделали!» Человеческая мерзость была недоступна пониманию ее прекрасного и чистого

сердца. Отношение Вяч. Иванова к своей верной Фламинге хорошо видно из стихов, которые он ей посвятил:

Тебе, хранительный мой гений,
Душевных ран и плоти врач,
Вождь в сумерках моих видений,
Земной судьбы моей толмач;

Тебе, кто, за чертой явлений,
Небесных помнишь мир селений
И слышишь ангелов полет,
Житейский правя обиход

Смиренномудро, безымянно, —
Затем что, кто ты, несказанно, —
Как звать тебя, сказал бы тот,
Кто слышал ангелов полет [\[468\]](#).

Фламинге было суждено по предсмертному поручению поэта завершить и заветный труд его жизни...

В конце 1934 года, когда преподавание Вяч. Иванова в Павии прекратилось, а во Флорентийском университете, несмотря на приглашение кафедры и единогласное избрание профессором, фашистская администрация ему отказала, он окончательно поселился в Риме. Теперь поэту предстояло делить с Вечным городом все те радости и великие испытания, что выпадут на их долю.

Глава X

Под небом рима. 1935-1943 годы

После возвращения Вяч. Иванова в Рим для семьи вновь настала черед постоянных перемен жилища. Одни за другими мелькали маленькие съемные комнаты и пансионы. Зарботка не было, и приходилось отыскивать наиболее дешевые и наименее удобные из них, где скверно работало отопление, плохо закрывались окна и двери, всюду сушилось белье на веревках и дуло из множества щелей в стенах. Но и это знакомство с трущобами старого Рима не омрачало радости поэта от того, что он наконец-то живет в любимом городе. Римский университет дал Вяч. Иванову ту единственную работу, которую только и мог предоставить без разрешения фашистских властей, – участие в экзаменационных комиссиях по утверждению приват-доцентов. Какие-то небольшие деньги это приносило. И вскоре, устав от «перемены мест», Вяч. Иванов решил нанять постоянную квартиру. Начались поиски. Однажды Лидия с Фламингой поднялись на вершину Капитолийского холма. Там на улице Монте-Тарпео, получившей свое название по Тарпейской скале, на которую она вела, подруги увидели старый четырехэтажный дом. Подъезд его был открыт. Спросив разрешения, они вошли и узнали, что в одной из квартир идет ремонт и ее готовятся сдавать. Лидия и Фламинга решили осмотреть квартиру. Они сразу были поражены открывшимся им из окон великолепным видом Рима. Дом стоял так, что никакие другие здания не загораживали обзора. Прямо и справа как на ладони был виден Палатин, слева – Форум до самого Колизея.

Новых домов в этих местах не возводили, и они не портили собой облик древнего города. Застекленная дверь выходила на старую железную лестницу, а та вела в прекрасный тенистый садик. В нем находился маленький бассейн, где плавали красные рыбки, вокруг росли фиговые деревья и пальмы, на которых висели золотые шары. Под лестницей в стене была ниша. В ней стоял бюст Моисея – гипсовый слепок со знаменитой скульптуры Микеланджело.

Лидия вдруг остро почувствовала, что хочет жить здесь и что отец полюбит это жилище всем сердцем. Так когда-то ее мать Лидия Дмитриевна, увидев дом с «башней» напротив Таврического сада, поняла, что ничего другого им с Вячеславом не нужно. Петербургская история тридцатилетней давности словно бы повторялась теперь в Риме.

Владельцами квартиры была пожилая супружеская чета – маркизы Гульельми. Они оказались очень любезными людьми старой римской чеканки и быстро согласились сдать жилье за весьма умеренную цену. При этом синьора Гульельми не забыла рассказать, что в этой квартире прежде жила великая Элеонора Дузе. Кое-что из мебели актрисы маркиза оставила Ивановым. Особенно им понравился маленький изящный стеклянный столик, выполненный по эскизу самой Дузе. Она предвосхитила будущие веяния европейской моды. Впоследствии с этим столиком Ивановы не расставались. Он всегда стоял в кабинете поэта.

В дом на Монте-Тарпео семья въехала в марте 1936 года. Это была их первая отдельная квартира в Италии. Свое жилье Вяч. Иванов воспел в стихотворении «Староселье»:

Журчливый садик, и за ним
Твои нагие мощи, Рим!
В нем лавр, смоковница и розы,

И в гроздиях тяжелых лозы.

Над ним, меж книг, единый сон
Двух сливших за рекой времен
Две памяти молитв созвучных, —
Двух спутников, двух неразлучных.

Сквозь сон эфирный лицезрим
Твои нагие мощи, Рим!
А струйки, в зарослях играя,
Поют свой сон земного рая^[469].

Не обошлось и здесь без постоянных спутников Ивановых. На площадке железной лестницы вместе со своим многочисленным потомством обитала кошка по прозвищу Мадам Серваль. Один из ее детей стал домашним питомцем и любимцем семьи. Это был роскошный зверь тигровой масти. Он получил имя Пеллероссо, что по-итальянски означало «рыжая шкурка». Впоследствии он пропал. Соседи Ивановых поговаривали, что в одной из окрестных трапезных его подали на стол под видом кролика. Этот еще древнеримский «рецепт» был хорошо известен русскому читателю благодаря «Мертвым душам», написанным в Риме. Собакевич, потчуж Чичикова обедом и ругая на чем свет стоит губернаторскую кухню, рассказывал о ее «секретах» так: «Купит вон тот каналья повар, что выучился у француза, кота, обдерет его, да и подает на стол вместо зайца»^[470].

Получив итальянское гражданство, Вяч. Иванов начал печататься и в русских эмигрантских изданиях. В 1936 году по просьбе И. И. Фондаминского-Бунакова (будущего сподвижника матери Марии Кузьминой-Караваевой по «Православному делу», как и она, принявшего мученическую смерть в нацистском

концлагере) он передал в парижские «Современные записки» свои «Римские сонеты». С тех пор Вяч. Иванов регулярно печатал в этом журнале неопубликованные прежде стихи. На гонорары, которые по его просьбе редакция откладывала, он отдельной книгой издал в Париже в 1939 году мелопею «Человек».

Через несколько месяцев после того, как Вяч. Иванов вместе с семьей поселился на Монте-Тарпео, он нашел работу. Вернее будет сказать: работа нашла его. Однажды в дверь квартиры Ивановых постучали. На пороге стоял высокий человек в монашеском облачении, осанкой и чертами лица напоминавший рыцаря. Наверное, так выглядел иоаннит Дьедонне де Гозон – воин-монах, ставший героем Шиллеровой баллады «Битва с драконом», победитель родосского чудовища. Гостя звали Филипп де Режиc. Подобно де Гозону, он происходил из знатного французского рода и по семейной традиции вступил в орден иезуитов. Орден этот, основанный в 1540 году святым Игнатием Лойолой, прославился своим миссионерством и образовательными традициями во всем мире. Французский писатель А. Фроссар писал о нем так: «Иезуиты-миссионеры преодолевают океаны, пересекают Индию, переходят Гималаи, углубляются в Китай, бороздят Японию, оставляя за собой тут – иезуита-брамина в желтой одежде, который больше брамин, чем остальные брамины; здесь – иезуита-йога, превосходящего йогов в аскетических дисциплинах; в другом месте – иезуита – заведующего протокольным отделом и служащего примером японского этикета для приближенных императора; еще далее – иезуита-заклинателя змей; и, смотря по месту, обстоятельствам и потребности, – географов, часовщиков, физиков, астрономов, врачей, архитекторов. Иезуит открывает Миссисипи и проплывает вверх по Миссури до Великих озер, иезуит же изобретает волшебный фонарь и

акустическую трубку, иезуит привозит с Филиппинских островов хину и ваниль, иезуит обучает нас изготовлению фарфора и употреблению зонта. И не ищите, кто дольше всех занимал пост председателя “Императорской математической комиссии” в Китае: конечно иезуит.

Они были, есть и будут всем, чем заставит их быть их миссия. Но их же – больше, чем кого-либо, – обезглавливают, скальпируют, сжигают, распинают, истребляют оптом и пытаются в розницу... Иезуиты, занимающиеся всеми профессиями и носящие всевозможные костюмы, охотно облачаются и в кровавую тунику мученика»^[471].

Подобно Вяч. Иванову, Филипп де Режи, в 1914 году ставший монахом, а в 1926-м рукоположенный в священники, всем сердцем жаждал сближения католической и православной церквей, выстраивания серьезного и глубокого диалога между ними. Тем более перед лицом торжествующего в мире безбожия и циничного секулярного прагматизма этот вопрос стоял с необычайной остротой. Отец Филипп хорошо знал русский язык и хотел побывать в России, но осуществить свой замысел так и не смог. Тем не менее это знание не пропало втуне. В 1934 году его назначили ректором Русской католической семинарии в Риме – знаменитого Руссикума. После того как Италия вступила во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской Германии, отец Филипп вернулся на родину. Во Франции во время немецкой оккупации он, рискуя собственной жизнью, как и подобало рыцарю Церкви, спасал евреев и всех преследуемых нацистами. По окончании войны он возвратился в Рим на прежнюю должность, а в 1948 году уехал в Южную Америку, где во многих городах организовывал церковную жизнь, строил храмы, много занимался экуменической

деятельностью и всегда старался вносить мир в межцерковные отношения. Скончался отец Филипп де Режиc в 1955 году в Буэнос-Айресе.

Придя к Вяч. Иванову на Монте-Тарпео, отец Филипп, к тому времени уже второй год исполнявший должность ректора семинарии, предложил ему читать лекции по старославянскому языку и истории русской литературы. Вяч. Иванов с радостью согласился. Власть фашистского правительства не распространялась на учебные заведения Ватикана, и отклонить его кандидатуру уже никто не мог. Зарплата профессора в Руссикуме был скромным, но постоянным. К тому же отец Филипп сразу пришелся Вяч. Иванову по сердцу. Сотрудничество с этой живой, цельной и творческой натурой вдохновляло.

А несколько месяцев спустя Вяч. Иванову предложили читать курс славянского языка в Папском Восточном институте. Два раза в неделю он теперь приезжал на площадь Санта-Мария-Маджоре, где располагались оба эти заведения. Готовили они священников, которые должны были служить по обряду Восточной Церкви на греческом и славянских языках. Круг Вяч. Иванова составляли там серьезные ученые – богословы, философы, литургисты. Общение с ними питало его мысль и незаметно, исподволь помогало копить силы и открывать новые глубины для будущих стихов. Многие талантливые, жаждущие знаний и горящие желанием нести людям весть о Христе ученики Вяч. Иванова со временем стали постоянными гостями его дома, а потом и младшими друзьями. Беседы о русской культуре и философии не умолкали в кабинете на Монте-Тарпео. На закате жизни Вяч. Иванов писал в Англию С. Л. Франку: «В Восточном Институте, где я был и доныне считаюсь профессором церковно-славянского языка, и в Руссикуме, где я преподавал, сначала в их аудитории, а потом у себя на дому,

историю русской литературы, пишутся и защищаются докторские диссертации о Соловьеве, Бердяеве, Булгакове, Карсавине; там и Ваше имя хорошо известно и произносится с глубоким уважением. Показательно, что это изучение направляется не только на философские и богословские доктрины, но стремится проникнуть в мистическое богочувствование православных и религиозную психологию народа (было мне любопытно читать с нерусскими студентами народные “духовные стихи”)...»^[472] Благодаря Вяч. Иванову Рим услышал голос России, без которого полнота вселенского хора была бы невозможна.

Обычно до площади Санта-Мария-Маджоре Иванов добирался на извозчике. В этом путешествии его всегда сопровождала верная Фламинга. Пролетке приходилось ехать, дребезжа по булыжным мостовым, и подниматься на Эсквилинский холм, где и находилась площадь. Здесь Вяч. Иванов отправлялся в Руссикум или Восточный институт читать лекции, а Фламинга поджидала его в соседнем кафе, записывая в маленьком блокноте наброски к будущим исследованиям. Когда Вяч. Иванов выходил со своим стареньким, потертым, выдавшим виды портфельчиком, он угощал Ольгу Шор пирожными, а себе брал стаканчик вина. Обрато они также возвращались на извозчике. На Капитолии их ожидал еще более крутой подъем, чем на Эсквилине, – по древней Виа Сакра, вымощенной римской кладкой. Но эти «тяготы» пути не могли помешать пиршеству мысли и общения. К тому же отец Филипп де Режиc поручил Вяч. Иванову работу, наполнившую его сердце радостью и высокой ответственностью одновременно. Поэт должен был составить предисловие и комментарии к Деяниям и Посланиям Апостолов и к Откровению святого Иоанна Богослова. (По другим сведениям, этот труд в 1941 году

заказал Вяч. Иванову профессор Руссикума отец Венделин Яворка.) Колоссальная работа потребовала полной самоотдачи и стала делом жизни. Вяч. Иванов углубился в чтение священных текстов апостольских времен, первых веков христианства и писаний Отцов Церкви, особенно Восточных. Святые Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст были теперь его постоянными и любимыми собеседниками. Над составлением предисловий и примечаний к Новому Завету Вяч. Иванов трудился в годы войны, под грохот бомб и снарядов. Это было его противостоянием злу, объявшему тогда весь мир, - противостоянием сущностным. Тьма, несмотря на видимую свою мощь, оказалась бессильной угасить евангельский свет. Деяния и Послания святых Апостолов и Апокалипсис с введениями и комментариями Вяч. Иванова были напечатаны Ватиканской типографией в 1946 году. А через два года к ним прибавился новый труд Вяч. Иванова - предисловие и примечания к Псалтири. Когда-то по этой книге мать нагадала своему пятилетнему сыну судьбу поэта. С тех пор арфа Давида сопутствовала ему на всех земных дорогах. Псалтирь эта вышла в Ватикане на славянском и русском языках год спустя после смерти Вяч. Иванова.

Кроме того, он составлял и переводил по просьбе Восточного института молитвы, тексты монашеских обетов и официальные документы. Как вспоминал об этом сын поэта Д. В. Иванов: «Послушники восточного обряда, а значит, русского, сербского и тому подобного происхождения, читали молитвы только на латыни. И вот отцу поручили переводить Требник, чтобы отныне они могли молиться на церковнославянском»^[473].

С того времени как в эмигрантской, так и в советской среде возник миф, устойчивый, здравствующий и поныне, что якобы Вяч. Иванов стал

аббатом (по другой версии, даже кардиналом) и хранителем Папской библиотеки. Но он не имел под собой никакой реальной основы. Иванов продолжал вести в Италии ту же жизнь поэта, ученого и педагога, какую вел в России.

А вскоре благополучно сложились и судьбы его детей. Лидия, ученица А. Б. Гольденвейзера в Москве и Отторино Респиги в Риме, в 1936 году получила место экстраординарного профессора в Консерватории Св. Цецилии, которую сама блистательно окончила сначала по композиции, а затем по классу органа.

Дмитрий после излечения от туберкулеза поступил в швейцарский бенедиктинский коллеж в Энгельберге. Чистый воздух горной страны укрепил его здоровье, а классическое образование, гораздо более серьезное и фундаментальное, чем во французском лицее в Риме, – его юный разум. О своем обучении в коллеже и жизни в Швейцарии он вспоминал: «Врачи категорически требовали, чтобы я еще остался в горах (какое-то время до этого Д. Иванов находился в санатории «Альбула» в Давосе. – Г. З.)... Энгельберг располагался на такой высоте, как надо, тысяча или тысяча двести метров, и плата была в пределах наших возможностей. Отец вместе с Лидией поехали к ректору Коллежа, отцу Карлу Шмидту. Между ними тотчас возникла симпатия, и Коллеж им понравился... Так началась моя немецкоязычная школярская жизнь. Поначалу все-таки было тяжеловато. В Давосе я неплохо выучил немецкий, но в Коллеже, разумеется, все предметы преподавались на немецком. Кроме того, в Лицее Шатобриан (французский лицей в Риме, где учился Д. Иванов. – Г. З.) не было греческого; немножко я учил его с отцом, но этого было недостаточно, а в Энгельберге греческий считался обязательным предметом.

Я с большим удовольствием провел четыре года в Энгельберге. Мне казалось – и это меня забавляло, – что

мой Коллеж остался совершенно таким же, как в XVIII веке или даже раньше. Там желающие гимназисты заседали в “академии”, и кто хотел и умел, мог даже произносить речи на цветистом латинском языке; был хор – бенедиктинцы... всегда поощряли занятия музыкой, и один из отцов был превосходным органистом... У монахов, немного занимающихся музыкой, в кельях стояло фортепьяно, а у тех, кто изучал и преподавал классическую литературу, – книжные шкафы, где под рукой имелись все основные авторы... Я... получил степень бакалавра, которая там называется “федеральный аттестат зрелости”... Некоторое время со мной жила Лидия, но затем она вернулась в Рим, к своей работе, – она преподавала в Консерватории...

В ту пору я страстно увлекался Рильке. Я совершил паломничество к башне Мюзот, в Вейрас, что в кантоне Валэ, где провел последние годы Рильке... Часто навещался я и в Люцерн, где жил врач, меня наблюдавший. Кроме того, я побывал в Базеле, в Дорнахе, где нанес визит Асе Тургеневой, вдове поэта Андрея Белого»^[474]...

Дорнах, где находился «антропософский храм» Гетеанум, был местом притяжения европейских, в том числе и русских штайнерианцев. Волошин рубил на стенах Гетеанума барельефы. Андрей Белый преданно, как подобает верному ученику, внимал Штайнеру. Оба были друзьями Вяч. Иванова, и оба ушли один следом за другим. В августе 1932 года в Коктебеле умер Волошин, в январе 1934-го – Андрей Белый. В стихах, посвященных его памяти, Мандельштам написал:

Как снежок на Москве заводил кавардак
гоголек:

Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок...

Вспомнилось прозвище, когда-то данное Андрею Белому Вяч. Ивановым.

Теперь в Дорнахе, встречаясь с Асей Тургеневой, сын соприкасался тому, что составляло жизнь отца в России. Вернее - тому, что от нее осталось.

После коллеги Дмитрий Иванов поступил в университет в Экс-ан-Провансе на юге Франции. Италия была рядом, и он часто навещал в Риме отца и сестру. Дмитрий выбрал факультет классической филологии. Когда ему исполнился двадцать один год (по тогдашним законам этот возраст считался совершеннолетием), он предпочел принять французское гражданство, поскольку родился во Франции.

Учась в университете, Дмитрий Иванов попутно занимался и журналистикой, еще не зная, что она станет главным делом его жизни. Довелось молодому репортеру освещать и историческое событие - суд над хорватскими террористами-усташами, убившими в Марселе в октябре 1934 года короля Югославии Александра I и министра иностранных дел Франции Луи Барту.

Сдав в университете Экс-ан-Прованса государственный экзамен по германистике, на котором ему достался его любимый Рильке, Дмитрий Иванов получил назначение в Ниццу - преподавателем в Лицей имени Феликса Фора. Место было завидным. Но через три месяца пришло письмо из министерства народного образования Французской республики, что он назначен стипендиатом для подготовки к государственному конкурсу на звание агреже в Страсбургском университете. Пришлось оставить берега теплого Средиземного моря и ехать в Страсбург. Там Дмитрий

Иванов провел два года. Со второй попытки он сдал экзамен. Теперь ему открывалась дорога к государственной службе. В 1938 году Дмитрия назначили профессором в гимназию города Шартр. Он с радостью отправился туда и поселился на узкой средневековой улочке рядом со знаменитым Шартрским собором.

Квартиру Вяч. Иванова на Монте-Тарпео посещали многие соотечественники – как живущие в Риме, так и гостившие в Вечном городе. В 1936 году однажды вечером неожиданно пришел И. А. Бунин. Прежде, в России, трудно было представить себе такой визит – символистов Бунин на дух не переносил. Но жизнь в изгнании сблизила вчерашних непримиримых литературных противников. Бунин стал частым гостем заседаний «Зеленой лампы» в парижской квартире Мережковского и Гиппиус.

Три года назад писатель получил Нобелевскую премию, и с тех пор не было отбоя от просивших у него денег, которые он и в самом деле очень быстро раздал нуждающимся. Все это изрядно расстроило нервы Бунина. Можно полагать, что, придя к Вяч. Иванову, он надеялся на долгую, живую и глубокую беседу, в которой бы «ум играл с вином», обоим было что сказать друг другу. Но, увы, разговора не получилось. Среди гостей присутствовала некая дама. С необычайным напором, во что бы то ни стало она хотела заполучить Бунина на следующий день на открытие в Риме выставки художника и архитектора А. Я. Белобородова. Настойчивость эта допекла писателя, и он очень быстро ушел. Больше с Вяч. Ивановым им встретиться не довелось.

Андрей Яковлевич Белобородов, или, как называли его друзья, Бело, также постоянно бывал в доме на «Тарпейской скале». Он родился в Туле и в 1915 году с блеском окончил в Петербурге Академию художеств по

классу архитектуры. Его талант очень высоко ценил князь Феликс Юсупов. Белобородов выполнял многочисленные заказы князя, в том числе перестроил для него дворец, в подземных комнатах которого вскоре был убит Григорий Распутин.

После октябрьского переворота Белобородов вместе со своим другом бежал из Петрограда, перейдя по льду Финский залив. Сначала он поселился в Париже, где встретил прежних петербургских друзей - А. Бенуа, З. Серебрякову, М. Добужинского, С. Дягилева. Очень скоро он обрел известность в художественной среде Франции. Поль Валери и Анри де Ренье писали предисловия к его альбомам. Однако любимой страной Белобородова всегда оставалась Италия. В 1934 году он переехал в Рим и снял квартиру с маленькой студией на Джаниколо. Здесь Белобородов много работал как художник и часто выставлялся. Вернулся он и к архитектуре: построил на Авентине прекрасную виллу для своего друга, швейцарского мецената Мориса Сандоза, с которым дружили и Ивановы. Творение русского зодчего оказалось достойным Вечного города, не исказив его облика.

После смерти Белобородова в 1965 году по завещанию художника его картины передали в Русский музей в Ленинграде.

Другим живописцем, посещавшим Ивановых на Монте-Тарпео, был Сергей Петрович Иванов. Так же как и Белобородов, питомец Академии художеств, в 1923 году он бежал из Петрограда в Финляндию, а оттуда - в Париж, где и прожил потом всю жизнь. Прекрасный портретист, Сергей Иванов писал необычайно быстро. Будучи в доме у Вяч. Иванова, не отвлекая хозяина от бесед с другими гостями, сидя в углу, художник за три сеанса мастерски выполнил его портрет.

Но особое значение для Вяч. Иванова имели встречи с приезжавшими в Рим в 1936-1937 годах Мережковским и Гиппиус. Память словно явственно оживляла ночи на «башне», долгие споры и беседы при свечах, звучание впервые стихов, которым было суждено бессмертие... С той поры прошло тридцать лет. Все вокруг было другим. Изменились и поэты, но эпоха, созданная ими, продолжала в них жить. Ее золотой запас сохранился нерастраченным и в изгнании.

Мережковский приехал в Италию по приглашению Муссолини, поскольку работал тогда над книгой о Данте, а «дуче» высоко ценил и старался пропагандировать все традиционно итальянское. По этой же причине Лидия Иванова получила от него премию за свою ораторию «Хлеб». Муссолини, как когда-то Октавиан Август, раздававший ветеранам гражданских войн Рима поля, добивался, чтобы Италия сама себя обеспечивала зерном. Желая возродить «золотой век» Августа, он устраивал «битвы за хлеб». Кампании эти широко освещались по радио, в газетах и кинематографе. Сам «дуче», подавая пример народу, выходил в поле в рубашке с короткими рукавами. Его видели то в первом ряду жнецов с серпом в руках, то ремонтирующим сельскохозяйственную технику. Он же распорядился увеличить площадь пахотных земель.

Похожие «битвы за урожай» проходили в те годы и в сталинском СССР. А столетний юбилей со дня смерти Пушкина в 1937 году должен был продемонстрировать некий поворот к традиции в глубоко антипушкинской действительности.

Мережковский и Гиппиус переживали в то время период увлечения Муссолини. Они видели в нем, как когда-то в Савинкове, фигуру, способную противостоять большевизму, не осознавая того, что ясно понимал другой их великий современник, Николай Бердяев: большевизм нельзя победить извне – он может быть

изжит Россией только изнутри. В своей провидческой книге «Новое средневековье» Бердяев писал: «Все произойдет иначе, чем думает большая часть эмигрантов и представителей политических партий. Много неожиданностей предстоит. И освобождение придет не оттуда, откуда его ждут люди, а откуда его пошлет Бог. Нельзя ждать спасения от Европы, которой нет дела до нас и которая сама агонизирует. Нельзя изнасиловать русский народ, нужно способствовать его перерождению изнутри. Революция должна сама себя изжить, истребить себя... Коммунистическая идея сама себя опозорила, она не может уже иметь никакого ореола, яд не может войти внутрь. Процесс выздоровления есть медленный, но органический процесс. Это есть прежде всего искупление от духа лжи, выход из царства призраков и фантомов к реальностям. Сейчас более всего необходимо утверждать примат духовной активности над политической»^[476].

Режим же Муссолини на его ранней стадии (книга «Новое средневековье» вышла в Берлине в 1924 году) Бердяев охарактеризовал так: «Итальянский фашизм вопреки распространенному мнению тоже был революцией, совершенной молодыми людьми, прошедшими школу войны, полными энергии и жажды преобладания в жизни. Эти молодые люди имеют сходство с советскими молодыми людьми, но энергия их направлена в другое русло и приняла не разрушительный, а созидательный характер. Мы живем в эпоху цезаризма. И значение будут иметь лишь люди типа Муссолини, единственного, быть может, творческого государственного деятеля Европы, который сумел подчинить себе в государственной идее воинствующе-насильнические инстинкты молодежи, дал выход энергии»^[477].

Муссолини в те годы восхищались многие европейские политики, в том числе и министр финансов Великобритании Уинстон Черчилль, один из будущих вершителей судеб мира. Побывав в Риме в 1927 году, он делился своими впечатлениями от встречи с итальянским премьером: «Римский гений, олицетворенный в Бенито Муссолини, величайшего законодателя среди живущих, показал всем народам, что можно успешно противостоять наступлению коммунизма. И если бы я был итальянцем, то от начала и до конца поддерживал бы Муссолини. Глупо отрицать, что власть Италии вышла из самой гущи народа, что она правит в живом согласии с подавляющим большинством итальянского населения... Я покорен простотой поведения Муссолини... Он думает... только о благосостоянии итальянского народа... Он превращает свою страну в могущественную и уважаемую во всем мире державу»^[478].

Восхищался «дуче» и Мережковский. Муссолини предложил ему контракт на книгу о Данте. В Риме они встретились в Палаццо Венеция и долго беседовали. О том, с каким восторгом Мережковский рассказывал Вяч. Иванову о своих впечатлениях от этой встречи, вспоминала дочь поэта. Она попыталась передать неповторимые особенности живой речи Мережковского: «– Вячеслав, Муссолини – это ма-а-ать! Да, он – ма-а-ать! Вячеслав, он – ма-а-ть! После разговора Муссолини проводил меня до порога, и тут я остановился, обернулся и возгласил: “Duce, io sono un crede-e-ente”^[479]. А он на меня пялит свои глазницы и молчит. Он на меня, а я на него. Так и расстались!»^[480]

Мережковский и Гиппиус приехали в Италию на полгода. Пригласившее их правительство создало все условия, чтобы писатель мог спокойно работать. В это время Мережковские постоянно бывали у Ивановых в

доме на Монте-Тарпео. Под небом Рима встретились три великих обломка русского Серебряного века, живым воплощением которого они были.

О трогательном и немного курьезном общении этих семидесятилетних старцев поведала в книге своих воспоминаний Лидия Иванова: «Приезжали к нам на Монте-Тарпео летом 1836 и 1937 гг. Мережковский с Зинаидой Гиппиус. Мережковский старый, но очень живой и даже боевой, полный идей и замыслов. Зинаида Николаевна – уже совсем съезжившаяся, маленькая, хрупкая старушка, придерживающаяся всех ухищрений парижских модниц, живая, задорная, кокетливая. Вячеслав ввел Мережковского в свою комнату и с гордостью показал ему свой книжный шкаф. Мы шкаф приобрели за грошевую цену на рынке Кампо ди Фиори. Он был большой радостью для Вячеслава: первая его собственная мебель в его личной квартире; а кстати, и книги наконец установлены по своим местам. Мережковский остановился, впился взглядом в шкаф и, указывая на него обличительно пальцем, торжественным голосом начал как бы звать:

– Шкаф, Вячеслав, шкаф! Так вот это что! Значит это теперь все не то! Теперь у тебя завелся шкаф!

Теперь Мережковские ходили к нам ежедневно; сидели часами, разговорам конца не было»^[481].

Ивановы помогли Мережковским на время их жизни в Италии подыскать прекрасную маленькую виллу в предместье Рима Рокка-ди-Папа, где писателю работалось очень плодотворно – его «Жизнь Данте» в двух томах вышла в 1939 году. По рекомендации Лидии Ивановой и Ольги Шор Мережковские взяли себе и служанку – молодую сицилийку Джузеппину. Это было совершенное дитя природы, не знакомое с соблазнами цивилизации, простодушное, доверчивое, но

трудолюбивое, добросовестное и преданное хозяевам до ревности. Обманутая неким почтовым служащим, от которого она родила дочку, Джузеппина вместе с малышкой оказалась на улице. Лидия и Фламинга, конечно же, не бросили ее на произвол судьбы, и молодая женщина обрела дом и добрых хозяев. Бездетная Зинаида Гиппиус всем сердцем полюбила маленькую Франку, нянчилась с ней, когда была свободна. Но большую часть времени и она, и Джузеппина занимались каждая своей работой, и тогда с Франкой оставалась девочка-служанка Джина, немногим старше ее. Как-то раз Джина вывезла Франку на улицу и там кувырнула колясочку вместе с ребенком. Ужасу и гневу Зинаиды Николаевны не было предела. В письме В. А. Злобину в Париж она писала: «Я этой поганой Джине твердо объявила, чтоб она ни шагу из сада (еще бы тверже, если б умела я по-итальянски ругаться)»^[482]. После отъезда Мережковских в Париж Джузеппина переписывалась с Зинаидой Гиппиус, которая писала ей по-французски, а переводила эти письма для нее Лидия Иванова. На долю Джузеппины и Франки впоследствии выпало немало бедствий и тяжелых испытаний, но в конечном счете все сложилось благополучно. Франка окончила школу, получила специальность машинистки, вышла замуж за очень достойного человека и родила Джузеппине двоих внучат.

Вернувшись в Париж, З. Н. Гиппиус опубликовала в 1938 году в газете «Иллюстрированная Россия» посвященный Вяч. Иванову очерк «Поэт и Тарпейская скала», где вспомнила о встрече в Италии с их старым другом: «Много ли в Париже людей, хорошо помнящих знаменитую петербургскую “башню” на Таврической и ее хозяина? Теперь все изменилось. Вместо “башни” Тарпейская скала и “нагие мощи” Рима. Вместо шумной

толпы новейших поэтов – за круглым чайным столом сидит какой-нибудь молодой семинарист в черной ряске, или итальянский ученый. Иные удостаиваются “а партэ” в узком, заставленном книгами кабинете хозяина... Все изменилось вокруг – а он сам? Так ли уж он изменился? Правда, он теперь католик; но эта перемена в нем мало чувствуется. Правда, золотых кудрей уже нет; но, седовласый, он стал больше походить на греческого мудреца (или на старого немецкого философа). У него те же мягкие, чрезвычайно мягкие, любезные манеры, такие же внимательные, живые глаза. И – обстоятельный отклик на все.

Мы как-то отвыкли от встреч с людьми настоящей старой культуры. А это большое отдохновение. Вяч. Иванов, конечно, и “кладезь учености”, но не в том дело, а в том, что заранее знаешь: всякий вопрос, в любой области, он поймет, с ним можно говорить решительно обо всем, что кажется значительным. Как сам он на данный вопрос отвечает – уже не важно: мы часто не соглашаемся, но споры не длим: взгляд В. И. сам по себе всегда интересен, любопытен, споры же самая бесполезная вещь на свете.

Но особенно воскресала “башня”, когда речь заходила о поэзии, о стихах. Мы привезли в Тарпейское уединение несколько томиков современных парижских поэтов. Утонченнейший их разбор, давший повод к длинным разговорам о стихах, о стихосложении вообще, – как это было похоже на В. И. тридцать лет тому назад!

Скажем правду: в этом человеке высокой и всесторонней культуры, в этом ученом и философе до сих пор живет “эстет” начала века»^[483].

Гиппиус была права – человек Серебряного века продолжал жить в Вяч. Иванове, но теперь он обрел

иную духовную глубину и поистине вселенский простор. Космический ветер разрушил оранжерею, однако такой нежный, казалось бы, цветок выстоял против напора стихии. Корень прочно держал его.

Живя в Италии, Мережковский, работая над «Жизнью Данте», одновременно собирал материалы для будущей книги о святой Терезе из Лизье. И он, и Гиппиус полюбили ее всем сердцем. Эту французскую святую называли Терезой Младенца Иисуса или Терезой Маленькой, чтобы тем самым отличить от великой Терезы Авильской – испанской святой XVI века, так же как и она, принадлежавшей к кармелитскому ордену. Но была и другая причина, по которой она получила это прозвание. Всею своею жизнью Тереза Младенца Иисуса стремилась исполнить завет Спасителя – умалиться и принять Царство Божие как дитя.

Родилась она в 1873 году в доброй и любящей христианской семье и с детских лет, как и ее старшие сестры, мечтала посвятить себя Богу и уйти в монастырь. Потеряв в четыре года любимую мать, она еще больше укрепилась в этом желании. В 1888 году пятнадцатилетняя Тереза Мартэн вместе с паломниками отправилась в Рим, где чудом получила аудиенцию у папы Льва XII и просила разрешить ей поступить в Кармель в столь юном возрасте. В виде исключения Терезе позволили стать послушницей в кармелитском монастыре. Этот орден всегда отличался особенно глубокой мистической направленностью. О своем духовном опыте начиная с детских лет святая Тереза Младенца Иисуса поведала в книге «Повесть об одной душе», написанной по благословению игуменьи – ее старшей сестры. По глубине и открытости признаний в своих помыслах и чувствах эта повесть может сравниться только с «Исповедью» святого Августина. Прожила Тереза совсем недолго – она умерла в 1897 году двадцати четырех лет от роду. Верующие

во Франции полюбили ее очень рано и почитали как святую еще до канонизации.

Собирая материалы о жизни Терезы Младенца Иисуса, Мережковские обнаружили у подножия холма Джаниколо маленький домик, где жили три монахини. В нем святая Тереза провела несколько дней во время своего посещения Рима. В один из дней Мережковский, Гиппиус, Вяч. Иванов, Лидия и Фламинга совершили к этому домику настоящее паломничество. Книгу «Маленькая Тереза» Мережковский завершил незадолго до смерти в декабре 1941 года. Она стала финальным аккордом в жизни писателя. Издали ее только в 1984 году.

А Тереза Младенца Иисуса была канонизирована в 1925 году папой Пием XI. Он называл ее «звездой своего понтификата», а всемирное движение в католической церкви за провозглашение Терезы святой – «ураганом славы». Тереза Младенца Иисуса была объявлена папой предстательницей и молитвенницей перед Богом за истерзанную и страждущую Россию.

Пия XI Вяч. Иванов очень любил. В 1937 году он получил у папы личную аудиенцию. В то время уже тяжело больной восьмидесятилетний старец, Пий XI произвел на Вяч. Иванова огромное впечатление своей духовной мощью и стойкостью.

Говорили они долго. Речь в беседе шла о судьбе России и о соединении церковей. Папа сказал, что очень скоро и Европу, и Россию ждут тяжелые испытания и многие беды, но затем настанут лучшие времена и Церковь станет Единой. Вяч. Иванов ответил, что хотя русская религиозная мысль и прошлого, и нынешнего века искала соборности и всеединства, и он сам всегда скорбел о разделенном состоянии Церкви, но, к несчастью, не видит возможности не только соединения, а даже и простого примирения в XX столетии христианского Востока с христианским

Западом, пропасть между которыми слишком глубока и непреодолима. Пий XI с жаром воскликнул: «Вы сомневаетесь?! Такое сомнение несправедливо; оно недопустимо. Я верю: единение будет, будет! Вот вы и сами не только в теории утверждали необходимость единения, но и пошли по пути экуменизма». Прощаясь с Вяч. Ивановым и благословляя его, папа снова повторил: «Credo, credo – верую, верую».

Об этом же Вяч. Иванов в 1947 году писал С. Л. Франку: «Что касается здешнего отношения к Востоку, то уже Лев XIII провозгласил восточное литургическое предание превосходнейшим в сравнении с латинским, и я лично... имею перед глазами трогательные примеры (не говорю уже о славянах) итальянцев, немцев, французов, бельгийцев, англичан, испанцев, выучившихся русскому языку и принимающих восточный обряд (который для священников исключает возможность служить по латинскому обряду) из любви к России, как будущей... восточной половине вселенской Церкви. Огромное большинство католического клира... не имеют никакого понятия о русском православии; но папы (как я лично убедился в этом не без глубокого волнения, беседуя с покойным Пием XI) и наиболее просвещенные круги духовенства ни о чем так не ревнуют, как о воссоединении церквей»^[484].

Лучшие люди католической церкви поняли то, о чем говорил Владимир Соловьев: недопустимы ни латинизация Востока, ни его насильственно-административное подчинение Риму. Возможно только согласие в любви.

В доме на Монте-Тарпео семья Ивановых прожила три с половиной года. Неожиданно это блаженное существование оборвалось помимо их желания. В 1939 году дома на Капитолии, в том числе и всю улицу Монте-Тарпео, было решено снести. Напрасно маркизы

Гульельми повесили на доме мраморную мемориальную доску, что здесь жила Элеонора Дузе, – от разрушения его это не спасло. Муссолини не давали покоя лавры двух цезарей: Августа, о котором говорили, что он принял Рим деревянным, а оставил его мраморным, и Нерона, устроившего в старом городе пожар, чтобы воздвигнуть себе на этом месте роскошный дворец. «Дуче» объявил, что в центре Рима – столицы великой державы – не место убогим, уродливым лачугам. В назначенный день он сам во главе рабочих явился на Капитолий со своим piccone (киркой) и дал старт сносу старых зданий. Предполагалось вернуть этому месту его облик эпохи Микеланджело и устроить там роскошный бельведер для туристов. Но в Риме после сноса ветхих построек под их фундаментами всегда открываются пласты глубокой древности, и тогда наступает час работы археологов. Так было и теперь. К слову сказать, рядом с домом, где жили Ивановы, на Капитолии, находился Германский археологический институт, хорошо знакомый поэту еще по первым посещениям Рима в годы занятий у Теодора Моммзена. Здесь он общался со знаменитыми Ragazzi Capitolini, изучавшими древнеримскую археологию. Здание Института также шло под снос. И когда исчезли окрестные дома и «журчливый садик» и были срыты их остатки, оказалось, что под ними проходила древнейшая дорога – Via Sacra (в XX веке сохранилась только ее часть), ведущая к главному римскому святилищу на Капитолии. Лидия Иванова вспоминала об этом так: «Под домом, в котором мы прожили пять лет (неточность. – Г. З.), находился фрагмент древней виа Сакра. Она начинала свой подъем у арки Септимия Сивера и вдруг исчезала. Куда? Пряталась под жилищем Вячеслава! Подумать только, сколько яичниц я состряпала на виа Сакра!»^[485]

А в стихотворении Вяч. Иванова «Староселье» после этих событий появилась вторая часть:

И вдруг умолкли... Рушит лом
До скал capitoлийских дом;
Топор с мотыгой спотыкливой
Опустошают сад журчливый.

И разверзаются под ним
Твои нагие мощи, Рим!
Здесь колесница миродержца
На холм влеклася Громовержца.

Священный путь неравных плит
Авгур святил и стлал Квирит...
Сойди в бессмертное кладбище,
Залетной Музы пепелище!^[486]

Время, отпущенное Ивановым на поиск нового жилья, неумолимо таяло, а найти квартиру никак не удавалось. Над семьей нависла угроза оказаться на улице. И тут на помощь пришла жившая на Авентине дочь Льва Толстого – Татьяна Львовна. Она подыскала для них квартиру неподалеку от себя – на улице Леон Батиста Альберти. Жилище это, которое очень полюбилось Ивановым, стало их последним пристанищем в Риме. Здесь встретил закат своих дней Вяч. Иванов и прожили всю оставшуюся жизнь его дочь Лидия и Ольга Шор. Сегодня на доме по улице Леон Батиста Альберти, 25 (в прежние годы он был под номером 5), можно видеть мемориальную доску, установленную муниципалитетом Рима в 1983 году. Она напоминает, что здесь последние годы жизни провел русский поэт Вячеслав Иванов.

Виды из окон квартиры были великолепны. С одной стороны открывалась грандиозная панорама города: виноградники, пинии, кипарисы, церковь Санта-Бальбина, руины Терм Каракаллы, храм Сан-Джиованни и рядом с ним египетский обелиск, который Вяч. Иванов называл иглой Тутмеса. Вдали виднелись кажущиеся голубоватыми в лучах утреннего солнца Альбанские горы и церковь Сан-Дженнаро. Из кабинета Вяч. Иванова балкончик выходил на улицу. Там стояла череда небольших домов с вечно развешанным на веревках бельем, а за ними вдалеке над всем городом царил купол Святого Петра. Эти виды навсегда запечатлелись в стихах Вяч. Иванова:

Каникула... Голубизной
Гора блаженного Дженнара
Не ворожит: сухого жара
Замглилась тусклой пеленой,
Сквозит из роц Челимонтана.
За Каракалловой стеной
Ковчег белеет Латерана
С иглой Тутмеса выписной.

Вблизи – Бальбины остов древний.
И кипарисы, как цари, —
Подсолнечники, пустыри:
Глядит окраина деревней.
Кольцом соседского жилья
Пусть на закат простор застроен, —
Все ж из-за кровель и белья
Я видеть Купол удостоен [\[487\]](#).

Там же, на Авентине, неподалеку от дома, где жили Ивановы, на площади Лоренцо Бернини, находилась церковь Святого Саввы (Basilica di San Saba). По

преданию, сирийские монахи из лавры Святого Саввы Освященного, пришедшие в Рим в VI веке, изначально поселились здесь в доме матери святого Григория Двоеслова, папы римского. И Савва Освященный и Григорий Двоеслов почитаются и на Западе, и в России как святые неразделенной Церкви. Базилика была заложена в VII веке. Она и сегодня сохраняет черты древнероманского стиля с его строгой и величественной простотой. До раскола 1054 года храм был подворьем лавры Святого Саввы, но и потом он носил свое прежнее имя. В главном престоле храма покоится частица мощей преподобного Саввы Освященного. Лидия Иванова долгие годы играла здесь на органе во время богослужений. Церковь стала приходом Ивановых. Дочь поэта вспоминала: «Каждое воскресенье в передней раздается звонкий голос Вячеслава:

- Шляпу, палку и четыре сольди! (мелкая монета, чтобы положить на церковный поднос).

Вячеслав собирается всегда спозаранку и стоит перед распахнутой дверью. Получив требуемые предметы, он с невероятной скоростью сходит по ступеням трехэтажной лестницы (лифт был построен много позже) и напряженно-быстрым шагом пересекает площадь Бернини, направляясь к боковому входу Сан-Саба. Фламинго, как всегда запоздавшая, кидается за ним бегом и догоняет его у церковного порога»^[488].

Церковь Святого Саввы Вяч. Иванов восславил в своих стихах:

В стенах, ограде римской славы,
На Авентине, мой приход —
Базилика игумна Саввы,
Что Освященным Русь зовет.

Пришел с пустынных плоскогорий

Сонм Саваитов, Сириян,
С причастной Чашей для мирян;
Им церковь дал святой Григорий.

.....

В апсиде – агнцы... Мил убор
Твоих, о Рим, святилищ дряхлых!
Как бы меж кипарисов чахлых
Он чрез века уводит взор

Тропой прямой, тропюю тесной,
Пройденной родом христиан, —
И всё в дали тропы чудесной
Идут Петр, Яков, Иоанн^[489].

Имена апостолов и храм Святого Саввы были для Вяч. Иванова драгоценным знаком неразделенной Церкви первых веков. Свидетельство о ней хранит самый облик Вечного города. Русскому сердцу здесь есть от чего затрепетать, радостно узнавая родное.

И все же Вяч. Иванов жил по восточному обряду. Поэтому Сан-Саба был для него скорее приходом «географическим» – поблизости от дома. «Базовым» же всегда оставался храм преподобного Антония Великого при Руссикуме, где служба шла на церковнославянском языке. Здесь Вяч. Иванов исповедовался и причащался. С. Л. Франку он писал: «Православный, присоединившийся к Римской Церкви, обязан оставаться верным восточному обряду... поэтому мой приход в строгом смысле этого слова – церковь св. Антония Великого – при русской Духовной академии, Коллегии Руссикум, где по-русски совершается богослужение, в большие праздники с архиереем, и “Верую” поется без слов “и Сына”»^[490].

Речь шла об одном из главных предметов спора между католиками и православными – толедском прибавлении «филиокве» («и Сына») к Символу веры. Католики читают: «И в Духа Святого, Господа животворящего, иже от Отца и Сына исходящего», православные же: «Иже от Отца исходящего». Надо оговорить, что имелось в виду: не от Сына как от Первоначала, но «от Отца через Сына», чему можно найти подтверждение в Новом Завете. Тем не менее до сих пор эта формулировка является камнем преткновения в отношениях между Западной и Восточной Церковью. В церкви преподобного Антония Великого при Руссикуме, где прихожанином был Вяч. Иванов, на литургии пели по православному обряду: «Иже от Отца исходящего».

А тучи в те годы все больше сгущались над миром и над Италией. В 1920-е и в начале 1930-х, как и в Первую мировую войну, Муссолини ориентировался на союз с державами Антанты. Он мечтал тогда выстроить ось «Англия – Франция – Италия», чтобы противостоять ожидаемой экспансии коммунистического СССР. Пришедшего в 1933 году к власти в Германии Гитлера, несмотря на то, что он почтительно называл «дуче» своим учителем, Муссолини глубоко презирал и видел в нем опасность для европейского мира. Особенно отвратительны были Муссолини гитлеровские теории превосходства нордической расы, его нацизм и антисемитизм. Высмеивая их, он говорил, что если лапландцы живут севернее всех других народов, то по логике Гитлера они и должны являться высшей расой. После встречи с «фюрером» в 1934 году Муссолини сказал: «Этот Гитлер – существо свирепое и жестокое. Он заставляет вспомнить Аттилу. Германия так и осталась со времен Тацита страной варваров. Она – извечный враг Рима»^[491].

В выступлениях перед прессой Муссолини называл Гитлера отвратительным вырожденком и опасным сумасшедшим. Осуждая дегенеративное стремление немецких нацистов путем биологических экспериментов вывести некую «чистую арийскую расу» и покончить с «еврейским засильем», Муссолини говорил: «К настоящему времени в мире не осталось совершенно чистых рас... Именно... смешение... делает нацию сильной и красивой... Антисемитизма в Италии не существует. Итальянские евреи всегда вели себя как настоящие патриоты. Они храбро сражались за Италию во время войны. Они занимают видные посты в университетах, в армии, в банках»^[492].

Огромному большинству итальянцев нацизм и в самом деле был глубоко чужд. Сказывались и давние традиции Римской империи, объединявшей многие народы в одном государстве под одними и теми же законами, и универсализм католической церкви, хранящей верность завету апостола Павла, что во Христе нет ни иудея, ни эллина. Еврея, родившегося и живущего в Италии, воспринимали как итальянца, но другого исповедания, подобно православному греку и армянину из Венеции или же протестанту-вальденсу из Пьемонта. Точно так же как африканец, имевший итальянское гражданство, считался чернокожим итальянцем.

Слово «раса» употреблялось в Италии лишь применительно к животным – как определение биологического вида или породы. Соответственно, и итальянский фашизм имел характер не нацистской, а державной идеи. Гитлеровский лозунг «Кровь и почва!» воспринимался здесь как первобытное зверство.

В том же 1934 году, когда австрийские нацисты, направляемые из Берлина, попытались совершить государственный переворот с целью присоединения

Австрии к Германии и убили канцлера Энгельберта Дольфуса, личного друга Муссолини, «дуче» направил к границе четыре дивизии с приказом в случае необходимости быть готовыми прийти на помощь законному правительству. Гитлеру он напомнил о его обещании уважать независимость Австрии и обвинил в цинизме и отсутствии элементарной порядочности. Гитлер пошел на попятный, и замышляемый им «аншлюс» тогда провалился.

Но во второй половине 1930-х годов соотношение сил в европейской политике коренным образом изменилось. Отношения с Англией и Францией у Муссолини изрядно испортились, после того как итальянские войска захватили Эфиопию. Этой аннексии страны Антанты не признали. Замысел оси Рим – Париж – Лондон, которую «дуче» мечтал выстроить, потерпел крушение. К тому же Англия и Франция сдавали гитлеровскому режиму с его день ото дня возрастающей мощью одну позицию за другой. И Муссолини, быстро забыв все прежние противоречия и принципы, начал искать союза с Гитлером. В сентябре 1937 года, после пяти своих отказов посетить Германию, он принял наконец приглашение «фюрера» и приехал в Берлин. Там, потрясенный немецкой военной мощью, которую Гитлер не преминул продемонстрировать ему во время грандиозных парадов, Муссолини, выступая на многотысячном митинге, заявил: «Итальянский фашизм обрел наконец друга, и он пойдет со своим другом до конца»^[493]. Вместо оси Рим – Париж – Лондон выстроилась ось Берлин – Рим, но теперь «дуче» был уже не первенствующим, а ведомым своим новым союзником. В феврале 1938 года Гитлер беспрепятственно оккупировал Австрию, присоединив ее к Германии, а в мае нанес ответный визит Муссолини. Тот принял гостя

со всевозможными почестями и, чтобы произвести на него впечатление, устроил в Неаполитанском заливе парад кораблей итальянского военно-морского флота. Но как отнесся к этому «визитеру» народ Италии, можно судить по тому, что владельцы магазинов отказались выставлять в витринах портрет Гитлера. О Риме тех дней Лидия Иванова вспоминала: «В самый разгар итало-германской дружбы было назначено торжественное посещение Рима Гитлером. Он приезжал на несколько дней навестить своего друга Муссолини. Чтобы подготовить эту встречу, достойную времен и вкусов римских императоров, на пути его был инсценирован колоссальный искусственный пожар – весь Колизей был объят пламенем (в память Нерона?)... Весь город был полон немецкими жандармами. В особенности они стерегли Капитолий, где Гитлер должен был присутствовать на всех торжествах и приемах города. Очень меня оскорбило, когда немецкий полицейский в штатском подскочил ко мне на Капитолийской площади, встал почти вплотную и сфотографировал меня. Было ощущение, что город более не наш, что мы завоеваны дерзким неприятелем»^[494].

А в России Мандельштам, находившийся в 1937 году в воронежской ссылке, чувствовал, как сгущается в мировой истории зло, чреватое новой, страшной бедой. Единственной доступной ему газетой была «Правда», но даже через нее он ощущал пульс времени, умея отделять зерно факта от пропагандистской мякины. Рим, «место человека во вселенной», поэт увидел теперь словно бы воплощением века с «разбитым позвоночником»:

Голубой, онелепленный, пепельный,
В барабанном наросте домов,
Город, ласточкой купола лепленный

Из проулков и из сквозняков, —
Превратили в убийства питомник
Вы, коричневой крови наемники,
Италийские чернорубашечники,
Мертвых цезарей злые щенки...

.....

И морщинистых лестниц уступки —
В площадь льющихся лестничных рек, —
Чтоб звучали шаги, как поступки,
Поднял медленный Рим-человек,
А не для искалеченных нег,
Как морские ленивые губки.
Ямы Форума заново вырыты
И открыты ворота для Ирода,
И над Римом диктатора-выродка
Подбородок тяжелый висит [\[495\]](#).

Скорее всего, когда Мандельштам писал эти строки, ему виделся «тяжелый подбородок» другого, куда более страшного выродка, рядом с которым Муссолини мог показаться опереточным паяцем...

В августе 1938 года под давлением Гитлера «дуче» ввел в Италии антисемитские законы. Итальянцы вдруг с удивлением узнали о своей принадлежности к «чистой расе» и о том, что им надо избегать смешанных браков. Евреям теперь запрещалось служить в армии и занимать государственные посты. Решение это вызвало резкое неприятие не только в народе, но и в партии. Приветствовали его лишь такие «бешеные псы» фашизма, как Роберто Фариначчи и Алессандро Паволини, давние сторонники сближения с нацистами. Особенно негодовал по поводу принятия новых законов политик, чья популярность в Италии могла поспорить с Муссолиниевой, – маршал авиации Итало Бальбо. В годы Первой мировой войны он был лейтенантом «альпини» –

горных стрелков – и отважно сражался с австрийцами. В фашистскую партию Бальбо вступил в 1927 году и со временем стал организатором военно-воздушного флота Италии, который, благодаря его усилиям, достиг высочайшего уровня развития. Сам он, будучи высококлассным летчиком, участвовал в двух легендарных перелетах итальянской авиации – из Рима в Рио-де-Жанейро и из Рима в Чикаго. В обоих случаях он находился за штурвалом флагмана эскадрильи. Бальбо открыто заявил, что фашизм не должен быть чистильщиком сапогов у нацизма. В ответ на это Муссолини обругал его демократической свиньей. Опасаясь роста популярности Бальбо, «дуче» отправил его губернатором в Ливию, где тот в 1940 году погиб в авиационной катастрофе «при невыясненных обстоятельствах». Но в Италии упорно ходили слухи, что катастрофа эта была подстроена по распоряжению Муссолини.

Против союза с нацистской Германией предостерегал Муссолини и Габриеле д'Аннунцио. За старым и больным писателем ухаживала молодая медсестра-австрийка. В 1938 году д'Аннунцио умер, по официальной версии, от кровоизлияния в мозг, а медсестра уехала в Берлин и поступила на службу в ведомство Риббентропа. Позже стало известно, что д'Аннунцио был отравлен.

Решительно осудил от лица Церкви расистские высказывания Муссолини и других итальянских фашистов папа Пий XI. «Дуче», не желая ссориться со Святым престолом, вынужден был даже оправдываться, что, говоря о расовых различиях, он имел в виду отнюдь не биологическое, а лишь духовное их значение.

Но конформизм Муссолини по отношению к Гитлеру становился все очевиднее. Он проявлялся и в подражании речевой манере «фюрера». Если прежде

Муссолини говорил с латинской ясностью, четкостью и лапидарностью, так, что его формулировки расходились в народе, то теперь он заразился «гитлеровской болезнью» – истерическим и взвинченным многословием, которое уже не имело воздействия на итальянцев. Популярность «дуче» таяла на глазах. Когда началась Вторая мировая война, какое-то время Муссолини пытался сохранять нейтралитет, но в июне 1940 года под открытым давлением Гитлера вступил в нее. Итальянские войска атаковали Францию с юго-востока, начали боевые действия против англичан в Северной Африке и против Греции на Балканах. По большей части они терпели неудачи. Итальянским солдатам совсем не хотелось умирать за мировое господство Третьего рейха. Это была не их война.

В июне 1941 года, когда Гитлер напал на СССР, Муссолини отправил в помощь «союзнику» 62-тысячный экспедиционный корпус. Под Сталинградом его ожидала плачевная судьба.

На фоне этих грозных событий, молниеносно сменявших одно другое, жизнь в доме на улице Леон Батиста Альберти внешне, казалось бы, мало изменилась. Боевые действия пока еще не коснулись Рима. Вяч. Иванов по-прежнему вел занятия в Руссикуме и в Восточном институте. Но и он, и Лидия, и Фламинга волновались за Дмитрия, который находился в оккупированной немцами Франции. В первые же дни войны Дмитрий подал прошение о принятии его добровольцем во французскую армию. Из-за ампутированной кисти ему отказали. Тогда Дмитрий вернулся к преподаванию в шартрском Лицее Марсо. Во время наступления немцев он предпринял попытку уехать на юг, в «свободную» часть Франции, находившуюся под властью Петена. Прибыв в Тулузу, Дмитрий узнал, что детей эмигрантов, пусть даже они имеют французское гражданство, не принимают на

государственную службу. Будучи профессором лицея, Дмитрий входил в категорию государственных служащих. Поэтому он возвратился в Шартр и продолжил работу в своем учебном заведении. Сразу после оккупации Франции гестапо начало настоящую охоту на евреев. Их отправляли в концлагеря, что в большинстве случаев из-за нечеловеческих условий жизни означало почти верную гибель. Дмитрий Иванов помогал одной старушке и ее внучке и убеждал их уехать как можно скорее. Но старушка отказывалась. Она ждала возвращения сына. Кончилось все тем, что их обеих с внучкой забрало гестапо. К чести итальянских военных надо сказать, что в своих зонах оккупации, будь то небольшая территория на юго-востоке Франции или же Балканы, они не выдавали евреев немцам, напротив, пытались помочь им спастись. В том же направлении действовал и Франко. В отличие от «дуче» «каудильо» жестко отстаивал нейтралитет Испании. Он даже не позволил немцам пройти через Пиренеи в Северную Африку, за что Черчилль назвал его «своим личным другом». Франко велел консулу в Софии выдавать балканским евреям испанские паспорта, благодаря чему были спасены тысячи жизней.

Позже стало известно, что сестру и брата Ольги Шор, живших в Риге, после оккупации города нацисты отправили в концлагерь, где они погибли.

Когда была установлена связь между завоеванной немцами Францией и Италией, Дмитрий послал семье известие, что он жив и здоров. Но Вяч. Иванов продолжал волноваться за сына, находящегося вдали от него.

Волнений отцу добавила вскоре еще и дочь. 1 января 1941 года Лидия Вячеславовна получила повышение – звание профессора по гармонии с назначением в Государственную консерваторию

главного города Сардинии Кальяри. Эта новость вызвала у нее радость, но сильно встревожила Вяч. Иванова. Дело в том, что из-за войны пароходы на Сардинию почти не ходили, и добраться до нее можно было только на старом скверном гидроаэроплане (все хорошие самолеты отправили на фронт). Такое путешествие таило в себе немалую опасность. К тому же английская военная авиация обстреливала и бомбила Сардинию. Об этих бомбардировках Лидия Иванова вспоминала: «Во время моего пребывания в Кальяри было два сильных обстрела Эльмас (кальяританский аэродром в нескольких километрах от города). Я спускалась с другими жителями дома в убежище. В первый раз я удивлялась на офицера, который оказался с нами. Он был бледный и волновался, а мне было весело, и я считала это захватывающей дух авантюрой... Позже я поняла, что офицер был не трус, а опытный военный; я же по глупости была храбрым зайцем. Второй раз я спустилась в другое убежище. Это был узкий подвал, похожий на тесную пещеру. Над головой шесть этажей нашего дома. Тут я пережила ужас от мысли, что если бомба попадет в наш дом... лучше не думать! С тех пор я ни в Кальяри, ни позже в Риме в подвалы не спускалась. В общем, во время пребывания в Кальяри я не подвергалась никакой опасности... Но при чтении газет дело представлялось очень неприятным, и это мучило Вячеслава»^[496].

Впрочем, преподавание Лидии Ивановой в Государственной консерватории в Кальяри продлилось не более года. Помогли давние добрые римские друзья семейства – профессор медицины Анджело Синьорелли и его русская жена Ольга Ивановна (урожденная Ресневич), переводчица на итальянский Достоевского, Толстого, Гоголя, Чехова, Блока, Белого и других

русских писателей, подруга Элеоноры Дузе и автор книги о ней, хозяйка знаменитого салона. В 1932 году она перевела на итальянский язык «Переписку из двух углов». Анджело Синьорелли лечил Вяч. Иванова и доставал для него, почти недоступные в военное время, необходимые лекарства. По просьбе четы Синьорелли муж их дочери Марии – Луиджи Вольпичелли, известный педагог, профессор Римского университета, также друг семьи Ивановых, – сумел через министерство просвещения выхлопотать перевод Лидии из Кальяри в Римскую консерваторию, куда она была принята на службу с 1 января 1942 года. С тех пор, к радости отца, она уже не уезжала из квартиры на улице Леон Батиста Альберти.

Дочерям Луиджи и Марии Вольпичелли, Джузеппине и Летиции, Вяч. Иванов позднее посвятил стихотворение «В детский альбом»:

На языке иноплеменном
Благословляю жизнь твою.
Во сне младенчества блаженном
Не знай о чем тебе пою,

Склоненный старец над постелью
Твоей и маленькой сестры:
Спешите, пробудясь, к веселью,
Ловите райский луч игры!

.....

На языке, земле безвестном,
Кто пел тебе в рожденья час?
В круженье ангелов небесном
Который молится за вас?^[497]

Поэт, знавший много земных наречий, в стихах говорил тем языком любви, без которого все остальные были «как медь звенящая или кимвал бряцающий».

Язык этот зазвучал и в заветной повести, незримо зревшей в душе Вяч. Иванова еще с детства. Когда ему было пять лет, во время смертельной болезни отца в тонком мистическом видении он увидел некоего таинственного старца, о чем поведал в поэме «Младенчество»:

Не знал я ни о чем: обитель
Невинных снов была ясна.
Но стал у ложа Посетитель
И будит отрока от сна.
И вдруг, раскрыв широко очи,
Я отличил от мрака ночи
Тень старца. Был на черном он
Отчетливо отображен,
Как-будто вычерчен в агате
Искусной резчика иглой...
Тот образ, с вечною хвалой,
И ныне, на моем закате,
Я - в сердце врезанный - храню
И друга тайного маню [\[498\]](#).

Таким было первое живое соприкосновение детской души с горним миром. Позже Вяч. Иванов рассказывал Ольге Шор, которой поверял тайны своей жизни, скрытые от других, что старец этот не оставлял его и потом и ждал от него чего-то неведомого, что сам прямо не называл, но явно связанного с творчеством. Обо всем, что писал Иванов, старец всякий раз говорил: «Нет, не о том» или: «Хорошо, да не о том». В октябре 1916 года, когда поэт был в Сочи, ему вдруг привиделся образ царевича-послушника, топчущего в монастыре

виноград для причастного вина и поющего песнь Пресвятой Богородице. Открылось и имя царевича – Светомир. На этот раз старец сказал: «Да, о том». Замысел вызревал двенадцать лет. Вяч. Иванов не решался к нему приступить. Да, он писал стихи, поэмы, драмы, научные исследования, статьи, но эта повесть, в которой должны смешаться черты эпopeи, житийного жанра и апокрифа, некая песнь в прозе, виделась ему чем-то совершенно новым и незнакомым, за что боязно было взяться.

Все разрешилось в Риме в 1928 году. Ольга Шор вспоминает об этом так: «Двадцать восьмого сентября утром В. И. сказал мне весело и смущенно: “Я начал писать”. И прибавил после короткого молчания: “Это – проза”. – “Проза?” (До тех пор он не стихами писал только статьи и научные книги.) – “Да, проза особая, а все же проза; в этом-то и разгадка. Повесть о Светомире Царевиче рассказывает келейник... Сказанье старца-инока...” – “Того самого старца?” – “О, нет. Тот вершит судьбами царства. А этот просто записывает что видит и слышит”. – “Летописец?” – “Пожалуй”. В. И. задумался. – “Может быть он и не один... Но, что ж так говорить. Не лучше ли прочесть?” Он прочел написанное за ночь: две главки. Прочитанное меня поразило своей необычностью, показалось значительным, убедительным; язык с налетом старины, по особому ритмичный, ни на чей язык не похожий. – “Как хорошо!” В. И. улыбнулся: – “Что Бог даст!”»^[499]...

Когда они с Фламингой разговаривали, на пороге неожиданно показался зашедший в гости монах бенедиктинского монастыря отец Эфрем де Брюнье – добрый знакомый Вяч. Иванова. Он поздравил поэта с именинами. Вяч. Иванов был удивлен. Он совсем забыл, что день святого благоверного князя Вячеслава празднуется на западе не 4 марта, как в России и

в Чехии, а 28 сентября. Это был знак благословения свыше. Вяч. Иванов отдал всего себя заветному труду. Первая книга повести была написана той же осенью в Риме. Вторую он писал в Павии и там же начал третью. Завершил ее Вяч. Иванов уже после возвращения - на Монте-Тарпео и на Авентине. Четвертую книгу «Повести о Светомире Царевиче» он начал писать в феврале 1945 года, а пятую - в 1948-м. Над повестью этой Вяч. Иванов работал до последнего дня своей жизни. В ней отозвались и «Сказание об Индийском царстве» - византийский апокриф, хорошо известный еще читателям Древней Руси и любимый ими, и духовные стихи о святом Егории - защитнике земли русской. Их отголосок слышен в песне, которую Отрада поет над колыбелью сына - Светомира Царевича:

«Светомире мой, дитячко светлое,
свете мирный, тихо дремли!
Ты ж расти во сне, сила Егорьева,
на обрадованье земли!

Промеж моря и моря остра гора,
на полугоре Божий храм.
Колыбель во храме хрустальная:
я Пречистой тебя отдам.

.....

Осенит колыбельку Пречистая, —
баю, свете мой, почивай! —
Вынет душеньку, белу горлицу,
унесет в невидимый край.

Как вернется во храм девья странница, —
баю, сыне мой, тихо дремли!
Встанешь витязем в силе Егорьевой

на обрадованье земли^[500].

Подобно поэме «Солнцев перстень», «Повесть о Светомире Царевиче» была написана языком мифопоэтическим, но миф в ней обрел христианское осмысление. Ее ритмизованная орнаментальная проза звучала необычайно поэтически:

«Жива по миру память: было у Егория у Храброго шесть лесных сестер, их-же, во тьме неведения сидящих, брат по естеству светом Христовым просветил. Сих водами крещения убеленных жен непорочных сыны и внуки, паче матерного наставления отцов и дедов бесоугодию и чарованию приверзшиися и от святой веры отступивши, – опричь единого Христова исповедника, и того в юные лета замучена, – братогубительным одержимы неистовством, в междоусобной распре друг друга мало не искоренили. Один уцелел внучатый племянник Егорьев Горыня с двумя сынами, от них же и Горынские князья пошли. И прослыли те неключимые богатыри в молве Змиевым Семенем: зачались – мол, – толковали простецы, – от потопа кровавого, как хлынула наземь полынью кровь из утробы дракона лютого, которого Божий посол Егорий благословенною стрелою пронзил»^[501].

Для работы над этой повестью Вяч. Иванов «растирал краски» в своих лекциях по старославянскому языку в Руссикуме. Поэт на самом деле никогда не покидал родины. Его родиной была родная речь со всеми неисчислимыми богатствами, которая всегда жила в нем.

Когда Вяч. Иванов писал «Повесть о Светомире Царевиче», у него на глазах в мире разворачивалась великая битва с «древним змием» Апокалипсиса, различимым под любыми личинами. Бесовская, антихристова сущность нацизма (как прежде –

большевизма) была очевидна для поэта. Сопротивление ему совершалось в глубинах духа. Дарвиновско-ницшеанскому апофеозу силы и власти, идее исключительности по признаку крови, жажде «хлеба и зрелищ» противостояла верность евангельской правде и готовность «положить жизнь за други своя». Поэту в этой битве было вверено слово, когда-то вместе с огнем выделившее человека из круга других земнородных.

Все свободное время Вяч. Иванов отдавал повести, еще не зная, что очень скоро его труд прервет неожиданная и самая яркая последняя вспышка поэзии, пробудившейся в страшную для Рима и мира годину.

Глава XI

«Я посох свой доверил богу».

1943-1949 годы

После разгрома немцев под Сталинградом с каждым днем становилось все яснее, что Гитлер эту войну проиграл. Страна, истерзанная собственным кровавым тираном, когда-то спасшая Европу от Наполеона, теперь спасала ее от куда более страшного и отвратительного изверга. Порабощенные народы и невольные союзники Германии почувствовали приближение перемен в своей судьбе. Ожидала их и Италия. После поражения в России лишь немногие остатки итальянских войск вернулись домой. Солдаты были мрачными и подавленными, но о том, что им довелось вынести, не рассказывали, связанные «военной тайной». А в скором времени пришло известие о полном разгроме и капитуляции двадцати пяти лучших итальянских дивизий в Северной Африке. В июне 1943 года англо-американские войска после массированных бомбардировок высадились на Сицилии. Местная мафия, мстившая фашистскому режиму за преследования, указала десанту лучшие места для высадки и в помощь ему подняла восстание на острове. За 39 дней Сицилия полностью перешла в руки союзников.

Муссолини был деморализован и сломлен этими неудачами. Он утратил какую бы то ни было способность принимать решения.

19 июля состоялась первая бомбардировка Рима американской авиацией. Налет был ужасен. Он унес две тысячи жизней. Особенно пострадал густонаселенный римский район вокруг древней базилики Сан-Лоренцо.

Погибло множество людей. Бомбы разворотили кладбище и сильно повредили церковь. Папа Пий XII, сменивший на Святом престоле Пия XI, умершего в 1939 году, услышав грохот бомбежки и увидев из окна своих покоев налет, тут же взял все свои наличные деньги и помчался на автомобиле в район Сан-Лоренцо. Когда он туда приехал, бомбардировка уже закончилась. Папу окружила огромная толпа рыдающих людей. На его глазах из разбитых бомбами домов выносили убитых и раненых. Папа провел несколько часов с объатыми горем и ужасом жителями Сан-Лоренцо, раздал им деньги, утешал, вселял в них надежду, молился вместе с ними на руинах церкви. Когда он вернулся в Ватикан, в глазах его стояли слезы, а белая ряса была вся в крови.

Лидия Иванова вспоминала об этом дне: «В утро 19 июля я играла на свадьбе в маленькой церкви около пьядца ди Спанья... Было часов 10 или 11, свадьба кончилась, я спускалась со ступеней церкви, когда завывли сирены и зазвучали удары бомбардировки далекого квартала Сан Лоренцо. Автомобили на улице куда-то ринулись и исчезли. Люди сначала побежали, потом попрятались. Мне пришлось где-то переждать события. Через час, а может быть и два, я отправилась домой. На улице Бабуино мне пересек путь большой грузовик с открытой платформой. На ней тесно были навалены человеческие тела: везли раненых из Сан Лорнецо»^[502].

Дальше события понеслись лавиной. Бомбардировка Рима словно бы послужила детонатором того переворота, который назревал уже давно. 24 июля собрался Большой фашистский совет. Муссолини произнес на нем речь, которую начал с оправданий, а закончил словами: «Когда война оборачивается неудачами, их приписывают одному человеку, когда же

она приносит победу, ее хотят приписать себе многие»^[503]. Девятнадцатью голосами против семи Совет проголосовал за передачу командования армией королю и за выход Италии из войны. Фактически это означало отрешение Муссолини от власти. Против него на Совете проголосовал даже его зять – граф Галеаццо Чиано. На следующий день Муссолини отправился с визитом к королю на виллу «Савойя». В беседе он сказал монарху, что решение Большого совета имеет лишь консультативное значение, но обычно слабовольный Виктор Эммануил вдруг проявил неожиданную твердость. Он заявил «дуче», что постановление Большого совета окончательно и бесповоротно, и напомнил, что итальянская армия потеряла в войне за интересы Германии каждого десятого солдата. «Вы самый ненавистный человек в Италии. Так дальше продолжаться не может», – сказал король Муссолини. На пост премьер-министра он тут же назначил маршала Пьетро Бадольо, который был противником продолжения войны, и поручил ему формирование нового правительства. Возле виллы «дуче» уже поджидали карабинеры. Когда он появился, его арестовали и позже препроводили на высокогорный курорт «Гран Сассо», где содержали под стражей в гостинице «Кампо императоре». Италия вышла из войны и заключила перемирие с союзниками. На южном ее побережье высадился британский экспедиционный корпус.

В это время Дмитрий Иванов находился в Шартре, оккупированном немцами. Когда в Италии произошли перемены, он решил вернуться в Рим к отцу и сестре, которых не видел уже несколько лет. Пересаживаясь с одного поезда на другой, Дмитрий добрался до границы Франции с Италией. Там царили хаос и неразбериха. На путях стоял состав, готовый к отправке на юг. Дмитрий

сел в него, добрался до Италии и очень скоро, к великой радости домашних, появился в квартире на улице Леон Батиста Альберти.

Мирный период правления Бадольо в Риме длился недолго. Маршал скрывал от немцев свои переговоры с союзниками, а по радио говорил: «Война продолжается». Но 8 сентября 1943 года правительство Италии и англо-американское командование официально заявили о подписанном перемирии. На следующий день войска союзников начали массированную высадку в Салерно. Узнав об этом, Гитлер пришел в неопишную ярость. Он отдал приказ о вторжении в Италию. На юго-востоке Франции и на Балканах немцы начали уничтожать и интернировать находящиеся там итальянские военные части. Некоторые из них оказывали нацистам отчаянное сопротивление, но силы были неравны.

10 сентября королевская семья и маршал Бадольо вместе с правительством, никого об этом не известив, спешно покинули Рим и бежали в Бриндизи, на юг, уже занятый союзниками. Находящиеся там итальянские войска встали на сторону англо-американского альянса.

В тот же день, 10 сентября, немцы вошли в Рим. О том, как это происходило и чему она сама была очевидицей, вспоминала Лидия Иванова: «10 сентября рано утром немцы у ворот Святого Павла, за 7 минут ходьбы от нашего дома. Стрельба больше не артиллерийская - в город не стреляют, слышны главным образом пулеметы. Мы смотрим в окно кухни: за пустырем происходит что-то непонятное. Бегут какие-то военные, едут маленькие "джипы". Вот итальянский солдат забежал на пустырь, скидывает мундир и быстро прячет его в заросли тростников; вот едут немецкие офицеры, бросив на автомобиль большую белую простыню; это значит: не стреляйте, мир заключен. Но это не верно: там, перед нашим

взором, пулемет убивает двух молоденьких итальянских офицеров, куда-то стремящихся в своих бронемашинах... – Смотрите, – говорит кто-то из нас, – как это похоже на описание Ватерлоо у Стендаля. Вблизи все кажется бессмысленным, беспорядочным, а на самом деле тут развертывается стратегический план.

Фламинго прерывает разговор и оттаскивает всех от окна: – Неровен час! Шальная пуля!..

К сожалению то, что разворачивалось перед нами, был бессмысленный беспорядок; и бедные итальянские военные части были лишены какого бы то ни было стратегического плана.

К полудню Рим был окончательно занят немцами. Пальба затихла. Улицы пусты. Все спрятались по домам»[\[504\]](#).

12 сентября по приказу Гитлера его «личный диверсант» Отто Скорцени с отрядом парашютистов высадился в Гран Сассо и, разоружив карабинеров, охранявших Муссолини, освободил его. На встрече с Гитлером «дуче» сначала было объявил, что уходит из политики, поскольку не хочет гражданской войны в своей стране, но тот, угрожая репрессиями против народа Италии, заставил его сформировать новое фашистское правительство. Теперь Муссолини вернулся к власти, окончательно став марионеткой Гитлера. Своим указом он упразднил в Италии монархию и объявил ее «Социальной республикой». Центром этого новообразования и местом пребывания фашистского правительства был избран городок Сало на севере страны, из-за чего Социальную республику обычно называли «Республикой Сало». Ее административные структуры и итальянские воинские части, оставшиеся в распоряжении Муссолини, получили приказ содействовать операциям войск Третьего рейха на

территории Италии. Из наиболее рьяных и фанатичных фашистов создавались особые легионы и карательные «черные бригады». Этого открытого предательства и раболепства перед Гитлером итальянцы не простили Муссолини. Ненависть к нему росла в народе день ото дня.

В свою очередь король и правительство Италии во главе с маршалом Бадольо 13 октября объявили войну Германии. Солдаты Южной Италии участвовали в боевых действиях против немцев наравне с союзниками. Страна раскололась надвое.

В Риме хозяйничали нацисты. Вяч. Иванов хорошо помнил Ragazzi Capitolini прошлого века – немецких юношей, влюбленных в археологию и историю Вечного города, замечательных знатоков, всецело отдавших свою жизнь науке. Но теперь он видел перед собой совсем других немцев – безжалостных варваров, еще более диких и кровожадных, чем готы и вандалы, хотя приверженных к благам цивилизации и владеющих самой совершенной техникой, презирающих культуру и Церковь, из Ницше усвоивших только культ «белокурого зверя» и поклоняющихся, сами того не ведая, зверю апокалиптическому. Вспоминались беседы более чем полувековой давности с профессором Моммзенем в тогдашней берлинской тишине о грядущей эпохе варваризации. «Мы не так злы», – говорил Моммзен своему молодому русскому студенту. Если бы он увидел то, что видел сейчас Вяч. Иванов, сколько горьких и гневных слов нашлось бы у него для соотечественников!

Оккупировав Рим, нацисты тут же начали чудовищные преследования евреев, продолжая и здесь свою политику геноцида. Те поражения в правах, которые итальянским евреям довелось испытать даже в худшие годы власти Муссолини, теперь могли показаться мелкими неприятностями. Их хватало на

улицах, врываются в дома, устраивали на них массовые облавы и отправляли из Италии в лагеря уничтожения. На виа Тассо разместилось римское гестапо – одно из самых страшных в Европе. Римляне с ужасом проходили мимо этого здания, где работал конвейер допросов, пыток и смерти. Коснулись репрессии и итальянцев. Немцы во время облав хватали первых попавшихся молодых людей и женщин и отправляли их на работы в Германию. Осуществляли они также захваты и расстрелы заложников. Так, 23 марта 1944 года после взрыва, в результате которого погибло 32 немецких солдата, нацисты казнили 355 мирных граждан. В другой раз, 12 августа того же года, в отместку за нападение партизан в селении Санта-Анна-ди-Стаццема они расстреляли 350 жителей. А в октябре в деревне Марцаботто области Эмилия-Романья эсэсовцы уничтожили несколько сотен ни в чем не повинных людей.

Рим был полон прячущимися и скрывающимися от немцев. В отличие от многих других стран в Италии гестапо никто не помогал, за исключением разве что отпетых негодяев. Простые итальянцы прятали у себя своих друзей и соседей евреев, рискуя при этом жизнью. Католическая церковь и сам папа Пий XII проявили в годы нацистской оккупации высокое мужество и подлинно христианское милосердие. Евреев по негласному распоряжению папы скрывали в монастырях, распределяли по различным католическим организациям, используя дипломатические каналы, помогали им уехать в Америку и другие страны, чем спасли тысячи людей. Делалось это, разумеется, тайно, поскольку любой открытый протест или выступление в защиту евреев вызвали бы против них ответные зверства со стороны нацистов.

Крошечная территория Ватикана стала тогда убежищем для многих – и для дипломатов стран,

враждебных Гитлеру, и для военнопленных, бежавших из лагерей, и для других гонимых. Границы Папского государства нацисты нарушить не решались.

Помог Ватикан и Дмитрию Иванову. Если бы немцы схватили его на улице во время облавы, как подданного Франции Дмитрия ждала бы незавидная судьба. Но знакомый французский священник, участник Сопротивления, сумел снабдить Дмитрия документами, что он работает в Ватикане. И действительно – Дмитрий вскоре нашел там работу. Он начал давать уроки сыну поверенного в делах США господина Титмана, также вместе с семьей эвакуировавшегося в Ватикан. Когда американские самолеты начинали бомбить Рим, Титман, объятый патриотической гордостью, всякий раз приглашал Дмитрия на крышу, чтобы полюбоваться зрелищем налета. Дмитрий в этот момент испытывал совсем другие чувства. Он смертельно боялся, чтобы бомба случайно не угодила в дом номер 5 по улице Леон Батиста Альберти.

Ольга Шор имела надежные документы, где не было и намека и на ее еврейство. И хотя горбоносый профиль Фламинги явно принадлежал к тем типам лиц, когда «бьют не по паспорту», в Италии подобной «неарийской» внешностью обладали очень многие «потомки древних римлян». В Германии у Ольги Александровны не было бы ни малейшего шанса уцелеть. Впрочем, и в Риме она благоразумно старалась лишний раз не выходить из дому.

Ужасы того времени, свидетелем которых был Вяч. Иванов, отозвались позже и в его стихах:

Рассказать – так не поверишь,
Коль войны не пережил,
Коль обычной мерой меришь
Моготу душевных сил.

Всё, чего мы натерпелись,
Как под тонкий перезвон
Что ни день каноны пелись
Безыменных похорон,

А, волчицей взыв, сирена
Гонит в сумрак погребов,
Голосит: приспела смена
Уготованных гробов, —

Как бездомные бродили,
Где-то крылись в ночи,
Как заложников ловили,
Уводили палачи, —

Как... Но нам ли клясть былое?
С наших согнано полей,
На соседей лихо злое
Лише ринулось и злей [\[505\]](#).

И в этот страшный 1944 год – в год сгустившегося кромешного мрака, когда смерть и ад торжествовали, снимая свою жатву, – вдруг вопреки невозможности вновь возгорелся огонь поэзии Вяч. Иванова после долгого молчания. Ради этих пришедших невест откуда и зачем стихов поэт даже нарушил обет и оставил труд, который считал главным поручением своей жизни – «Повесть о Светомире Царевиче». Стихи шли, словно бы и не спрашивая его. Они пришли в самом начале года и покинули поэта на пороге следующего – в новогоднюю ночь. Мудрого писца, несущего послушание, оттеснил певец, но обогащенный совсем иным опытом. Почему? Тайна. Ответом могли бы стать только пушкинские строки:

Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Гордись, таков и ты, поэт,
И для тебя условий нет [\[506\]](#).

В жизни поэта исключение очень часто господствует над правилом, и это входит в замысел о нем и о мире.

И вместе с тем новые стихи Вяч. Иванова отличались ясностью и четкостью архитектурного чертежа, простой и трагически-возвышенной прямой речью. Гигантский книжно-культурный опыт ученого переплавился в простоту, но простоту обманчивую. Смысловые пласты здесь открываются постепенно, один за другим, и неизменно поверяются опытом сердца, устремленного к свету все того же неизменного и негаснущего маяка, против которого бессильна тьма.

Эти стихи 1944 года стали лучшим из всего написанного Вяч. Ивановым. На закате жизни он достиг тех вершин, что были доступны немногим в русской поэзии. Все созданное под грохот снарядов и бомб составило цикл «Римский дневник». Он и в самом деле обладал чертами некой поэтической хроники, но страшные текущие события истории, ее повседневность и кажущаяся бессмыслица виделись в свете евангельском и обретали смысл.

«Римский дневник» вошел в посмертный сборник Вяч. Иванова «Свет Вечерний», который его сын издал в 1962 году в Оксфорде. В него были включены все стихи, написанные после двух последних прижизненных поэтических книг – «Cor ardens» (1911-1912) и «Нежная тайна» (1912). Название напоминало о любимой с детских лет, столько раз пропетой вместе с матерью при теплом свете лампадки в вечерней тишине молитве «Свете тихий»: «Пришедше на запад солнца,

видевше свет вечерний, поем Отца, и Сына, и Святого Духа, Бога». Первый в русской поэзии сборник стихотворений, изданный Боратынским в 1842 году, назывался «Сумерки». Поэт подводил итог своему земному пути. «Свет Вечерний» словно перекликался с ним. «Пришедше на запад солнца» жизни, Вяч. Иванов с нежностью и печалью вспоминал былое, ясно видел ужас настоящего и с упованием прозревал торжество Царства правды, любви и света в грядущем.

Но «Римский дневник» был своего рода «сборником в сборнике». Он имел в жизни и поэзии Вяч. Иванова особое значение. Его сын Дмитрий Иванов говорил об этом так: «Особенность “Римского дневника 1944 года” в том, что он состоит из очень коротких стихотворений, вдохновленных тем, что творилось вокруг... Каждое событие, все происходящее вызывает лирическую реакцию, и эти стихи своей простотой и прозрачностью значительно отличаются от тех, что он писал раньше»^[507].

«Римский дневник» открылся 2 января стихотворением, полным глубокого смирения и готовности предать на Божий суд всю свою жизнь:

Великое бессмертья хочет,
А малое себе не прочит
Ни долгой памяти в роду,
Ни слав на Божием суду, —

Иное вымолит спасенье
От беспощадного конца:
Случайной ласки воскресенья,
Улыбки милого лица^[508].

Римскими ночами на Авентине ему вспоминалось родное московское семихолмие: детство у

Зоологического сада и на Патриарших прудах, паломничества с матерью к святыням Кремля, Первая гимназия на Волхонке, открытие памятника Пушкину, университет, Зубовский бульвар, арбатские переулки и церкви. Память о родном городе всегда была смешана с горечью. Поэт знал, что Москву ему уже не суждено увидеть. Да и не осталось его Москвы. Разрушаемый войной Рим напоминал о ее разрушении, об исчезновении дорогих сердцу примет:

Густой, пахучий вешний клей
Московских смольных тополей
Я обоняю в снах разлуки
И слышу ласковые звуки
Давно умолкших окрест слов,
Старинный звон колоколов.

Но на родное пепелище
Любить и плакать не приду:
Могил я милых не найду
На перепаханном кладбище [\[509\]](#).

И все же Россия продолжала жить в русском слове, неподвластном разрушению и тлению. Язык, который всегда спасал ее в самые тяжкие времена, не давал ей умереть и теперь – ни в безвоздушие несвободы, где вековой культурный пласт был, казалось бы, полностью уничтожен, ни в изгнании. Живые истоки пушкинской поэзии продолжали питать ее и возрождать к жизни. Пробились эти ключи и на Авентине. Они зазвучали в стихах Вяч. Иванова, где каждое слово было на вес крови:

«У лукоморья дуб зеленый...»
Он над пучиною соленой

Певцом посажен при луке,
Растет в молве укорененный,
Укорененный в языке.

И небылица былью станет,
Коли певец ее помянет,
Коль имя ей умел наречь.
Отступит море, – дуб не вянет.
Пока жива родная речь [\[510\]](#).

В это время союзники и итальянские войска маршала Бадольо продолжали медленно, с огромным трудом и напряжением сил шаг за шагом вытеснять немцев из Италии. Они двигались к Риму. Канонада их орудий уже была слышна в городе. Но война не могла замедлить наступление весны. Дыхание ее на Апеннинах ощущается уже в начале февраля. Теплый ветер, дующий из Африки, с моря, оживающие деревья. Однажды Лидия Иванова принесла отцу расцветшую золотистыми шариками ветку мимозы, только что сорванную в саду. В тот же день, 1 февраля, Вяч. Иванов написал стихотворение, в котором друг другу противостоят жизнь и смерть, воскресающая природа и человек, несущий гибель и себе подобному, и всему живому вокруг:

Опушились мимозы,
Вспухли почки миндалей,
Провожая Водолей,
А свирепых жорл угрозы
Громогласней и наглей.

За грядой олив грохочет
Дальнобойная пальба.
Вся земля воскреснуть хочет;

Силе жизни гробы прочит
Мертвой силы похвальба [\[511\]](#).

Вскоре союзники начали постоянно бомбить окрестности Рима. Удары авиация наносила по стратегически важным объектам – вокзалам и промышленным предприятиям. Но нередко бомбили и сам город. Немало бомб упало в районе Сан-Саба. Когда начинался налет, семья вместе собиралась в передней. В убежище не ходили, поскольку 78-летний поэт не смог бы осилить дороги: в последние годы Вяч. Иванов вообще очень мало выходил из дому. Обо всем происходящем в городе ему рассказывали дочь и сын. Если бомбы падали близко, дом качался. Это соседство смерти, от которой не было защиты, и ужас ее одолевались лишь молитвой и доверием воле Божьей.

Налет подобный трусу, —
Дом ходит ходуном,
Воздушных Гарпий гром
Ужасен и не трусу.

Мы к смертному искусу
Приблизилась и ждем;
Пречистой, Иисусу
Живот наш предаем [\[512\]](#).

4 июня войска союзников подошли к Риму. По городу, в котором укрепились немцы, велся непрерывный огонь. К вечеру на крышах появились белые флаги – немцы капитулировали. Обстрел сразу прекратился – побежденным дали время выйти из Рима. Немцы покинули город без единого выстрела. На

следующий день Вяч. Иванов написал стихотворение «Немцы ушли»:

Несутся чайня, как птицы,
Нетерпеливые, вперед,
Событий обгоняя ход,
Пока тяжелой колесницы
Крутой, внезапный поворот
Тебя, щебечущая стая,
По зеленым не распугнет.

Вот какова была простая
Развязка мрачной кутерьмы.
Глядим оторопело мы.
Сам астролог, кем предозначен
Единый был исход всего,
Негаданною озадачен
Гаданья правдой своего [\[513\]](#).

«Астрологом» Вяч. Иванов шутя называл Фламингу, которая с первых дней войны предсказывала сокрушительное поражение немцам, после чего унижительные условия капитуляции в Первую мировую покажутся им пустяком. Утверждала она также, что Рим останется цел, а Берлин будет разрушен. И действительно: раны, нанесенные Риму, были залечены сравнительно быстро, от Берлина же после его падения остались руины, пепел и груды камней.

Серые немецкие мундиры на римских улицах и площадях сменились многоцветьем союзнических войск. В этой пестрой, веселой, разноязыкой праздничной толпе можно было увидеть и белых, и чернокожих американцев, и бесчисленное разнообразие солдат Британской армии из народов, населяющих империю, «над которой никогда не заходит солнце», и

алжирцев и марокканцев из Французского корпуса. Словно весь мир собрался в Риме как прообраз чаемого вселенского братства.

Понемногу начала налаживаться и оживать городская торговля. Порой этот «бизнес по-римски» выглядел комично. Лидия Иванова вспоминала: «Еще было голодно, но рынки оживились спекулянтами, которые более не скрывались по задворкам, а открыто предлагали свой подозрительного происхождения товар. Перевозочных средств не было, но зато появилась целая сеть доморощенных моторизованных вагончиков или просто грузовиков с установленными на них скамейками, занавесками для защиты от дождя и солнца, с приставными маленькими лесенками, чтобы публике было легче на них вскарабкаться. Эти импровизированные вагончики ездили иной раз на четырех, а иной раз только на трех колесах и часто опрокидывались, так что путешествовать на них было опасно»^[514].

Вяч. Иванов, при всей его, казалось бы, внешней отрешенности, следил за политическими событиями необычайно пристально. Так когда-то Тютчев регулярно читал европейские газеты. Ровно в семь часов вечера каждый день Фламинга должна была включать радио, чтобы Вяч. Иванов мог прослушать политические новости. Те картины жизни, которые разворачивались перед поэтом во время его нечастых выходов в город, запечатлевались в стихах.

Вечный город! Снова танки,
Хоть и дружеские ныне,
У дверей твоей святыни,
И на стогнах древних янки

Пьянствуют, и полнит рынки
Клёкт гортанный мусульмана,

И шотландские волынки
Под столпом дудят Траяна.

Волей неба сокровенной
Так, на клич мирской тревоги,
Все ведут в тебя дороги,
Средоточие вселенной!^[515]

Но страшные последствия оккупации еще долго напоминали о себе. Как прежде в России большевики расстреливали заложников в монастырях и храмах, так и нацисты превратили священные римские катакомбы в место массовых казней. Мартиролог первых веков пополнился мучениками XX столетия.

Вырубленные оливковые рощи, поля, начиненные неразорвавшимися минами и снарядами. Словно сама земля страдала за человека и не могла вновь пробудиться к жизни и радости.

Лютый век! Убийством Каин
Осквернил и катакомбы.
Плуг ведя, дрожит хозяин,
Не задеть бы ралом бомбы.

Век железный! Колесницы
Взборонили сад и нивы.
Поклевали злые птицы
Города. Лежат оливы.

Оскудели дар елея
И вино, людей отрада.
Было время: веселее
Сбор справляли винограда^[516].

Война откатывалась на север. Кроме войск антигитлеровской коалиции чувствительные удары наносили немцам партизаны. Вся Европа была охвачена сопротивлением. В северных горных областях Италии с нацистами и их приспешниками из Республики Сало сражался партизанский Корпус добровольцев свободы, которым командовал легендарный генерал Луиджи Кадорна, герой еще Первой мировой войны. Немцы бросили против его Корпуса казаков Краснова, но партизаны-горцы обратили их в бегство. «Это дикие казаки!» – в панике кричали красновцы, которым прежде еще не доводилось сталкиваться с такими противниками.

Во Франции не давали покоя нацистам макизары. С югославскими партизанами не справлялись войска СС. Немцы бросили против них армию, но и это не помогло. Что уж говорить о брянских, смоленских и белорусских партизанах! Вяч. Иванову вспоминался Денис Давыдов. Само его полное имя звучало как Дионисий и очень подходило вдохновенному певцу и наезднику, веяло столь дорогим Иванову Дионисовым поэтическим хмелем. Правда, как свидетельствует «Дневник партизанских действий» Давыдова, в боях поэт-гусар всегда действовал с трезвым умом и расчетом, был хладнокровен и рассудителен. Горячим и вдохновенным он становился в поэзии и в дружеских беседах. Да и эта война, и новое партизанство разительно отличались от прежних. Никогда еще, за исключением разве что ассирийцев, завоеватели не проявляли такой нелюдской жестокости по отношению к завоеванным. Никогда еще не было и специальных карательных частей, созданных для войны с гражданским населением, за исключением, может быть, якобинских «рот Марата» во Франции и ЧОН у большевиков. Это вызывало ответную ярость партизан, плативших немцам той же монетой. Им было не до песен и не до

веселья. Действовали они обдуманно, холодно и беспощадно. Впрочем, и Денис Давыдов во время войны стихов не писал. Но Вяч. Иванову в этих храбрецах, самоотверженно сражающихся за свободу, недоставало как раз того дионисийского певческого вдохновения, которое олицетворял собой для него Давыдов-поэт:

Рубиться ныне бы, Денис,
И петь, и пить тебе! Все страны,
Куда лицом ни повернись,
Освобождают партизаны.

Что ж не как прежде весела
Беспечных удальцов ватага?
Забота ль черная легла
На обреченные чела?
Иссякла ль пьяных гроздий влага?
Хмель веледушный бы влила
Твоя в них песнь, твоя отвага,
Угрюмой злобы враг Денис, —
Ты, в партизанах Дионис![\[517\]](#)

Не раз в этот год поэт возвращался памятью к своим старым друзьям. Еще в самом начале его, 3 января, Вяч. Иванову почему-то вспоминался сон о милых сердцу спутниках, отошедших в мир иной. Сон этот он видел два месяца назад – 2 ноября, в день всех усопших по католическому церковному календарю. 3 января Вяч. Иванов пишет стихотворение, в котором воскрешает картины своего загадочного сна:

Мне в осень сон приснился странный, —
Цветочный рынок снился мне;
Ковром на площади пространной
Пестрел цветник благоуханный...

И в миг, – внезапно все во сне, —
Прочь убран с глаз, в подвал могильный...
Но из отдушин аромат
Столь пронизательный и сильный
Струится, как не пахнул сад.

Редет сон. В церквах звонят:
День всех усопших... Сердце слышит
Безмолвный, близкие, привет.
Пусть ваших лиц пред нами нет, —
Душа дыханьем вашим дышит [\[518\]](#).

А в июле 1948 года он получил письмо из Парижа. Вдова его друга Юргиса Балтрушайтиса Мария Ивановна сообщала, что муж умер 3 января 1944 года, в день, когда Вяч. Иванов написал это стихотворение. Хоронили Балтрушайтиса во время бомбардировки. Еще годы спустя к его могиле на парижском кладбище Монруж те, кому была дорога русская поэзия, приносили цветы. «Он и здесь сумел заставить всех себя полюбить» [\[519\]](#), – писала вдова поэта. Вяч. Иванову она прислала составленную и изданную ею в 1948 году посмертную книгу Балтрушайтиса «Лилия и серп» со своей надписью: «Привет от Юргиса». Слово оклик из былого прочитал Вяч. Иванов обращенные к нему строки:

Кто жрец? И кто – огонь суровый?
Чьи дни – как плавный воск полей?
Не знаю... В храме жертвы новой
Я весь – и пламя и елей...
И всей душою обделенной
Я пламенею умиленно —
На свет и боль тоски святой —

Неугасимой полнотой... [\[520\]](#)

Один за другим уходили современники и ровесники Вяч. Иванова, составившие великую эпоху русской мысли и культуры. В 1941 году в Париже умер Мережковский, в 1942-м скончался Бальмонт. В 1944-м, в один год с Балтрушайтисом, не стало отца Сергея Булгакова и Фаддея Францевича Зелинского, в 1945-м – Зинаиды Гиппиус. В 1948 году в Кламаре за рабочим столом умер Бердяев. Самому поэту после получения посмертного привета от Балтрушайтиса оставалось жить ровно год...

Одного из своих ушедших прежде друзей Вяч. Иванов вспомнил в «Римском дневнике». Десять лет минуло, как не стало Андрея Белого – «гоголька», без которого трудно было представить «башню». Когда-то он написал провидческое четверостишие о своей жизни и смерти:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел,
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел [\[521\]](#).

Андрей Белый и в самом деле умер от последствий солнечного удара. В 1944 году, в разгар августовской римской жары – «рыка звездного Льва» – Вяч. Иванов помянул друга – да и не одного его – в стихах:

В ночь звездопад; днем солнце парит,
Предсмертным пылом пышет Лев.
Спрячь голову: стрелой ударит
Любовь небесная – иль гнев.

Был небу мил, кто дали мерил
Кометным бегом – и сгорел;
Кто «золотому блеску верил»,
Поэт, – и пал от жарких стрел.

В бестенный полдень столько милых
Теней глядится через смерть!
И сколько глаз в твоих светилах
Сверкнет, полуночная твердь!

И скольких душ в огнях падучих
Мгновенный промелькнет привет!
Угаснет пламень искр летучих,
Начальный не иссякнет свет.

А времена в извечном чуде
Текут. За гриву Дева Льва
С небес влачит. На лунном блюде
Хладеет мертвая глава [\[522\]](#).

Как и в «Зимних сонетах», поэт вспоминал в «Римском дневнике» «на запад солнца взятых сонм родной». В этом сонме были и те, кого он знал и встречал на жизненном пути, и те, с кем ощущал глубинную связь через принадлежность к русской поэзии. Блок в своем последнем стихотворении отдал прощальный поклон Пушкину. Вяч. Иванов с благодарностью вспомнил троих предтеч русского символизма:

Таинник Ночи, Тютчев нежный,
Дух сладострастный и мятежный,
Чей так волшебен тусклый свет;
И задыхающийся Фет
Пред вечностью безнадежной,

В глушинах ландыш белоснежный,
Над оползнем расцветший цвет;
И духовидец, по безбрежной
Любви тоскующий поэт —
Владимир Соловьев: их трое,
В земном прозревших неземное
И нам предуказавших путь.
Как их созвездие родное
Мне во святых не помянуть?^[523]

К памяти своего великого учителя Владимира Соловьева Вяч. Иванов обращался и в другом стихотворении «Римского дневника». Через сорок четыре года после его ухода из мира, изменившегося с тех пор до неузнаваемости, на исходе собственной жизни подводя ее итог, Вяч. Иванов вспоминал судьбоносные встречи с мыслителем и всем благодарным сердцем посылал ему поклон:

Четырешать и четыре
В войне, гражданских смутах, мире
Промчалось года с дня того,
Как над Невой мы с ним простились,
И вскоре в Киеве постились
Два богомольца, за него,
В церковном послушаньи русском
Утверждены. У друга, в Узком,
Меж тем встречал он смертный час.
Вмещен был узкою могилой,
Кто мыслию ширококрылой
Вмещал Софию. Он угас;
Но всё рука его святая,
И смертью не отнятая,
Вела, благословляя, нас^[524].

Теперь и поэзия, и Рим, в котором жизнь и бессмертное искусство соединились неразрывно, каждый день дарили поэту радость. В них виделся отсвет горнего мира и сильнее ощущалась красота дольного.

Вы, чьи резец, палитра, лира,
Согласных Муз одна семья,
Вы нас уводите из мира
В соседство инобытия.

И чем зеркальней отражает
Кристалл искусства лик земной,
Тем явственней нас поражает
В нем жизнь иная, свет иной.

И про себя даемся диву,
Что не приметили досель,
Как ветерок ласкает ниву
И зелена под снегом ель [\[525\]](#).

Календарный круг замыкали дни Рождества. Война шла к концу, но Вяч. Иванову было ясно, что князь мира сего и его держава смерти по-прежнему будут властвовать в земной истории. Железный век продолжался. Он не мог и не хотел вместить евангельской вести. Ставка делалась не на дух любви, не на правду, а на силу. Но сквозь все апокалиптические события и знаки времени взгляд поэта различал одну главную, совершившуюся реальность – Рождество Спасителя и Его победу над миром.

И снова ты пред взором видящим,
О Вифлеемская Звезда,

Встаешь над станом ненавидящим
И мир пророчишь, как тогда.

А мы рукою окровавленной
Земле куем железный мир:
Стоит окуренный, восславленный,
На месте скинии кумир.

Но твой маяк с высот не сдвинется,
Не достигнет их океан,
Когда на приступ неба вскинется
Из бездн морских Левиафан.

Равниной мертвых вод уляжется
Изнеможенный Легион,
И человечеству покажется,
Что все былое – смутный сон.

И бесноватый успокоится
От судорог небытия,
Когда навек очам откроется
Одна действительность – твоя [\[526\]](#).

О своем собственном выборе, сделанном им уже давно и оправданном всей жизнью, о той главной надежде, что никогда не постыжает, Вяч. Иванов сказал в другом стихотворении «Римского дневника» с отчетливостью credo:

Я посох мой доверил Богу
И не гадаю ни о чем.
Пусть выбирает Сам дорогу,
Какой меня ведет в Свой дом.

А где тот дом – от всех сокрыто;

Далече ль он – утаено.
Что в нем оставил я – забыто,
Но будет вновь обретено,

Когда, от чар земных излечен,
Я повернусь туда лицом,
Где – знает сердце – буду встречен
Меня дождавшимся Отцом^[527].

Ровно 31 декабря Вяч. Иванов завершил свой поэтический дневник последним стихотворением:

Прощай, лирический мой Год!
Ор поднебесный хоровод
Ты струн келейною игрою
Сопровождал и приволил,
Послушен поступи светил,
Мысль к ясности и чувства к строю...^[528]

Поэт вновь возвращался к своему оставленному «баснословию» – «Повести о Светомире Царевиче». Он писал ее до последних дней. Когда, завершая пятую книгу повести, почувствовал, что силы оставляют его, передал свой заветный труд Ольге Шор, как один летописец – другому. Верная Фламинга сдержала слово – завершила повесть наставника, написав еще пять ее книг...

Наступивший 1945 год полностью изменил жизнь и мира, и Италии. 25 апреля в ее северных областях началось антифашистское восстание. Генерал Луиджи Кадорна приказал своим партизанам полностью очистить города от фашистов. Войска Республики Сало сложили оружие. Она перестала существовать. Фашисты предпочитали сдаваться союзникам, чтобы

избежать расправы со стороны соотечественников. Комитет национального освобождения Северной Италии принял постановление, по которому члены фашистского правительства Республики Сало за совершенные ими преступления карались смертью, а за менее тяжкие – каторжными работами. Для «дуче» это означало смертный приговор. Вместе со своей возлюбленной Кьярой Петаччи он пытался бежать с отступающими немецкими войсками, но был опознан и схвачен. Теперь Муссолини оказался в руках не законопослушных карабинеров, как это было в первый раз, а партизан. 28 апреля возле селения Медзагра Муссолини и Кьяра Петаччи были расстреляны. Тела их перевезли в Милан, где повесили вверх ногами для всеобщего обозрения. Таков был бесславный конец диктатора Италии – одного из «вершителей судеб» XX столетия. Несколько дней спустя, боясь подобной участи, покончил с собой Гитлер. Вторая мировая война в Европе завершилась. А 2 июня 1946 года в Италии состоялся референдум о выборе между монархией и республикой. Проходил он очень жарко. На улицах кипели постоянные споры, которые нередко перерастали в драки. Случались даже и убийства. В результате была упразднена монархия и учреждена республика. На выборах в парламент победила партия христианских демократов. Она была создана на основе католической Народной партии («Пополари»), запрещенной при фашистском режиме. Ее основатель, священник Луиджи Стурцо, был когда-то изгнан Муссолини из Италии. Проведя 22 года в эмиграции, дон Луиджи вернулся на родину и вновь занялся политической деятельностью. Возвратилась и легендарная «бабушка итальянского социализма» Анжелика Балабанова, наставница молодого Муссолини, позже стыдившаяся этой дружбы. И уже начал работу в кинематографе сценарист и режиссер Федерико

Феллини, в чьих великих фильмах трагическая эпоха итальянской истории первой половины XX века предстанет своей бытовой, повседневной стороной, словно увиденная глазами подростка...

Как подданный Италии голосовал и Вяч. Иванов. Он успел принять участие в двух парламентских выборах. Опираясь на свою неизменную трость, надев соломенную шляпу, ведомый под руку Фламингой, поэт шел в школу в окрестностях Сан-Саба, где проходило голосование. Фламинга в нем не участвовала, поскольку так и не приняла итальянского гражданства.

Своим чередом шла жизнь и у детей Вяч. Иванова, живших вместе с ним. Лидия кроме других ее занятий работала еще и органисткой в американской Епископальной церкви, куда ходили военнослужащие союзнических войск, размещенных в Риме. Дмитрий начал сотрудничать в качестве редактора в газете Французского экспедиционного корпуса «Patrie». Одновременно он преподавал все гуманитарные предметы в римском лицее «Шатобриан», где когда-то учился сам, так как другие преподаватели находились в армии. Поскольку на любую другую работу необходимо было получить разрешение директора лицея, Дмитрий Иванов для своей журналистской деятельности предпочел взять псевдоним «Жан Невсель». «Жан» - в честь особо почитаемого им святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, а «Невсель» - по французскому городу, где родился. Позже, когда лицейские преподаватели вернулись на свои места, Дмитрий Иванов полностью отдал себя журналистике и всегда публиковался под этим псевдонимом. Впоследствии он стал одним из ведущих журналистов газеты «France soir», долгие годы был ее корреспондентом в Ватикане, освещал те эпохальные перемены, что происходили в жизни католической церкви в XX столетии. Случалось Дмитрию Иванову

бывать в СССР и встречаться с Пастернаком. Но главную долю сил и времени он, как и его сестра, отдавал работе с наследием отца.

Расширился и круг посещавших дом Вяч. Иванова – в нем появились новые гости. Одним из них был французский религиозный мыслитель Жак Маритен, назначенный де Голлем послом в Ватикан. У генерала были очень непростые отношения с папой Пием XII. Дмитрий Иванов вспоминал об этом так: «Столкнулись две сильные личности. Это был очень запутанный конфликт. Тогда де Голль призвал Маритена, который вернулся из Америки, куда уехал во время войны, и желал только одного – дописать начатые книги. Думаю, он хотел, чтобы его назначили профессором в Коллеж де Франс, идеальное для него место работы, потому что там можно спокойно трудиться, а обязанностей не слишком много. Но де Голль воззвал к его лучшим чувствам, к его патриотизму и, преодолев колебания Маритена, отправил его в Рим... Он был от этого не в восторге, но какое-то время служил послом... Я в качестве журналиста находился в аэропорту Чампино, когда старенький военный самолет доставил Маритена из Парижа в Рим... Я был поражен тем, какой свет исходил от лица Маритена... Маритен, хотя и не говорил по-русски, знал творчество Вячеслава Иванова... Это знакомство несомненно доставило отцу огромное удовольствие. Я храню книги, которые Маритен дарил ему с дружескими и уважительными надписями»^[529].

Вместе с Маритеном Вяч. Иванова в его квартире на Авентине часто навещала жена философа Раиса, происходившая из семьи русских евреев, поэтесса, пишущая на французском языке, эссеист и автор мемуаров.

Еще до окончания войны Вяч. Иванова навестил приехавший в Рим с фронта известный американский

писатель Торнтон Уайлдер. Незнакомые друг с другом раньше, они вдруг ощутили глубокую внутреннюю близость. Несколько часов продолжалась их беседа о Книге Иова и притче о блудном сыне, навсегда оставшаяся в памяти обоих.

В доме на Авентине в последние годы жизни поэта бывали люди, принадлежавшие к интеллектуальной элите тогдашней Европы. Среди них были и французский экзистенциалист философ Габриэль Марсель, и знаменитые оксфордские филологи сэр Морис Баура и сэр Исая Берлин. Оба они много занимались историей русской литературы XX века. Сэр Исая Берлин оставил интереснейшие воспоминания о своих встречах с русскими писателями, в частности с А. А. Ахматовой. Благодаря им в переводе на английский язык вышла книга Вяч. Иванова о Достоевском. Они же подготовили к печати в знаменитом оксфордском издательстве Clarendon-Press сборник «Свет Вечерний». И еще очень много талантливых поэтов, историков литературы и искусства, художников, ученых, археологов из разных стран посещали гостеприимный дом на улице Леон Батиста Альберти. За несколько месяцев до кончины Вяч. Иванова его навестил старый московский знакомец, писатель Борис Зайцев, приехавший в Рим со своей женой Верой. Об этой встрече Зайцев вспоминал: «После завтрака в кабачке у берниниевской колоннады поехали к Вячеславу Иванову, на Авентин. Авентин моей молодости был еще таинственно-поэтическим местом Рима. Тянулись сады, огороды, заборы. Рядом с грядками капусты попадались низины, сплошь заросшие камышом... Тут жили некогда родители Алексея Человека Божия, отсюда и ушел он в нищету, благостность, и сюда воротился неузнанным.

Теперь известный поэт, столп русского символизма, доживал дни свои на этом холме. И вот в Страстную

Пятницу, в день смерти Рафаэля, с которым только что повстречались в Ватикане, мы поднялись в четвертый этаж современного безличного дома и позвонили в квартиру Вячеслава Иванова.

Время есть время. Но и Вячеслав Иванов есть Вячеслав Иванов. Да, он изменился, конечно, оба мы не такие, как были некогда на Арбате или в Петербурге на “Башне”, все же в этом слабом, но “значительном” старце в ермолочке, с трудом поднявшемся с кресла, был и настоящий Вячеслав Иванов, пусть с добавлением позднего Тютчева. Мы обнялись не без волнения, расцеловались.

- Да, сил мало. Прежде в Университет ездил, читал студентам, потом студенты у меня собирались, а теперь всего два-три шага сделать могу... Теперь уже не читаю.

Но велика отрава писательства. Через несколько минут он сказал мне, что хотел бы вслух прочесть новую свою поэму... “Это не длинно, час, полтора...” - “Дорогой Вячеслав Иванович, у нас минуты считаны. Мы на один день в Риме...” - “Ну, так вкратце расскажу вам...”

Не помню содержания поэмы - нечто фантастическо-символическое, как будто связанное с древней Сербией - какой-то король...

Для меня дело было не в поэме, а в нем самом, отчасти и в моей дальней молодости, в счастливых временах цветения, поэзии, Италии - тут же был символ расставания...

Но минуты наши действительно были считаны... Пробыли у него полчаса, обнялись и расцеловались. Оба, конечно, понимали, что никогда не увидимся»^[530].

«Поэмой», о которой говорил Борис Зайцев, была «Повесть о Светомире Царевиче», занимавшая последние годы все мысли и время поэта. О

великолепном чтении Вяч. Иванова вспоминала его дочь: «Часто устраивались интимные чтения, где два или три слушателя посвящались в последние приключения героев романа. Мы глубоко сожалеем о том, что эти чтения не были записаны на пленку. Ничто не может их описать, язык романа, который в чтении Вячеслава воспринимался как естественный, красивый, очень простой и ясный, как современная речь, в наши дни еще мало кем до конца понят. Как-то раз я слышала попытку чтения повести, сделанную талантливейшим чтецом Романом Якобсоном, и со страхом услышала, что все выходит фальшиво. Дело в том, что Вячеслав, когда писал и читал Светомира, не стилизовал, а просто погружался в свой коренной, душевный, еще с младенчества сохраненный русский язык. Он искренно так думал, так любил, говорил и писал»^[531].

Вяч. Иванов чувствовал приближение кончины и стремился скорее завершить свои труды. Едва ходя по дому, он ни на день не прерывал работы. Кроме «Светомира» последний год он по заказу Ватикана писал предисловие и комментарии к Псалтири. Закончил их он за несколько дней до смерти. Книга эта словно закольцевала его жизнь от младенчества до последнего вздоха.

Крепчая, пестун-вал качает
Мой челн: за молом плещет ширь...
Мать новолетие встречает, —
Гадает, разогнув Псалтырь:
«В семье отца я, пастырь юный,
Был меньшим. Сотворили струнный
Псалти́рион мои персты»...
«Дар песен вещие листы
Тебе пророчат»...^[532]

О том, каким был поэт на закате дней, рассказывала Лидия Иванова: «В последние годы Вячеслав становился все светлее, гармоничнее, проще. Он радовался всякому проявлению жизни: солнцу, Риму, ласковому движению, веселью и юмору... Интересовался и требовал подробнейших отчетов о деятельности и моей и Диминой... Очень любил разнообразных посетителей и горячо всеми интересовался...»[\[533\]](#)

После «Римского дневника» Вяч. Иванов лишь три раза нарушил обет не писать стихов. Последнее стихотворение он начал в феврале 1949 года и завершил за два дня до смерти. Это был сонет памяти Лидии Зиновьевой-Аннибал, включенный Вяч. Ивановым в переработанный им цикл «De profundis amavi»:

Прилип огнем снедающий хитон;
Кентавра кровь – как лавы ток по жилам
Геракловым. Уж язвины могилам
Подобятся. Деревья мечет он —

В костер... И вихрь багряных похорон
Ползучий яд крылатым тушит пылом.
Так золото очищено горнилом...
Земной любви не тот же ли закон?

Сплетясь, – как дуб с омелой чужеядной,
Со Страстию глухонемой и жадной,
Убийцу в ней вдруг узнает она.

Живая плоть бежит от плоти хладной,
И надвое, что было плоть одна,
Рассекла Смерть секирой беспощадной[\[534\]](#).

Боль от утраты главной любви всей жизни не оставляла поэта до последних дней. Но через

преображающее душу страдание и молитву она переплавилась в высокое чувство и стала сопричастной вечности. Встреча разлученных смертью была уже близка.

За два месяца до кончины Вяч. Иванов передал Лидии кольцо, которым когда-то обручился с ее матерью. Кольцо было сделано по заказу в Париже с чеканным золотым «дионисийским» узором из виноградных гроздьев и листьев. Вяч. Иванов завещал дочери никогда не снимать его с пальца, чтобы не потерять. Болел поэт недолго. За восемь дней до смерти у него начался кашель и поднялась температура. Лекарства не помогали. Профессор Анджело Синьорелли, уже много лет лечивший его, предупредил Лидию, Дмитрия и Ольгу, что последний час недалек. Исповедовал и причастил Вяч. Иванова его давний и любимый духовник – отец Иосиф Швейгель из Руссикума, человек простой, но необычайно добрый и духовно высокий.

В жаркий день 16 июля 1949 года Вяч. Иванов тихо отошел. До самой смерти он был в ясном сознании. Рядом с ним постоянно находились три родных человека – дочь, сын и Фламинга. Они поочередно читали вслух Псалтирь на церковнославянском языке, который столько раз отзывался в его поэзии. В комнате Вяч. Иванова, служившей ему одновременно рабочим кабинетом, была отслужена панихида. Через три дня состоялись похороны поэта. Тело его везли на траурной повозке, запряженной лошадьми, а не на машине, как это обычно происходило в те годы. Благородная старомодность проявилась и тут. Она как нельзя лучше пристала человеку Серебряного века.

После короткого прощания в приходе Сан-Саба тело перевезли в церковь преподобного Антония Великого при Руссикуме, где была отслужена торжественная служба по восточному обряду. Наконец, на кладбище

Верано, куда привезли гроб, совершилось отпевание. Местом погребения поэта стал общий склеп греческого Колледжио Святого Афанасия Великого неподалеку от древней базилики Сан-Лоренцо. Упокоился он под одной плитой со своим близким другом и первым римским духовником отцом Ефремом де Брюнье. Сын рассказывал об этом месте так: «На могиле лежала большая мраморная плита, на которой была надпись на латыни и по-гречески. Отцу бы это понравилось. В молодости, когда приходилось к слову, он часто повторял: “Как хорошо упокоиться на церковном дворе, как в старину”. И в каком-то смысле так и вышло, потому что его похоронили на огромной эспланаде перед церковью Верано»^[535].

В 1988 году прах Вяч. Иванова был перенесен на кладбище Тестаччо и захоронен в могиле Александра Дмитриевича Зиновьева, родного брата Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, умершего в Риме в 1931 году. В 1978 году в этом месте упокоилась Ольга Шор, а в 1985-м – дочь поэта Лидия Иванова. Обе они сделали безмерно много для того, чтобы в 1971–1987 годах в Брюсселе на русском языке вышли четыре тома Собрания сочинений Вяч. Иванова с прекрасным предисловием Ольги Шор и комментариями высочайшего уровня. Тома эти еще далеко не охватывают всего наследия поэта. А в СССР возвращение Вяч. Иванова началось в 1978 году, когда издательством «Советский писатель» в малой серии «Библиотеки поэта» вышел томик его стихотворений с предисловием С. С. Аверинцева и примечаниями Р. Е. Помирчеге. В условиях советской цензуры они сумели более чем достойно представить творчество Вяч. Иванова.

В 1983 году в Риме состоялась конференция «Вячеслав Иванов и культура его времени». На ней

выступил папа Иоанн Павел II. В приветственном слове к участникам конференции, вспомнив излюбленный ивановский образ христианского единства, он сказал: «Возможно ли не испытывать чувство радости, будучи свидетелем ваших исследований творческого наследия писателя, которое представляет собой истинное звено между Востоком и Западом и тем самым явление европейское в глубочайшем значении этого слова, будучи “плодом двух течений христианской традиции, обнимающей две культуры, отличные друг от друга, но и необходимейшим образом друг друга дополняющие”, как я писал о Европе в Апостольском Послании... вспоминая подвиг св. Кирилла и Мефодия. Может ли быть чтолибо более необходимое, более неотложное для Европы, чем сближение между духовным наследием христианского Востока и Западной культуры...

Примиренный с самим собой и со всем творением человек способен восстановить бытийную общность, соборность. Отсюда самое существенное значение диалога культур... В богатой славянской традиции весь народ-богоносец, христофор, ибо он призван воскреснуть во Христе, чтобы быть таинственным образом обоженным...

Но историческое разделение церквей – все еще не зажившая рана. Произнося в базилике Св. Петра в Риме, 17 марта 1926 г., католический символ веры, Иванов впервые почувствовал себя... “православным в полном смысле слова, обладателем священного клада, который был моим со дня моего крещения, но обладание которым с тех пор в течение уже многих лет омрачалось чувством какой-то неудовлетворенности, становящейся все мучительней и мучительней от сознания, что я лишен другой половины святости и благодати, что я дышу наподобие чахоточного одним только легким”. Это те же слова, которые я поведал представителям не католических общин в Париже:

“Невозможно христианину, более того, католику дышать одним легким: нужно иметь два легких – Восточное и Западное”»[\[536\]](#).

Словно эхом отозвались под небом Рима слова из пушкинской речи Достоевского, произнесенные в Москве в годы гимназической юности Вяч. Иванова и напутствовавшие его всю жизнь.

Наследие этого огромного поэта и ученого России еще предстоит усвоить, но представить без него русскую поэзию невозможно и теперь. Кому-то он может показаться «поэтом для поэтов или для филологов», но стоит вчитаться в его стихи, особенно последние, и этот видимый барьер будет легко преодолен. А культурные пласты, якобы создающие трудность восприятия, только приглашают читателя к внутреннему росту. Закончить бы хотелось словами великого филолога С. С. Аверинцева, предельно точно определившего место Вяч. Иванова в нашей поэзии: «Поэзия Вячеслава Иванова, которую так часто находили темной, оказывается на поверку необычайно ясной – поэзия четкого контура и твердого, медлительно раскрывающегося смысла. Может быть, это не совсем “лирика” в том специфическом смысле, к которому привыкли читатели Блока, или Есенина, или Марины Цветаевой, то есть не “лирическая стихия”; но это настоящая поэзия, и она имеет свои права на существование. В мире поэзии нашего века, где слишком много непрозрачной невнятицы, смеси чересчур личных идиосинкразий автора с чересчур безличными внушениями “динамических” ритмов, голос Вячеслава Иванова заслуживает того, чтобы мы снова начали к нему прислушиваться»[\[537\]](#).

Основные даты жизни и творчества Вяч. Иванова

1866, 16 февраля – в Москве в Волковом переулке в семье землемера Ивана Тихоновича Иванова и его жены Александры Дмитриевны (в девичестве Преображенской) родился сын Вячеслав.

1869 – отец переходит на службу в Контрольную палату. Семья переезжает на Патриаршие пруды.

1871 – смерть отца. Александра Дмитриевна остается одна с пятилетним сыном.

1875 – Вячеслав поступает в Первую Московскую мужскую гимназию. С тринадцати лет начинает давать сверстникам уроки греческого языка, чтобы помочь матери.

1880 – вместе с другими гимназистами присутствует на открытии памятника Пушкину на Тверском бульваре.

1881 – убийство террористами Александра II. Вячеслав переживает короткий период революционных настроений и атеизма. Гимназическая дружба с Владимиром Калабиным. Первые стихи. Стихотворение «Ясность».

1882-1883 – дружба с одноклассником Алексеем Дмитриевским. Их совместные переводы Софокла.

1884 – поступление на исторический факультет Московского университета. Занятия древнеримской историей.

1886 – женитьба на сестре Алексея Дмитриевского Дарье. Вместе с женой уезжает в Германию, направленный Московским университетом для занятий в Берлине у профессора Теодора Моммзена с целью подготовки диссертации.

1886-1895 - занятия в Берлинском университете в семинаре профессора Моммзена. Редакторская и секретарская работа.

1888 - рождение дочери Александры. Поездки в Лондон для занятий в Библиотеке Британского музея.

1891 - поездка в Париж, посещение парижской Национальной библиотеки. «Парижские эпиграммы».

1892 - знакомство с книгой Фридриха Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». Первый приезд в Рим вместе с семьей. Участие в деятельности Германского Археологического института. Работа над диссертацией.

1892-1895 - живет в Италии.

1893, июль - первая встреча в Риме с Лидией Дмитриевной Зиновьевой-Аннибал.

1894 - Зиновьева-Аннибал с детьми от первого брака переехала из Петербурга во Флоренцию, где в то время жила семья Вяч. Иванова. Постоянные их встречи во Флоренции и в Риме.

1895 - между Вяч. Ивановым и Лидией Зиновьевой-Аннибал возникает глубокое и страстное чувство. Вяч. Иванов открывается жене. Она принимает решение о разводе и возвращении в Россию. Вяч. Иванов сопровождает в Москву жену и дочь. Встреча Вяч. Иванова с матерью. Возвращение в Италию и начало совместной жизни с Лидией Дмитриевной Зиновьевой-Аннибал.

Конец лета - Вяч. Иванов представил Берлинскому университету кандидатскую диссертацию о государственных откупах Рима.

Окончательное решение Вяч. Иванова заниматься не древнеримской историей, а античной филологией. Пробуждение поэзии.

1896-1900 - Вяч. Иванов с Лидией Дмитриевной скитаются по разным странам Европы, спасаясь от

преследований ее первого мужа, Константина Шварсалона, угрожающего отобрать детей.

1896, апрель - в Москве умерла мать Вяч. Иванова, Александра Дмитриевна.

28 апреля - в Париже у Вяч. Иванова и Лидии Дмитриевны родилась дочь Лидия.

1897 - бывшая жена Вяч. Иванова Дарья Михайловна показывает его стихи Владимиру Соловьеву.

1898-1900 - Владимир Соловьев публикует стихи Вяч. Иванова в журналах «Космополис» и «Вестник Европы». Во время приездов в Россию Вяч. Иванов постоянно общается с Владимиром Соловьевым.

Лидии Дмитриевне удается добиться развода с первым мужем, и они с Вяч. Ивановым венчаются в греческой церкви в Ливорно.

1900, лето - Вяч. Иванов и Лидия Дмитриевна встречаются с Владимиром Соловьевым в Петербурге, затем едут в Киево-Печерскую лавру, где оба впервые за много лет причащаются.

Осень - смерть Владимира Соловьева в подмосковном имении Трубецких «Узкое».

1900-1905 - Вяч. Иванов и Лидия Дмитриевна с семьей живут в Швейцарии, снимают виллу Жава в местечке Шатлен.

1902 - Вяч. Иванов и Лидия Дмитриевна совершают путешествие в Иерусалим, где встречают Пасху в храме Гроба Господня. По возвращении в Европу Вяч. Иванов тяжело заболевает в Греции, но Лидия Дмитриевна его выхаживает. Осень и зиму Вяч. Иванов проводит в Афинах, где занимается исследованиями по дионисийству.

1903 - в Петербурге выходит первая книга стихотворений Вяч. Иванова «Кормчие Звезды». Вяч. Иванов едет в Париж, где в Русской высшей школе общественных наук читает курс лекций о дионисийстве. Знакомство с Валерием Брюсовым.

1904 – приезд Вяч. Иванова и Лидии Дмитриевны в Москву. Визит их в издательство «Скорпион». Знакомство с владельцем издательства Сергеем Поляковым и поэтами Константином Бальмонтом и Юргисом Балтрушайтисом. Поездка в Петербург. Знакомство с Дмитрием Мережковским и Зинаидой Гиппиус. Возвращение в Швейцарию. Знакомство в Женеве с поэтом и художником Максимилианом Волошиным. Выход в издательстве «Скорпион» второй книги стихотворений Вяч. Иванова «Прозрачность». Журнал Мережковского и Гиппиус «Новый путь» начинает публиковать лекции Вяч. Иванова о дионисийстве под названием «Эллинская религия страдающего бога» (в 1905 году, когда «Новый путь» будет переименован в «Вопросы жизни», очерки Вяч. Иванова продолжат выходить под другим заглавием – «Религия Диониса»). Вернувшись в Швейцарию, Вяч. Иванов работает над трагедией «Тантал».

1905, июнь – Вяч. Иванов и Лидия Дмитриевна переезжают в Петербург, поселяются на Таврической улице в доме 25 – в квартире «на башне». Под влиянием исторических событий Вяч. Иванов пишет стихотворения «Цусима», «Астролог», «Люцина», «На башне», «Медный всадник» и др.

Осень – начало «ивановских сред» «на башне». Среди участников – Н. Бердяев (бессменный председатель собраний), Д. Мережковский, З. Гиппиус, А. Белый, Л. Бакст, М. Добужинский, К. Сомов, А. Ремизов, В. Розанов, С. Городецкий, М. Кузмин, А. Луначарский, В. Мейерхольд, Ф. Зелинский, М. Волошин, М. Сабашникова и др.

1906-1907 – продолжение «ивановских сред».

1907 – выход сборника стихотворений Вяч. Иванова «Эрос» в издательстве «Оры» и второго издания повести Зиновьевой-Аннибал «Тридцать три урода». Болезнь Л. Д. Зиновьевой-Аннибал.

Лето – отъезд Вяч. Иванова и Лидии Дмитриевны на хутор Загорье Могилевской губернии.

17 октября – смерть Лидии Дмитриевны на хуторе Загорье от скарлатины.

Ноябрь – похороны Л. Д. Зиновьевой-Аннибал на кладбище Александро-Невской лавры.

1908 – Вяч. Иванов пишет поэму в сонетах «Спор» памяти Лидии Дмитриевны. Продолжение «сред». Появление «на башне» Николая Гумилева и его просьба к Вяч. Иванову прочитать молодым писателям курс лекций по стихосложению.

1909 – учреждение «на башне» «Академии стиха». Среди слушателей Вяч. Иванова – Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Толстой, А. Ремизов, А. и Е. Герцык, И. Гюнтер, Е. Дмитриева, С. Городецкий и др. Основание журнала «Аполлон». «Академия стиха» переносит свои заседания в редакцию журнала. Вяч. Иванов сотрудничает в «Аполлоне» как автор. В основанном им издательстве «Оры» публикует сборник своих философских и литературоведческих статей «По звездам».

1909-1912 – Вяч. Иванов постоянно читает доклады в Религиозно-философском обществе, Обществе ревнителей художественного слова, а также преподает древнегреческую и древнеримскую словесность на Высших женских курсах Раева.

1910, март – апрель – Вяч. Иванов читает в «Обществе свободной эстетики» в Москве и в Обществе ревнителей художественного слова в Петербурге доклад «Заветы символизма».

19 апреля – Всеволод Мейерхольд осуществляет на «башне» постановку пьесы Педро Кальдерона «Поклонение Кресту». Декорации и костюмы к спектаклю создает художник Сергей Судейкин, играют в нем домашние Вяч. Иванова, а также поэты Владимир Пяст и Михаил Кузмин. Этой постановке Вяч. Иванов

посвящает стихотворение «Хоромное действо». Лето Вяч. Иванов проводит в Италии.

1911, 10 февраля – Вяч. Иванов в Москве с докладом участвует в заседании, посвященном десятилетию со дня смерти Владимира Соловьева. Доклады также представили Н. Бердяев, А. Блок, В. Эрн. Молодые поэты во главе с Гумилевым «восстают» против Вяч. Иванова, покидают «Академию стиха» и создают собственное объединение – Цех поэтов, основу будущего акмеизма. Издательство «Скорпион» выпускает первый том книги стихотворений Вяч. Иванова «Cor ardens», посвященной памяти Л. Д. Зиновьевой-Аннибал.

1912 – выходит второй том книги «Cor ardens». Издательство «Оры» выпускает книгу стихов Вяч. Иванова «Нежная тайна» – последний прижизненный сборник поэта. Книга посвящена А. Блоку. Вяч. Иванов женится на дочери Л. Д. Зиновьевой-Аннибал Вере Шварсалон. В мае вместе с ней и своей дочерью Лидией уезжает во Францию, там у Вяч. Иванова и Веры летом рождается сын Дмитрий. Затем семья переезжает в Италию. В Риме Вяч. Иванов знакомится с философом Владимиром Эрном.

1913, осень – Вяч. Иванов, Вера и Дмитрий возвращаются в Россию и поселяются в Москве, где снимают квартиру на Зубовском бульваре, 25. Лидия учится в Московской консерватории у А. Б. Гольденвейзера. Вяч. Иванов пишет стихи и переводит Алкея, Сафо, Петрарку и Новалиса. Новый год Вяч. Иванов и его домашние встречают у Бердяевых. Один из гостей, доктор Любек, предсказывает скорое начало Первой мировой войны и революцию.

1914 – выходит книга «Алкей и Сафо. Собрание песен и лирических отрывков в переводе размерами подлинников Вячеслава Иванова со вступительным очерком его же». Вяч. Иванов регулярно участвует в

заседаниях Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева в особняке Маргариты Кирилловны Морозовой на Смоленском бульваре. Среди друзей и знакомых Вяч. Иванова – Н. Бердяев, Е. Трубецкой, В. Эрн, отец Павел Флоренский, Г. Рачинский, Ф. Степун, Г. Шпет, М. Цетлин, В. Брюсов, А. Скрябин и др.

26 февраля – вместе с В. Эрном Вяч. Иванов участвует в диспуте, посвященном книге Павла Флоренского «Столп и утверждение Истины» и проходившем в Московской духовной академии в Сергиевом Посаде. Начало дружбы Вяч. Иванова с профессором-экономистом и философом Сергеем Булгаковым, жившим в доме 15 на Зубовском бульваре.

Лето – Вяч. Иванов, Юргис Балтрушайтис и искусствовед Павел Муратов вместе со своими семьями отдыхают в усадьбе «Петровское на Оке» в Костромской губернии. Там они узнают о начале Первой мировой войны.

Осень – сближение Вяч. Иванова с композитором Александром Скрябиным.

6 октября – на заседании Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева Вяч. Иванов читает доклад «Вселенское дело», посвященный судьбе Германии и миссии России в Первую мировую войну.

1915 – пишет мелопею «Человек», стихи и статьи, связанные с осмыслением войны, судеб славянства, Европы и Церкви.

Весна – смерть А. Скрябина. Вяч. Иванов вместе с Н. Бердяевым, С. Булгаковым, М. Гершензоном, В. Эрном, Л. Шестовым, Ю. Балтрушайтисом, А. и Е. Герцык участвует в шуточном рукописном журнале «Бульвар и Переулок».

1916 – в московском издательстве «Мусагет» выходит книга статей Вяч. Иванова «Борозды и Межи».

Лето – Вяч. Иванов и В. Эрн вместе с семьями нанимают дачу на Красной Поляне возле Гагр, где общаются с монахами – «имяславцами», гонимыми правительством.

Осень – Лидия уезжает в Москву, чтобы продолжить занятия в консерватории, Вяч. Иванов с Верой и Димой решают остаться на год в Сочи и поселяются в пансионате «Светлана». Вяч. Иванов пишет там часть мелопеи «Человек», ряд лирических стихотворений и переводит трагедии Эсхила размером подлинника.

1917 – узнав о Февральской революции, Вяч. Иванов пишет ряд стихотворений, в которых пытается осмыслить происходящее в России.

29 апреля – смерть В. Эрна. Вяч. Иванов узнает о ней от Лидии, приехавшей на каникулы в Сочи. Памяти друга он посвящает стихотворение «Скорбный рассказ».

Сентябрь – Вяч. Иванов с семьей возвращается в Москву. Пишет статью «Скрябин и дух революции», которую заканчивает 24 октября – в день октябрьского переворота.

Ноябрь – дом, в котором живут Ивановы, находится в эпицентре боев верных законному правительству юнкеров с отрядами мятежников. «Расстрел» Кремля. Проходящий в Кремле Всероссийский Поместный Собор Православной Церкви 18 ноября избирает Патриархом митрополита Московского Тихона. Вяч. Иванов пишет ряд стихотворений, связанных с октябрьским переворотом. Одно из них посвящено Ф. Ф. Кокошкину – другу поэта, юристу, видному земскому деятелю, одному из основателей Кадетской партии, члену Временного правительства, зверски убитому революционными матросами.

1918 – в издательстве Г. А. Лемана и С. И. Сахарова выходит книга религиозно-философских статей Вяч. Иванова «Родное и Вселенское». В издательстве «Алконост» выходит поэма Вяч. Иванова

«Младенчество», которую он писал в 1913–1918 годах. Вяч. Иванов поступает на службу в ТЕО Наркомпроса, Лидия – в МУЗО.

9 июня – Вяч. Иванов вместе с другими членами Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева присутствует на рукоположении в священники отца Сергия Булгакова в Даниловском монастыре. В числе других авторов (Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Струве, П. Новгородцев, С. Аскольдов, А. Изгоев, С. Котляревский, В. Муравьев, И. Покровский, С. Франк) Вяч. Иванов участвует в сборнике «Из глубины», где публикует статью «Наш язык». Принимает участие во встречах в квартире Н. Бердяева в Большом Власьевском переулке, 14, где зародилась Вольная академия духовной культуры. Семья Ивановых переезжает в Большой Афанасьевский переулок, 41. Вяч. Иванов пишет последнюю часть и эпилог мелопеи «Человек».

1918–1920 – читает курс лекций о древнегреческой религии в Вольной академии духовной культуры, располагавшейся в здании Высших женских курсов на углу Мерзляковского переуллка и Поварской улицы.

1919 – тяжело заболевает жена Вяч. Иванова Вера Константиновна. Ее с Димой удается устроить в санаторий «Габай» в Серебряном Бору. Август и сентябрь с ними проводит Вяч. Иванов. Здесь он пишет цикл стихотворений «Серебряный Бор». Издательство «Алконост» выпускает трагедию Вяч. Иванова «Прометей». Вновь Вяч. Иванов навещает семью на Рождество. У Веры развивается скоротечная чахотка.

1919, декабрь – 1920, февраль – пишет цикл «Зимние сонеты», ставший одной из вершин его поэзии.

1920 – безрезультатно пытается выхлопотать у Луначарского разрешение на поездку за границу для лечения жены.

Май – в Москву приезжает А. Блок. Вяч. Иванов присутствует на его вечере в Политехническом музее, затем они встречаются на квартире одного из общих знакомых. Это была последняя встреча двух поэтов.

Июнь – Вяч. Иванова устраивают в здравницу «для работников умственного труда» в 3-м Неопалимовском переулке, где он оказывается в одной комнате с М. Гершензоном. Сначала они подолгу беседуют, но затем, чтобы не мешать друг другу работать, договариваются переписываться. Так возникает знаменитая «Переписка из двух углов», которая в 1921 году будет издана отдельной книгой издательством «Алконост» и переведена на многие европейские языки. Вяч. Иванов пишет цикл сонетов «De profundis amavi».

8 августа – смерть Веры Константиновны. Вяч. Иванов получает разрешение Луначарского на командировку на юг. Вместе с семьей едет в Баку, где в университете ему дают кафедру классической филологии.

1920-1924 – читает в Бакинском университете курсы по греческой и римской литературе и античной религии. Среди его учеников – известные в будущем филологи В. Мануйлов, М. Альтман, Е. Миллиор, Ц. Вольпе.

1921 – по пути в Персию Вяч. Иванова в Баку посещает Велимир Хлебников. Бывает у него и Алексей Кручёных. В мае Вяч. Иванов принимает участие в творческом вечере Кручёных. Ведет при университете поэтическое общество «Чаша».

22 июля – защищает в Бакинском университете докторскую диссертацию на основе своего исследования «Дионис и Прадионисийство».

7 августа – смерть А. Блока. Вяч. Иванов пишет стихотворение «Умер Блок».

25 августа – расстрел Н. Гумилева.

1922 – лето семья проводит на острове Зых возле Баку. Из-за несчастного случая на пароходе сыну Вяч. Иванова Диме ампутируют четыре пальца на руке.

1922-1923 – пишет либретто для оперетты композитора М. Попова «Любовь мираж?». Оперетта будет поставлена в бакинской опере.

1923 – в Баку выходит книга Вяч. Иванова «Дионис и Прадионисийство».

1924, май – приглашен в Москву для участия в торжествах в честь 125-летия Пушкина. С ним вместе едет В. Мануйлов. Они останавливаются в Доме ученых на Пречистенке, 16.

6 июня – выступает на торжественном вечере в Большом театре с речью, посвященной жизни Пушкина в 1824 году. По приглашению профессора П. Сакулина Вяч. Иванов и В. Мануйлов участвуют в заседании Общества любителей российской словесности. Здесь происходит встреча с В. Маяковским, который читает Вяч. Иванову свои стихи.

Лето – навещает в Москве В. Брюсова и Павла Флоренского в Сергиевом Посаде. Луначарский дает Вяч. Иванову вместе с семьей шестинедельную командировку на биеннале в Венецию с последующим продолжением академических занятий в Риме. Вызванные телеграммой отца в Москву приезжают Лидия и Дима. У семьи Ивановых начинается дружба с Ольгой Шор – будущей помощницей, хранительницей наследия и первым биографом поэта.

28 августа – отъезд Ивановых из Москвы. С остановками в Берлине и Мюнхене они приезжают в Венецию.

Осень – декабрь – с семьей едет в Рим, снимает жилье на улице Четырех Фонтанов. Лидия поступает в римскую Консерваторию Санта-Чечилия на курс профессора Отторино Респиги по классу композиции.

Дима поступает во Французский лицей. Вяч. Иванов пишет цикл «Римские сонеты».

1925, август - в Рим приезжают Вс. Мейерхольд и его жена З. Райх. Они заказывают Вяч. Иванову статью о Гоголе для своего журнала «Театральный Октябрь», который хотят издавать при Театре имени Мейерхольда в Москве. Вяч. Иванов посещает Горького в Сорренто, чтобы обсудить идею создания русского государственного института наук и искусств в Риме (замысел не осуществился).

Сентябрь - октябрь - работает над статьей «“Ревизор” Гоголя и комедия Аристофана», занимается исследованиями по дионисийству.

1926, 17 марта - в римском соборе Святого Петра присоединяется к католической церкви, не порывая с православием, осуществив тем самым завет своего учителя Владимира Соловьева о вселенском христианском единстве (формула присоединения была составлена самим Владимиром Соловьевым). Впоследствии всю оставшуюся жизнь Вяч. Иванов жил по обрядам Восточной церкви.

Осень - ректор Колледжио Борромео священник Леопольдо Рибольди предлагает Вяч. Иванову преподавать в Павийском университете и Колледжио Борромео древние и новые языки. Вяч. Иванов уезжает в Павию. Лидия и Дима остаются в Риме.

1926-1934 - преподает в Павийском университете и Колледжио Борромео. Вяч. Иванова посещают издатели журнала «Корона» Мартин Бодмер и Генрих Штейнер, писатель Шарль дю Бос, философы Бенедетто Кроче, Мартин Бубер и Габриэль Марсель.

1927, январь - по просьбе дона Леопольдо Рибольди читает в Колледжио Борромео цикл из четырех лекций о русской культуре, религиозной мысли и духовной традиции. Лидия и Дмитрий вслед за отцом присоединяются к католической церкви. В Рим навсегда

приезжает Ольга Шор и поселяется вместе с Ивановыми. Дмитрий Иванов поступает в Бенедиктинский коллеж в Энгельберге (Швейцария).

1928, 28 сентября - в день своего святого покровителя, чешского князя Вячеслава, в Риме начинает заветный труд всей своей жизни - «Повесть о Светомире Царевиче», которую писал до последних дней.

1931 - пишет на немецком языке для тюбингенского издателя Мор-Зибекa книгу «Достоевский: Трагедия - миф - мистика». Книга вышла в 1932 году.

1934 - завершает преподавание в Колледжио Борромео и Павийском университете. Пытается получить место профессора Флорентийского университета. Кафедра избирает его единогласно, но администрация отказывает, поскольку Вяч. Иванов не был членом фашистской партии и не отказался от советского гражданства. Окончательно поселяется в Риме вместе с дочерью и Ольгой Шор. Дмитрий, принявший французское гражданство, учится на филологическом факультете Экского университета и подрабатывает журналистикой. Римский университет предоставляет Вяч. Иванову работу в экзаменационных комиссиях по утверждению приват-доцентов.

1935 - принимает итальянское гражданство.

1936 - Ивановы и Ольга Шор поселяются в квартире в доме на улице Монте-Тарпео на Капитолийском холме, где живут до 1939 года. Начинает публиковать в русском парижском журнале «Современные записки» все свои прежде неизданные стихи. Вяч. Иванову предлагают читать лекции по старославянскому языку в Руссикуме (Русской католической академии) и Папском Восточном институте, где он преподает до середины 1940-х годов. По поручению ректора Руссикума о. Филиппа де Режиcа работает над предисловием и комментариями к Деяниям и Посланиям Святых

Апостолов и Откровению Святого Иоанна Богослова, переводит на церковнославянский язык молитвы, тексты монашеских обетов и официальные документы. Лидия Иванова получает место экстраординарного профессора в римской консерватории Санта-Чечилия. Вяч. Иванов в Риме навестил И. Бунин.

1936-1937 - в Рим по приглашению Муссолини приезжают Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус. Мережковский работает над книгой о Данте и собирает материалы для биографии Святой Терезы Младенца Иисуса. Они регулярно встречаются с Вяч. Ивановым и его домашними.

1937 - Вяч. Иванов получает аудиенцию у папы Пия XI. В беседе папа говорит о своей твердой вере в будущее единство Церкви.

1938 - Сын Вяч. Иванова Дмитрий получает место профессора в лицее Шартра и одновременно публикуется как журналист.

1939 - в Париже в русском издательстве «Дом книги» выходит мелопея Вяч. Иванова «Человек». Дом на Монте-Тарпео, где живут Ивановы, сносят. Семья переселяется на Авентин, на улицу Леон Батиста Альберти, 25. Этот дом становится последним жилищем Вяч. Иванова.

1940 - Италия вступает во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской Германии.

1942, 1 января - Лидия Иванова получает место профессора по гармонии в консерватории Кальяри, главного города Сардинии. Затем ее переводят в римскую консерваторию.

1943, июнь - июль - союзники с помощью восставших жителей захватывают Сицилию.

19 июля - первая бомбардировка Рима.

25 июля - Муссолини отстранен от власти и арестован по приказу короля. Италия выходит из войны. Гитлер отдает приказ о вторжении в Италию.

10 сентября – немцы оккупируют Рим.

12 сентября – Муссолини освобожден немцами и поставлен во главе марионеточной «республики Сало». Дмитрий Иванов возвращается из Франции в Рим. Чтобы не быть арестованным, находит работу в Ватикане, куда немцы не вторгаются и сотрудников которого не трогают.

1944 – Вяч. Иванов прерывает работу над «Повестью о Светомире Царевиче» и весь год пишет стихи, которые составят «Римский дневник». Первое стихотворение было написано им 2 января, последнее – 31 декабря.

Начало июня – союзники освобождают Рим. Дмитрий Иванов работает корреспондентом в газете Французского экспедиционного корпуса «Patrie» и преподает в Риме во французском лицее «Шатобриан». Впоследствии он станет римским корреспондентом газеты «Франс суар» и будет публиковаться под псевдонимом Жан Невсель.

1945, 28 апреля – казнь Муссолини. Окончание войны в Италии.

1945-1949 – Вяч. Иванова в Риме навещают французские философы Жан Маритен и Габриэль Марсель, английские филологи сэр Морис Баура и сэр Исая Берлин, американский писатель Торнтон Уайлдер, русский писатель Борис Зайцев.

1946 – в Ватикане выходят Деяния и Послания Святых Апостолов и Откровение Святого Иоанна Богослова с предисловиями и комментариями Вяч. Иванова.

1948, июль – Вяч. Иванов получает из Парижа посмертный сборник стихотворений Ю. Балтрушайтиса «Лилия и серп» и письмо от его вдовы. Ватикан издает Псалтирь с предисловием и примечаниями Вяч. Иванова.

1949, июль – за два дня до смерти Вяч. Иванов заканчивает сонет памяти Л. Д. Зиновьевой-Аннибал,

вошедший в цикл «De profundis amavi».

16 июля – смерть Вяч. Иванова. Умирая, он завещает Ольге Шор дописать неоконченную им «Повесть о Светомире Царевиче», и та исполнит завещанное. Отпевание в церкви Святого Антония Великого по восточному обряду на церковнославянском языке. Хоронят Вяч. Иванова на римском кладбище Верано. Позже прах его был перенесен на кладбище Тестаччо в могилу брата Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. В 1978 году там же упокоилась Ольга Шор, в 1985 году – Лидия Иванова.

1962 – в Оксфорде стараниями Д. В. Иванова, М. Бауры и И. Берлина выходит посмертный сборник Вяч. Иванова «Свет Вечерний», включающий большую часть стихотворений, написанных после сборников «Cor ardens» и «Нежная тайна».

notes

Примечания

1

Жуковский В. Полное собрание сочинений: В 20 т.
М., 2000. Т. 2. С. 97.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 233.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 233, 234.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 232, 233.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 238.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 239.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 9, 10.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель.
1971. Т. 1. С. 245.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель.
1971. Т. 1. С. 231.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель.
1971. Т. 1. С. 243.

Гёте И. В. Фауст / Пер. Н. Холодковского. М., 2020. С. 16.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 243.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 244.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 245, 246.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 252.

Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы. Л., 1978. С. 7, 8.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 12.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 12.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель.
1971. Т. 1. С. 247.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель.
1974. Т. 2. С. 346.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель.
1974. Т. 2. С. 12.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель.
1974. Т. 2. С. 13.

Пушкин А. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1981.
Т. 10. С. 265.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 14, 15.

Федотов Г. Судьба и грехи России: В 2 т. СПб., 1991.
Т. 1. С. 90.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 14.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель.
1971. Т. 1. С. 761.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель.
1974. Т. 2. С. 15.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель.
1974. Т. 2. С. 16.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 16.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 16, 17.

Гейне Г. Избранные произведения. М., 1950. С. 594, 595.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 628.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель. 1974. Т. 2. С. 18, 19.

Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы. Л., 1978. С. 76.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 627.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 628.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 628.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 628.

Соловьев Вл. Чтения о Богочеловечестве: Статьи. Стихотворения и поэма. СПб., 1994. С. 385.

Соловьев Вл. Чтения о Богочеловечестве: Статьи. Стихотворения и поэма. СПб., 1994. С. 385.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 18.

Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. СПб., 2005. С. 80, 81, 85.

Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. СПб., 2005. С. 20.

Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. СПб., 2005. С. 184, 185.

Анненский И. Избранное. М., 1987. С. 279.

Брюсов В. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1973. Т. 1.
С. 518, 519.

Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. СПб., 2005. С. 43.

Пушкин А. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1981. Т. 2.
С. 193.

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 76.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 19.

Достоевский Ф. Собрание сочинений: В 12 т. М., 1982. Т. 8. С. 142.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 20.

Иванов Вяч. Эссе, статьи, переводы. Брюссель, 1985.
С. 22.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 19, 20.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель. 1971. Т. 1. С. 610, 611.

Поэтические течения в русской литературе конца XIX – начала XX века. М., 1988. С. 46, 47.

Тютчев Ф. Стихотворения. Л., 1936. С. 155.

Тютчев Ф. Стихотворения. Л., 1936. С. 205.

Поэтические течения в русской литературе конца XIX – начала XX века. М., 1988. С. 50.

Анненский И. Избранное. М., 1987. С. 306.

Анненский И. Избранное. М., 1987. С. 150.

Сологуб Ф. Стихотворения. Л., 1934. С. 82.

Н. Некрасов. Полное собрание стихотворений. Л., 1934. С. 82.

Некрасов вчера и сегодня: Путеводитель по выставке в ЦГПБ им. Н. А. Некрасова. М., 1988. С. 36, 37.

Цветаева М. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1994. Т. 4. С. 222.

Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 194.

Соловьев Вл. Литературная критика. М., 1990. С. 153.

Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 194.

Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 194, 195.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 2. С. 571, 572.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель.
1974. Т. 2. С. 20.

Мандельштам Н. Воспоминания. М., 2006. С. 269.

Соловьев Вл. Чтения о Богочеловечестве: Статьи. Стихотворения и поэма. СПб., 1994. С. 384.

Баратынский Е. Стихотворения. Л., 1948. С. 210.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 13.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 13.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 515.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 517.

Вяч. Иванов: Pro et contra: Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей: Антология. СПб., 2016. С. 286.

Вяч. Иванов: Pro et contra: Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей: Антология. СПб., 2016. С. 12.

Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы. Л., 1978. С. 35.

Вяч. Иванов: Pro et contra: Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей: Антология. СПб., 2016. С. 365.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 43.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 19, 21.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 14, 15.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 61.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 61.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 62.

Вяч. Иванов: Pro et contra: Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей: Антология. СПб., 2016. С. 35.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 737, 738.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 778.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 812, 813.

Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993. С. 314, 315.

Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993. С. 319.

Балтрушайтис Ю. Лилия и Серп. М., 1989. С. 7, 8.

Балтрушайтис Ю. Лилия и Серп. М., 1989. С. 9.

Балтрушайтис Ю. Лилия и Серп. М., 1989. С. 6.

Балтрушайтис Ю. Лилия и Серп. М., 1989. С. 282.

Блок А. Избранное. М., 1978. С. 66, 67.

Александр Блок, Андрей Белый: Диалог поэтов
о России и революции. М., 1990. С. 201.

Вяч. Иванов: Pro et contra: Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей: Антология. СПб., 2016. С. 45, 46.

Вяч. Иванов: Pro et contra: Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей: Антология. СПб., 2016. С. 47, 48.

Вяч. Иванов: Pro et contra: Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей: Антология. СПб., 2016. С. 47, 48.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 760.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 764.

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 105.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 538.

Поэтические течения в русской литературе конца XIX – начала XX века. М., 1988. С. 72, 73.

Тютчев Ф. Стихотворения. Л., 1936. С. 199.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 53.

Соловьев Вл. Чтения о Богочеловечестве: Статьи. Стихотворения и поэма. СПб., 1994. С. 393.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 84, 85.

Волошин М. История моей души. М., 1999. С. 71-82.

Волошин М. Путник по вселенным. М., 1990. С. 90–93.

Волошин М. Путник по вселенным. М., 1990. С. 94, 95.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 692.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 252.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 252, 253.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 30, 31.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 773.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 253.

Волошин М. Жизнь - бесконечное познание: Стихотворения и поэмы. Проза. Воспоминания современников. М., 1995. С. 87, 88.

Волошин М. Жизнь - бесконечное познание: Стихотворения и поэмы. Проза. Воспоминания современников. М., 1995. С. 96.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 259.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 259-261.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 330, 331.

Басманный район Москвы. М., 2010. С. 83.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 255, 256.

Гиппиус З. Сочинения: Стихотворения. Проза. Л., 1991. С. 185.

Цветаева М. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1994. Т. 1. С. 322.

Гаккель Сергей, прот. Мать Мария. М., 1993. С. 133, 134.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 256.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель.
1971. Т. 1. С. 92.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 319-323.

Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 125.

Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 133.

Вехи: Интеллигенция в России: Сборник статей:
1909-1910. М., 1991. С. 25, 26.

Вехи: Интеллигенция в России: Сборник статей:
1909-1910. М., 1991. С. 38.

Вехи: Интеллигенция в России: Сборник статей:
1909-1910. М., 1991. С. 39.

Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 135, 136.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 368, 369.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 368, 369.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 380.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 370.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 320.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 753.

Пушкин А. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1981. Т. 2.
С. 124.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 382.

Зиновьева-Аннибал Л. Тридцать три урода. М., 1999.
С. 54.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 385.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 388.

Волошин М. История моей души. М., 1999. С. 160, 164.

Волошин М. История моей души. М., 1999. С. 167.

Волошин М. История моей души. М., 1999. С. 167.

Волошин М. Стихотворения. СПб., 2009. С. 41, 42.

Волошин М. Стихотворения. СПб., 2009. С. 75, 76.

Волошин. М. История моей души. М., 1999. С. 171.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 278.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 28, 29.

Волошин М. Жизнь - бесконечное познание: Стихотворения и поэмы. Проза. Воспоминания современников. М., 1995. С. 33.

Волошин М. История моей души. М., 1999. С. 184.

Волошин М. История моей души. М., 1999. С. 183.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 404.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 404.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 123.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 32-34.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 332.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 34, 35.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 616, 617.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 619.

Тютчев Ф. Стихотворения. Л., 1936. С. 80.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 621, 622.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 623.

Эллис (Кобылинский Л. Л.). Русские символисты.
Томск, 1996. С. 183.

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2010. Т. 2. С. 75.

Гумилев Н. Когда я был влюблен...: Стихотворения. Поэмы. Пьесы в стихах. Переводы. Избранная проза. М., 1994. С. 203.

Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993. С. 116.

Вячеслав Иванов: Материалы и публикации // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 91-98.

Вячеслав Иванов: Материалы и публикации // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 104, 105.

Вячеслав Иванов: Материалы и публикации // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 105.

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2014. Приложение: Летопись жизни и творчества. С. 25, 26.

Цветаева М. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1994.
Т. 1. С. 253.

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 290.

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2014. Приложение: Летопись жизни и творчества. С. 26.

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2011. Т. 3. С. 366.

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2011. Т. 3. С. 360.

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 46.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 590.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 590, 594.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 602.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 598.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 600.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 603.

Блок А. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1971. Т. 5. С. 326, 327.

Блок А. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1971. Т. 5. С. 327, 329.

Блок А. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1971. Т. 5. С. 336.

Вяч. Иванов: Pro et contra: Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей: Антология. СПб., 2016. С. 249.

Гумилев Н. Когда я был влюблен...: Стихотворения. Поэмы. Пьесы в стихах. Переводы. Избранная проза. М., 1994. С. 600.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 33.

201

Осип Мандельштам и его время. М., 1995. С. 21.

Белый А. Начало века. М., 1990. С. 346.

Гумилев Н. Когда я был влюблен...: Стихотворения. Поэмы. Пьесы в стихах. Переводы. Избранная проза. М., 1994. С. 605-607.

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 66.

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2010. Т. 2. С. 132.

Пяст В. Встречи. М., 1929. С. 172.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 127.

Ахматова А. Поэма без героя. М., 1989. С. 44.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 54, 55.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 44.

Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993. С. 357.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 62.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 63.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 63.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 76, 77.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 325.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 330.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 334.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 335.

Вяч. Иванов: Pro et contra: Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей: Антология. СПб., 2016. С. 227, 228, 229, 231, 232, 234.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 176.

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 79, 80.

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2011. Т. 3. С. 361.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 352.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель. 1979. Т. 3. С. 52, 53.

Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы. Л., 1978. С. 485.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 225.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 227, 228.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 470, 471.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 316, 317.

Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы. Л., 1978. С. 49.

Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы. Л., 1978. С. 502.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 472.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 44, 45.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 45, 46.

Вячеслав Иванов: Материалы и публикации // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 124.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 48.

Волошин М. История моей души. М., 1999. С. 112.

Вадимов А. Жизнь Бердяева: Россия. Berkeley (Беркли), 1993. С. 128, 129.

Волошин М. История моей души. М., 1999. С. 180.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 312, 313.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 779.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 30.

Блок. А. Избранное. М., 1978. С. 286, 287.

Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы. Л., 1978. С. 503.

Чуковский К. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 391, 393, 394.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 10.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 50.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 52, 53.

Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы. Л., 1978. С. 402.

Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы. Л., 1978. С. 402.

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 105.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 277.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 197.

255

Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 137.

256

Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 143.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 53, 54.

Булгаков С. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М., 1994. С. 13.

Булгаков С. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М., 1994. С. 14.

Толстой А. К. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1980.
Т. 1. С. 107.

Булгаков С. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М., 1994. С. 17.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 524.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 61.

Вестник Русского Христианского Движения. 1990. III.
№ 160. С. 122, 123.

265

Вестник Русского Христианского Движения. 1990. III.
№ 160. С. 137.

266

Вестник Русского Христианского Движения. 1990. III.
№ 160. С. 121.

267

Вестник Русского Христианского Движения. 1990. III.
№ 160. С. 124, 125.

Вестник Русского Христианского Движения. 1990. III.
№ 160. С. 125.

269

Вестник Русского Христианского Движения. 1990. III.
№ 160. С. 134, 135.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 51, 52.

271

Вяч. Иванов: Материалы и публикации // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 199.

Бердяев Н. Самопознание. М., 1990. С. 182.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 529.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 57.

275

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 528.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 172.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 189.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 183, 184.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 181.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 566.

Гумилев Н. Когда я был влюблен...: Стихотворения. Поэмы. Пьесы в стихах. Переводы. Избранная проза. М., 1994. С. 228.

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 90.

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 90, 91.

Ахматова А. Сочинения: В 5 кн. М., 1989. Кн. 4.
Десятые годы. С. 159.

Волошин М. Путник по вселенным. М., 1990. С. 130, 131.

Волошин М. Жизнь - бесконечное познание: Стихотворения и поэмы. Проза. Воспоминания современников. М., 1995. С. 81.

Бердяев. Н. Грех войны: Сборник статей. М., 1993. С. 35.

Бердяев. Н. Грех войны: Сборник статей. М., 1993. С. 50.

Бердяев. Н. Грех войны: Сборник статей. М., 1993. С. 113.

Бердяев. Н. Грех войны: Сборник статей. М., 1993.
С 121.

291

Эрн В. Сочинения. М., 1991. С. 380.

Эрн В. Сочинения. М., 1991. С. 337.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 58.

Эрн В. Сочинения. М., 1991. С. 310.

295

Эрн В. Сочинения. М., 1991. С. 315, 316.

Платонов А. Одухотворенные люди. М., 1986. С. 220.

Эрн В. Сочинения. М., 1991. С. 317.

Иванов Вяч. Эссе, статьи, переводы // ЛОГОС.
Брюссель, 1985. № 45. С. 101, 102.

Иванов Вяч. Эссе, статьи, переводы // ЛОГОС.
Брюссель, 1985. № 45. С. 102.

Иванов Вяч. Эссе, статьи, переводы // ЛОГОС.
Брюссель, 1985. № 45. С. 182, 183.

Иванов Вяч. Эссе, статьи, переводы // ЛОГОС.
Брюссель, 1985. № 45. С. 188, 187.

Иванов Вяч. Эссе, статьи, переводы // ЛОГОС.
Брюссель, 1985. № 45. С. 187, 189.

Соловьев Вл. Чтения о Богочеловечестве: Статьи. Стихотворения и поэма. СПб., 1994. С. 385.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 658.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 671.

306

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 23.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 51.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 233.

Иванов Вяч. Человек: Приложение: Статьи и материалы. М., 2006. С. 18.

Иванов Вяч. Человек: Приложение: Статьи и материалы. М., 2006. С. 5.

Хрестоматия по древней русской литературе XI-XVII веков // Сост. Н. Гудзий. М., 1962. С. 89.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 237, 238.

Протоиерей Александр Мень: Лекции, проповеди, беседы. М., 2003. С. 136, 137.

Вадимов А. Жизнь Бердяева. Россия. Berkeley (Беркли), 1993. С. 159.

Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 139, 140.

316

Биржевые ведомости. 1915. 18 февр.

Вячеслав Иванов: Материалы и публикации // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 81.

Вячеслав Иванов: Материалы и публикации // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 179.

Вячеслав Иванов: Материалы и публикации // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 201.

Вячеслав Иванов: Материалы и публикации // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 207.

321

Вячеслав Иванов: Материалы и публикации // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 204.

322

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 535.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 65.

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 81.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 67.

326

Сологуб Ф. Стихотворения. Л., 1979. С. 406, 407.

Волошин М. Жизнь - бесконечное познание: Стихотворения и поэмы. Проза. Воспоминания современников. М., 1995. С. 320.

Волошин М. Жизнь - бесконечное познание: Стихотворения и поэмы. Проза. Воспоминания современников. М., 1995. С. 88, 89.

Цветаева М. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1994. Т. 1. С. 351.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 57.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 58.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 61.

333

Гёте И. В. Фауст. М., 2020. С. 457.

Иванова. Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 72.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 62.

336

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель.
1979. Т. 3. С. 524.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель.
1979. Т. 3. С. 536.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель.
1979. Т. 3. С. 192.

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 565.

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 103.

Волошин М. Жизнь - бесконечное познание: Стихотворения и поэмы. Проза. Воспоминания современников. М., 1995. С. 309.

Тихон, патриарх. Россия в проказе. М., 1998. С. 66, 67.

Елена, монахиня. Профессор протоиерей Сергей Булгаков. 1871-1944. М., 2003. С. 61, 62.

Тихон, патриарх. Россия в проказе. М., 1998. С. 108-112.

Бердяев. Н. Самопознание. М., 1990. С. 225, 226.

346

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 65.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 71.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 69.

Волошин М. Жизнь - бесконечное познание: Стихотворения и поэмы. Проза. Воспоминания современников. М., 1995. С. 141.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 81.

Ходасевич В. Колеблемый тренажник. М., 1991. С. 393.

Иванова. Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 80.

353

Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 148.

Есенин. С. Собрание сочинений: В 5 т. М., 1961. Т. 2.
С. 87.

Вадимов. А. Жизнь Бердяева. Россия. Berkeley (Беркли), 1993. С. 186.

356

Вадимов. А. Жизнь Бердяева. Россия. Berkeley (Беркли), 1993. С. 210, 211.

Бердяев. Н. Самопознание. М., 1990. С. 221.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 786, 787.

359

Тютчев. Ф. Стихотворения. Л., 1936. С. 91.

360

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 675.

361

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 677, 678.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 675, 676.

363

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 680.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 680.

365

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель.
1979. Т. 3. С. 509, 510.

366

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель.
1979. Т. 3. С. 512.

Иванова. Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 83, 84.

Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 215, 214.

369

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 568.

370

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 569.

371

Иванова. Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 85.

372

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 385.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 386, 412.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 574.

375

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 578.

376

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 532.

Волошин. М. Жизнь - бесконечное познание: Стихотворения и поэмы. Проза. Воспоминания современников. М., 1995. С. 147.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 91.

379

Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 38, 39.

380

Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 45.

381

Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 44, 45.

382

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 340.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 106, 107.

384

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 90.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 345-347, 350, 351.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 395, 396, 398-401, 403, 407.

387

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 89.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 104.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 101, 102.

390

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 102.

Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994.
С. 11.

Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994.
С. 11, 12.

Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994.
С. 83-85.

Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994.
С. 207, 292.

Вяч. Иванов: Pro et contra: Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей: Антология. СПб., 2016. С. 532, 533, 535.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 116, 117.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 118.

Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988. С. 136-138.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 318.

400

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 320.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 356, 357.

Брюсов В. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1973. Т. 1.
С. 432.

403

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 689.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 123.

Маяковский. В. Стихотворения: В 3 т. Л., 1955. Т. 2.
С. 65, 66.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 130.

407

Бенито Муссолини / Пер. с фр. М., 1999. С. 30.

Гумилев Н. Когда я был влюблен...: Стихотворения. Поэмы. Пьесы в стихах. Переводы. Избранная проза. М., 1994. С. 245, 246.

409

Бенито Муссолини / Пер. с фр. М., 1999. С. 33.

410

Бенито Муссолини / Пер. с фр. М., 1999. С. 38.

411

Бенито Муссолини / Пер. с фр. М., 1999. С. 43.

412

Маяковский. В. Стихотворения: В 3 т. Л., 1955. Т. 2.
С. 34-36.

413

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 425.

414

bien être'a (*фр.*) – уюта; scrivania (*ит.*) – письменный стол; sallotino (*ит.*) – маленькая гостиная.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 133, 134.

416

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 852, 853.

417

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 578.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 578.

419

Hannibal ad portas (*лат.*) – Ганнибал у ворот.

420

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 852.

421

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 850, 851.

422

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 851.

423

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 851.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 851.

425

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 580.

426

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 851.

Вячеслав Иванов: Материалы и публикации // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 262.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 387, 388.

429

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 389, 390.

430

Бердяев. Н. Духи русской революции. Рига, 1990. С. 10, 11.

431

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 394.

432

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 391.

433

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 398.

Вячеслав Иванов: Материалы и публикации // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 277.

435

Вячеслав Иванов: Материалы и публикации // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 265.

436

Вячеслав Иванов: Материалы и публикации // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 275.

Вячеслав Иванов: Материалы и публикации // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 260.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 157-159.

439

primo piano (ит.) - первый этаж; quatro (ит.) - четвертому.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 164, 165.

441

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 165.

442

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 508.

443

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 553, 554.

444

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 554.

445

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 843.

446

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 553.

447

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 553.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 173.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 170.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 171, 172.

451

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 429.

452

Тютчев Ф. Стихотворения. Л., 1936. С. 275.

453

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 78.

454

Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 15.

455

Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 15, 16.

456

Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 16.

457

Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 17.

458

Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 20.

459

conversion (*фр.*) – обращения.

460

Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 19.

461

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 203.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 205.

463

Бердяев. Н. Самопознание. М., 1990. С. 144.

464

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 593.

465

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 207, 208.

466

Ecclesia militans (*лат.*) – Церковь воинствующая.

467

Вячеслав Иванов. Материалы и исследования. М., 1996, с. 29.

468

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 691.

469

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 584.

470

Гоголь Н. Собрание сочинений: В 8 т. М., 1984. Т. 5.
С. 97.

471

Фроссар А. Соль земли. М., 1992. С. 81.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 248.

473

Беседы с Дмитрием Вячеславовичем Ивановым.
СПб., 1999. С. 93.

474

Беседы с Дмитрием Вячеславовичем Ивановым.
СПб., 1999. С. 85-87.

475

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 191.

476

Бердяев. Н. Новое средневековье. М., 1991. С. 60.

477

Бердяев. Н. Новое средневековье. М., 1991. С. 46.

478

Бенито Муссолини // Пер. с фр. М., 1999. С. 62.

479

Duce, io sono un crede-e-ente (ит.) - Дуче, я верующий.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 242.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 241.

482

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 244.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 372, 373.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 240.

485

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 254.

486

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 584.

487

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 621, 622.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 258.

489

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 587.

490

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 260.

491

Бенито Муссолини / Пер. с фр. М., 1999. С. 71.

492

Бенито Муссолини / Пер. с фр. М., 1999. С. 68.

493

Бенито Муссолини / Пер. с фр. М., 1999. С. 81.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 252, 253.

495

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 236, 237.

496

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 263.

497

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 547.

498

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель.
1971. Т. 1. С. 248.

499

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель.
1971. Т. 1. С. 221.

500

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель.
1971. Т. 1. С. 309.

501

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель.
1971. Т. 1. С. 257.

502

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 267.

503

Бенито Муссолини / Пер. с фр. М., 1999. С. 99.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 269, 270.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 634-635.

506

Пушкин А. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1981. Т. 3.
С. 239.

507

Беседы с Дмитрием Вячеславовичем Ивановым.
СПб., 1999. С. 108.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 585.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 588.

510

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 589.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 591.

512

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 598.

513

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 614.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 279.

515

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 616.

516

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 630.

517

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 626, 627.

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 585.

Балтрушайтис Ю. Лилия и серп. М., 1989. С. 20.

520

Балтрушайтис Ю. Лилия и серп. М., 1989. С. 283.

521

Александр Блок, Андрей Белый: Диалог поэтов
о России и революции. М., 1990. С. 313.

522

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 622, 623.

523

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 633, 634.

524

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 621.

525

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 643.

526

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 642, 643.

527

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 597.

528

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 644.

529

Беседы с Дмитрием Вячеславовичем Ивановым.
СПб., 1999. С. 119.

Вяч. Иванов: Pro et contra: Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей: Антология. СПб., 2016. С. 681, 682.

531

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 287.

532

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 253.

Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992.
С. 288.

534

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 575.

535

Беседы с Дмитрием Вячеславовичем Ивановым.
СПб., 1999. С. 127.

536

Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 700, 701.

537

Аверинцев С. Поэты. М., 1996. С. 137.